БЕРНГАРД КЕЛЛЕРМАН

ПЛЯСКА СМЕРТИ



БЕРНГАРД КЕЛЛЕРМАН

ПЛЯСКА СМЕРТИ

РОМАН

перевод с немецкого



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1957

Перевод
А. Ариан и Б. Арон.

Под редакцией
Наталии Ман.



I

Вернувшись из длительного отпуска по болезни, Франк Фабиан, адвокат и синдик[1] города, о котором пойдет речь, сразу почувствовал резкую перемену в окружающей обстановке.

Скорый поезд, которым он приехал, опоздал на целый час. Фабиан добрался до дома лишь после полуночи. Он был приятно удивлен, что горничная Марта еще не ложилась и, заслышав его шаги на лестнице, поспешила открыть дверь. Сердечно пожав ей руку, он поблагодарил за то, что она дождалась его, и попросил принести красного вина к ужину. Ему хочется отпраздновать свое возвращение домой, с улыбкой пояснил он.

— Госпожа Фабиан, наверно, уже спит? — спросил он, снимая в передней макинтош. Он говорил вполголоса, чтобы не разбудить жену, даму очень нервную и страдавшую бессонницей.

[1] Юрисконсульт, уполномоченный вести дела какого-нибудь учреждения или общины.

— Да, барыня сегодня рано легла,— ответила Марта и пошла за вином.

Фабиан был в прекрасном настроении. Он радовался тому, что снова дома, и весело потирал руки, наслаждаясь теплом и уютом: с вокзала он ехал на извозчике и продрог. Даже особый запах, присущий всякому человеческому жилью, радовал его теперь. Он совсем отвык от этого запаха за четыре месяца своего отсутствия. Наконец-то он чувствует его опять!

Из передней Фабиан прошел в свой кабинет и зажег все лампы. Здесь ничто не изменилось: пестрые ряды книг, которыми он гордился, несколько картин и привычные безделушки. Наконец-то он дома! Больше всего на свете Фабиан ценил уют и спокойствие. На письменном столе стопкой лежали письма, он быстро пробежал глазами адреса отправителей на конвертах.

«И работа уже заждалась тебя»,— мысленно проговорил Фабиан, направляясь в столовую, расположенную рядом с кабинетом. Он не мог жить без дела, и последние праздные недели отпуска превратились для него в мучение.

Стол был убран цветами и обильно уставлен соблазнительными яствами. Холодное жаркое и разрезанная на куски жареная курица в искусном обрамлении гарнира лежали на большом блюде, вокруг которого теснились мисочки и тарелочки с разнообразными салатами и закусками. Фабиан любил вкусно поесть; проголодавшись с дороги, он немедленно с аппетитом приступил к ужину.

— Ну, что нового у нас в городе, Марта? — кладя себе на тарелку кусок жареной курицы, спросил он горничную, принесшую вино. И спросил в сущности только для того, чтобы оказать внимание Марте, которая дожидалась его до столь позднего часа.

Марта, уже собравшаяся было уходить, вернулась; улыбка появилась на сонном старом лице преданной служанки.

— Теперь что ни день, то новость...— сказала она и запнулась.— Вы, господин доктор, наверное, уже слы-

хали, что бургомистру Крюгеру пришлось выйти в отставку.

Фабиан вздрогнул, как от удара, и, раскрыв рот, взглянул на Марту; вилка застыла у него в руке.

— Что вы сказали, Марта? — недоверчиво переспросил он.— Кому пришлось выйти в отставку? Доктору Крюгеру?

— Да, доктору Крюгеру сразу же пришлось выйти в отставку,— повторила Марта.— В городе только и разговоров, что об этом.

Фабиан долго не мог вымолвить ни слова. Он опустил на тарелку вилку с куском жареной курицы. Усталость внезапно охватила его, прекрасного настроения как не бывало.

Доктор Крюгер, бургомистр, был другом и однокашником Фабиана. Крюгер пользовался всеобщим уважением и любовью. Это был очень дельный, жизнерадостный человек, и к Фабиану он особенно благоволил. Работать с ним было истинным наслаждением.

— Скажите же, ради всего святого,— проговорил, наконец, Фабиан,— почему Крюгер должен был выйти в отставку? Что случилось?

Марта пожала плечами и опустила глаза.

— Говорят, потому, что он был социал-демократом.

Фабиан сердито засмеялся.

— Крюгер принадлежал к партии центра и никогда не был социал-демократом,— произнес он несколько громче, чем ему хотелось.

— Говорят, он водился с социал-демократами,— пояснила горничная.

Фабиан снова рассмеялся.

— Ну, а кто же у нас теперь вместо него?

— Какой-то господин Таубенхауз.

— Таубенхауз? — в недоумении переспросил Фабиан.— Откуда он взялся?

Марта пожала плечами и направилась к двери. Она понятия не имеет.

— Говорят, был чиновником в каком-то городке в Померании.

— В Померании?

— Так говорят. Да, и еще ходят слухи, будто скоро закроют монастырь капуцинов.

Фабиан опять рассмеялся, но как-то хмуро.

— Это уж сказки, Марта,— недоверчиво заметил он.— При чем тут капуцины?

Марта открыла дверь, так как послышался звонок в коридоре.

— Сейчас чего только не болтают,— ответила она, пожимая плечами. Потом поспешно добавила: — Барыня звонит,— и выбежала из комнаты.

— Передайте сердечный привет моей жене, Марта! — крикнул ей вслед Фабиан.— Завтра утром я зайду к ней поздороваться.

В семейной жизни Фабиана давно произошел разлад. Супруги разошлись, но в глазах общества их отношения оставались дружескими.

После ухода Марты Фабиан долго в недоумении качал головой. Потом он налил себе стакан вина и снова принялся за курицу.

«Крюгер вынужден был выйти в отставку,— бормотал он про себя. После курицы он взялся за холодное жаркое. Положив себе на тарелку салат из помидоров, он опять проговорил качая головой: — Ему пришлось уйти. Бедный Тео! — На лице Фабиана выразилось сожаление.— Жаль его, хороший человек! Уверен, что в январе он обязательно прибавил бы мне жалованья».

Фабиан съел компот и отодвинул тарелки.

«У капуцинов тоже что-то неладно? Безумие, безумие! Просто уму непостижимо!»

Усталость прошла, он снова был бодр и свеж. Ну и дела творятся в священной германской империи! Ну и дела! Крюгеру дали отставку! Монастырь капуцинов вот-вот закроют,— да тут сам черт ногу сломит.

Он взял графин с красным вином и стакан и вернулся в свой кабинет, чтобы там, после долгого отсутствия, еще часок насладиться тишиной у себя дома. Взгляд его рассеянно скользнул по пестрым корешкам книг, по стопке писем и газет на письменном столе, но он уже не мог собраться с мыслями: покой был на-

рушен. Все время его преследовала мысль, что в священной германской империи творятся непонятные и странные дела.

Наконец, он взял сигару и опустился в удобное кресло. Он сидел, вытянув ноги, с незажженной сигарой в руке и думал.

Да, они давно уже появились в городе. В коричневых рубашках, с портупеями, в высоких кавалерийских сапогах, как будто только что сошедшие с боевых коней, не то ландскнехты, не то ковбои. Но, что бы там ни говорили, выглядели они хорошо: сильные, мужественные, полные энергии, порою дерзкие. В общем они держали себя пристойно, иногда, правда, грубовато и несколько вызывающе, но в городе к ним уже привыкли. Сначала их было немного, и люди оглядывались на них. Постепенно их становилось все больше и больше, но и это стало обычным. Они привлекали к себе внимание, только когда появлялись на улице целыми толпами, громыхая кружками для сбора пожертвований, и те, кому тяжело доставались трудовые гроши, старались обходить их. Сам Фабиан всегда имел наготове мелочь, чтобы никто не подумал, будто он намеренно держится в стороне. Да это и было бы ни к чему.

Вот и сегодня он снова встретил их в поезде. Они заняли два столика в вагон-ресторане и вели себя шумно и заносчиво. Это были почти сплошь молодые люди, видимо, возвращавшиеся с какого-то сборища, вдохнувшего в них новую энергию. Иногда они кричали что-то, обращаясь друг к другу, и взгляды их вызывающе и нагло скользили по остальным пассажирам. Без сомнения, за четыре месяца, которые он провел в отпуску, их самонадеянность сильно возросла, а властолюбивые помыслы непомерно окрепли. Казалось, они вдруг стали силой в стране. Или ему это только померещилось?

Фабиан встал и сделал несколько шагов по комнате. «Или мне это только померещилось?» — снова спросил он себя. Потом опять бросился в кресло и погрузился в размышления.

Ну, хорошо, сначала им были не по нраву социа-

листические партии, потом буржуазные, вплоть до консерваторов, но и этого мало. Церковь стала им поперек дороги, мешая их властолюбию. Даже здесь в городе они затеяли войну с безобидными капуцинами, которые и мухи не обидят. Нет сомнения, что за эти четыре месяца влияние национал-социалистской партии стало захватывать все более широкие круги, она явно окрепла и упрочилась. Это бесспорно! А он полагал, что пройдет год — другой и она сойдет со сцены, как это случалось с другими партиями до нее. Фабиан беззвучно рассмеялся. Какое заблуждение! Какое невероятное заблуждение! «Слава богу,— подумал он,— не я один поддался этому заблуждению, а многие и поумнее меня. Слава богу!»

Мысли его стали мешаться, усталость опять взяла свое, у него едва хватило сил подняться с кресла.

«Уже поздно, пора спать! — подумал он.— Не успел я вернуться домой, и меня вновь терзают те же тревожные мысли. Ну, хорошо, завтра во всем разберусь. Завтра взгляну на все трезвыми, спокойными глазами. Завтра, завтра! Ведь завтра наступит совсем новый день». Фабиан зевнул; он ужасно устал.

Он выключил верхний свет. Завтра предстоит встреча с Клотильдой. Только теперь он вспомнил о жене и злосчастном раздоре, грозившем разрушить его семью. За эти четыре месяца Клотильда уже несомненно все обдумала. Времени у нее было более чем достаточно. «Посмотрим, завтра все выяснится... Но если,— он с трудом сосредоточивался на какой-нибудь мысли,— если она и теперь будет настаивать на разводе? Что тогда?»

Он попробовал разобраться в своих чувствах. «Как странно,— размышлял он,— что я могу теперь спокойно все обдумывать; ведь в санатории я ночи напролет не спал из-за этих мыслей. В конце концов я и заболел-то из-за этой истории». Пошатываясь от усталости, он на минуту задержался у письменного стола. «Но если она и после этих четырех месяцев все-таки будет настаивать на разводе,— продолжал он раздумывать,— если, невзирая на двух сыновей, будет во что бы то ни стало его добиваться, ну что ж, тогда она его получит!»

Он сдвинул брови, сам удивляясь своей решимости. Значит, желание Клотильды для него все еще закон.

Слишком утомленный, чтобы почувствовать горечь или вообще что-либо почувствовать, он направился в свою спальню.

II

На следующее утро Фабиан проснулся успокоенный и полный свежих сил. Он стал одеваться с особой тщательностью, внимательно разглядывая себя в зеркало. Фабиан был доволен собой. Лечение сделало его совсем другим человеком. Так как было уже около десяти, он торопливо позавтракал, по обыкновению один в столовой. Отпуск его кончался завтра, но он уже сегодня решил заглянуть на часок в свою контору. И вообще в этот первый день после долгого отсутствия — дел выше головы.

Приблизившись к комнате жены, он услышал веселую болтовню и смех: у Клотильды были гости. Для первой встречи весьма кстати, так как Клотильда при посторонних обходилась с мужем любезнее, чем наедине, когда она вымещала на нем свое дурное настроение.

— Кто там? — спросил он Марту, выглянувшую из кухни на звук его шагов.

— Только что приехала баронесса фон Тюнен,— ответила та.

Он вошел. Клотильда протянула ему руку для поцелуя; сцена приветствия была разыграна так, чтобы никто не мог усомниться, что супруги уже виделись накануне.

Клотильда была в новом эффектном утреннем туалете и в кокетливых туфельках из красного лака, подчеркивавших изящество ее ножек. За последние месяцы она заметно пополнела, и грудь ее в свободном утреннем платье казалась слишком пышной. Белокурые волосы были собраны в завитой роскошный кок, оттенявший мерцающую голубизну ее глаз. Обольстительные глаза-незабудки, некогда вдохновлявшие его на лирические излияния. Но это было так давно!

Сидевшая напротив нее баронесса фон Тюнен радостно оживилась при виде Фабиана.

Баронесса, олицетворение свежести и жизнерадостности, полулежала в кресле, одетая в безукоризненно облегающее ее строгое серое платье; на ее чуть тронутых сединой волосах красовалась кокетливая шляпка с перьями синевато-стального отлива. Эта крохотная кокетливая шляпка и была причиной ее раннего визита к подруге. Баронессе было под пятьдесят, но она выглядела очень молодо; глядя на нее, никто бы не поверил, что у нее уже взрослый сын, обер-лейтенант, выше ее на целую голову.

— Ты выпьешь чашку чая, Франк, и немного посидишь с нами,— распорядилась Клотильда и, не дожидаясь согласия Фабиана, позвонила горничной.— Баронесса фон Тюнен была так мила, что заглянула ко мне на минутку.

— А я и не подозревала, дорогой друг, что как раз сегодня кончается ваш отпуск,— оживленно воскликнула фрау фон Тюнен и улыбнулась слегка деланной улыбкой, которой обычно улыбалась, разговаривая с мужчинами.

— Мне очень приятно, баронесса, что вы первая, кого я встретил по возвращении,— с присущей ему учтивостью отвечал Фабиан.

Ему сразу же бросилось в глаза, что за время его отпуска Клотильда сменила обои в первой комнате, которую она называла своим будуаром. Она выбрала те, о которых давно мечтала, светло-золотистые, с крупными хризантемами. Большие желтовато-розовые цветы, хотя и несколько вычурные, прекрасно гармонировали с ее утренним кимоно, с низкими креслами, стоявшими в комнате, и с желтым индийским ковриком, перешедшим к ней от покойной матери.

За приподнятой бархатной портьерой цвета земляники виднелась раскрытая дверь в ее спальню, откуда доносился слабый аромат духов и эссенций.

— Не забудь поздравить баронессу,— начала Клотильда с любезной улыбкой, способной ввести в заблуждение кого угодно, только не Фабиана.— Господи-

ну полковнику фон Тюнену присвоено звание штандартенфюрера[1].

Фабиан поклонился.

— Примите мои искренние поздравления, баронесса! — воскликнул он, но в голосе его прозвучало легкое разочарование. Он полагал, что полковник будет произведен по меньшей мере в генералы. Ведь господин полковник фон Тюнен давно уже намеревался целиком посвятить себя делу национал-социалистской партии.

Баронесса энергично кивнула головой, и перья на ее шляпке заиграли различными оттенками.

— Да, да,— воскликнула она, и в глазах ее отразился восторг.— Он ведь с самого начала сторонник этого движения и давно добивался должности, достойной его звания полковника. Конечно, он не стал отказываться. «Я должен быть активным участником,— заявил он.— Как патриот и офицер, я считаю своим долгом целиком отдать себя новому движению. Если бы Ней и Мюрат раздумывали до той поры, пока Наполеон не был провозглашен императором, они бы не сделались маршалами и королями, а остались простыми капралами».— Баронесса залилась звонким и очень молодым смехом.

— Вы не можете себе представить,— продолжала она,— как счастлив полковник. Теперь он по крайней мере при деле. Ведь офицеры в отставке очень, очень быстро превращаются в стариков. Честное слово, полковник помолодел на двадцать лет!

Фабиан еще раз выразил свою радость. Полковник фон Тюнен был офицер старого прусского склада, и он восхищался его прямотой и откровенностью. Полковник не таил своих монархических взглядов, агрессивных настроений, отрицательного отношения к республике. Во время мировой войны он храбро командовал полком, и его имя не раз упоминалось в армейских сводках. Тяжелое ранение положило конец его карьере.

Баронесса продолжала с горячностью:

[1] Офицерское звание в войсках СС и штурмовых отрядах, соответствовавшее чину полковника.

— Полковник заразил своим воодушевлением и нашего сына Вольфа, который до сих пор ни о чем, кроме забав, не думал. Он с утра до ночи твердил ему, что если немец в наше время не сумеет выдвинуться, значит, он либо осел, либо безродный проходимец. «Для Германии пробил великий час»,— уверяет он. И правда, мы ведь живем в прекрасное время, в удивительное, великое время. Не так ли?

— Меня очень удивляет, дорогой друг,— с обольстительной улыбкой обратилась она к Фабиану,— что вы, именно вы, до сих пор не сделали окончательного выбора.— Она покачала головой, и в светлых глазах ее отразилось нескрываемое удивление.

Фабиан смутился. По-видимому, Клотильда поделилась с баронессой своими сокровенными мечтами, и дамы в его отсутствие уже не раз беседовали о том, что служило теперь предметом оживленных споров по всей стране.

В отпуску у него было довольно времени, чтобы обдумать все эти вопросы, но сообщать свое решение Клотильде он считал преждевременным.

Фабиан откинулся в кресле и сложил руки, как для молитвы, что он обычно делал, когда собирался произнести обстоятельную речь.

— Ваше желание совпадает с желанием Клотильды, баронесса,— начал он, улыбаясь.— Этот же вопрос часто и столь же нетерпеливо задавала мне Клотильда.

— Меня бы очень удивило, если бы она этого не делала,— засмеялась баронесса и взяла своими холеными пальцами сигарету.

— Боюсь, что Франку не хватает нужной гибкости, баронесса,— вставила Клотильда.

— Гибкости! — Баронесса от восторга даже подскочила в кресле.— Вот слово нашего времени! Гибкость! В наши дни неуклюжая прямолинейность — порок, преступление, непростительное преступление!

Клотильда явно решила разыграть сегодня роль нежной супруги. Она даже улыбалась Фабиану, хотя он сомневался в искренности ее улыбок.

— Мне кажется, что Франку не удастся преодолеть

до конца свои симпатии к прежним политическим партиям,— сказала она.

Фабиан рассмеялся и стал уверять, что не связан тесными узами с какими-либо политическими партиями. Несколько лет он так же, как и баронесса,— о чем он только сейчас узнал,— был близок по своим взглядам к немецкой национальной партии. Позднее его симпатии обратились к партии центра, что вполне естественно, так как он католик. Но все это было несерьезно.

— Я не раз говорил Клотильде,— продолжал он,— что поспешность не в моем характере и что у меня были причины ждать, пока...

— Ждать? Ждать! — перебила его баронесса, смеясь так звонко, что это было уже почти невежливо. Ее смех звучал, как смех молодой девушки. Клотильда вторила ей.

Баронесса фон Тюнен, склонясь, дотронулась до руки Фабиана.

— Дорогой друг,— проговорила она с дружеским упреком,— можно ли еще колебаться? Вы знаете, что изо дня в день твердит полковник? Он говорит, что в Германии народился гений, но немцы никогда не умели распознавать гения, и многие из наших соотечественников все еще не могут отделаться от этого наследственного порока.— Она по-прежнему улыбалась, глядя на Фабиана, но теперь к ее улыбке примешивалось снисходительное сожаление.— И этот наследственный порок, друг мой,— трагическая причина того, что Германия до сих пор не заняла в мире подобающего ей положения.

Фабиан покраснел.

— Простите, баронесса,— произнес он, слегка отодвигая руку и все еще красный от смущения. Он вновь откинулся в кресле и начал многословно пояснять, что считает затронутый вопрос слишком серьезным и значительным — от него нельзя отделаться общими фразами. Он лично хотел выждать, покуда развитие событий не поможет ему разобраться в положении вещей. Разве не долг каждого человека — проверять свои убеждения? Не то его еще заподозрят в приспособлен-

честве, как уже заподозрили многих других. Разве это не так?

Обе дамы утвердительно кивнули. Он безусловно прав! Всем своим видом они давали понять, что готовы его слушать. Фрау фон Тюнен сосредоточенно разглядывала сверкающие камни своих колец, любуясь их переливами на свету. Клотильда закурила сигарету и, вытянув губы, стала пускать струйки дыма, искоса поглядывая на Фабиана.

— Кроме того,— закончил Фабиан, к которому мало-помалу вернулось его обычное спокойствие,— мое положение требовало от меня тщательно продуманных решений. Я офицер и католик!

Он замолчал, видимо, выложив все свои козыри.

III

Фрау фон Тюнен продолжала любоваться своими кольцами, потом оставила их в покое и, вскинув на Фабиана небольшие быстрые глаза, заметила:

— Я вас вполне понимаю. В нашем роду, кстати сказать, протестантском, тоже было немало офицеров и крупных чиновников. Мой двоюродный дед, Бергенштрем, был советником консистории и знаменитым проповедником. Он оставил много известных трудов. Вы никогда о нем не слыхали?

Фабиану пришлось сознаться, что он не слыхал о знаменитом проповеднике Бергенштреме.

Баронесса снисходительно улыбнулась.

— У нас в крови уважение к любому вероисповеданию,— заметила она,— впрочем, это само собой разумеется. Я только не пойму, что вы усмотрели антикатолического в новом движении? — Она все время говорила «движение» и ни разу не произнесла слова «партия».

Фабиан задумался. Исчерпывающе и тактично ответить на этот вопрос было очень не легко.

— Мне показалось,— произнес он, помедлив,— что ему чуждо положительное христианское начало.

Фрау фон Тюнен снова расцвела любезной улыбкой. Она взяла сигарету из чаши, стоявшей на столе.

— А решительное антикоммунистическое направление, разве это само по себе уже не христианское начало? — спросила она.— Для меня, как и для многих других, коммунизм есть прямое отрицание христианства.— Она торжествующе улыбнулась и зажгла сигарету.

Фабиан хотел было возразить, но баронесса подняла свою маленькую унизанную кольцами руку и выпустила в воздух легкое облако дыма. Она покачала головой, голубые перышки на ее шляпке опять заиграли всеми оттенками, и сказала:

— Друг мой, не думаю, чтобы ваш католицизм был достаточно веским аргументом. Нет, нет и нет! Ну может ли политическая партия пробить себе дорогу епископским жезлом! Как вы полагаете?

Обе дамы засмеялись.

Клотильда пожала плечами. С улыбкой, но бросив холодный взгляд на своего супруга, она заметила:

— Говоря по правде, Франк не такой уж ревностный католик. Он редко бывает в церкви и никогда не исповедуется. В глубине души он очень равнодушен к католицизму.— Она опять рассмеялась своим несколько деланным смехом. Чувствуя поддержку, Клотильда, как и многие женщины, смело нападала на мужа, а иногда даже как бы стремилась разоблачить его.

— Но позволь, Клотильда,— учтиво возразил Фабиан,— разве нельзя быть религиозным и не соблюдать обрядов?

Баронесса утвердительно кивнула.

— Разумеется,— подтвердила она,— тем не менее я считаю ваши доводы несостоятельными. Мой муж, как вы знаете, кадровый полковник. А вы, мой друг, если не ошибаюсь, капитан запаса?

Фабиан невольно приосанился, когда баронесса упомянула о его воинском звании. Он был ретивым солдатом и во время мировой войны получил немало наград.

— Позиция армии,— ответил он,— долго оставалась неясной, баронесса. Я неоднократно запрашивал командира полка, не зная, как мне себя вести. И он всякий раз советовал мне выжидать.

Баронесса перебила его. Очаровательно улыбаясь, с сияющими глазами она сказала:

— Ваш командир полка, по-видимому, был не в курсе событий или еще не отрешился от прежнего кастового духа! Вы посмотрите хотя бы на моего мужа и на многих других представителей высшего офицерства. Нет, мой дорогой, кастовые перегородки, слава богу, рухнули. И рушатся ежедневно одна за другой. Когда я думаю о том, что было прежде, меня охватывает ужас! На свадьбе моей племянницы, много лет назад вышедшей замуж за некоего графа Штумма, присутствовала княгиня Грейльсхейм, которую все именовали «ваше сиятельство». С ней носились, точно с королевой, настоящей королевой! Меня она, можете себе представить, вообще не замечала! Точно я воздух! А ведь наш род не менее знатен, чем ее, а может быть, и познатнее.

Баронесса еще и сейчас смеялась при этом воспоминании.

— Нет, нет,— горячо продолжала она,— этого смехотворного кастового духа, слава богу, больше не существует. Сдается, мы приближаемся к тому самому Egalité [1], о котором когда-то мечтали французы. Но полковник, мой муж, утверждает, что именно новому движению мы обязаны тем, что коммунисты еще не зажгли крыши над нашими головами.

— И не перерезали нам глотки,— убежденно добавила Клотильда.

Фабиан улыбнулся. Он не успевал следить за логическими выводами баронессы.

— Судите сами, дорогой мой,— продолжала баронесса; кольца на ее руках сверкнули,— могло ли так продолжаться? Сегодня бастует городской транспорт, завтра — электростанция, и мы сидим без света. До чего же обнаглели эти мастеровые! Немного социализма — это еще куда ни шло, но так — благодарю покорно. Сейчас с этим покончено. Крупная промышленность недаром пожертвовала миллионы на то, чтобы окрепло новое движение.

---

[1] Равенство *(франц.)*.

— Крупная промышленность, по-видимому, сделала это из патриотических побуждений,— вставил Фабиан, и по тону его нельзя было понять, говорит он серьезно или шутит.

— Да, конечно, в первую очередь из патриотических побуждений,— подтвердила баронесса.— Но и опасное, все растущее влияние социалистов несомненно сыграло здесь важную роль. Там, где пахнет миллионами, друг мой, одних идеалов недостаточно. Необходимо было положить конец диктатуре рабочих и профсоюзов с их мерзкими лидерами.— Баронесса снова выпустила облако дыма, на этот раз такое огромное, что оно рассеялось по всей комнате. Щеки ее от волнения окрасились румянцем.— А вы, мой друг, хотите остаться позади? И это при вашей одаренности? Вы — лучший оратор в городе! Вашу замечательную речь в ратуше на торжестве в честь Освободительных войн[1] запомнили тысячи людей, и я в том числе.— Она указала пальцем на себя.

Фабиан слегка поклонился:

— Ваша чрезмерная любезность, баронесса...

Но баронесса, улыбаясь, прервала его:

— Нет, нет, не говорите! Не надо зарывать в землю свои таланты. Вы ни в коем случае не должны отставать от жизни. Быть впереди — ваш долг перед отечеством, перед Клотильдой! — Она откинулась в кресле и кончиками пальцев попробовала, хорошо ли сидит шляпка с перьями голубовато-стального отлива, которая так шла к ней.

Клотильда, наливавшая чай за ее спиной, с едва уловимой насмешкой подняла глаза на Фабиана.

— Обо мне, дорогая, он может и не думать,— сказала она,— этого от него никто не ждет, и менее всего я сама. Но вот о детях ему следовало бы вспомнить. Отец как-никак обязан заботиться о будущем своих сыновей!

Напоминание о детях, которых он страстно любил, заставило Фабиана смутиться.

---

[1] Подразумеваются войны и отдельные вооруженные выступления против Наполеона в Пруссии и других немецких государствах.

Баронесса сразу же подхватила этот аргумент.

— Отцу, который так боготворит своих сыновей, не надо даже напоминать об этом, моя милая! — воскликнула она.— Всякий порядочный человек знает, что его прямая обязанность — заботиться о семье. Вспомните прокурора Голленбаха, который сразу же перешел в имперский суд, или нашего нового бургомистра, господина Таубенхауза, приехавшего из какого-то захолустного городишки в Померании. Вспомните доктора Зандкуля, который вдруг сделался главным врачом больницы, вспомните...

Зазвонил телефон. Клотильда торопливо сняла трубку. Разговор шел о прогулке верхом после обеда. Клотильда с радостью согласилась принять в ней участие.

Фабиан воспользовался случаем и поднялся.

— Вспомните,— настойчиво продолжала баронесса, как только Клотильда положила трубку,— о хозяине «Карпа». Да, да, именно о нем. Сын простого трактирщика, отец его содержал трактир «Золотистый карп». А сейчас? Кто он, по-вашему? Гаулейтер! Первый человек, полновластный повелитель! Более того. Я расскажу вам историю Ганса Румпфа...

Фабиан прервал ее. Он встал и поклонился.

— Я бесконечно сожалею, что должен покинуть дам. Но у меня столько неотложных дел...

Он быстро пошел по коридору. До его ушей донесся звонкий смех Клотильды.

IV

Фабиан торопливо вышел из дому. С портфелем из желтой свиной кожи в руках он деловито шагал по городским улицам. С ним то и дело здоровались, и он едва успевал снимать шляпу, отвечая на приветствия. Его желтый портфель знал весь город; Фабиан состоял членом всех видных кружков и обществ: Конкордии, музыкального и театрального ферейнов, теннисного клуба, мужского квартета, общества содействия процветанию города и т. д. и т. п. И почти в каждом из них занимал почетное положение. Ни одно общественное мероприятие в городе не обходилось без его участия.

Городской шум и суета были ему приятны и заставляли позабыть о долгих месяцах пребывания на скучном курорте для сердечнобольных. Автомобильные гудки, звонки трамваев, люди, торопливо пробегающие по улицам,— все это наполняло его новым, большим, жизнеутверждающим чувством.

Фабиан был видный, хорошо сложенный мужчина с безукоризненными манерами. Его покрытое легким деревенским загаром лицо, вьющиеся каштановые волосы и живые серо-голубые глаза были, пожалуй, даже слишком красивы. К тому же он слыл одним из первых щеголей в городе и проявлял почти мелочную заботу о своей наружности.

Сначала Фабиану казалось, что за время его отсутствия ничего не изменилось, и, только приглядевшись как следует, он заметил много разных перемен.

Книготорговец Диллингер — Фабиан был его постоянным покупателем — расширил свой магазин, захватив лавку соседа. Странно! Прежде этот Диллингер считался демократом социалистического толка, многие даже называли его коммунистом; а теперь его витрина полна национал-социалистских листков и открыток с портретами нынешних правителей. А вот и сам Диллингер, миниатюрный, приглаженный человечек, кладет на витрину книгу с иллюстрациями явно антисоветского характера. Даже в пышной витрине ювелира Николаи Фабиан обнаружил под лавровым деревцем бюст фюрера. Пройдя еще несколько домов, он поравнялся с мастерской портного Мерца,— окно завалено рулонами желтого и коричневого сукна; возможно ли, что он, Фабиан, сегодня впервые видит их? Мерц, седой старичок с почти прозрачным лицом, стоя в дверях своей мастерской, почтительно приветствовал Фабиана.

— Ваше зимнее пальто готово, господин доктор,— сообщил он.

Фабиан ответил, что на днях зайдет за ним.

Повсюду он натыкался на эмблемы, значки, фотографии и бюсты фюрера. Или он раньше просто не замечал их?

Фабиан завернул на площадь Ратуши, где сегодня, как и всегда по средам и субботам, был базар. Он не-

много постоял, радуясь суете, оживлению и солнцу, заливавшему площадь.

Затем он пробрался между хлопотливыми хозяйками, крестьянскими женщинами и целыми грудами корзин с овощами к своему любимому фонтану в углу площади. Годами он каждый день видел его перед собой и сегодня приветствовал с особой радостью, как старого друга. Он даже улыбнулся ему. Фигура стройного юноши посреди бассейна задумчиво отражалась в воде. В городе этот фонтан называли «Фонтаном Нарцисса». На мраморном бассейне четкими буквами была выгравирована фамилия: Фабиан. Это была скульптура его брата Вольфганга, к которому он относился с любовью и восхищением.

Нехорошо, что за время отпуска он написал Вольфгангу всего несколько открыток. Во искупление своей вины Фабиан решил, что первый его визит будет к брату. Другие подождут.

Ратуша в нескольких шагах от Рыночной площади, построенная в стиле модернизированного барокко, несмотря на всю свою пышность и роскошь, производила казенное, будничное впечатление. Чего-то ей недоставало, а чего именно, никто не знал. Неподалеку от главного входа с широкой, торжественной лестницей находилась лестница поуже, которая вела в служебные помещения. По ней обычно подымался Фабиан, заведовавший юридическим отделом магистрата и, кроме того, имевший обширную частную адвокатскую практику. Никого не встретив в пустом, холодном вестибюле, через который проходили только чиновники, Фабиан торопливо взбежал по лестнице в свой кабинет.

Он хотел отпереть дверь, но ключ не влезал в замочную скважину; значит, изнутри вставлен другой. Фабиан растерянно отступил: не ошибся ли он этажом? Но в эту минуту за дверью послышались чьи-то шаги, она распахнулась, и на пороге выросла долговязая фигура какого-то молодого человека. Его длинная деревянная физиономия казалась выточенной грубым резцом. Цвет лица у него был землистый, как у человека, ведущего беспутный образ жизни.

— Что вам угодно? — холодно и отрывисто произнес молодой человек с деревянной физиономией, глядя сверху вниз на Фабиана.

Фабиан смотрел на него, раскрыв рот от изумления. Не снится ли ему все это, спрашивал он себя, пытаясь в то же время разгадать таинственное появление этого молодого человека, ростом на целую голову выше его.

Медленно отступая, он всматривался в неподвижное, застывшее и в то же время надменное лицо долговязого парня и вдруг стал припоминать. Молодой человек работал когда-то у советника юстиции Швабаха то ли практикантом, то ли стажером, и Фабиан несколько раз обсуждал с ним разные юридические вопросы. Фамилия его, кажется, Шиллингер или что-то в этом роде. Насколько ему помнится, это был студент-неудачник, с грехом пополам сдавший несколько экзаменов. Советник юстиции Швабах, не способный обидеть даже мухи, держал его одно время у себя из доброты душевной и еще каких-то никому не ведомых побуждений. Молодой человек слыл фанатичным приверженцем нацистской партии, и теперь Фабиан ясно вспомнил, что не раз встречал его за сбором пожертвований.

Он вдруг почувствовал всю унизительность своего положения, и кровь бросилась ему в лицо. Смешно вот так, ни слова не говоря, торчать перед надменными взорами этого молокососа!

— Господин Шиллингер, если не ошибаюсь? — произнес он наконец.— Вы, конечно, понимаете, что я несколько удивлен? — Он сразу овладел собой и даже улыбнулся своей подкупающей улыбкой.

Долговязый молодой человек сухо поклонился, причем создавалось впечатление, что у него сгибается только верхняя половина туловища, нижняя же остается неподвижной, и растянул толстые губы, что, видимо, должно было обозначать улыбку.

— Моя фамилия Шиллинг,— холодно ответил он.— Если не ошибаюсь, господин доктор Фабиан?

После того как Фабиан утвердительно кивнул головой, он открыл дверь пошире и нескладным жестом

пригласил его войти. Голос его звучал несколько более приветливо, когда он сказал:

— Пожалуйте! Я уже неделю как назначен заведующим юридическим отделом. Что касается вашей дальнейшей деятельности, то вы все узнаете из письма, которое уже давно дожидается вас.— Молодой человек подошел большими шагами к письменному столу и протянул Фабиану письмо в коричневом конверте, из чего явствовало, что это служебное уведомление.— Прошу.

Фабиан почувствовал, что колени у него подгибаются, а сердце учащенно бьется. «Эх, опять сердце»,— промелькнуло у него в голове. Дурные предчувствия овладели им.

— Мы несколько раз встречались с вами у советника юстиции Швабаха, коллега,— к собственному изумлению, спокойно проговорил он и взял письмо,— но вы, кажется, давно уже расстались с ним,— добавил он непринужденным тоном, как бы желая завязать пространную беседу. Он даже положил шляпу и желтый портфель на знакомую этажерку с книгами, вид которой успокаивающе действовал на него.

— Я сдавал не сданные в свое время экзамены,— отвечал Шиллинг и обратил взгляд к высокому окну, давая этим понять, что не расположен вступать в продолжительный разговор. Он даже отвернулся, и Фабиан увидел прыщи и угри на его щеке.

— Разрешите мне задержать вас на минуту. Ведь это служебное письмо,— вежливо обратился он к долговязому.

— Пожалуйста,— безразлично отозвался тот, не поворачивая головы и недвусмысленно намекая Фабиану, что хотел бы избавиться от него как можно скорее.

Но Фабиан уже пробежал глазами письмо. Он был просто-напросто уволен, и теперь ему предлагалось ожидать нового назначения. Внизу стояла подпись того человека, чью фамилию Фабиан вчера впервые услышал: Таубенхауз.

Фабиан побледнел. Дурное предчувствие оправдалось. Но он быстро овладел собой, подошел к молодому человеку и протянул ему руку.

— Благодарю, господин Шиллинг,— произнес он любезным тоном и добавил: — Если вы, знакомясь с делами, натолкнетесь на что-либо, что потребует разъяснения, позвоните мне, я охотно помогу вам. Вот, например, в деле «Краус и сыновья» вопрос о правах на воду очень неясен.

Несмотря на охватившее его волнение, Фабиану удалось сохранить спокойный деловой тон в разговоре с этим молодым человеком, напыжившимся от злорадного торжества.

— Благодарю,— сказал молодой человек, не удостаивая Фабиана даже взглядом.— При случае я вам позвоню. Дело «Краус и сыновья» не актуально. Это ведь еврейская фирма.

Он снова отвесил деревянный поклон, и Фабиан вышел из комнаты.

V

Закрыв за собой дверь, Фабиан тихонько рассмеялся. «Ты позвонишь еще не раз, самонадеянный осел»,— злобно подумал он и медленно, с трудом переводя дыхание, пошел по коридору.

Конечно, он очень испугался; у него еще и сейчас дрожали колени, но тем не менее его нынешнее положение уже представлялось ему не в таких мрачных красках. Как-никак, а у него есть служебный договор с магистратом. Его нельзя просто выставить за дверь. Скорей всего, почти наверное, нужно было пристроить этого молодого бездельника, а для него, Фабиана, уже приготовлен более важный и достойный пост. Спокойствие постепенно возвращалось к нему.

Вдруг какой-то маленький, довольно толстый человек стремглав взлетел по лестнице и промчался мимо него. Сдвинув шляпу на затылок, маленький толстяк быстрым шагом подошел к двери соседней комнаты и стал торопливо отпирать ее. По этой торопливости и живости Фабиан узнал его. Это был городской архитектор Криг, его близкий приятель. В ту самую минуту, когда тот уже собирался проскользнуть в дверь, Фабиан окликнул его.

Криг обернулся.

— Дружище,— воскликнул он обрадованно и так громко, что этот возглас гулко отдался в коридоре,— наконец-то! Заходите ко мне, дайте на вас поглядеть.

Он с нескрываемой радостью подбежал к Фабиану и стал трясти его руку.

— Вы должны рассказать мне о вашем отпуске, друг мой. Значит, снова воскресли из мертвых! — продолжал он с громким смехом, вталкивая Фабиана в свой кабинет.— Ну, рассказывайте. Опять я сегодня опоздал! Как ни стараюсь, не могу прийти вовремя!

Городской архитектор, маленький, розовощекий, с брюшком и седой эспаньолкой, в неизменном черном галстуке бантом, был подвижной и живой, как ртуть, человечек, что проявлялось в каждом его действии и жесте.

— Что это у вас? — вдруг перебил он Фабиана, рассказывавшего о том, как он проводил отпуск, и указал на коричневый конверт, который тот положил на портфель. Не дожидаясь ответа, он подбежал к одной из дверей, приоткрыл ее и просунул в нее голову.

В соседней комнате, откуда доносился неумолкающий стук пишущих машинок, работали его подчиненные.

— Я хотел только убедиться, не подслушивают ли нас. Приходится быть очень осторожным с тех пор, как к нам затесался этот новый,— пояснил он вполголоса, закрывая дверь, и снова указал на коричневый конверт.— Бьюсь об заклад, что это такое же письмо, какое уже получили десятки наших коллег! — воскликнул он смеясь, бросился в кресло и с довольным видом хлопнул себя по круглой короткой ляжке.

Фабиан утвердительно кивнул, у него стало легче на душе, когда он узнал, что разделяет участь многих.

— Неужели десятки? — спросил он, даже не скрывая своей радости. Его беспокойство исчезло, уступив место обычному хорошему расположению духа.

— Да, десятки; одним словом, все, кого до сих пор не воодушевили идеи нацистской партии. Я тоже,— рассмеялся Криг и ткнул себя пальцем в грудь,— каждый

божий день ожидаю такого письма. Да, друг мой, всем нам еще придется испить эту чашу, хотим мы или не хотим... Не принимайте этого близко к сердцу, вам опасаться нечего. Вы — адвокат с блестящей практикой, женатый на Прахт, которая принесла вам в приданое четыре дома! Я — другое дело. У меня в банке гроши, а дома взрослые дочки, у которых с каждым днем все больше претензий. С горя я вчера даже напился. Да, друг мой, придется, как видно, снова начинать с десятника или чертежника в строительной конторе.— Он горько рассмеялся и взъерошил свои седые волосы.— Вот с кем беда, так это с нашим Крюгером!

— Да, как я слышал, ему пришлось очень туго.

— Бедный Тео, его нельзя не пожалеть! — Криг тихонько свистнул. — Плохо, очень плохо!

— Такой дельный человек, как Крюгер, легко устроится,— заметил Фабиан.

Криг пожал плечами и с грустью в голосе возразил:

— Нет, легко он не устроится! Государственные учреждения не имеют права принять его на службу, а частные фирмы редко отваживаются на что-либо подобное. К тому же печать вконец испортила ему репутацию и очернила его с ног до головы.

Фабиан взглянул на него с изумлением.

— Но ведь Крюгера так любили у нас! — воскликнул он.

— Когда-то любили,— продолжал Криг.— Но времена теперь не те. Человек, просиживавший каждую ночь в кабаках с людьми весьма сомнительной репутации? Не с вами и не со мной, мой милый, а с социал-демократическими отцами города и еще худшим сбродом. Человек, игравший выдающую роль в масонских кругах? Добром это не кончится! Против него собираются возбудить преследование.

— Судебное преследование?

— Да,— кивнул архитектор,— он будто бы растратил деньги, принадлежащие городу; поговаривают, что летом по вечерам он отправлялся со своей симпатией на машине за город подышать свежим воздухом.

А бензин и масло оплачивались из средств магистрата. Кроме того, нет, вы только послушайте, он часто разговаривал с ней по телефону, по крайней мере три раза на дню, три раза! — Криг хохотал так, что его красные щечки залоснились. И правда, нельзя было без смеха смотреть на растерянный вид Фабиана.— Вот из этого-то они и совьют ему веревку, помяните мое слово!

— Неужели возможно что-либо подобное? — с недоверием спросил Фабиан.

— Что за крамольные мысли!— воскликнул Криг.— Вы еще до сих пор не уяснили себе, откуда ветер дует! В немецком государстве должен быть снова водворен порядок. Если вы член нацистской партии, то поступайте как вам заблагорассудится, но если вы не член этой партии, то извольте быть образцом добродетели. Кстати, вы уже виделись с вашим братом Вольфгангом? — добавил он.

— Я буду у него сегодня,— сказал Фабиан.

Криг наклонился к уху Фабиана:

— Брат ваш Вольфганг такой же вольнодумец, как мы с вами, ужасный вольнодумец! — Он опять засмеялся, и щеки его заблестели.

Потом он рассказал, как несколько дней назад сидел с приятелями в «Глобусе»; там были еще учитель Глейхен и брат Фабиана — Вольфганг. Разговор зашел о свободе слова и мнений, и вот тут-то и проявился бунтарский дух Вольфганга.

— Вы ведь знаете его темперамент! «Разве мы затем две тысячи лет боролись с королями и попами, чтобы сейчас позволить надеть на себя намордник? — кричал Вольфганг.— Нет, нет и еще раз нет! Ни один немец не позволит заткнуть себе рот. И я буду высказывать свои мнения, хотя бы меня за это привязали к пушке, как, говорят, в свое время делали англичане с индусами». Он здорово разошелся, вы ведь его знаете. В ресторане были еще люди, они начали прислушиваться. За круглым столом сидели постоянные посетители — нацисты. Эти, конечно, тоже навострили уши. Один из них — какой-то начальник, судя по звездам и значкам на воротнике. И этот сидел там...— Архитек-

тор ткнул большим пальцем по направлению к двери.— Этот самонадеянный осел, ваш преемник.

Фабиан расхохотался. Мысленно он только что дал ему то же самое определение.

— Его фамилия Шиллинг,— заметил он.

— Ну, так и этот господин Шиллинг был там,— продолжал Криг.— Нам стоило немало трудов угомонить Вольфганга. Он так увлекся, что ломал себе руки. Если вы сегодня увидитесь с ним, просите, молите его вести себя посдержаннее. Его слова могут быть неправильно истолкованы. Тайная полиция теперь снова усердствует.

Фабиан обещал предостеречь Вольфганга и собрался уходить.

— Вы уже видели нового хозяина города,— спросил он, пожимая руку Крига,— этого самого Таубенхауза?

— Конечно, мне часто приходится иметь с ним дело. Видный собою и весьма обходительный человек. Что касается его способностей, то о них никто еще не составил себе определенного мнения. Родом он из маленького городка в Померании, где, как он сам говорит, гуси и козы разгуливают прямо по рыночной площади. Его конек — точность при исполнении служебных обязанностей и крайняя бережливость. Я сейчас отделываю ему казенную квартиру, и этим, конечно, объясняется, почему я до сих пор не получил письма в коричневом конверте.— Криг рассмеялся.— При отделке квартиры он, правда, не скопидомничает, о нет! Ему всего мало, все для него недостаточно добротно. Даже ручки на дверях он велел заменить новыми, из бронзы. А спальня! Право, стоит посмотреть. Такой царственной спальни вы, мой друг, еще не видывали. Наш Крюгер не узнал бы своей прежней квартиры.

— Увольнение Крюгера — тяжелая потеря для города,— заметил Фабиан, принимавший эту новость очень близко к сердцу.

Архитектор проводил его до дверей.

— Тяжелая, очень тяжелая,— откровенно признался он.— Для меня особенно, говорю вам это как другу.

Мне ведь удалось заинтересовать Крюгера своим заветным планом.— Заметив по глазам Фабиана, что он впервые слышит об этом, Криг удержал его за пуговицу.— Вы ничего не знаете о моем плане, уважаемый друг? — снова с увлечением заговорил он.— Нет? Неужели? Я уж много лет мечтаю переделать площадь перед скучным старым зданием Школы верховой езды. Окружающие его дома должны быть превращены в торговые ряды с изящной колоннадой. Понимаете? Туда надо перенести рынок, таким образом ярмарки тоже будут устраиваться у торговых рядов, площадь перед ратушей освободится, и мы разобьем там цветник. Фонтан вашего брата тоже очень от этого выиграет.

— Да, это интересная идея,— согласился Фабиан, почти не слушая его.

Криг сиял.

— Идите сюда, идите сюда,— кричал он и тянул Фабиана за пуговицу,— я сейчас покажу вам мои эскизы, вы будете в восторге. Крюгер просто влюбился в них и совсем уже собрался строить торговые ряды. Вдобавок это вовсе не разорительный проект. Арендная плата за магазины все окупит!

Но Фабиан отказался, заявив, что у него еще много дел.

— В другой раз, дорогой мой, сегодня никак не могу.

— Итак, я жду вас в ближайшие дни. Помните, что вы всегда желанный гость! — сказал Криг.— За работу, за работу! — вдруг крикнул он и, приплясывая, заспешил к своему столу.

VI

Короткая беседа с городским архитектором обнадежила Фабиана. Теперь он был почти уверен, что ему обеспечено отличное назначение. Будь на то его воля, он явился бы к этому господину Таубенхаузу, чтобы пожать ему руку и отрапортовать:

— Я, Фабиан, честь имею доложить о своем возвращении из отпуска. Во время мировой войны, имея семнадцать лет от роду, пошел добровольцем на фронт.

Служил в артиллерии, произведен в офицеры, на передовой награжден Железным крестом первого класса, немец до мозга костей.

Проходя по площади Ратуши, он весело улыбался.

Солнце грело совсем как летом, и сияние голубого неба наполняло радостью сердце Фабиана. Базарный день кончился. По площади громыхали телеги, в которых сидели крестьянки с пустыми корзинами в руках. Метельщики со шлангами и метлами суетились, сметая в кучи капустные листья.

Фабиан опять постоял у «Фонтана Нарцисса». «Жаль,— подумал он, снова тронувшись в путь,— что у Вольфганга так мало честолюбия. Год назад ему предложили кафедру в Берлине; но он предпочел остаться здесь в качестве преподавателя незначительного художественного училища. Берлин внушал ему страх; Вольфганг считал, что там у него не будет свободы творчества. Жаль! Жаль! Он бы уже многого достиг!»

Брат Фабиана Вольфганг проживал в Якобсбюле, старинной деревушке, расположенной в получасе ходьбы от города. На деньги, полученные за «Фонтан Нарцисса», он приобрел старый деревенский дом, стоявший в глубине фруктового сада. В Якобсбюль можно было проехать трамваем, но в такую чудесную осеннюю погоду Фабиану захотелось пройтись пешком.

Пересекая северную рабочую окраину города, он прошел мимо ряда длинных строений очень современного вида — корпусов завода Шелльхаммеров, на котором работало более пяти тысяч человек. Этому заводу город был в значительной мере обязан своим благосостоянием. Вскоре Фабиан вышел на открытое место и по тополевой аллее направился в Якобсбюль.

К огорчению Вольфганга, за последние годы здесь выросло несколько нарядных дач. Но, несмотря на это, деревушка выглядела почти так же, как сто лет назад. Дом, принадлежавший Вольфгангу, тоже не изменил своего облика, и возле садовой калитки, рядом с узкой грядкой старомодных фиолетовых астр, по-прежнему находился простой деревенский колодец.

Когда Фабиан открыл калитку, из низкого кухонного оконца ему закивала старая крестьянка, домоправительница Вольфганга. Через маленькую переднюю Фабиан вошел в просторную мастерскую Вольфганга, где было до того накурено, что поначалу он ничего не мог различить и только немного погодя заметил двух мужчин, которые сидели в низких креслах у высокого окна, курили сигары и оживленно беседовали. Перед ними на круглом столе стояло два наполовину пустых бокала с вином, а рядом возвышалась еще не просохшая скульптура в рост человека.

Фабиан узнал брата по светлой рабочей блузе, растрепанной гриве темных, чуть тронутых сединой волос и по торчавшей у него изо рта тонкой сигаре «виргиния». Второй человек с каштановыми вьющимися волосами, по-видимому, был учитель Глейхен, часто навещавший Вольфганга.

— Безобразие, бесстыдство! — восклицал в этот момент Глейхен, взволнованно жестикулируя и хватая со стола бокал.

Вольфганг первый заметил Фабиана и бросился к нему навстречу.

— Франк! — обрадованно крикнул он.— Да ведь это же Франк!

Учитель Глейхен тоже встал, приветствуя его, и Фабиан снова поддался очарованию его красивого, бархатного голоса.

— Какой приятный сюрприз! — продолжал скульптор.— Ты пришел как раз вовремя на наше маленькое совещание, и мы приветствуем тебя вином! — Он открыл большой разрисованный красными розами шкаф, заполненный бутылками и бокалами всех размеров, и поставил несколько бокалов и бутылку на ящик с глиной, рядом с еще влажной скульптурой.

— Вот портвейн, Франк, который может воскресить и мертвого! — крикнул он весело. И, глядя с нежностью на Фабиана, наполнил бокалы.— Сегодня, вернее несколько часов назад, я твердо решил закончить эту вещь и послать в октябре на большую выставку в Мюнхен. Это мы только что и обсуждали. Глейхен уговорил меня, и мы спрыснули это решение. А твой

приход, Франк, я расцениваю как счастливое предзнаменование.

Взгляд Фабиана скользнул по влажной гипсовой фигуре.

— «Юноша, разрывающий цепи!» — воскликнул он.— Наконец-то ты взялся за него!

Вольфганг кивнул головой.

— Да, он самый,— произнес он.— Ну, теперь-то уж я его закончу, хотя придется еще здорово поработать несколько недель.

— Вы же знаете Вольфганга,— вмешался в разговор Глейхен,— он никогда не бывает доволен. А я считаю, что самая небольшая переделка будет уже преступлением.

Скульптор засмеялся.

— Надо кое-что исправить в форме спины,— возразил он.— Но разве педагог понимает что-либо в спинах? Еще месяц, и я закончу. Обещаю вам, Глейхен.

Вольфганг очень считался с мнением Глейхена.

Глейхен — скромный учитель, был популярен как журналист и часто печатался в искусствоведческих журналах.

Фабиан не раз видел «Юношу, разрывающего цепи». Вольфганг работал над ним уже больше года. Иногда эта скульптура месяцами стояла в углу мастерской, закутанная в мокрые тряпки и заброшенная. Он обрадовался, что Вольфганг закончил, наконец, свое произведение, и, по-видимому, закончил его удачно.

Юноша, почти мальчик, едва заметно улыбаясь упрямым ртом, со сдержанной силой разрывает о колено звенья цепи. Вот и все. Легкий наклон тела, глубокий вдох, расширяющий грудную клетку, сдержанное и непреодолимое напряжение всех сил казались Фабиану почти совершенством. Вольфганг не признавал ничего чрезмерного, грубого, насильственного. «Мускулы — это не мотив для пластического искусства»,— говорил он. Фабиан не мог удержаться от громких выражений восторга.

— Великолепно, только Менье мог так прочувствовать все это.— Он любил показывать на людях свою эрудицию и многосторонность.

— Замолчи, умоляю тебя,— перебил его Вольфганг.— Слова еще не создали ни одного произведения искусства, но разрушили уже многие.

Посасывая сигару, он время от времени испытующе посматривал на скульптуру.

Фабиан только сейчас заметил цоколь, на котором были высечены слова: «Лучше смерть, чем рабство».

— Этот девиз появился недавно,— спросил он,— или я не замечал его раньше?

Вольфганг помолчал немного и вдруг расхохотался.

— В том-то и дело! Из-за этого девиза я и стремлюсь выставить «Юношу», и выставить именно теперь! Ведь правда, Глейхен? Мы с вами много об этом толковали.

Глейхен утвердительно кивнул головой.

— Это протест,— пояснил он, и красные пятна выступили на его худых, впалых щеках,— протест против рабской покорности.

— А не будет ли такой протест расценен как провокация? — спросил Фабиан.

Вольфганг пожал плечами.

— Еще вопрос, поймут ли, что это протест. А если его воспримут как провокацию, тем лучше. Мне все безразлично. Так или иначе, протест дойдет до тысяч людей, и моя цель будет достигнута. А пока что закроем его.

Вольфганг накинул на скульптуру мокрые тряпки, и она снова превратилась в уродливую, бесформенную глыбу. Цоколь с девизом он обернул в последнюю очередь.

— А теперь, Франк, расскажи ты нам, что делается на белом свете? — обратился он к брату.— Ты останешься обедать, это само собой разумеется, Глейхен тоже остается. Ретта угостит нас пончиками, она большая мастерица их печь. Давайте-ка сядем поближе к окну.

Вольфганг почти всегда находился в радостном, творческом возбуждении. На два года старше Фабиана, он был немножко ниже его ростом и крепче сложением, черты лица его были мужественнее и грубее

черт брата. Волосы всегда находились в хаотическом беспорядке, и в них мелькало много серебряных нитей. Его светло-карие глаза с темными крапинками искрились радостью. Но было в этих глазах и что-то странное, таинственное, не сразу поддававшееся определению. В противоположность брату он обращал мало внимания на свою внешность, и сейчас его светлая рабочая блуза была измята, выпачкана пеплом и засохшей глиной. Он явно находился в пылу работы и творческих исканий. Вольфганг часто смеялся и говорил отнюдь не так чисто, изящно и плавно, как его брат.

Учитель Глейхен, человек с вьющимися, почти совсем седыми волосами, с резко очерченным, суровым лицом и мрачными пламенными глазами, был ростом несколько выше их обоих. Обычно молчаливый, он, когда начинал говорить, поражал всех изысканностью и красотой речи.

Вольфганг закурил новую «виргинию» и постарался привлечь внимание Фабиана к вазе, стоявшей на столе.

— Посмотри, Франк, ведь это старинная китайская ваза, я хочу раскрыть тайну ее глазури.

Они заговорили о глазури и обжигательной печи Вольфганга, которой тот очень гордился.

В это время вошла домоправительница Вольфганга Маргарета, которую все называли Реттой. Вольфганг был холост, считая, что женщины и дети вносят слишком много беспокойства в жизнь, а художник должен жить для искусства. Женщины, видимо, мало интересовали его, и Фабиан только однажды слышал от него восторженный отзыв об одной из них, а именно о некой Беате Лерхе-Шелльхаммер, которую они оба знавали еще в дни ее молодости.

Ретта, по-крестьянски одетая, приземистая, на редкость уродливая, смахивавшая лицом на ведьму, бесцеремонно вошла в мастерскую и направилась прямо к Вольфгангу. По мере приближения она, казалось, становилась меньше ростом, а на ее худом лице явно проступали растерянность и беспокойство.

— Перед домом ветеринара Шубринга останови-

лась машина,— сообщила она взволнованно,— скверное дело. Люди в машине все время указывают на наш дом.

— Машина, что ли, скверная? — засмеялся Вольфганг.

— А хоть бы и так. В ней сидят двое людей в военной форме и шофер! — О, шофера она знает! Тот же самый, что был в троицын день, когда забрали пастора Рейхлинга после проповеди.— Да вот посмотрите сами,— закончила Ретта и тихонько подошла к одному из маленьких оконец, выходящих на улицу.

Перед домом ветеринара Шубринга — одной из тех безвкусных вилл, которые терпеть не мог Вольфганг, стояла обыкновенная большая автомашина. Около нее возился шофер, низкорослый и немного горбатый; по этим приметам Ретте и показалось, что она узнала его. Возле ветеринара Шубринга, коренастого толстяка в штатском, чью лысину было видно издали, стояли двое в коричневой военной форме. Толстяк, видимо, что-то объяснял им, то и дело указывая пальцем на дом скульптора.

— Они все время смотрят на наш дом,— снова взволнованно заговорила Ретта, отходя от окна.— Это они к вам пожаловали, господин профессор.

Маленький шофер открыл дверцы, и те двое в коричневых рубашках вошли в машину.

— Господин профессор, они едут к нам,— вне себя от страха повторила Ретта. Лицо ее стало желтым.— Я сразу поняла, что это дело скверное.

— Чего же ты испугалась, Ретта, может быть, они хотят заказать памятник,— пошутил Вольфганг.

Машина подъехала к дому и резко затормозила. Ретта вздрогнула.

— Что я вам говорила? — прошептала она и вся сжалась.

Вот они уже дернули звонок. Колокольчик издал хриплый звук.

— Уходите в поле, господин профессор,— дрожа, прошептала Ретта,— я скажу, что вас нет дома. Иначе не оберетесь хлопот.

Она пошла открывать, но Вольфганг остановил ее

Глейхен озабоченно повернулся к скульптору:

— Я ведь вам сразу сказал тогда в «Глобусе». Вы были слишком неосторожны. Это молодчики с Хейлигенгейстгассе. Я их знаю.

Снова зазвонил колокольчик, на этот раз уже на весь дом. Проволока туго натянулась, и тут же раздался сильный стук в дверь.

Теперь и Фабиана охватило беспокойство.

— Ретта права, уходи в поле, Вольфганг,— быстро проговорил он.— Ты избавишь себя от неприятностей. Я открою.

Но Вольфганг вместо ответа решительно направился к двери.

— Не надо ставить себя в смешное положение,— бросил он и открыл дверь мастерской.— Кто здесь? — громко спросил он. Трое остальных затаили дыхание.

В маленькой передней послышались голоса, затем хлопнула дверь, и голоса, уже более громкие, стали слышны за стеной. Прошло несколько минут, в соседней комнате все еще раздавались голоса, потом они снова послышались из передней.

— Рекомендую не опаздывать,— грубо произнес кто-то.

Входная дверь захлопнулась.

Вольфганг вернулся в мастерскую. Вид у него был растерянный, лицо бледное, руки тряслись, когда он взял спичку, чтобы зажечь потухшую сигару.

— Какие гнусные твари! — злобно буркнул он.

Ретта первая решилась нарушить молчание.

— Боже мой, какой вы бледный, господин профессор! — вскрикнула она.

Наконец, он все-таки зажег сигару. На его лице снова появился румянец.

— Иди в кухню, Ретта, и займись обедом,— повелительно произнес он, покосившись на нее.

Ретта мгновенно исчезла. В таком состоянии она еще никогда не видела профессора.

— Слава богу, что ты вернулся, Вольфганг,— произнес Фабиан.— Что им от тебя понадобилось?

Вольфганг возмущенно пожал плечами.

— Ну и самомнение у этих парней! — еле слышно

пробормотал он, затягиваясь сигарой.— Какая беспримерная наглость! Они принесли мне повестку.

— Повестку? — испуганно переспросил Глейхен, вскинув кверху свое худое лицо; глаза его загорелись.— На Хейлигенгейстгассе? — Глейхен отлично знал что к чему.

— Да, Хейлигенгейстгассе, семь, сказали они,— понемногу приходя в себя, ответил Вольфганг,— я должен явиться туда завтра утром к девяти часам.

— С этими молодчиками шутки плохи, профессор,— воскликнул Глейхен,— я их знаю! Но на сей раз как будто обошлось. Они говорили вам что-нибудь про «Глобус»?

— Да,— пробормотал Вольфганг,— требуют объяснений по поводу тех слов, которые я несколько дней назад обронил в «Глобусе».

Глейхен свистнул.

— Вот видите! — воскликнул он.— Я же говорил: будьте осторожны, это подозрительные субъекты!

Скульптор бросил недокуренную сигару на пол и растоптал ее. В этом жесте, казалось, излилось его раздражение.

Вынув из кармана новую сигару, он сказал уже своим обычным голосом:

— Не будем больше говорить об этой мерзости.— К нему вернулось прежнее хорошее настроение.— Пожалуйте к столу, господа. Не может быть, чтобы эти хамы испортили нам аппетит,— и он распахнул дверь в скромно обставленную столовую.

VII

— Ну, теперь перекусим, господа,— веселым голосом сказал Вольфганг, обращаясь к гостям.— Сейчас вы убедитесь, что никто не печет пончики лучше Ретты. За стаканом мозеля мы забудем все эти мерзости; они становятся нестерпимы. Выпьем за то, чтобы поскорей наступили лучшие времена.

Фабиана заставили подробно рассказать о своем лечении; Вольфганг настойчиво допытывался, чем заполняется время на скучном курорте для сердечников.

Во время этого скромного обеда Вольфганг, казалось, совсем позабыл о неприятном инциденте. После обеда он вытащил из ларя два канделябра, выполненных им по заказу одного фарфорового завода. Завод намеревался выпустить серию таких шестисвечных канделябров, на которых, как живые, сидели пестрые попугаи и какаду. Вольфганг обжигал их в своей печи.

Подсвечники были прелестны и напоминали старинный мейсенский фарфор. Фабиан и Глейхен пришли в восторг. Фабиан попросил оставить за ним первый выпуск, а Глейхен все время твердил, какая это большая заслуга вновь вдохнуть жизнь в захиревшую художественную промышленность.

— Конечно, я прекрасно понимаю, Глейхен,—сказал Вольфганг,— что теперь, когда наша страна наводнена бог знает какими дрянными изделиями, настоящая художественная промышленность необходима, как хлеб насущный. И все-таки я еще не знаю, принять ли мне заказ. О время, время, где мне взять тебя!

— Прежде всего не забывайте о «Юноше, разрывающем цепи»,— напомнил Глейхен.— Я очень рассержусь, если вы не сдержите слова.

Сразу после обеда Глейхен и Фабиан ушли. Фабиану надо было в город, и Глейхен, которому предстояло еще навестить кого-то по соседству, вызвался немного проводить его.

Несколько минут оба молча шагали по деревенской улице, с двух сторон обсаженной величественными тополями. С полей давно уже был снят урожай, и то тут, то там виднелось жнивье, мокрое и жалкое. Пока они сидели за обедом, прошел сильный дождь... Тополя еще были окутаны влажной дымкой, и одинокие дождевые капли блестели на листве.

Наконец, Глейхен заговорил, как обычно, округленными фразами:

— У меня создалось впечатление, что ваш брат Вольфганг несколько легкомысленно отнесся к этой повестке. А между тем она добра не предвещает.

— Что ж тут удивительного, Глейхен? Вольфганг

всегда отличался беззаботностью,— рассеянно заметил Фабиан.

— Я нередко указывал вашему брату на то, что самые невинные его слова могут быть ложно истолкованы. Ведь тут все дело в интерпретации. Гестапо в настоящее время проявляет устрашающее рвение. Так, например, одна молодая продавщица была арестована только за то, что откровенно расхохоталась во время речи фюрера! С того дня она бесследно исчезла.

Фабиан негромко рассмеялся:

— Согласитесь, Глейхен, не может же глава государства позволить высмеивать себя.

В серых глазах Глейхена на мгновение зажегся мрачный огонек. Смех и безобидная шутка Фабиана не понравились ему. Да, в такое время следует быть осторожнее и не торопиться открыто высказывать свое мнение.

Погруженный в собственные мысли, Фабиан замолчал и ускорил шаг. «Вольфганг все еще верит, что скоро все изменится,— думал он.— Нет, мой милый, и я когда-то так думал. Теперь я знаю, что заблуждался. Все это — на много лет».

Глейхен тоже зашагал быстрее и бросил беспокойный взгляд на сжатые поля. Он подождал, не скажет ли его собеседник еще что-нибудь, потом, в свою очередь, умолк и стал украдкой наблюдать за Фабианом, который рассеянно шагал рядом с ним, заложив руки за спину и слегка наморщив лоб. Он присматривался к его походке, к элегантному костюму, короткому пальто английского сукна, башмакам, тщательно заглаженной складке на брюках. Гладко выбритые щеки Фабиана внезапно внушили ему неприязненное чувство, что-то высокомерное проглядывало в уголках этого полуоткрытого женственного рта. Глейхен был беззаветно предан Вольфгангу и беззаветно верил ему, но всегда немного побаивался Фабиана. «Такому человеку нельзя доверяться. Никогда не знаешь, что у него на уме».

«Красивые мужчины склонны к легкомыслию,— пронеслось в его голове,— а он слишком красив и обходителен, чтобы быть серьезным и искренним».

Спустя некоторое время Глейхен снова почувствовал потребность говорить.

— Право — прочный фундамент, на нем зиждется жизнь народа, без него наступает крушение. Неужели вы как юрист станете заводить порядки, подрывающие правовые основы народной жизни?

Фабиан долго не отвечал.

— Прежде всего необходимо разъяснить народу, что речь идет о явлениях переходного времени,— заметил он, наконец, пожав плечами.

— Явления переходного времени? — Глейхен засмеялся.— Да, если бы быть уверенным, что речь идет о временных мероприятиях. Но мы этого не знаем.

В ответ Фабиан пробормотал что-то невразумительное. Его явное нежелание вести серьезный разговор заставило Глейхена насторожиться.

Он сморщил лоб и снова замолчал, вглядываясь в Фабиана. Какая-то тень недоверия мелькнула в его мрачно горевших глазах. «Увиливает от ответа,— явилась мысль.— Да нет, все это вздор, что я сейчас придумал. Можно быть очень красивым, светским и в то же время глубоким и искренним человеком. Или нельзя?» Он молча продолжал путь, но с этой минуты ему стало как-то не по себе в обществе Фабиана.

Немного спустя он заметил боковую дорожку, на которую ему надо было свернуть.

— Мне сюда,— сказал он, приподнимая шляпу,— я должен заглянуть к одному коллеге, вон в той деревне. Он болен, и я навещаю его, как только у меня выбирается свободная минута.— Глейхен указал на красные крыши, мелькавшие за желтым сжатым полем.

Пожимая руку Фабиану, он мрачно и вопросительно посмотрел на него.

Слегка смущенный испытующим взглядом Глейхена, Фабиан продолжал свой путь. Над дальними пестрыми крышами навстречу ему быстро ползло по небу большое сизое пятно.

Откровенно говоря, он был рад, что Глейхен оставил его, теперь можно спокойно предаться размышлениям. Все пережитое за сегодняшний день, начиная с разговора с обеими дамами в комнате Клотильды, про-

мелькнуло в голове Фабиана и наполнило его душу тревогой. Воздух был теплый, он снял шляпу, чтобы освежить голову легким ветерком, веявшим над полями.

«Странно,— думал он,— эта проклятая партия преследует меня сегодня на каждом шагу. Она, кажется, и правда вездесуща, и напрасно Вольфганг и многие другие полагают, что скоро ее не станет... Все это будет длиться годы, долгие годы, может быть, многие поколения. Надо отдать себе ясный отчет: развитие событий становится все очевиднее. Во всяком случае сейчас самая пора принимать решение, как я уже не раз говорил себе на курорте. И меня никто не сможет упрекнуть в том, что я легкомысленно вступил на этот путь, как многие другие».

Он в раздумье остановился возле лужи, оставшейся после дождя, синей и прозрачной, и взглянул на небо. Между верхушками тополей он увидел большое сизое, быстро разрастающееся пятно, уже почти закрывшее небо над его головой. «Как многие другие,— повторил он,— я долго наблюдал и присматривался; люди будут говорить, что слишком долго, но пусть себе говорят. Какое мне дело! Вначале меня отпугивали бесчисленные предрассудки. Многое казалось мне не настоящим и несолидным, многое скоропалительным. И темп, в котором все это делалось, я считал слишком быстрым. Говоря откровенно, расовую проблему я считал вздором, самодурством, чем-то совершенно ненужным. Но теперь я понял, что это предрассудки нагнали на меня страх. «Да, именно нагнали страх,— повторил он свою мысль.— Расовое сознание должно было быть укреплено и поднято на более высокую ступень. Сторонникам правящей партии отдается явное предпочтение, так же как и в других странах, например, в Америке, и это правильно и разумно. Но национал-социалистская партия хочет сначала воспитать этих людей в духе определенных партийных добродетелей и затем уже воспитывать в том же духе весь народ. Конечно, одним махом этого не сделаешь, но постепенно, таким образом, можно вырастить совсем новых людей, людей, наделенных добродетелями, которые проповедует нацио-

нал-социалистская партия. Народу, предоставленному самому себе, ни в чем не уверенному, частично поколебленному в своих моральных устоях, нужно дать новую мораль. Все это сбило меня с толку, как и многих других. Хотя я никогда не забывал заслуги национал-социалистской партии: ликвидации безработицы. Этим нацистская партия предотвратила гибель, грозившую немецкому народу».

Голубая колея в луже вдруг потемнела, и из нее забили вверх крошечные тоненькие фонтанчики. Фабиан остановился. Никак дождь пошел? Но он продолжал путь, невзирая на дождь, довольный, что сегодня, наконец, все уяснил себе.

Навстречу ему громыхала телега, в которой, весело переговариваясь, сидели крестьянки; некоторые из них натянули на головы мешки, а другие даже юбки. За телегой двигалась целая колонна светлосерых грузовиков. Шум мощных моторов сотрясал воздух. Это были новые грузовики завода Шелльхаммеров, совершавшие свой пробный рейс. Грязь брызгала из-под колес, и Фабиан, пропуская машины, отошел в сторонку; потом двинулся дальше.

Мысль его снова заработала: «Конечно, много было такого, что заслонило этот положительный факт. Многое было выдумано, многое оказалось правдой, ведь людей не так-то просто узнать. Но в конце концов это революция, а для революции, проникающей в самую душу народа, такие темные пятна сущие пустяки. Во время французской революции людям, не желавшим воспринимать новые идеи, просто-напросто отрубали головы! Так что же лучше, лишиться головы или стерпеть не совсем вежливое обхождение в лагере? Что лучше? Французы отсекали головы дворянам, потому что те никак не хотели понять, что третье сословие тоже имеет свои права. Они этого просто не постигали».

Фабиан вытянул руку вперед. Дождь прекратился. «Настоящий апрель»,— мелькнуло у него.

«Но надо думать дальше. Так или иначе, у национал-социалистской партии есть идея, заслуживающая уважения,— хотя бы то, что она стремится воспитывать

народ. Разумеется, многие не могут понять этих идей, даже такой умный человек, как Вольфганг. Я тоже до сегодняшнего дня не мог охватить их во всем объеме. И я скажу Вольфгангу: это революция идей, голубчик, революция, понимаешь? Тебе не отрубают голову, но более или менее вежливо просят тебя какое-то время держать язык за зубами, ну, скажем, год, два, до тех пор, пока народ достигнет известной зрелости. Потом тебе, конечно, разрешат иметь свое собственное мнение, но, может быть, тебе это уже не понадобится, кто знает?»

Фабиан улыбнулся.

«Одно несомненно: новые идеи распространяются в народе, они везде и всюду. И люди, проповедующие их, следят за тем, чтобы не имели распространения идеи противоположного характера. С этой целью они учредили систему полицейского надзора и контроля, на что, разумеется, имеют полное право. Они оказались бы недальновидными, не сделав этого.

Баронесса не может понять, почему я до сегодняшнего дня не отдавал всего себя служению новым идеям. Она недовольна мной и не скрывает этого. В конце концов как взрослый человек и отец двух сыновей я обязан думать о будущем. Национал-социалистская партия крепнет день ото дня, это и слепому ясно. И она будет существовать долго, до конца моей жизни, а может быть, и еще дольше. Да, конечно, Ней и Мюрат по гроб жизни остались бы капралами, если бы они ждали, пока Наполеон станет Цезарем. Баронесса неплохо это сформулировала. Нельзя дожидаться, пока все значительные посты окажутся в чужих руках. Это значило бы быть близоруким ослом.

Клотильда гордая, она ничего не хочет для себя, но она считает, что я должен думать о мальчиках. Мальчики! Если бы Ней и Мюрат колебались так долго, что сталось бы с их детьми? Это очень важное обстоятельство, и его не следует выпускать из вида, принимая решение».

Вот уже и первые городские дома. Только завидев людей и трамвай, Фабиан очнулся от своих мыслей, которые завели его так далеко, спустился с небес на

землю и стал упрекать себя, что так долго задержался у брата. Вся программа дня нарушена. Многие визиты придется отложить. Не долго думая, он решил зайти к фрау Лерхе-Шелльхаммер, своей давнишней клиентке, которая писала, что просит его заглянуть к ней по срочному делу, как только он вернется из отпуска. Кроме того, он знал, что всегда будет желанным гостем в ее доме. Была у него и еще одна причина сделать этот визит, в которой он даже не отдавал себе отчета.

VIII

Фрау Беата Лерхе-Шелльхаммер жила с дочерью в доме старого Шелльхаммера, стоявшем на пригорке около Дворцового парка. Это был известный всему городу старомодный, просторный, неказистый дом, выстроенный лет пятьдесят назад стариком Шелльхаммером, который начал свою карьеру простым слесарем. Сад вокруг дома был невелик, вернее, это был даже не сад, а клочок невозделанной земли с несколькими кустами сирени. На звук приближающихся шагов из конуры за домом обычно выскакивал грозного вида сенбернар Неро и молча обводил своими янтарно-желтыми глазами чугунную ограду, так что у всех немедленно пропадала охота останавливаться. И горе тому, кто до нее дотрагивался. А как только шаги удалялись, Неро немедленно скрывался в конуре.

Фабиан пошел по маленькой боковой дорожке Дворцового парка, пересек улицу и приблизился к воротам, где его уже поджидал Неро. Фабиан часто бывал в этом доме, и пес встретил его радостным лаем. В сад выпорхнула хорошенькая девушка, горничная, и отперла калитку.

Из дому доносились звуки рояля. Кто-то прилежно разучивал сложный этюд Келлера, но, заслышав лай собаки, прервал игру. Это был тот самый этюд, который Фабиан часто слышал, будучи женихом Клотильды, в замужестве почти совсем забросившей музыку. Тут же раздались быстрые шаги, и в распахнувшейся двери Фабиан увидел Кристу Лерхе-Шелльхаммер. За-

видев его, она быстро сбежала по ступенькам и протянула ему руку. Она улыбалась, и ее кроткие лучистые глаза сияли.

— Как хорошо, что вы вернулись,— приветствовала она его.— Вы не представляете себе, как я скучала; люди здесь такие неинтересные.

Фабиан уже давно с нетерпением ждал этой встречи и заранее радовался ей. С тех пор как произошел разрыв с Клотильдой, он сторонился женщин. Но его очень влекло к Кристе, и в глубине души он питал надежду, что после долгой разлуки испытает разочарование. Он был раздосадован, признаваясь себе, что она кажется ему еще привлекательней, чем прежде.

— Я счастлив опять видеть вас,— сердечным тоном проговорил Фабиан. И правда, из всех своих знакомых он чаще всего думал о ней. Улыбка послужила ему ответом.

Криста Лерхе-Шелльхаммер была привлекательная молодая девушка с бархатистыми карими глазами. Многие находили очень красивыми правильные и тонкие черты ее строгого лица, другие же не видели в ее красоте ничего особенного. Но очарования улыбки, которая, точно яркий свет, идущий откуда-то из глубины, озаряла все существо Кристы, не отрицал никто.

Фабиан вновь поддался этому очарованию:

«Как она прелестно улыбается,— думал он, когда они, оживленно болтая, входили в дом.— И разве не странно, что я не забыл ее улыбки за время долгой разлуки? А какой у нее чудесный голос; нет, пусть говорят что угодно, но она поистине обаятельное создание».

— Вы пришли как раз к чаю; мама ждет вас уже несколько дней,— сказала Криста и отворила дверь в гостиную.

Эти простые слова тоже понравились ему. «В конце концов неважно, что она говорит,— подумал он.— Очарование таится в ее нежном голосе».

Гостиная была большая комната, обставленная старомодной светлой мебелью в стиле Бидермейера[1].

[1] Направление в искусстве первой половины XIX века, отвечавшее мещанским вкусам.

Над диваном висели два потемневшие от времени портрета старого Шелльхаммера и его супруги. Фрау Шелльхаммер, с гладко причесанными каштановыми волосами и ребенком на руках, поражала своим сходством с Кристой.

— Очень прошу вас, успокойте маму,— начала Криста, указывая ему на кресло.— Она страшно волнуется в последние дни.

— Что она говорит? Волнуется? — раздался громкий голос Беаты Лерхе-Шелльхаммер, и она появилась в дверях с покрасневшими от досады щеками.— Да, я просто лопаюсь от злости. Жулики и разбойники — вот кто они, мои уважаемые братья! Бандиты!..— Она злобно расхохоталась и подошла к Фабиану.— Наконец-то вы вернулись, дорогой наш друг,— добавила она более спокойным тоном и протянула ему руку. Краска постепенно сбежала с ее лица.

Фабиан сердечно приветствовал ее как старую знакомую.

— Садитесь же, садитесь, мой друг,— продолжала она.— Я опять, как это часто случается, нуждаюсь в вашем совете. Сейчас я дам вам прочесть письмо, которое мне прислали мои досточтимые братцы. Прелестное письмецо! Криста, куда ты сунула письмо этих мошенников?

Фрау Беата Лерхе-Шелльхаммер была грузная, крупная женщина с могучими плечами и красным, расплывшимся лицом. Глаза у нее были карие, как у Кристы, только более темные, не такие бархатистые, и взгляд их был жестче. Встретив Беату и Кристу на улице, никто бы не усомнился, что это мать и дочь.

Наконец, фрау Беата разыскала где-то в углу на комоде письмо и протянула его Фабиану.

— Прочтите внимательно и объясните мне, к чему собственно клонят мои уважаемые братцы. Они, кажется, наконец сбросили маску! Если я правильно поняла, они хотят, чтобы я отказалась от своего пая в предприятии, короче говоря, хотят от меня избавиться, потому что я им мешаю! Ну, да вы сами увидите.

Краска снова бросилась ей в лицо. Она вынула из ящичка черную сигару, опустилась в кресло и быстро сделала несколько затяжек, не спуская глаз с Фабиана.

Когда он сдвинул брови, она вскочила и воскликнула:

— Ну что, разве я не права?..

— Мама, да он же еще не дочитал письмо,— вмешалась Криста.

Фабиан в раздумье покачал головой.

— Похоже, что вы правы, сударыня,— заметил он.

Фрау Беата выпустила в потолок огромное облако дыма и злобно захохотала.

— Конечно, понять моих уважаемых братцев нетрудно,— снова начала она.— Что им надо? Пользы от меня никакой, но и вреда нет. Так на что же я им сдалась? Я не могу раздобыть ни почетных званий, ни орденов, которые обожают их жены, ни титулов, перед которыми пресмыкаются их лакеи. И я понимаю, что жены им ближе, чем сестра.

Горничная внесла чай, и фрау Беата умолкла. Криста накрыла на стол.

Фабиан прочитал письмо до конца и еще раз попытался уяснить себе положение.

Шелльхаммеровские заводы представляли собой в настоящее время многомиллионную ценность. Во время мировой войны старик Шелльхаммер построил первое большое здание — теперь таких зданий было десять. Еще сегодня по дороге сюда Фабиан дивился на них. Заводы выпускали грузовики, автобусы, тягачи и только в последние годы стали производить сельскохозяйственные машины. Старик Шелльхаммер оставил свои заводы детям, двум сыновьям и дочери. Старший сын, Отто, вел все финансовые дела, тогда как младший, Гуго, довольно известный инженер, занимался технической частью. Единственной дочерью старого Лерхе-Шелльхаммера была фрау Беата.

Фабиан в течение многих лет состоял ее поверенным в делах. Она неоднократно жаловалась ему на братьев, неправильно деливших с нею доходы. Дело несколько

раз едва не доходило до суда. Но братья, которых Фабиан считал людьми великодушными, шли ей навстречу, и все улаживалось. В сегодняшнем письме тоже сквозил намек, что они готовы пойти на компромисс, приемлемый для обеих сторон.

Когда горничная вышла из комнаты, Фабиан положил письмо на стол и опять покачал головой.

— Для меня теперь несомненно, что ваши братья желают, чтобы вы отказались от своего пая; ясней это трудно сказать.

Фрау Беата вскочила, и лицо ее снова стало багровым от гнева. Она раздавила черную сигару, лежавшую в пепельнице.

— Ясней трудно было бы сказать, правда, правда! Но причину вы понимаете? — воскликнула она взволнованно.— Что все это значит?

Фабиан пожал плечами.

— Постараемся выяснить.

— Мама, не надо, вот видишь, ты опять волнуешься,— взмолилась Криста.

— Ни капельки не волнуюсь,— успокоила ее фрау Беата.— Я хочу только понять, что все это значит.— Она с силой откинулась на спинку кресла.— Что на них вдруг нашло, на моих братцев? Выпьете рюмочку? — Фрау Беата налила себе рюмку коньяку из графина.

— Братья ваши пишут,— объяснил Фабиан,— что мы идем навстречу большим событиям, часто требующим быстрых решений. Вот в чем надо искать разгадки.

Фрау Беата покачала головой.

— Я-то знаю моих братьев, наверное, произошло что-то из ряда вон выходящее,— сказала она.

Она в задумчивости начала ходить взад и вперед по комнате. От ее шагов часы на стене сотрясались.

— Из ряда вон выходящее,— повторяла она время от времени.

— И мне кажется, они даже торопят вас,— заметил Фабиан.

— Неужели? — Фрау Беата взглянула на Фабиана,

и он впервые заметил мелкие морщинки в уголках ее рта.— Так они еще торопятся, разбойники! Тем непонятней вся история! — Она вынула из ящичка новую сигару и закурила.— Но я узна́ю все ваши хитрости, негодяи! — крикнула она, опускаясь в кресло у стола. Она помолчала в раздумье, потом выпустила огромное облако дыма.— И все-таки мне больно думать, что они поступают так только из корыстных побуждений,— проговорила она, обращаясь скорее к себе, чем к другим.— Но ведь в конце концов все возможно. Их, наверное, настроили жены, которым всего всегда мало. Их сиятельства Цецилия и Анжелика, ха-ха! — Фрау Беата разразилась громким, но добродушным смехом. Дурное настроение ее, казалось, прошло, она повеселела.— Вы непременно выпьете с нами чашку чаю, милый друг,— обратилась она к Фабиану, а Криста пригласила их к столу.

Выпив еще две рюмки коньяку, фрау Беата начала весело рассказывать о своих невестках и братьях, видимо, позабыв свой гнев.

— Что там королева Виктория по сравнению с их сиятельствами Цецилией и Анжеликой! — со смехом воскликнула она.

Нет, о своих невестках она не может сказать ничего хорошего. Она презирала их еще больше, чем братьев, над мягкотелостью и мотовством которых издевалась. Когда фрау Беата затрагивала эту тему, ее невозможно было остановить.

— Вот, например, Цецилия, жена инженера Гуго, кем она была до замужества? Обыкновенная малоизвестная певичка с голосом пронзительным, как фанфара. Впрочем, об ее прошлом я не буду распространяться в присутствии Кристы. А Анжелика, супруга Отто? Раньше она звалась Анной и была всего-навсего скромной бухгалтершей, отец ее портной, но это, конечно, не позор. Теперь же они обе строят из себя принцесс королевской крови. А дети, три сына Гуго и две девочки Отто? Нельзя не отметить: все они настоящие вундеркинды. Но и только. Вокруг них вьется целый хоровод воспитателей и учительниц, бонн и гувернанток, что, конечно, стоит денег, бешеных денег, и эти безмозглые

дураки, мужья, покорно все оплачивают,— закончила фрау Беата.— Вас как адвоката это должно заинтересовать, друг мой.

— Конечно, вы даете мне ценные сведения, сударыня,— улыбаясь, заметил Фабиан, почти не слушавший ее, так как большинство этих историй давно было ему известно. Криста налила Фабиану вторую чашку чая и вполголоса предложила пирожное. Он изредка бросал на нее ласковые взгляды.

«Да, но что же такое эта ее улыбка? — снова спрашивал себя Фабиан.— Существуют тысячи разных улыбок, но эта околдовывает. Это расточительная улыбка. Что, собственно, улыбается в Кристе? Губы, ямочки на щеках, щеки, лоб, глаза, что еще? Это какой-то таинственный язык, понятный мне только в минуты, когда я с нею. Все это загадочно и необъяснимо». Он старался не встречаться глазами с Кристой. «Ее улыбка доходит до самой глубины моей души, туда, куда ничто не проникает»,— подумалось ему.

«Не хватает только, чтобы ты влюбился в нее»,— пронеслось у него в голове, и он покраснел. Мысли его смешались, и он постарался вслушаться в слова фрау Беаты.

А она как раз заговорила о своих братьях. И, высмеивая их расточительность, рассказывала, какими они обзавелись автомобилями и какие выстроили себе пышные виллы, известные теперь всему городу. Сестре они великодушно уступили старомодный отцовский дом. Дети Отто катаются на собственных пони. А жен своих братцы обвешали брильянтами, жемчугом и мехами. В прошлом году они купили имение в Швейцарии — это на случай новой мировой войны,— пояснила фрау Беата,— чтобы их откормленные жены не умерли с голоду. Она снова весело засмеялась.

И вдруг оборвала себя на полуслове.

— Хватит! — громко воскликнула она.— Хватит толковать об этом вздоре. Вы, друг мой, соберете в городе нужные сведения, и тогда мы обсудим, что отвечать этим негодяям.— Она зажгла новую сигару.— А теперь поговорим о другом. Господин доктор, извольте

рассказать нам о своей поездке. Надеюсь, у вас найдется еще минут пятнадцать?

Фабиан взглянул на часы.

— Минут пятнадцать, безусловно,— отвечал он.— К сожалению, мне сегодня надо непременно зайти в контору.

Он просидел еще целый час.

IX

Нежная улыбка Кристы все время стояла в глазах Фабиана, когда он шел по тихому Дворцовому парку. «Близ нее я чувствовал себя легко и беззаботно»,— думал он. Но едва только он увидел освещенные витрины городских магазинов, как им снова завладели те же мысли, что занимали его на пути от Вольфганга.

Что ж, он готов действовать! Другого пути для него нет. Ему еще неясно было, каков же этот избранный им путь: он простирался перед ним как улица, окутанная утренним туманом. Но Фабиан знал: он приведет его к цели.

В ателье у портного Мерца никого не было; Фабиана это устраивало, так как ему ни с кем не хотелось встречаться, и он вошел. В конце концов пора позаботиться о зимних вещах; во время отпуска он не удосужился подумать о них. Портной Мерц, хилый старичок с белыми, как снег, волосами и прозрачным лицом, считавший Фабиана одним из своих лучших клиентов, встретил его очень предупредительно и немедленно достал из шкафа его новое зимнее пальто.

— Да, в таком пальто можно где угодно появиться,— сказал Фабиан, с удовольствием оглядывая себя в зеркало.

— Где угодно,— подтвердил Мерц старческим, слегка хриплым голосом.— Вы спокойно можете прогуливаться в нем под руку с первой красавицей города.

Фабиан засмеялся. Он любил лесть, даже самую неуклюжую. Потом он попросил показать ему образчики материи для зимних костюмов. Портной достал с полки связки образчиков и бросил их на прилавок.

Фабиан хотел выбрать материю, которую не носил бы каждый лавочник или чиновник, и в конце концов остановился на довольно вычурных образцах.

Разглядывая материи, он нег-нет да посматривал на толстые рулоны коричневого сукна, из которого шили себе форму члены нацистской партии.

— Хорошая материя,— похвалил он и пощупал сукно.

— Первоклассный товар, ему износу нет! — заверил его портной, стоявший с сантиметром на шее.— Вы уже заходили к Габихту, записаться?

Фабиан покачал головой.

— Я ведь четыре месяца был в отпуску из-за болезни сердца.

— Да, я знаю. Но теперь-то вы останетесь у нас? Вы, верно, знакомы с Габихтом, ортсгруппенлейтером [1]?

— Да, конечно! Несколько лет назад он чинил мне сапоги для верховой езды.

— Чинил? — Портной засмеялся.— Теперь он ничего больше не чинит. Он не знает, куда деваться от заказов, у него пятьдесят помощников. Ну, да это по заслугам. Ведь он денно и нощно работал для национал-социалистов, денно и нощно, и это еще в то время, когда находились люди, которые смеялись над его приверженностью к ним. Габихт и я были, можно сказать, пионерами. Габихту посчастливилось: он купил большой дом вдовы Кирш и обзавелся всевозможными машинами. Ортсгруппенлейтеру любой банк охотно даст ссуду! Он, наверное, скоро откроет собственную фабрику. Вот эта материя будет вам к лицу, посмотрите! Вы еще придете к нам, я готов держать пари, что бы вы там ни говорили.

— Не знаю,— уклончиво ответил Фабиан.— Как офицер запаса я ведь, собственно, должен был бы вступить в какую-нибудь военизированную организацию.

— Обязательно! Вы, насколько мне известно, были капитаном? Ну, тогда вы быстро добьетесь высокого поста.

---

[1] Руководитель местной организации национал-социалистской партии.

Лицо Фабиана не выразило особого удовольствия. Он покачал головой.

— Как раз этого-то я и хочу избежать,— сказал он.— Вы не представляете себе, как я занят.

— Ах, это насчет должности? — живо подхватил портной.— Так если у вас нет времени, откажитесь от нее. Человек, обладающий таким ораторским талантом, должен быть с нами. Как часто я говорил своим друзьям: «Почему доктор Фабиан еще не с нами? Вот бы нам такого человека, такого трибуна!» Я как сейчас слышу вашу речь в зале ратуши; да, это была речь! Вам, кажется, не очень по душе эта материя? Сейчас покажу вам еще другие оттенки.

Фабиан заставил Мерца показать еще целый ряд образцов, которые портной ловко сбрасывал с полок. Фабиан в это время сидел на прилавке у телефона и звонил в свою контору, секретарше фрейлейн Циммерман, которую просил задержаться еще на четверть часа,— он скоро придет.

Наконец, Фабиан облюбовал светло-коричневую материю, мягкую, почти как плюш.

— На этом сукне я и остановлюсь,— сказал он.— В первые дни у меня будет много срочных дел, но всетаки начнем с костюма. Не правда ли, господин Мерц?

Маленький седовласый портной угодливо изогнулся перед ним.

— Отлично, отлично! — подобострастно воскликнул он.— Во всяком случае, советую вам поспешить, ведь каждую минуту может быть закрыт прием. Теперь каждый хочет вступить в нашу партию. На днях вступили три преподавателя гимназии, ректор Мюллер, редактор Шилль, доктор Митман из Исторического общества. Словом, вся городская интеллигенция. У Габихта уже голова идет кругом.

— Хорошо, но только при одном условии! — снова начал Фабиан и понизил голос.— Никто не должен об этом знать, никто и ни при каких обстоятельствах!

Портной клятвенно поднял обе руки:

— Ни одна душа на свете, даю вам слово!

Фабиан еще раз пощупал коричневое сукно.

— Хорошо, я остановлюсь на этом,— сказал ои.— Шейте костюм, и пусть ои полежит у вас, я возьму его, когда мне поиадобится, а к Габихту я ведь могу зайти в любой день; он, надо думать, быстро все уладит.

— Ну, коиечно. Для вас ои особенно постарается.— Портной хрипло засмеялся и распахнул перед Фабианом дверь.

От него Фабиаи направился прямо к себе в коитору. Доктор Гаммершмидт, старый юрист и очеиь болезиенный человек, замеиявший Фабиаиа в его отсутствие, уже ушел; разошлись и другие служащие; одна только секретарша фрейлейи Циммерман, стареющая и довольно непривлекательная...

— Кажется, уже весь город знает, что вы возвратились из отпуска,— объявила она.— Я здесь записала, кто звонил по телефону. Господин медицинский советиик Фале телефоиировал трижды и просил вас, если можно, еще сегодия позвоиить ему в Амзельвиз,— доложила она.

Фабиан попросил немедлеино соедииить его с Фале. Фале был домашиим врачом Фабиана, и ои очеиь почитал его, как, впрочем, и все жители города. Фале отозвался усталым или даже огорченным голосом. Речь идет о личном деле, которое, собствеино, иевозможио разрешить по телефону, сказал ои Фабиану. Да, сейчас он живет в своем загородиом доме и чувствует себя совсем больным от всех этих волнений.

Фабиаи обещал завтра быть у иего. Потом он поручил фрейлейи Циммермаи подготовить ему текущие дела, он будет работать сегодия до глубокой иочи.

— Да, еще прииесите мне годовые отчеты фирмы Шелльхаммер.

— Отчеты Шелльхаммеров я сейчас найду. Дела уже подготовлеиы,— отвечала секретарша.— Как вам известио, иовых дел мало. В практике сейчас большое затишье,— добавила оиа. Но так как Фабиаи ей не ответил, пожелала ему доброй ночи и ушла.

— Доброй ночи, — сказал Фабиаи. Он остался одии и углубился в дела. Его адвокатская практика, бывшая раиьше блестящей, в последние месяцы сильио пошат-

нулась и едва покрывала издержки по содержанию конторы.

«В практике сейчас большое затишье!» Он засмеялся.

— Вы, кажется, все еще не понимаете, фрейлейн Циммерман, что нас просто-напросто бойкотируют,— обратился он к секретарше и, только сказав это, вспомнил, что она уже ушла.— Вы, кажется, моя дорогая фрейлейн, до сих пор не уяснили себе истинного положения вещей,— саркастически продолжал он и, смущенно улыбаясь, добавил: — Смею вас уверить, моя милая, что скоро это изменится, очень скоро.

Он раскрыл дело и начал его изучать. «Не воображаете ли вы, что я собираюсь пойти ко дну? Как? Но, уважаемая, нам известны примеры из истории. Ней и Мюрат на всю жизнь остались бы простыми капралами, если бы у них недостало ума вовремя принять решение».

X

На другой день Фабиан вышел к завтраку, испытывая чувство глубокого удовлетворения. Ну что ж, он перешел к действиям. Правда, кое с чем он еще был не согласен, но все же радовался своей решимости. «Только дурак может ждать совершенства в этом мире»,— сказал он себе. Интересы семьи, сыновей требовали от него решения. Через несколько недель его контора была бы закрыта, а он сам выброшен на улицу. Стоит ли менять свой привычный образ жизни из-за какой-то формальности, когда еще есть выход? Этого никто не вправе от него требовать. Было и еще одно существенное соображение. Если он будет членом национал-социалистической партии, то его оставят в покое и ему не придется дрожать от страха, что за ним в любое время, когда им заблагорассудится, могут прийти молодцы с Хейлигенгейстгассе.

В то утро Фабиан задержался в конторе дольше обычного. Он поблагодарил своих сотрудников и выразил надежду, что они не оставят его, даже если объем работы возрастет вдвое или втрое. Так он приблизитель-

но и выразился; вид у него был очень уверенный, и сотрудники решили, что шеф возвратился из отпуска совсем новым человеком, полным сил и энергии.

Практикант, получавший маленькое жалованье, обратился к нему с просьбой о прибавке: у него на руках старуха мать. В противном случае он вынужден будет искать другое место.

— Другое место? — прервал его Фабиан.— И как раз теперь, когда работы будет явно прибавляться? Даже и не думайте, дорогой мой.— Он удовлетворил просьбу практиканта и поручил ему вплотную заняться делом Шелльхаммеров. Ему нужен надежный помощник, который входил бы во все мелочи, у него самого нет для этого времени.

Несколько часов подряд он занимался срочными делами, потом попросил фрейлейн Циммерман соединить его с братом Вольфгангом.

Вольфганг был в раздраженном состоянии. Он бормотал в трубку злобные слова, говорил об унижении, оскорблений, наглости, бесстыдстве, так что Фабиан громко рассмеялся.

— Во времена Французской революции тебя бы просто обезглавили! — воскликнул он.

На Вольфганга это, видимо, подействовало.

Сегодня утром на Хейлигенгейстгассе его продержали битый час, что он считает возмутительным, потом два молокососа с наглым видом прочли ему лекцию об обязанностях гражданина в «тысячелетней империи» и тому подобный вздор. Они вели себя довольно шумно и под конец даже пригрозили ему Биркхольцем. Одним словом, сплошное бесстыдство и наглость. После такого предупреждения его отпустили.

Фабиан пытался успокоить брата. Сегодня или завтра они вместе разопьют бутылочку вина в «Звезде» и опять будут смотреть на мир сквозь рубиновые грани полных бокалов.

После полудня Фабиан ушел из конторы и медленно зашагал по улицам города. Он решил зайти к городскому архитектору Кригу, чтобы разузнать что-нибудь о шелльхаммеровском деле, и неожиданно нос к носу столкнулся с ним на Рыночной площади. Держа в руках

мягкую шляпу, с развевающимся галстуком, архитектор мчался мимо «Фонтана Нарцисса», погруженный в свои мысли, ничего кругом не замечая.

— Криг,— окликнул его Фабиан,— а я как раз шел к вам.

Криг тут же стал изливать Фабиану свои горести. Он попал в какую-то полосу невезения. Вчера вечером уехала в Гамбург его жена с двумя дочками-близнецами, там внезапно скончалась тетка Агата — ужасная клеветница и сплетница, которая и в гробу, наверное, будет всех поносить. В десять они уехали, а в двенадцать заболела служанка. Пришлось ночью бежать за врачом; похоже, что у нее дифтерит. Утром он сам готовил себе завтрак, а в это время приехала санитарная машина и забрала девушку. Просто голова кругом идет.

Фабиан утешил его, посмеялся с ним и пригласил зайти в ресторан «Глобус». Запивая тефтели из печенки пильзенским пивом, Криг перестал видеть все в таком мрачном свете, и Фабиан навел его на разговор о заводах Шелльхаммеров.

Заводы Шелльхаммеров? Криг заказал еще пива. Заводы Шелльхаммеров? Да, тут у него найдется что порассказать. Его друг Шиммельпфенг два года служил архитектором у Шелльхаммеров... Шиммельпфенг принес ему несколько дней назад проект нового заводского цеха, чтобы обсудить с ним некоторые трудности в статических расчетах. Это будет огромный цех, сплошь стекло и железо.

— Они все строят? — спросил Фабиан, с аппетитом поглощая тефтели.

Криг кивнул головой.

— Говорят, они собираются выстроить три таких цеха.

— Три?

— Да, три. Сплошь стекло и железо. У них на склады уже свезены сотни железных балок. Оба Шелльхаммера одержимы манией величия. Они хотят вдвое увеличить масштабы завода. С некоторого времени уже ведутся переговоры о покупке участка старого барона Меца на северной окраине города.

— Ведутся переговоры? — переспросил Фабиан.— Изумительные тефтели, не правда ли?

— Да, великолепные,— подтвердил Криг.— Не заказать ли нам еще? Да, ведутся. А выйдет ли что-либо из этого, я не знаю. Участок Меца был бы прекрасной территорией для нового завода.

— Разве у Шелльхаммеров такие крупные заказы? — поинтересовался Фабиан.

Криг засмеялся, потом, осторожно и подозрительно осмотревшись, наклонился к Фабиану и прошептал:

— Говорят, они получили громадные военные заказы. Всем известно, что Шелльхаммеры недавно пожертвовали полмиллиона на политические цели. Полмиллиона — сумма немалая. Они, вероятно, не хотят отставать от крупных промышленников Запада, которые, как вам известно, зарабатывают миллионы. Но это все между нами, идет?

Криг вдруг вскочил и ухватил за фалду какого-то человека, проходившего мимо.

— Господин асессор,— со смехом закричал он,— за нашим столом есть еще место!

Фабиан тоже поднялся.

— Конечно,— сказал он, указывая на свой стул. И стал прощаться. Ему пора идти.

На улице он остановил такси и велел везти себя в деревню Амзельвиз.

XI

Близ красивой, солнечной деревушки Амзельвиз, в получасе езды от города, находилось имение, коротко называвшееся «Амзель», где проводил лето медицинский советник Фале. Зимой Фале жил в своем городском доме на площади Ратуши. Он был терапевт и рентгенолог при городской больнице, превосходный врач, пользовавшийся мировой известностью. Прославился он благодаря своим работам в области рентгеноскопии легких. У себя в городском доме он оборудовал два зала под научные кабинеты, снабдив их лучшей в мире рентгеновской аппаратурой, большей частью им же самим сконструированной, которой охотно пользовались видные врачи как в Германии, так и за ее пределами. Он

был человек состоятельный; кроме того, солидный доход приносили ему (в Америке и Англии) его книги, в первую очередь его классический труд «The secret of the rays»[1]. Между прочим он купил и принес в дар городу скульптуру Вольфганга Фабиана «Фонтан Нарцисса». Сначала он собирался установить фонтан в своем имении, но потом решил подарить его городу.

Имение Амзель было известно каждому, так как Фале был очень гостеприимен и его вечера пользовались широкой известностью. Впрочем, добиться приглашения к нему было не так просто; медицинский советник любил окружать себя оригинальными и безусловно добропорядочными людьми: все пошлое он ненавидел. Фрау Беата Лерхе-Шелльхаммер, так же как и Криста, подруга дочери Фале, Марион, были постоянными гостями на этих вечерах.

Здесь бывали и прежний бургомистр — доктор Крюгер и, чаще других, скульптор Вольфганг Фабиан, может быть, единственный человек в городе, с которым Фале связывала настоящая дружба. Когда год назад друг Вольфганга, учитель Глейхен, был в виде наказания переведен в деревенскую школу Амзельвиз, Вольфганг ввел его в дом к Фале, и они сразу же нашли общий язык. «Это редкий человек,— говорил советник медицины,— у него два неоценимых качества: умение молчать и играть в шахматы».

Каждый понедельник по вечерам они играли партию в шахматы, и никому не разрешалось отвлекать их от этого занятия.

Фабиан редко бывал в Амзеле. Один раз вместе с ним получила приглашение и Клотильда; от изумления она весь вечер молчала. «Почему у тебя нет такого дома? — спросила она на обратном пути, бледная от волнения.— Вот где мы могли бы жить как люди».

Она потом без конца возвращалась к этой теме. «Какая мебель! Какой вкус! По сравнению с ними мы живем просто в лачуге! Надеюсь, что Фале снова пригласит меня».

Но медицинский советник больше не упоминал о ней.

[1] «Тайна лучей» *(англ.)*.

В редких случаях Фале устраивал и многолюдные приемы, когда представлял своих близких друзей гостям — немецким и иностранным ученым.

Дом в Амзеле — большое вытянутое в длину строение — на первый взгляд вызывал чувство разочарования, ибо после того, что о нем рассказывалось, всякий ожидал увидеть нечто вроде замка. Собственно говоря, это была почти сплошная библиотека, занимавшая все этажи. В некоторых комнатах стояла дорогая старинная мебель, которую медицинский советник приобретал в течение всей своей жизни. Помещения для гостей представляли собой маленькие квартирки, обставленные со всевозможным комфортом. Здесь неоднократно и подолгу гостили английские лорды, лауреаты Нобелевской премии и французские академики.

Для того чтобы удостоиться приглашения Фале, надо было обладать по меньшей мере мировым именем. В городе ходили целые легенды, правда сильно преувеличенные, о ванных комнатах в этом доме. Их почти никто не видал. Только однажды экономка Ревекка позволила снедаемому любопытством Фабиану заглянуть туда, и он нашел, что ни комфортом, ни изяществом эти помещения для гостей не превосходят первоклассных отелей. Зато самый дом — да, конечно, не удивительно, что он мог понравиться. «Клотильда права, в таком доме можно жить по-человечески»,— решил Фабиан.

Но еще лучше и обольстительнее был парк, окружающий дом,— почти сплошь экзотические кусты и деревья. Не очень обширный, он, подобно японским садам, казался больше, чем в действительности. Кроме парка, при доме имелся большой фруктовый сад с деревьями редких сортов, теплицы и ферма. Это был тот мир, в котором медицинский советник чувствовал себя хорошо.

Летом он каждое утро с шести часов до полудня проводил во фруктовом саду, ухаживая за деревьями лучше любого садовника, или на своей поистине образцовой ферме.

Фале держал у себя только испытанных людей и гордился тем, что, несмотря на высокое жалованье, которое он им выплачивал, имение Амзель почти окупало себя,

требуя лишь незначительных издержек (Фале называл их минимальными).

За деньгами медицинский советник не гнался и был известен еще и тем, что в некоторых особых случаях лечил безвозмездно. Бедных детей и женщин он нередко посылал на курорты за свой счет.

Фале был вдов и жил в своем имении с дочерью Марион, пожилой экономкой Ревеккой и несколькими слугами. Хозяйкой в доме была Ревекка. С детства она заменяла Марион мать, почему ее и прозвали «мамушкой».

Когда Фабиан вышел из машины у ворот парка, до него донесся чей-то веселый, жизнерадостный смех. Так могла смеяться только шаловливая, неуемно-веселая Марион. И тотчас же он заметил ее самое. Она сидела под кустом на каменной скамейке и забавлялась игрой с маленьким белым котенком, который забрался в ее черные кудрявые волосы. Она помахивала веточкой перед самым носом котенка, безуспешно старавшегося ее схватить. Неожиданно котенок скатился на шею Марион, и она до упаду хохотала над его усилиями вскарабкаться к ней на макушку.

Услышав скрип садовой калитки и увидев Фабиана, она быстро вскочила и, забыв про сидевшего у нее на плече котенка, с шаловливой улыбкой, все еще игравшей на губах, поспешила ему навстречу.

— Как хорошо, что вы приехали, доктор,— приветствовала она его, протягивая руку. Котенок при этом соскользнул через ее плечо на дорогу и удрал в кусты.

Марион была необычайно хороша собой и свежа. Она казалась смуглой итальянкой благодаря своим черным локонам и темным глазам, блестевшим, как кусочки каменного угля, на голубоватом фоне белков. Ей было около двадцати лет, она страстно увлекалась спортом, слыла одной из лучших теннисисток города и два года назад заняла первое место на больших клубных состязаниях. Марион славилась своим веселым, задушевным смехом, подобно стае пестрых мотыльков, всегда реявшим над нею. Непосредственная жизнерадостность сделала ее любимицей всего города. Разумеется, она всегда была окружена толпой поклонников

и почитателей. Молодой офицер Вольф фон Тюнен несколько лет назад тоже настойчиво ухаживал за ней. В ту пору он был по уши влюблен и рассказывал всем своим приятелям, что вскоре обручится с Марион. Но в этом не было и доли правды.

— Папа будет страшно рад, что вы выбрались к нам! — воскликнула Марион, идя вместе с Фабианом к дому.

— Занятия еще, видно, не начались? — вместо приветствия спросил Фабиан, не видавший Марион несколько месяцев. Она была студенткой медицинского факультета и в будущем собиралась работать рентгенологом в институте своего отца.

Девушка густо покраснела. Кровь пламенем озарила ее щеки, и она стала еще больше походить на итальянку, опаленную лучами знойного солнца.

— Нет...— Она запнулась.— Нет, на этот раз с занятиями ничего не получилось...— Она оборвала себя на полуслове и пригладила рукой черные кудри, растрепанные котенком.

— Вы забыли, что я теперь учительница в нашей школе,— добавила Марион, отвернулась и торопливо вошла в дом, опередив Фабиана.— Простите, что я иду вперед! — звонким голосом крикнула она.— Входите, входите. Папа вас ждет не дождется.

Фабиан шел за ней медленно и неуверенно. Необъяснимая поспешность и краска, бросившаяся ей в лицо, испугали его. И в ту же секунду он понял, что совершил непростительную бестактность: ведь Марион еврейка! Как мог он позабыть об этом?

«Какая отчаянная глупость — этот мой вопрос о начале учебного года!» — пронеслось у него в голове. Фабиан покраснел, пристыженный, радуясь, что его никто не видит.

И тут же он услышал звонкий голос Марион, громко кричавшей: «Мамушка, мамушка!» Он вздохнул с облегчением. Свидетелей его замешательства не было.

В дверях показалась экономка Ревекка в сопровождении девушки, которая несла полное блюдо отборных груш.

— Что за чудные груши! — воскликнул Фабиан.

— Это самый редкий сорт из Шарне,— сказала Ревекка и, сердечно пожимая руку Фабиану, с благодарностью посмотрела ему в глаза. Она задержала его руку и даже погладила ее своими пухлыми пальцами.

— Спасибо, что вы нас не забываете. Мы теперь мало кого видим. Иногда к нам заглядывает ваш брат Вольфганг, да господин Глейхен по-прежнему приходит по понедельникам. Все остальные нас покинули.

Ревекка была симпатичная, уже немолодая женщина, низкорослая, с несколько расплывчатыми чертами, черными усиками на верхней губе и мелко завивавшимися седыми волосами. Глаза ее под круглой оправой очков так и светились добродушием.

— Пойду скажу папе, что пришел господин доктор Фабиан! — крикнула Марион, пробегая через вестибюль.— Дорогу вы сами найдете, папа наверху, на террасе.— И она легко взбежала по лестнице. Белый котенок в это время прокрался за ней и с быстротой молнии вскочил ей на спину, а со спины на голову.

— А, Михель опять тут как тут,— рассмеялась Марион, и смех этот еще долго звучал из-за закрытой двери.

— Ах, уж эта Марион, одни шалости на уме,— сказала Ревекка с нежностью, покачав седой головою.

Фабиан прошел вслед за Марион в библиотеку, нечто вроде зала, занимавшего чуть ли не весь нижний этаж. Через большие, до самого пола, окна, пробитые в трех стенах этого помещения, из сада вливались потоки яркого света. Стены были до потолка заставлены книгами. Широкая, удобная лестница, по которой только что взбежала Марион, вела во второй этаж. Каждого, кто переступал порог этой библиотеки, тотчас же охватывала атмосфера музейной тишины и торжественности, и у Фабиана снова мелькнула мысль: «Как хорошо, должно быть, здесь думается!»

Мимоходом он снова смотрел на мебель, шкафы, лари. Все это было солидное, изысканное, хотя и не роскошное. Очарование этих вещей, как и всего дома, было именно в их добротности и законченности. Фале не любил блеска и пышности.

На широкой и просторной террасе однн нз внутренних углов был так заставлен декоративными растениями, что казался маленьким садом. Средн лиственниц, мирт и лавровых деревцев стояла кушетка, на которой лежал медицинский советннк. Прн появлении Фабиана он повернул к нему бледное худое лицо с темными, лихорадочно блестевшими глазами.

XII

— Извините, что прннимаю вас лежа, дорогой друг,— заговорил Фале слабым, почтн беззвучным голосом.— Но радость видеть вас и благодарность за то, что вы не забыли отверженного, от этого не уменьшаются.— Белой, прозрачной рукой он указал Фабиану на плетеное кресло возле днвана.

Фабиан, в свою очередь, сердечно приветствовал его. Фале кивнул головой.

— Как видите, волнения последних месяцев окончательно сломили меня,— продолжал он.— Сегодня мне захотелось хоть немного понаслаждаться последннми солнечными лучами.

У Фале всегда было худое, аскетическое лицо человека, всю жизнь занимавшегося умственным трудом, но сегодня он производил впечатленне немощного старика. Его седая бородка стала как будто реже и казалась совсем белой. Над высоким лбом почти не осталось волос, и на изможденном лице жили только темные глаза под седыми взъерошенными бровями, которые непрерывно двигались, когда он говорнл, отчего на бледном лбу залегалн глубокие борозды. Правая его рука, как всегда, была затянута в темно-серую перчатку, скрывавшую увечье, полученное им очень давно во время экспериментов с рентгеновскими лучами.

— Вот я лежу здесь и думаю, как хороша немецкая земля,— снова начал он, устремнв печальный взор на экзотический бук, одетый в красную листву и точно охваченный пламенем пожара.— Вы сами понимаете, как тяжело не принимать нн в чем участия, быть нсключенным из жизни страны, где ты вырос и дожил до се-

мидесяти лет. Тут, я думаю, пояснения не требуются. Я вижу перед собой здание немецкой духовной культуры, невидимое для многих; кристально-прозрачное и прекрасное, оно вызывало уважение у образованных людей всего мира. Я горжусь, что есть и моя скромная доля в его построении. Я вижу перед собой мир исследователей и ученых, величавый мир музыки, поэзии и философии. Трудно даже обозреть эти миры! Всю жизнь я жил среди них, а теперь вынужден жить только в них, ибо свою земную родину я потерял. Можете ли вы понять, какое удовлетворение испытываю я при мысли, что из этих миров никто и ничто меня не изгонит, даже огонь пожарищ?

Он замолчал, устремив затуманенный взгляд на Фабиана, и прозрачной рукой погладил свою почти белую бороду, едва касаясь ее кончиками пальцев.

— Полагаю, что я понял вас,— отвечал Фабиан, потрясенный горем старика.

Улыбка появилась на лице Фале.

— Удовлетворение? — продолжал он, словно не слыша Фабиана.— Не будь я сейчас так угнетен, я бы сказал — счастье! Можете ли вы понять это счастье? Оно самое дорогое из всего, что у меня есть, и никто не может отнять его у меня. Никто, никто! — Он облегченно вздохнул и улыбнулся.

Марион принесла кофе и, весело болтая, принялась накрывать на стол. Белый котенок, как собачонка, бегал за ней.

Марион рассмеялась.

— Видишь, папа,— воскликнула она,— какую я одержала серьезную победу!

Глаза Фале засветились счастьем.

— Ты покоряешь не только людей, дитя мое! — воскликнул он.

Марион схватила котенка, посадила его на плечо и, звонко смеясь, убежала с террасы.

Счастливое выражение все еще светилось в темных глазах Фале, когда он проводил ее взглядом.

— Я благодарю бога,— обратился он к Фабиану,— что судьба не так беспощадна к Марион, как к ее ста-

рому отцу. Девочка переносит все это легче, чем я, с легкостью юности, которая не страшится даже смерти, потому что не думает о ней. В сердце Марион царят смех и веселье. Вы слышали, что ее исключили из университета?

Фабиан кивнул головой и густо покраснел, вспомнив свой бестактный вопрос.

— Какое позорное решение! — продолжал Фале.— Подумайте, ведь это тот самый университет, в котором дедушка Марион в течение двадцати лет руководил кафедрой глазной хирургии.— Фале замолчал, снова устремив мрачный взгляд вглубь парка.— Сейчас она учительница в еврейской школе. У них там тридцать учеников, а помещаются они в каком-то подвале. Но работа педагога удовлетворяет ее, и она как будто счастлива. Я по крайней мере никогда не слышал от нее ни единого слова жалобы.

— Это тяжелое испытание решительно для всех,— сказал Фабиан.— Помните, что я говорил вам об этих дикостях? Я и сейчас не изменил своего суждения и никогда не изменю. Кстати, я все еще убежден, что эти непонятные мероприятия — явления переходного периода и носят временный характер.

Фале поднял руку в серой перчатке и скептически повел ею в воздухе.

— Будем надеяться, мой юный друг! — воскликнул он.— Ваши слова радуют меня и вселяют в меня мужество. Но о кофе тоже не следует забывать.

Фабиану удалось воспользоваться этой паузой и придать другое направление разговору. Он стал рассказывать о своем лечении, о санатории, врачах, ваннах, прогулках, питании. Медицинский советник заинтересовался его рассказом и начал прерывать Фабиана короткими вопросами, требовал разъяснений, спрашивал о подробностях, порицал, хвалил. Вскоре он поборол свое удрученное настроение, и к нему, казалось, вернулась прежняя живость.

— Я рад, что вы поправились,— сказал он наконец.— А теперь разрешите мне поделиться с вами своими горестями и рассказать о деле: мне необходим ваш совет и ваша помощь.

Фабиан заверил старика, что сделает все от него зависящее.

— Вы можете полностью располагать мною,— заключил он.

— Я знал, что могу на вас положиться, дорогой друг,— с благодарностью проговорил Фале.— На днях меня навестил ваш брат Вольфганг и рекомендовал мне подождать вашего возвращения. «Мой брат,— сказал он,— сохранил свой ясный ум и доброе сердце, он сумеет дать вам хороший совет».

Согласно существующим расовым законам медицинский советник Фале был снят с занимаемой им должности в городской больнице, а спустя некоторое время ему и практику разрешили только среди его единоплеменников. Затем власти добрались и до рентгеновского института, которым он продолжал руководить. Сперва были уволены два его ассистента, евреи, весьма ценные работники, и заменены новыми, а под конец был назначен и новый директор, правда очень способный человек. С месяц назад этот директор запретил Фале переступать порог института. А ведь институт-то создал и содержал на собственные средства он, Фале, не говоря уж о том, что многие редкие аппараты — его изобретение. И вот новый директор преспокойно заявляет ему, что столь ценный институт со столь незаменимым оборудованием ни в коем случае не может быть подвергнут опасности вредительства.

Фабиан отшатнулся.

— Вредительства? — воскликнул он с возмущением.

— Да,— подтвердил медицинский советник.

Фабиану стало казаться, что он больше не видит его лица, а видит только огромные, полные гнева, черные глаза и взъерошенные темные брови над ними.

Минуту спустя Фабиан вновь овладел собой.

— Бог знает что! — воскликнул он.— Ведь это верх наглости, дорогой господин советник.

Он встал с кресла и покачал головой.

— Вероятно, даже несомненно, в данном случае речь идет о произволе со стороны местного начальства,— сказал он наконец.— Так или иначе, но я не-

медленно переговорю с директором больницы. Я ведь хорошо знаком с доктором Франке.

Фале горько усмехнулся.

— Доктор Франке? Доктора Франке вы там не найдете. Уже несколько месяцев, как он уволен.

Фабиан взглянул на него, пораженный.

— Я хорошо знал доктора Франке! — воскликнул он.— Это на редкость хороший и способный человек. Какие же могли найтись причины для его увольнения? Вы не знаете?

Фале кивнул головой.

— Знаю, так же как знают все,— ответил он усталым голосом.— По его делу долго велось следствие, потом оно было передано прокурору. Медицинская сестра, когда-то работавшая в больнице, обвинила его в том, что пять лет назад он сделал ей аборт.

— Вероятно, с ее согласия?

— Не только с ее согласия, но и по ее просьбе. В то время ей было всего семнадцать лет. Но доктора Франке хотели уничтожить и уничтожили. А эта самая сестра, член нацистской партии, была оправдана и получила весьма недурное назначение.— Фале рассмеялся.

Фабиан молчал и хмурым, невидящим взглядом смотрел в парк.

— Директор больницы теперь некий доктор Зандкуль, человек еще молодой, но неприступный,— продолжал Фале, задыхаясь от кашля.— Вряд ли он согласится изменить постановления, касающиеся института, тем более что они, надо думать, исходят от него самого.

— Институт объявлен общественным достоянием,— немного помолчав, продолжал Фале, в то время как Фабиан, погруженный в свои мысли, казалось, вовсе не слушал его.— А разве он в продолжении двадцати лет не служил благу общества, хотя в нем велась работа и над чисто научными проблемами? Я и так намеревался завещать его городу.

— Меня уже несколько недель занимает одна своеобразная идея,— продолжал Фале. Фабиан очнулся от своей задумчивости, глаза его снова приняли сосредо-

точенное выражение.— Своеобразная идея, которую я могу проверить только в институте, с помощью моих новых аппаратов. Это плодотворная идея, может быть, очень плодотворная. Но, чтобы проверить ее, я должен иногда работать в институте, хотя бы по воскресеньям, когда там нет ни души. Кому это помешает? На это мне нужно согласие доктора Зандкуля. Как вы полагаете, сможете вы это устроить? Вот просьба, из-за которой я побеспокоил вас.

Фабиан поднялся с решительным видом.

— Я уверен, что это будет не так уж трудно. Во всяком случае, я сделаю все, что в моих силах,— заверил он.— В конце концов, когда дело идет о научном исследовании, можно на минуту забыть о политических капризах.

— Благодарю вас, друг мой! — Фале пожал его руку и с горькой усмешкой добавил: — Несколько лет назад Кембриджский университет предложил мне кафедру. На беду, я отклонил предложение. Наш друг Крюгер ни за что не соглашался отпустить меня и поклялся, что, если это потребуется, он в любое время будет моим ангелом-хранителем! Ангел-хранитель! А теперь я должен вымаливать разрешение поработать несколько часов в моем собственном институте.

Разговор прервался. Вошла Марион. Она просит прощения, но стало прохладно, и лучше им уйти в комнаты.

— Ты, как врач, не должен быть таким легкомысленным, папа,— пожурила она отца и обратилась к Фабиану: — Надеюсь, что вы доставите нам удовольствие отужинать с нами?

Фабиан выразил сожаление: он уже наполовину обещал этот вечер брату.

— Наполовину? — смеясь, воскликнула Марион и торопливо подошла к телефону.— Вот посмотрите, как быстро я добьюсь второй половины согласия.

И она тотчас же непринужденно заговорила с Вольфгангом, приглашая и его к ужину. Но Вольфганг отказался. Он сегодня даже не сможет прийти в «Звезду» к брату, такой его вдруг обуял рабочий пыл.

Все сразу уладилось.

— Ну вот, препятствия устранены! — торжествующе воскликнула Марион, помогая отцу подняться с кушетки.— Между прочим к ужину будут фрау Лерхе-Шелльхаммер и Криста. Вы, конечно, не откажетесь отвезти их домой в своей машине.

— Криста? — Как только было произнесено ее имя, Фабиан увидел перед собой ее нежную улыбку. И очень обрадовался неожиданной встрече.

XIII

Фабиан решил во что бы то ни стало заняться делом Фале. Он считал возмутительным такое бесцеремонное, унизительное обращение с ученым, заслужившим мировую известность. «Ограниченность мелких чиновников, ничего более»,— решил он.

Прежде всего нужно попасть на прием к доктору Зандкулю, новому директору больницы, и здесь, пожалуй, самое верное действовать через советника юстиции Швабаха, игравшего видную роль в национал-социалистской партии. Швабах был председателем городской коллегии адвокатов и, кроме того, вел бракоразводный процесс Фабиана.

Кстати, ему все равно надо было встретиться со Швабахом. Он тотчас же позвонил ему по телефону, и адвокат назначил встречу на другой день. Проделав все это, Фабиан немного успокоился.

Контора советника юстиции помещалась на Хауптгешефтштрассе, в заново отстроенном доме ювелира Николаи. Вход, прямо как в столичных домах, производил весьма внушительное впечатление, так же как и медная дощечка с надписью «Эдлер фон Швабах».

Фабиан улыбнулся. «Эдлер фон Швабах! Неплохо звучит, а в наши дни такое имя дорогого стоит! Швабах принадлежит к людям, для которых любое положение оказывается выигрышным»,— подумал он. Швабаху, как и всем адвокатам, пришлось раздобывать немало документов для доказательства своего арийского происхождения. На своей родине, в маленькой вюртембергской деревушке, он узнал, что происходит из аристократической семьи. Уехал он туда бюрге-

ром, вернулся дворянином. Теперь он даже обзавелся почтовой бумагой с гербом: птица, несущая рыбу в клюве.

Приемная, скорей напоминавшая салон, была полным-полна клиентов, что не без зависти отметил Фабиан. Швабах считался одним из лучших адвокатов в городе, а теперь еще многие нуждались в нем как в видном члене нацистской партии, Заведующий канцелярией тотчас же доложил о Фабиане, и ему почти не пришлось ждать.

— Вы, оказывается, в данный момент отрешены от должности синдика, дорогой коллега,— сказал Швабах, здороваясь с Фабианом.— Бургомистр Таубенхауз сообщил мне об этом вчера на заседании.

Швабах был коренастый, тучный человек, смахивавший на добродушного серого пуделя; во всяком случае его растрепанные волосы и взлохмаченные усы всегда вызывали у Фабиана представление о пуделе. У него были толстые губы и несколько глубоких шрамов, казалось, разрезавших на куски его мясистые щеки и круглый подбородок. В юности Швабах слыл большим забиякой.

— Надеюсь, что это ненадолго,— ответил Фабиан, улыбаясь и разглядывая глубокие шрамы на лице советника юстиции. «Боже милостивый,— думал он,— они превратили пуделя в котлету».

— Будем надеяться,— сказал Швабах.— В конце концов это от вас зависит. Как мне сообщил Таубенхауз, вы уже предприняли первые шаги?

Фабиан был ошеломлен.

— Ведь я просил сохранить это в полной тайне,— произнес он.

Швабах рассмеялся.

— В полной тайне? — повторил он.— Мы живем в государстве с установившимся строем, и есть вещи, которые не могут остаться тайной. Таубенхауз знает обо всем, да как бургомистр он собственно и обязан быть в курсе того, что происходит в городе.— Швабах указал Фабиану на складное удобное кресло позади письменного стола и затем с деловитостью сильно занятого человека без всякой подготовки перешел к во-

просу о разводе.— После вашего возвращения противная сторона снова начала торопить меня, полагаю, что по инициативе вашей супруги.

Фабиан кивнул.

— По всей вероятности,— согласился он.

О, он хорошо знал глаза Клотильды и не мог ошибиться. С тех пор, как он приехал, они с каждым днем смотрели все жестче и равнодушнее; в последнее время он видел в них только холодный блеск, а иногда они казались ему совсем стеклянными. Клотильда презирала его, считая недостаточно решительным в политических вопросах, которые она принимала близко к сердцу.

Швабах порылся в груде документов на письменном столе и так сильно выпятил мясистые губы, что звуки, исходившие из них, стали походить на гудение.

— Ее адвокат переслал мне новые материалы, которые несколько усложняют дело.

Швабах был очень близорук и низко склонялся к бумагам. Фабиан видел теперь только его голову с огромной лысиной и красный затылок, поросший седыми волосами.

Вдруг советник юстиции подскочил и поднял взгляд на Фабиана.

— Вы ведь никогда не отрицали своей связи с певицей Люцией Оленшлегер? — осведомился он.

Фабиан покачал головой.

— Я бы постыдился отрицать это,— отвечал он, вспомнив несчастную женщину, с которой у него была мимолетная связь. Она почти всегда плакала и год спустя отравилась в одном из отелей Гамбурга. За несколько дней до начала этой интрижки Клотильда просто выгнала его вон. Спальню себе она устроила в гостиной, а соседнюю комнату превратила в свой интимный будуар.

— Все это, конечно, имеет уже порядочную давность,— продолжал изрекать «пудель».— Но противная сторона утверждает, что фрау Фабиан считает это для себя особенно оскорбительным, потому что фрау Оленшлегер была еврейкой. Это является отягчающим обстоятельством.

Фабиан иронически скривил губы.

— Фрау Фабиан,— заметил он,— в свое время так же не знала, что фрау Оленшлегер еврейка, как не знал этого и я.

Швабах взъерошил свою седую шевелюру.

— Все-таки было бы очень хорошо, если бы мы могли на это ответить контрударом. Разве вы не утверждали, что ваш брак расстроился потому, что ваша жена не желала больше иметь детей, боясь испортить себе фигуру? Так мне помнится? Хорошо бы иметь на руках какое-нибудь доказательство, письмо, записку!

— Клотильда еще грубее выражала свое нежелание стать матерью,— заявил Фабиан.— Но, к сожалению, никаких письменных доказательств у меня нет.

— Жаль, очень жаль! — воскликнул советник юстиции, покачивая головой.— Никакой записки, никакого письма? Это бы произвело громадное впечатление! Немецкая женщина, которая боится за свою фигуру! Жаль! Жаль! — Он опять стал качать головой.— Так или иначе, но мы сделаем упор на это ее заявление, даже если противная сторона будет всячески его отрицать.

Они обсудили еще кое-какие вопросы, но мысли Фабиана были далеко. Он думал о своем браке. Его охватила грусть при мысли, что так постыдно закончились этот брак и эта любовь.

Он видел перед собой Клотильду молодой девушкой в белоснежной шляпе из флорентинской соломки на белокурой головке. Темно-синяя лента оттеняла голубизну ее глаз. Она была свежа и очаровательна, как все молодые девушки, к чему-то стремилась, интересовалась литературой и искусством, была любознательна, трудолюбива, посвящала много времени игре на рояле и изучала иностранные языки. Она тогда много путешествовала со своей матерью, капризной, высокомерной женщиной, разыгрывавшей из себя знатную даму. Клотильда считалась богатой невестой, у ее матери было четыре доходных дома в городе, и Фабиан не мог отрицать, что эти четыре дома подстрекнули его просить руки молодой девушки.

Впрочем, о приданом не было и речи: Клотильда была единственной дочерью, и дома должны были перейти к ней по наследству. Но когда мать умерла, выяснилось, что эти дома находятся в таком запущенном состоянии и так обременены долгами, что Фабиан был рад, когда ему удалось, наконец, от них отделаться.

Вот что проносилось у него в голове, пока советник юстиции вполголоса читал различные пункты заявления адвоката его жены. Все это Фабиан слышал уже неоднократно и теперь слушал так, точно речь шла о ком-то постороннем.

Перед его глазами проходила вся его неудачная жизнь с Клотильдой. «Или все женщины так меняются после замужества? — думал он.— Может быть, в браке, когда цель уже достигнута, проявляется их подлинная сущность? Может быть, легкомысленные становятся мотовками, а более хозяйственные — ведьмами? Кто знает!»

Клотильда прекрасно играла на рояле, и Фабиан, любивший музыку больше всего на свете, заранее радовался будущим музыкальным вечерам у них в доме. Небольшой круг истинных любителей музыки — разве это не прекрасно? Как часто он мечтал об этом! Но после замужества Клотильда почти не подходила к роялю. Она ничего не читала и все разговоры о книгах и литературе находила смертельно скучными. Все ее интересы сосредоточивались на чисто внешнем.

Хотя оказалось, что те четыре дома, которые она принесла ему, ничего не стоят, она все-таки сохранила замашки богатой наследницы. Конечно, у нее должна быть машина, сногсшибательная машина, чтобы «приятельницы лопались от зависти»; потом она открыла в себе страсть к лошадям и стала держать лошадей для верховой езды. Она любила элегантные платья и шляпы, шикарные курорты вроде Остенде и гостиницы вроде отеля «Стефаник» в Баден-Бадене. Мечтала об обществе баронов, еще лучше — графов; все окружающие казались ей недостаточно аристократичными. Дружба с баронессой фон Тюнен тоже была следствием этой ее слабости.

Любовь Клотильды прошла, но легкомыслие осталось.

В то время Фабиан много зарабатывал, но когда он осмеливался заикнуться, что ей следует быть бережливее, она пожимала плечами и смеялась. «Боже мой,— говорила она,— подумать только, какие громадные деньги зарабатывают другие мужчины!» Богатство — вот ее идеал!

И взгляды на смысл и цель жизни все больше и больше расходились, но когда он это понял, было поздно, они уже стали чужими друг другу.

Он бывал доволен интересной книгой, бутылкой вина и хорошей сигарой. Клотильда только и думала, что о платьях, шубах, гостиницах, путешествиях, машинах, лошадях. Все остальное вздор. Для чего мы живем на свете? Постепенно они зашли в тупик молчания, самый опасный тупик в браке, откуда уже не бывает выхода.

«Мы живем в различных мирах», — часто думал Фабиан. Поняв это, он стал гордиться своей проницательностью. «И может быть,— мелькало у него,— самая трагическая судьба, которая может постигнуть мужчину,— это брак с женщиной из другого мира».

XIV

Конечно, было бы бессмыслицей стараться склеить уже вконец разбитую семейную жизнь. Фабиан давно это понял. Теперь все сводилось к тому, чтобы ввести в какую-то норму несуразно высокие требования Клотильды. Фабиан заявил Швабаху, что ни в коем случае не допустит, чтобы Клотильда занималась воспитанием детей. Как отец и христианин, он считает это невозможным.

Советник юстиции сделал какие-то пометки, потом отложил бумаги в сторону, потянулся, потряс лохматой головой и встал.

Фабиан принялся излагать ему дело медицинского советника Фале. Швабах снова сел, теперь он уже не потягивался и не вертелся на стуле.

— Я к вашим услугам, коллега!

Швабах, человек несомненно добрый, сначала слу-

шал внимательно, но постепенно лицо его каменело, даже мясистые губы перестали шевелиться. «Фале? Фале? — бормотал он про себя, как будто слышал это имя впервые.— Я всегда был большим его почитателем». Швабах понизил голос, хотя двери комнаты были обиты толстой материей.

— Дело идет об открытии первостепенного научного значения, господин советник,— закончил Фабиан, с большой теплотой отозвавшись о Фале.

Над бровями у Швабаха залегли такие глубокие складки, что казалось, будто его лоб исполосован шрамами. Он дотронулся своей мясистой рукой до руки Фабиана.

— Очень бы хотелось оказать содействие такому большому ученому и прекрасному человеку, от всей души, но... понимаете? Я не вижу никакой возможности, ни малейшей,— добавил он.

— А что, если я или, еще лучше, вы переговорите с директором Зандкулем? — предложил Фабиан.

— Директор Зандкуль — фанатик,— прошептал Швабах так тихо, словно боялся, что кто-то подслушивает за дверью.— Он, видимо, опасается, как бы Фале, по его мнению фанатический еврей, не вывел из строя драгоценные аппараты. Не смейтесь! Он верит в непогрешимость национал-социалистов так же слепо, как католик в догму. Нам неизвестны мысли людей. Может быть, они полагают, что евреи приносят вред немецкой культуре, а может быть, верят, что под влиянием еврейства немецкая культура обречена на скорую гибель. Кто знает? Разве что пророк или провидец. Зандкуль не осмеливается иметь собственного мнения... Он бывший военный и привык беспрекословно выполнять приказы.

Фабиан встал.

— Тем не менее разрешите мне попытаться,— отвечал он.— Может быть, я сумею убедить Зандкуля сделать исключение для такого уважаемого человека, как Фале, и для его научной работы.

Швабах тоже поднялся и покачал головой.

— Вы ничего не добьетесь, друг мой, ничего и ни у кого,— продолжал он приглушенным голосом.— Я-то

знаю, что думает начальство, поверьте мне. Но в качестве уважающего вас коллеги я хочу вам дать совет: не вмешивайтесь в эти дела!

Фабиан вопросительно поглядел на Швабаха и ничего не ответил.

Швабах положил свою мясистую руку на плечо Фабиана и добавил:

— Это дружеский совет. Вы вступили на скользкий путь, на опасный путь. Поверьте мне.

Он проводил Фабиана до прихожей и произнес своим обычным громким голосом:

— А что касается магистрата, то скоро все это выяснится. Таубенхауз — человек великодушный, и сердце у него доброе.— И так как Фабиан помедлил с ответом, он добавил: — Каждый из нас должен принести свою лепту на алтарь отечества, правда? Я-то знаю, что вы всегда были истинным патриотом и идеалистом!

— Патриотом я буду всегда! — улыбаясь, ответил Фабиан.— И идеалистом все еще остался, чуть было не сказал — к сожалению!

Швабах засмеялся.

— Лучше скажем — слава богу! — воскликнул он и протянул руку Фабиану.— Мы часто говорили о вас в коллегии адвокатов и, высоко оценивая ваши способности, сожалели, что вы еще не пришли к определенному решению. Скажу вам по секрету: больше мы уже ждать не можем. Будьте здоровы, дорогой коллега.

Через несколько часов Фабиан протелефонировал медицинскому советнику Фале. Он сообщил ему, что уже предпринял первые шаги. Он и впредь будет делать все возможное и просит только набраться терпения, на все нужно время. Открыть Фале горькую правду у него недостало сил: она бы убила старика.

«Жаль,— сострадательно подумал он, положив трубку.—Ничего сделать нельзя! Жаль, очень жаль! Позиция Швабаха меня окончательно убедила. Он неизменно в курсе всех дел. Опасный путь! Ты слышал, Фабиан, что он сказал? Опасный путь!»

Расстроенный и подавленный, он направился ужи-

нать в «Звезду». Было еще рано, и ресторан пустовал. Несмотря на усталость, он с аппетитом съел превосходно приготовленный гуляш, не спеша закурил сигару, поставил перед собой бутылку бордо и, медленно потягивая из стакана, задумался о своей жизни.

Не оставалось сомнения, что Клотильда добьется развода. Итак, позади осталась целая полоса жизни; допустим, что он совершал грубые ошибки, но требования Клотильды будут не маленькие, это очевидно. «Четыре ничего не стоящих дома Клотильды дорого мне обойдутся». Он засмеялся. «Но не надо забывать: она родила мне двух чудесных сыновей. Это надо помнить всегда, всегда!» Он поднял бокал и выпил за здоровье своих сыновей Гарри и Робби. Что было, то было!

К счастью, у него еще хватит сил и мужества начать новую жизнь. Если говорить честно, то он не порвал с Клотильдой до сих пор из любви к спокойствию. Она была хорошей хозяйкой и любила тонкую кухню. «Да, такого стола мне будет недоставать»,— подумал он, засмеялся и поднял бокал.

— Мужайся, Фабиан,— произнес он вслух и пригубил вино.

XV

Сапожник Габихт, прежде занимавшийся только починкой обуви в маленькой подвальной мастерской, по словам соседей, уже давно перебрался на Шоттенграбен. На Шоттенграбене Фабиану сейчас же бросилось в глаза длинное здание с заканчивающейся надстройкой. Каменщики еще работали на лесах. В нижнем этаже здания, вытянувшегося чуть ли не на весь Шоттенграбен, помещалась контора обувной фабрики Габихта.

В ворота фабрики как раз въехала машина, груженная резко пахнувшими тюками кожи. Слуга в простой серой ливрее, осведомившись у Фабиана, что ему угодно, сообщил, что господин штурмфюрер, так он назвал хозяина, в конторе. Туда вели несколько гранитных ступенек. Габихт сидел с сигарой в зубах и диктовал секретарше деловые письма.

Фабиан был поражен. Безукоризненно одетый человек в белоснежном воротничке и дорогом галстуке, завидев Фабиана, поднялся с места; Фабиан привык видеть Габихта в кожаном фартуке и синей рабочей куртке, склонившимся над работой в темном подвале. Только его большие лопухи-уши, торчащие на круглой, как шар, голове, как всегда отсвечивали красным на солнце. При виде Фабиана он отослал секретаршу в соседнюю комнату.

— Не забудьте, что заказ может быть выполнен не раньше, чем через три месяца! — крикнул он ей вдогонку.

Контора была роскошно обставлена. Ковры, деревянные панели; четыре глубоких темно-красных кресла стояли вокруг громоздкого и длинного письменного стола. Красные руки недавнего холодного сапожника украшали массивные перстни, один с печатью и другой с брильянтом.

«Так вот как это делается! — подумал Фабиан.— Он меня опередил».

— Прошу,— произнес Габихт и указал рукой на одно из четырех красных кресел; они были такие новенькие, что боязно было до них дотрагиваться.— Я уж годами жду вашего посещения, господин доктор.

Переговоры с Габихтом длились всего десять минут, после чего тот проводил Фабиана до ворот и сердечно, как старому знакомому, пожал ему руку.

Через несколько дней Фабиан получил от бургомистра Таубенхауза приглашение посетить его.

В свое время у доктора Крюгера посетителей встречала некая фрейлейн Баум, всегда любезная и общительная, с которой можно было приятно поболтать. Но любезная секретарша исчезла вместе с Крюгером. Фабиан ожидал встретить в приемной пожилую, чопорную особу, озабоченную только своими обязанностями, и удивился, увидев перед собой молодую красивую девушку в желтой шелковой блузке.

— Господин обер-бургомистр ждет вас,— сказала молодая особа в желтой блузке и распахнула дверь в приемную «отца города».

Бургомистр принял Фабиана в меру приветливо; беседа их продлилась более часа.

Об этом Таубенхаузе Фабиан слышал кое-что от архитектора Крига; Криг отзывался о нем как о твердолобом педанте, мелочно следящим за распорядком рабочего дня.

При Крюгере служащие могли спокойно опоздать на час или уйти на час раньше, теперь все изменилось. И чего только люди не рассказывали! Будто Таубенхауз подслушивает у дверей канцелярии, не болтают ли девушки, вместо того чтобы, как положено, стучать на машинке. Бережливость его, по слухам, доходила до скряжничества. Каждый карандаш, каждая лента для пишущей машинки, каждый лист бумаги строго учитывались. Все это было, конечно, сильно преувеличено, и Фабиан приятно удивился, встретив человека лет сорока с довольно симпатичным лицом.

Бургомистр Таубенхауз, высокий и, пожалуй, даже представительный человек в черном сюртуке, был олицетворенное достоинство. Его довольно жидкие волосы были подстрижены ежиком, а маленькие черные усики под ноздрями походили на два пятнышка сажи.

Очки в золотой оправе то и дело поблескивали, когда он говорил, подчеркивая блеклый цвет его маловыразительного лица. В петлице сюртука виднелся нацистский значок, а на груди красовалась колодка с несколькими знаками отличия, воспроизведенными в миниатюре. Беседуя с бургомистром, Фабиан установил, что эти знаки отличия были просто жестяными бляшками, какие носил каждый офицер. Сам Фабиан мог щегольнуть и не такими наградами.

У нового бургомистра был глубокий голос, временами несколько резкий и раскатистый. Говорил он с прусскими интонациями и непринужденно, как, по наблюдению Фабиана, говорят люди, не отличающиеся глубиной мыслей.

Сначала они поделились своими воспоминаниями из времен мировой войны: оказалось, что они оба долгое время стояли в Аргоннском лесу. Фабиан сразу поднялся в глазах Таубенхауза, потому что хорошо знал «Аистово гнездо» в Аргоннском лесу.

— «Аистово гнездо»! — обрадованно воскликнул Таубенхауз.— Я построил «Аистово гнездо» специально для тяжелых минометов.

— Я обслуживал тяжелые минометы в «Аистовом гнезде»,— сказал Фабиан.

— В «Аистовом гнезде»? Что вы говорите! — рассмеялся Таубенхауз, который вообще смеялся очень редко. Разговор долгое время вертелся вокруг «Аистова гнезда».

— Ну и западня был этот Аргоннский лес,— заметил Таубенхауз.— Значит, вы и «Аистово гнездо» знаете? Прекрасная школа для солдата — Аргоннский лес! Ну, а теперь,— прибавил он, сердито поблескивая стеклами очков,— с постыдным Версальским договором мы, слава богу, покончили. Я убежден, что французы и англичане возместят нам каждый грош, да и еще несколько грошей добавят! Об этом мы сумеем позаботиться, так ведь?

Наконец, они затронули основную тему своего разговора. Таубенхауз рассказал, что он родом из маленького городка в Померании, где «козы и гуси разгуливают по рыночной площади». Он именно так и выразился. В высоких сферах сразу поняли, что это неподходящее место для развития его дарований и вверили его попечениям этот прекрасный город.

Разумеется, он, Таубенхауз, должен сначала обжиться здесь, изучить город, жителей, общественные условия, а потом уж приниматься за его перестройку.

— Это будет поистине титаническая работа, черт возьми! Взгляните хотя бы на мостовую! Да, да, взгляните на эту мостовую! — снова воскликнул Таубенхауз, и его золотые очки блеснули.— Как в деревне — кривая, горбатая. Все камни разные, ни одной прямой линии; стыд и позор. Мне эта страшная мостовая бросилась в глаза еще на Вокзальной площади. А извилистые улочки в старом квартале города с нищенскими средневековыми домишками без каких бы то ни было удобств! Есть, конечно, любители старых строений, но мой девиз — долой этот хлам.

В пылу разговора он встал и одернул жилетку. Все в этом человеке изобличало большое самомнение.

— Через несколько месяцев,— продолжал он, ударив ладонью по столу,— этот город станет одним из самых благоустроенных городов нашего возлюбленного отечества, за это я вам ручаюсь.

Фабиан кивнул головой в знак того, что не сомневается в словах бургомистра.

Ободренный Таубенхауз стал развивать свои планы и программу действий. Его золотые очки сверкали, и он то и дело стучал по столу ладонью. Те, что доверили ему этот чудесный город, видит бог, не раскаются!

— Город станет лучшей жемчужиной в венце немецких городов! — воскликнул Таубенхауз.— Он будет не только самым красивым, но и самым приятным и благоустроенным, это будет город музыки и театра, как Мюнхен, город искусства, как Дюссельдорф,— одним словом, в нем рацветут все искусства, и при этом я хочу, по возможности, поднять и его благосостояние. Жители его должны быть воспитаны в духе любви к отечеству и самопожертвования, в духе подлинной национальной солидарности. Жителям этого города будут завидовать все. Вы меня поняли?

Фабиан кивнул. «Не много ли будет, черт подери,— подумал он.— Впрочем, это в духе национал-социалистской партии, для которой нет ничего невозможного. Она ставит себе целью невозможное, чтобы достигнуть возможного».

— Мне кажется, я понял вас. Если суметь пробудить ум и сердце города, то ваша грандиозная задача окажется выполнимой.

— Ум и сердце города! — в восторге закричал Таубенхауз.— Золотые слова! Я вижу, вы меня поняли. Вы сами называете эту задачу грандиозной; да, это не пустяки! Конечно, мне нужно будет привлечь к ее осуществлению образованных, толковых людей, обладающих ясным, трезвым умом, людей, которые захотят мне помочь и которых я надеюсь найти в процессе работы. Признаюсь откровенно, что я имел в виду и вас, господин Фабиан!

Фабиан встал и вытянулся, как офицер, выслуши-

вающий приказ своего командира. Затем, вспомнив, что они не в Аргоннском лесу, слегка поклонился.

— Располагайте мной по своему усмотрению,— произнес он не без торжественности.— Вы можете рассчитывать на меня. У меня только одна просьба: поскорей назначить мне участок работы.

Готовность Фабиана произвела на Таубенхауза благоприятное впечатление. Он удовлетворенно улыбнулся, и выражение его лица стало еще более самодовольным.

— Я очень рад, что мы так хорошо поняли друг друга,— ответил он пронзительным голосом.— Но участок работы я смогу назначить вам, только поближе ознакомившись с вашими возможностями. Впрочем, первое задание я могу дать вам немедленно. Слушайте!

Фабиан слегка поклонился.

Таубенхауз продолжал:

— Через две-три недели я надеюсь выступить перед горожанами с программной речью. Вы ведь понимаете, что всякого рода общественные обязанности и в особенности огромная административная работа в первое время не оставляли мне ни одной свободной минуты, не говоря уж о возможности сосредоточиться. Поэтому я просил бы вас подготовить для меня эту речь, исходя из только что высказанных мною взглядов. Вы поняли меня?

Фабиан снова кивнул.

— Прекрасно понял,— сказал он.— Я считаю это поручение большой для себя честью и постараюсь выполнить его так, чтобы вы остались довольны.

Таубенхауз тоже поднялся и подал Фабиану руку. Холодное, даже жесткое выражение его лица несколько смягчилось.

— Вы выросли в этом городе,— продолжал он,— и лучше меня знаете, что тут можно сделать. У меня до сих пор не было времени как следует ознакомиться с ним. Я слышал от моего друга, советника юстиции Швабаха, а его мнением я очень дорожу, что несколько лет назад вы произнесли в ратуше речь, которая произвела огромное впечатление. Может быть, вам опять удастся что-либо подобное. Прошу вас только помнить,

что моя речь получит большой общественный резонанс и будет подхвачена всей немецкой прессой. Гаулейтер, вероятно, тоже будет присутствовать. Так что учтите: от этого выступления многое зависит. Надеюсь, что недели через две вы уже приготовите набросок речи.

Фабиан бросил быстрый взгляд на Таубенхауза.

— Если нужно, я могу представить набросок даже через два или три дня,— сказал он.

Таубенхауз засмеялся.

— Мне не к спеху! Раньше чем через месяц я все равно выступить не сумею. А потом ведь говорят: поспешишь — людей насмешишь. И прежде всего я не хочу торопить вас. Не забудьте только упомянуть о городской мостовой.

С этими словами он отпустил Фабиана. Тот щелкнул каблуками и вышел, сопровождаемый до самой двери любезной улыбкой Таубенхауза.

«Да, этот Таубенхауз преснмпатичный человек,— решил Фабиан, выходя от бургомистра,— как же близоруко судит о нем архитектор».

Когда он проходил через приемную, ему показалось, что секретарша в желтой шелковой блузке поклонилась ему как-то особенно предупредительно.

XVI

Выйдя из ратуши, Фабиан остановился на ступеньках и окинул взглядом Рыночную площадь. Разговор с Таубенхаузом явно преисполнил его удовлетворением.

Задание, полученное им от бургомистра, он считал в высшей степени почетным. Какое доверие питал к нему этот незнакомый человек! Разумеется, Фабиан словом не обмолвится об его поручении. Эта речь создаст ему славу во всем городе, во всей стране. Может быть, она привлечет к нему и внимание гаулейтера! О, в таком случае он крепко стоит на ногах! И сможет показать, на что он способен. Многие, он это точно знал, не сомневались в его даровитости, но другие, недоброжелатели и завистники, считали его фанфароном. Вот им-то он и покажет, какой он фанфарон. Его красивое лицо зарумянилось от прилива тщеславных и горделивых чувств.

Проект доклада занимал его даже и тогда, когда он в своей конторе диктовал машинистке. Он немало часов посвящал прогулкам по городу, который должен был стать красивейшим городом Третьей империи.

Здесь он родился, здесь ему был знаком каждый камень, но теперь он смотрел иным, критическим, испытующим взглядом на все, начиная с мостовой и кончая крышами домов и шпилями на башнях. Он по-прежнему был влюблен в дома старого города, построенные в стиле барокко, которые так раздражали Таубенхауза. Узенькие, неудобные, они плотно лепились друг к другу, но придавали своеобразие городу. Разумеется, их надо сохранить. Он вспомнил, что в свое время было много разговоров о большой магистрали, которая должна соединить северную и южную окраины города, пока, наконец, Историческое общество, возглавляемое профессором Галлем, не положило конец этим авантюристическим проектам. Галля поддержал Крюгер, большой поклонник старинной архитектуры, и городской архитектор Криг, поднявший яростную кампанию в газетах в защиту старинной литой вывески на фасаде одной из гостиниц.

Фабиан нередко заходил в Историческое общество, размещавшееся в здании бывшего женского монастыря. Все здешние достопримечательности сводились к нескольким готическим надгробным статуям с отбитыми носами, запыленным обломкам колонн и двум маленьким витринам с осколками кремня да горшечными черепками, выкопанными под Амзельвизом. Ни один человек этими экспонатами не интересовался.

Побывал он и в городском музее. Здесь было выставлено множество гравюр и старинных картин — одна из них изображала церковь в красном зареве пожара,— а также комоды, шкафы, лари. Все это было расставлено и развешано без какой бы то ни было любви или заинтересованности.

Его внимание привлек к себе холст, на котором были изображены их город и собор с некогда позолоченными башенными шпилями. «Город с золотыми башнями» — называлась картина, приковавшая внимание Фабиана. И тут ему пришло на ум положить ее в осно-

ву своего доклада; ведь Таубенхауз, по-видимому, прежде всего стремится к внешним эффектам.

«Город с золотымн башнями» — эта мысль не оставляла его и тогда, когда он, спеша приступить к работе, шел по Дворцовому парку. Разве это не прекрасный лозунг, не великолепная характеристика нового города и нового порядка? На мгновение его взор привлекли прекрасные георгины, цветущие перед хорошеньким домиком садовника. Потом он углубился в аллеи парка и так добрался до отдаленного уголка, словно созданного для раздумий, где его окутали зеленые волшебные сумерки. Он присел на уединенную скамейку и погрузился в размышления, положив на коленн блокнот, чтобы никто не подумал, будто адвокат Фабиан среди бела дня сидит и мечтает в Дворцовом парке.

В городе был старый мост, называвшийся «Епископским». Его украшала великолепная скульптура в стнле барокко, изображавшая епископа и апостолов. Не более чем в тысяче шагов от него находился другой современный мост, весьма обычного вида, так называемый «Новый». Фабиану пришло в голову н его украсить статуями. Они будут изображать воинов всех эпох немецкой истории — германцев с палицами в руках, ландскнехтов с копьями, барабанщика времен Освободительных войн, кавалерийского генерала, пожалуй и самого Фридриха Великого. Неплохая идея! Это будет служить своего рода дополнением к Епископскому мосту с его апостолами. Название у моста тоже будет новое: «Мост героев». Теперь любят подчеркивать героическое начало. Даже его, Фабиана, солдатское сердце зажглось этой идеей, а что до Таубенхауза, то он — саперный капитан мировой войны — несомненно придет в восторг от этого предложения.

В замыслах Фабиана нашлось место и для проекта Крига, предусматривающего перестройку Школы верховой езды. Пусть это заимствованная идея, но ее прекрасно можно использовать. Новая Рыночная площадь принесет огромную пользу городу и даст возможность роскошно и солидно перестроить площадь Ратуши. В центре будет находиться «Фонтан Нарцисса», а перед зданием ратуши, как во многих старинных немецких

городах,— величественная фигура Роланда. Ее создаст Вольфганг. Вот блестящая задача для него!

Каждый день Фабиан украшал чем-нибудь новым свой «город с золотыми башнями».

«Да, я представлю Таубенхаузу такой городок, что он глазам своим не поверит»,— торжествовал Фабиан.

Увлеченный своим проектом, он тем не менее не пренебрегал ни работой, ни общественными обязанностями. Его трудоспособность была удивительна. Нельзя было пройти по городу, не повстречав Фабиана с желтым портфелем под мышкой.

Он проводил совещания у себя в конторе, часами диктовал фрейлейн Циммерман деловые письма, следил за ходом дел; его видели в театре, до позднего вечера и даже ночью в окнах его конторы горел свет.

Время от времени он посещал брата Вольфганга, лихорадочно работавшего в эти недели над своим «Юношей», и часто заходил к фрау Лерхе-Шелльхаммер сообщить о положении дел.

— Я слышал, что на заводе строятся три больших новых цеха сплошь из стекла и железа; кроме того, ваши братья собираются купить у барона Меца его владение в северной части города.

Фрау Беата смеялась:

— Это мне все известно, для этого, мой милый, не нужен адвокат.

Она слегка подтрунивала над ним.

— Вы должны выяснить, почему мои братья хотят выжить меня из дела,— требовала она от Фабиана.

Собственно говоря, Фабиан так зачастил к фрау Беате только для того, чтобы видеть Кристу. Он хотел убедиться, так ли еще велика над ним власть ее улыбки, ее голоса.

Да, все осталось по-прежнему. Он был близок к тому, чтобы влюбиться в Кристу Лерхе-Шелльхаммер. Иногда они болтали целыми часами; Криста рассказывала ему о путешествии по Испании, которое она совершила в этом году. Случалось, что он забывал о важных совещаниях и его вызывали по телефону в контору.

XVII

Однажды Фабиана осенила мысль превратить город в город-сад. Лихорадочное волнение овладело им. Дворцовый парк и несколько аллей из времен епископства послужат великолепной основой; их так просто будет дополнить зелеными лужайками, новыми аллеями и цветниками. Нет, это поистине блестящая идея! Без особых затрат времени и средств город станет не только прекрасным, но и великолепным. Город-сад, вы слышите, господин Таубенхауз!

Но больше всего Фабиан гордился своей новой Вокзальной площадью. Как она выглядела сейчас? Сейчас вид у нее был совсем непривлекательный, а если говорить прямо — запущенный и унылый. Обыкновенная трамвайная остановка, в дождливые дни осаждаемая людьми с уродливыми зонтиками. Но близок день, когда она превратится в чудесный зеленый сквер, окруженный очаровательной колоннадой, посреди которого заплещет веселыми брызгами фонтан. Одним словом, станет вокзальной площадью во вкусе Фабиана, достойной прихожей богатого, радующего глаз города.

Как-то раз Фабиан сел в трамвай и поехал к вокзалу — лишний раз убедиться в убогости нынешней Вокзальной площади. Она была застроена старыми домами, в которых помещались второразрядные гостиницы, большую часть площади занимала экспедиционная фирма «Леб и сыновья». Здесь стояли десятки старых мебельных фургонов, уже сильно попорченных дождями и непогодой.

Само собой разумеется, что впоследствии приезжие, потоком устремляющиеся с вокзала, будут размещаться в первоклассной гостинице, не уступающей лучшим столичным отелям. Когда Фабиан возвращался в трамвае обратно, его мысленному взору уже рисовался этот отель, перед которым выстроились автобусы, легковые машины, извозчики; он подумал об участке фирмы «Леб и сыновья». Кажется, старый Леб перебрался в Швейцарию.

Сидя в зеленой сени старых каштанов и лип, Фабиан раздумывал о новом городе, но стоило ему только

на мгновение позабыть о своих театрах, стадионах и бассейнах, как он вспоминал Кристу. Ее дом был неподалеку. Время от времени за кустами мелькала маленькая шустрая машина, напоминавшая ему ту, которой она сама управляла; порой он слышал легкие шаги по усыпанной гравием дорожке; он оборачивался, и сердце его усиленно билось в груди. Неужели Криста? Как очаровательно она рассказывала в последний раз об Испании! Он и сейчас видел ее улыбку.

Упорядочив свои замыслы, Фабиан приступил к их письменному изложению. Последнее давалось ему без труда, ведь это его профессия — ясно и красиво излагать свои мысли. Вдобавок он обладал известной журналистской сноровкой и тем, что он сам называл «поэтической жилкой». Главное заключалось в том, чтобы разбудить ум и сердце города, преодолеть равнодушие и косность. Город должен быть построен при энтузиастическом участии всех его жителей, как в средние века города строились при участии цехов. А следовательно, надо сыграть на честолюбии, тщеславии и местном патриотизме.

Вдруг Фабиан почувствовал какой-то толчок в сердце и поднял глаза. Сомнений нет, это Криста. Он узнавал каждый изгиб ее тела, несмотря на то, что она была скрыта кустами. Криста неторопливо, задумчиво шла по узкой асфальтированной дорожке, по которой обычно проезжала на машине. В руках у нее была веточка; она то небрежно помахивала, то словно дирижировала ею. Окликни он ее, она бы услыхала, но Фабиан не решился этого сделать и только произнес ее имя, так тихо, что сам едва расслышал его.

Она остановилась, словно по мановению волшебного жезла, и оглянулась вокруг. Потом продолжала путь. «Сейчас я окликну ее»,— подумал Фабиан, но в эту минуту Криста замедлила шаг и снова оглянулась. На этот раз она подошла почти вплотную к кустам. Она была слишком далеко, чтобы узнать его, но, по-видимому, что-то приковало ее внимание к фигуре, сидевшей на скамейке в кустах, окутанных сумерками, так как она отошла на несколько шагов, а потом снова показалась на узкой боковой тропинке.

Он встал, страшно обрадованный, что случай или что-то другое привело ее сюда. В ту же минуту Криста заторопилась к нему навстречу; она узнала его.

— Неужели вы? — радостно воскликнула она еще в нескольких шагах от Фабиана.— У меня все время было чувство, что кто-то, кого я знаю, находится рядом. Это просто удивительно.— Она улыбнулась.

— Я видел, как вы прогуливались вдоль кустов, и сразу узнал вас! — воскликнул Фабиан, идя ей навстречу.

Она протянула ему руку.

— Вы работаете здесь, в парке? — спросила она, глядя на блокнот, который он все еще держал в руках.— Надеюсь, я не помешала?

— Нисколько. В ту минуту, как я вас увидел, я уже все закончил.

— У меня случилась авария,— оживленно рассказывала Криста,— пришлось оставить машину в городе и возвращаться домой пешком. Проводите меня немножко, если вы не торопитесь.

— С удовольствием!

Криста сразу же начала болтать.

— Помните, в последний раз,— сказала она,— когда нам помешал этот глупый звонок из вашей конторы, мы говорили о моих испанских снимках. Они настолько интересны, что вы непременно должны их посмотреть. Когда вы в следующий раз заглянете к нам, вы должны иметь в запасе лишний часок. Или вот еще лучше! Мама уехала на несколько дней, и я теперь обычно пью чай в «Резеденц-кафе», дома мне слишком скучно. Хорошо, если бы вы выбрали время и составили мне компанию.

Ее предложение звучало так естественно и радушно, карие глаза так радостно светились на улыбающемся лице, что Фабиан покраснел. Казалось, она говорит: «Я люблю вас».

— Выбрать время? За этим дело не станет, я очень рад,— ответил Фабиан.— Только назначьте мне день, на этой неделе у меня много свободного времени.

Криста засмеялась и остановилась.

— А если я скажу — завтра? Это вам не покажется назойливым?

Фабиан улыбнулся. Какая досада, что он не может сразу дать согласие!

— Завтра после обеда я должен быть у бургомистра,— отвечал он.— А если послезавтра? Это было бы очень удобно. В котором часу?

— Часов в пять.

— Хорошо, в пять часов.

XVIII

Ровно через две недели Фабиан сообщил Таубенхаузу, что проект доклада готов. Через несколько дней воспоследовало приглашение явиться к шести часам вечера.

В шесть часов с небольшим от бургомистра ушел последний посетитель, и Фабиана провели к нему в кабинет. Таубенхауз встретил его весьма благосклонно. В кабинете царил полумрак.

— Послушаем, что вы там придумали,— начал бургомистр, протирая очки носовым платком.— Станьте у моего стола. Я же сяду здесь и буду изображать публику. И давайте обойдемся без долгих предисловий, время — деньги.

Фабиан щелкнул каблуками и, галантно раскланявшись, встал у массивного резного стола, за которым якобы сиживал сам Наполеон. Таубенхауз сел на один из обтянутых черной кожей стульев, предназначенных для посетителей; от времени кожа на этом стуле потрескалась, и на ней виднелись бесчисленные тоненькие трещинки. Таубенхауз был в черном костюме, и когда он двигался, Фабиан видел только его бледное широкое лицо под густой черной щетиной волос и золотые очки. Широкое лицо склонилось, и Фабиан начал свою речь.

— Я родом из маленького городка в Померании,— выкрикнул он,— где козы и гуси разгуливают прямо по рыночной площади.

Широкое лицо под черной щетиной вскинулось кверху, золотые очки неодобрительно блеснули. Даже маленькие звездочки на орденской ленте пришли в дви-

жение и, казалось, подпрыгнули. Фабиан отчетливо видел это, хотя и не смотрел на Таубенхауза.

— Но и в этом большом и красивом городе, куда меня направили, часто еще можно видеть гусей и коз на рыночной площади,— патетически продолжал Фабиан,— гуси и козы — символ равнодушия, беспечности, косности!

Бледное лицо бургомистра раскачивалось из стороны в сторону, вдруг стали видны и руки.

— Замечательно,— смеясь, воскликнул Таубенхауз,— просто замечательно! — Он так смеялся, что стал кашлять и брызгать слюной.

— Новый дух должен воссиять над городом,— выкрикнул Фабиан, стоя у массивного резного стола,— духовные силы города должны прийти в движение, дремлющие умы и сердца — пробудиться! Долой равнодушие, беспечность, косность, к черту их! Как буря раздувает полупотухшее пламя, так новый дух должен из золы вызвать светлый святой огонь.

Таубенхауз поднял лицо и удовлетворенно кивнул.

Фабиан строил на его глазах новый «город с золотыми башнями», утопающий в зелени, переливчатый, как цветник. После того как он показал ему новый «Мост героев» с германцами, барабанщиками, гренадерами и Фридрихом Великим в центре, Таубенхауз выпрямился на стуле, сделал движение, точно собираясь вскочить, и несколько раз проговорил вполголоса: «Хорошо, хорошо».

А Фабиан все строил и строил. Новая площадь Ратуши и на ней статуя Роланда — символ права и справедливости, новый театр, музей, стадионы, бассейны для плавания, магистраль Норд-Зюд, новая Вокзальная площадь с весело плещущимся фонтаном... Он никак не мог остановиться.

Таубенхауз кивал головой и время от времени восклицал: «Хорошо, замечательно!» От этих похвал щеки у Фабиана покрылись румянцем.

Он был в ударе, говорил прекрасно и большую часть речи произнес, не глядя в записку. Прекрасно понимая, что она значит для него, Фабиан так часто ее перечитывал, что затвердил наизусть.

— У нас есть Музейное общество! — воскликнул он.— Но оно спит! Есть Историческое общество, оно тоже спит. Между тем вблизи города имеются замечательные древние гробницы. Есть у нас и общество туристов, есть общество содействия процветанию города, но все они спят, спят крепким сном! Пробудитесь, пора, пора! Прошли времена, когда одни зарабатывали деньги, а думали за них другие.

Таубенхауз засмеялся. Но то было последнее проявление его чувств, после этого он затих. Он сидел, вытянув ноги и вперив взгляд в потолок, усталый и с виду безразличный. Что он, вправду устал? «Да нет, нисколько,— решил Фабиан, уверенный в успехе своего дела.— Он не устал, но он слишком откровенно выражал похвалу своему подчиненному и теперь разыгрывает равнодушие. Я насквозь вижу тебя, Таубенхауз».

Фабиан кончил, Таубенхауз неторопливо встал и обстоятельно протер очки. Он потянулся, словно его клонило ко сну.

— Что ж, хорошо,— проворчал он с явно наигранным равнодушием. Потом он взглянул на Фабиана, скромно стоявшего у письменного стола.— Вы отлично поняли мысли, которые я вам изложил,— произнес он.— Ваш проект будет хорошей основой, спасибо. Попрошу вас еще составить мне список всех видных граждан, которым должны быть разосланы приглашения.

«Да, я тебя сразу понял»,— подумал Фабиан, откланиваясь.

Он вернулся к себе в контору в прекрасном настроении.

— Фрейлейн Циммерман, мы получили весьма почетное задание,— начал он, и худощавая секретарша залилась румянцем радости.— Нам нужно составить список всех видных граждан, которые должны быть приглашены на доклад бургомистра. Вот какие мы теперь стали важные. В нашей власти оказать высокую честь и нанести глубочайшее оскорбление. Понимаете?

Поздно вечером в «Звезде» он заказал бутылку шампанского и полдюжины лучших сигар.

«Ты честно заработал это, Фабиан»,— сказал он себе.

XIX

«Резиденц-кафе» помещалось в старинном павильоне возле бывшего епископского дворца. Из кафе открывался красивый вид на старую липовую аллею, но посещалось оно главным образом в хорошую погоду, по праздникам и в дни концертов на открытой эстраде. В остальное время здесь сидели разве что скромные обыватели, погруженные в чтение газет, и дамы, собравшиеся посплетничать за чашкой кофе. По средам шахматный кружок устраивал в этом кафе турниры.

Как только Фабиан в пять часов подошел к главной аллее, он сразу почувствовал: Криста уже здесь; ощутил это по мгновенному приливу радости жизни, по чувству свободы, легкости, веселья, нахлынувшим на него.

Открыв дверь, он увидел ее у окна за маленьким столиком. Она подняла голову, посмотрела на него, нежно улыбаясь карими глазами. Ее взгляд и улыбка наполнили его счастьем.

С этой минуты он стал другим, новым, преобразившимся человеком.

— Вы пришли как раз вовремя,— обратилась она к нему.— Я уже пирую. Присаживайтесь вот здесь, рядом, так удобней рассматривать снимки.

— Итак, это всё ваши испанские трофеи? — спросил Фабиан, усаживаясь.— Вы, видно, не ленились!

Перед Кристой на столе лежала кипа фотографий, которые она только что рассматривала. В большинстве это были открытки, какие обычно покупают путешественники. Но многое было заснято ею самой.

Несколько лет жизни Криста Лерхе-Шелльхаммер посвятила лепке и живописи, но теперь, по ее словам, окончательно перешла на архитектуру, которой занималась серьезно и с любовью. Каждый год они с матерью совершали путешествие в автомобиле, ведя машину по очереди. В прошлом году они несколько месяцев ездили по Испании и привезли оттуда все эти фотографии, большей частью снимки зданий и архитектурных деталей, порталов, лестниц, капителей, крытых галерей и водоемов, полюбившихся Кристе.

— Подождите,— живо проговорила она,— сначала я покажу вам прелестную маленькую часовню в Толедо. Где же она? Только что я видела этот снимок. Если не ошибаюсь, это одна из древнейших испанских церквей. В нефе есть прекрасный Греко, только кое-что, к сожалению, небрежно реставрировано. Вот она, нашлась. Мне удалось раздобыть только эту жалкую фотографию.

Она принялась рассказывать о кабачке напротив капеллы, в который они обе просто влюблены, в особенности мать. В этом погребке рядами стояли амфоры и кувшины для вина в рост человека, вкопанные в землю и подпертые палками. Эти гигантские амфоры были из красной глины, и погребок выглядел как во времена древних римлян. Какая прелесть! Там имелись редкостные старые вина, и они с матерью каждый день выпивали по стаканчику. Мать даже говорила: «Иди любуйся своим Греко, а я останусь здесь с моими амфорами». Криста рассмеялась.

Она рассказывала очаровательно и удивительно наглядно. Каждая подробность пластически оживала в ее памяти. Ее гибкие руки, казалось, лепили высокие амфоры, и прекрасные картины Греко отсвечивали в сиянии ее глаз. Фабиан наслаждался звуком ее мягкого голоса и прелестью ее речи, нанизывающей слова, как драгоценные камни.

— Меня поражает,— сказал он,— что вы помните каждую мелочь.

— То, что любишь, всегда ясно помнишь,— отвечала Криста.— Вот посмотрите,— с оживлением продолжала она.— Разве это не прелесть? Три детали изящной галереи в старой Барселоне. Теперь эта галерея соединяет служебные помещения президента Каталонии. Разве это не шедевр готического искусства?

Фабиан кивнул, очарованный ее улыбкой и трепетом, слышавшимся в ее голосе. Галерея была и в самом деле великолепна.

— Просто замечательно! — воскликнул он и, чтобы не показаться ей вовсе профаном, добавил: —Легкость этих колонн, по-видимому, определена изяществом мавританской архитектуры.

Криста задумалась, и по тому, как она нахмурила свой красивый лоб, Фабиан понял, что этот вопрос серьезно занимал ее. Затем она подняла на него глаза:

— Не только по-видимому, а так оно и есть. Вот вам красноречивое доказательство того, как арабское искусство обогатило испанскую готику.

От ее похвалы Фабиан почувствовал себя счастливым.

Разглядывание фотографий и обмен мнений так увлекли их, что они позабыли обо всем на свете. Когда один недостаточно ясно выражал свою мысль, другой приходил ему на помощь, а иногда они дополняли слова жестами или улыбками.

За соседним столиком собралась компания убеленных сединами дам, которые стрекотали, как сороки. Фабиан и Криста не замечали их, так же как и двух молодых людей, которые пили кофе тут же рядом с их столиком, курили и собирались играть в шахматы.

Теперь Криста показывала снимки, большей частью сделанные ею самой с различных монастырских дворов. Эти дворы, казалось, олицетворяли собой спокойствие, тишину и нереальность какого-то иного мира. Глядя на галереи женского монастыря в Севилье, Криста сказала:

— Это выглядело так пленительно, что я даже подумала, не постричься ли мне в монахини. Посмотрите только, как все это мирно и сказочно красиво! Но мама,— прибавила она, улыбаясь,— сначала разбранила меня, а потом замечательно сказала: «Что за безумие! Я тебя родила не для того, чтобы ты стала святой, а чтобы ты была просто человеком, со всеми человеческими грехами». Вы ведь знаете маму.

Оба засмеялись.

— Вот,— обратилась она к Фабиану,— найдет же иногда такое. У вас ведь тоже было однажды желание стать священником? Помните? Вы сами мне рассказывали.

Фабиан ответил не сразу. Он смотрел на руку Кристы, лежавшую на кипе фотографий, и ему казалось, что он впервые видит эту нежную руку. Вольфганг однажды сделал слепок с нее. Это была рука с ямками

на суставах, как у детей. «В первый раз я вижу, как женственно хороша ее рука»,— подумал он и, тут только вспомнив об ее вопросе, ответил, слегка краснея:

— Да, правда. Тогда это было моей idèe fixe, ничего не поделаешь — молодость. Я уже говорил вам, что одно время учился в духовной семинарии.

Криста скользнула взглядом по его лицу с впалыми щеками и женственным ртом и подумала: «А ведь правда, из него получился бы отличный священник». И вдруг покраснела. Лицо Фабиана напомнило ей монаха, брата Лоренцо, у которого она брала уроки испанского языка. Брат Лоренцо, высокообразованный человек, дважды исключался из монастыря за свое легкомысленное поведение. У него был такой же женственный рот.

— Как долго вы проучились в духовной семинарии? — спросила она.

Фабиан не любил распространяться об этом периоде своей жизни.

— Довольно долго,— отвечал он.— Меня уже готовили к первому посвящению.

— А почему вы вдруг передумали? — допытывалась Криста, с ободряющей улыбкой глядя на него.

Фабиан смутился.

— Я стал старше и понял, что не создан для этого.

— Не созданы?

— Нет. Я слишком мирской человек. Мне недостает того самоотречения, которое должно быть у священника.

— Хорошо, что вы своевременно пришли к этому заключению,— улыбаясь, заметила Криста.— «Только на правде и душевной чистоте можно строить жизнь»,— говорит мама.

Пожилые дамы за столиком вдруг зашумели, стали кого-то звать. В кафе вошла вычурно одетая особа с белыми, как сиег, волосами и старомодным ридикюлем в руках. Даже игроки в шахматы, склонившиеся над доской, оглянулись на нее.

Криста снова занялась фотографиями.

— Вот,— вернулась она к прерванному разговору, указывая на пачку фотографий одинакового размера,—

снимки, которые я сделала прошлой зимой в Пальме на Майорке. В знаменитом тамошнем соборе я испытала сильнейшее впечатление в своей жизни. Сейчас расскажу! Мы присутствовали на торжественной мессе в сочельник — мама и я. Это было незабываемо, просто незабываемо!

И Криста стала рассказывать, как в гигантском соборе горели тысячи огоньков. Пламя сотен свечей в руку толщиной освещало главный алтарь. И, несмотря на это, громадные контуры большого придела тонули во мраке. Да и вся огромная толпа молящихся казалась только толпой теней. В левом приделе, преклонив колена, молились мужчины, среди них были знакомые Кристе врачи, адвокаты, крупные чиновники. Все эти важные господа смиренно стояли на коленях, так же как и женщины в темных испанских мантильях, занимавшие правый придел. Криста с матерью тоже опустились на колени. Хоры были заполнены множеством священнослужителей в пышных одеяниях. Пока длилось богослужение, священники все время ходили вверх и вниз по ступеням алтаря. Мессу служил епископ, величавый старец, бесшумно сновали служки, в пламени свечей клубился ладан, мелодично позванивал колокольчик. Из алтаря торжественно выносили евангелие. И старая латынь небывало торжественно звучала в этот день.

Как хорошо рассказывала Криста!

— Загремел орган. Вы ведь, наверно, знаете, что Пальмский собор гордился одним из самых больших и самых замечательных органов в мире. Этот орган мог больше, чем человек, он мог шептать, вздыхать, кричать, всхлипывать, стонать, смеяться, плакать, радоваться, торжествовать,— чего только он не мог! Он умел бушевать, разражаться громом, бесноваться, проклинать и благословлять. Если бы бог обладал голосом, то он говорил бы именно так! Наверху за органом сидел монах, знаменитый францисканец Франциско, один из самых крупных и непревзойденных виртуозов-органистов не только в Испании, но и за ее пределами. Навсегда незабываемой останется его игра в этом освещенном тысячами свечей соборе. А старая латынь, зву-

чавшая как заклинание! Право же, казалось, что все это происходит на небе! — Она остановилась.

— Я хорошо знаю эту мессу,— вполголоса сказал Фабиан и снова опустил голову, потрясенный ее рассказом.

— Все люди плакали от умиления,— закончила Криста,— даже мама, которая никогда не плачет. И я плакала, утопала в слезах, потрясенная всем виденным.— Она взглянула на Фабиана и улыбнулась.

Воспоминание о том, что она назвала сильнейшим впечатлением своей жизни, увлекло Кристу и вновь повергло в сильнейшее волнение. Стараясь побороть его, она снова нахмурила лоб, брови и ресницы ее трепетали, губы подергивались. Взволнованное лицо ее так побледнело, что сделалось почти неузнаваемым и просветленным. Фабиан никогда не видел Кристу такой, не видел человеческого лица, столь правдиво отражавшего душевное волнение.

Они долго молчали. Фабиан не смел пошевельнуться. Он смотрел в ее изменившееся, просветленное лицо.

«Я люблю эту женщину,— думал он.— Теперь я знаю, что люблю ее».

XX

Фибиан в тот же вечер написал Кристе, но, еще не закончив письма, понял, что ему не удалось выразить все те чувства и мысли, которые обуревали его.

Он все время видел перед собой ее изменившееся, просветленное лицо. Три раза писал и три раза рвал письмо в клочья. Он поздно лег; но, спал он или бодрствовал, лицо это неотступно стояло перед ним. Да, одно было несомненно: он любил эту женщину.

На другое утро Фабиан купил букет чудесных роз и послал их Кристе вместе со своей визитной карточкой, на которой написал всего несколько слов.

Криста увидела розы у себя в комнате, вернувшись с вокзала, куда она ездила встречать мать, и очень обрадовалась.

На визитной карточке стояло: «Благодарю за мессу в Пальме на Майорке». Ни слова больше.

Она вынула из букета три лучших розы и понесла их вниз, к матери.

— Мама,— радостно воскликнула она,— только теперь я могу по-настоящему приветствовать тебя! — Она опустилась на одно колено и грациозным жестом подала матери розы.

— Брось дурить, Криста,— смеясь, отвечала фрау Беата, все еще усталая от путешествия.— Где ты взяла такие прекрасные розы?

Криста поднялась.

— Я нашла огромный букет в своей комнате, мама! Мне их прислал один поклонник,— прибавила она и вдруг залилась краской.

— Поклонник? Ну, я вижу, что мужчины и сейчас такие же безумцы, как две тысячи лет назад.

— Но это поклонник, который мне очень по душе, мама,— с обидой в голосе ответила Криста.





I



Речь, которую произнес Таубенхауз, представляясь гражданам в ратуше, имела несомненный успех. Выступление бургомистра было назначено на одиннадцать часов, но еще за полчаса до начала толпы приглашенных поднимались по лестнице.

Фабиан с самого раннего утра был уже на ногах. Ему понадобился целый час, чтобы привести себя в надлежащий вид. Сегодня он решил впервые облечься в коричневую военную форму... пусть все диву даются! Остро оттопыривающиеся бриджи придавали ему смелый и вызывающий вид человека, с которым шутки плохи. В мундире его плечи казались шире, мощнее. Что бы там ни говорили, но маленький седовласый Мерц был мастером своего дела. Прежде чем прикрепить ордена, Фабиан почистил их тряпочкой. Железный

крест первого класса он приладил с левой стороны груди, внизу, как положено по уставу. Весь вытюженный и начищенный, он имел очень внушительный вид. Марта, принесшая ему завтрак, едва решилась поднять на него глаза. А он ведь чувствовал себя всего лишь скромным солдатом национал-социалистской партии, который и не хочет быть чем-нибудь иным, лишь бы люди видели, что он намерен честно служить идее, все остальное приложится. Он далек от честолюбивых помыслов, но кто же потребует от него, чтобы он совсем подавил в себе офицера, которым некогда был! Ордена, форма и военная выправка, несомненно, придают ему вид военного в большом чине.

Новые кавалерийские сапоги из блестящего лака, сделанные Габихтом, настоящее произведение искусства, так внушительно скрипели, когда он проходил по коридору, что Клотильда, занимавшаяся в своей комнате утренним туалетом, с любопытством выглянула из двери.

Когда он уже собрался уходить, она вышла из своей комнаты в элегантном пальто с чернобурой лисой на плечах и в шляпе. Эта шляпа была искусным сооружением из светло-коричневых бархатных лент, которые при ходьбе весело развевались на ее белокурых волосах.

— Возьми меня с собой, прошу тебя! Будет лучше, если мы появимся вместе,— сказала она, как будто их совместное появление было чем-то вполне обыденным.

— Пожалуйста,— ответил он, учтиво распахнув перед нею дверь.

Клотильда была в приподнятом настроении. Предстоящее событие волновало ее, как театральная премьера. С довольным видом шагала она рядом с мужем — ленты ее шляпы развевались на ветру,— наслаждаясь удивленными и восхищенными взглядами прохожих. Вот теперь и он член национал-социалистской партии! За много месяцев они впервые шли вместе по улице. Правда, весь город знал, что в их браке не все ладно, но ведь сегодня особенный день. Время от времени Клотильда замедляла шаг и окидывала мужа испытующим взглядом. Ничего не скажешь, вид у него без-

укоризненный! С таким мужчиной приятно показаться на улице.

— Ты прекрасно выглядишь,— сказала она с искренним восхищением.

Это было первое доброе слово, которое он услышал от нее за долгое время.

— Да, Мерц постарался,— отвечал Фабиан.

— Весь город с огромным интересом ждет речи Таубенхауза,— продолжала Клотильда.— Всем хочется поскорее узнать, о чем он будет говорить.

«Вот тебе и на,— подумал Фабиан,— она хочет завязать со мной разговор». Но он не забыл злобного тона ее заявлений о разводе и медлил с ответом.

— Он несомненно выступит с интересной речью,— сказал, наконец, Фабиан.— Таубенхауз человек просвещенный. Конечно, он получил нужную ему информацию, ведь он здесь новичок.

Клотильда улыбнулась в душе. О, она точно знала, о чем будет говорить Таубенхауз. О Мосте героев, о фонтане на Вокзальной площади, о статуе Роланда на площади Ратуши. Последние три дня копии этого доклада с пометкой «совершенно секретно», сделанной синим карандашом, лежали на письменном столе ее мужа. Фабиан знал, что нужно сделать, чтобы по городу распространились «секретные» сведения. Даже фрейлейн Циммерман из бахвальства не стала бы молчать.

— Посмотри, сколько народу! — воскликнула Клотильда, когда они вышли на площадь Ратуши. В этот момент целые толпы людей поднимались по лестнице. Среди них и городской архитектор Криг в мундире лейтенанта, едва сходившемся на его толстом животе. В свое время он был сапером. Галстук бантом и мягкая шляпа безусловно больше шли к нему. Его сопровождали дочери, близнецы Гедвиг и Гермина, до неотличимости похожие друг на друга. У обеих были одинаково полные красные щечки и очаровательно вздернутые носики. Они одинаково смущенно улыбнулись, здороваясь с Фабианом.

— Генерал! Смирно, девочки! Настоящий генерал! — засмеялся Криг, с удивлением глядя на Фабиа-

на.— А ведь вы, правда, умеете поражать своих друзей,— добавил он, смеясь неизвестно чему.

— Прошу прощения,— обратился Фабиан к жене, вежливо распахнув перед ней широкую дверь в зал.— Мне нужно еще зайти к бургомистру, узнать, нет ли каких-нибудь поручений.

Клотильда улыбнулась одной из своих очаровательнейших улыбок и присоединилась к дочерям Крига. На девушках были одинаковые платья, и надушены они были одинаковыми духами. «Фабиан, видимо, хочет показаться Таубенхаузу в новой форме»,— подумала Клотильда. Все у него основано на расчете. Она хорошо его знает.

Мундиры, толпа людей, шляпы и флаги, всюду флаги. Это зрелище привело Клотильду в восторг. Зал был декорирован лавровыми деревьями и усеян флажками. Лишь немногие были цветов города, на остальных виднелось изображение свастики. Даже на трибуне развевался флаг со свастикой. Впечатление создавалось опьяняющее, и сердце Клотильды ликовало, когда она прокладывала себе дорогу сквозь толпу. Разумеется, некоторые злопыхатели утверждают, что это праздник нацистской партии, а не города, и что Крюгеру запрещены даже частные телефонные разговоры,— ну, да это, наверно, просто болтовня.

Куда ни глянь — всюду военные, даже офицеры запаса воспользовались случаем показаться в военной форме. В толпе мелькали красные гусарские аксельбанты, которые уже, казалось, канули в вечность, и три широкие полосы на рукаве — знак различия морских офицеров. Все они были приглашены главой города и, естественно, хотели блеснуть парадным мундиром. Иные капитаны и майоры отрастили себе такой живот, словно они сидели в тылу во Франции. Но больше всего поражало обилие орденов. Казалось, на город пролился настоящий орденский дождь. Можно было подумать, что все эти военные — участники кровопролитных боев под Верденом, хотя многие из них даже и не нюхали пороха. На всех были знаки отличия, пусть самые мелкие и незначительные — какой-нибудь крест, медаль, ленточка. Даже мелкое чиновничество не отста-

вало от других. Кто ты такой, если у тебя нет никаких знаков отличия? Не из тюрьмы же ты сюда явился? Вон маленький седой и сутулый человек с какой-то скромной медалью в петлице. Это профессор Галль из Исторического общества, а медаль у него «за спасение утопающих». Она никому не известна и не привлекает к себе внимания. Но зато как бросается в глаза эффектный турецкий полумесяц! Да, все вокруг сверкает и блестит.

Люди завистливо косятся на ордена крупного достоинства, редко мелькающие в зале, как, например, ордена полковника фон Тюнена, заслуженного фронтового офицера. Носители их пользуются особым уважением. Теперь, право же, становится ясно, что представляет собой каждый из присутствующих.

Да, еще в одном можно убедиться сегодня — почти всякий уважающий себя человек состоит членом национал-социалистской партии! Председатель суда Либориус, директор музея Грас, директор больницы Зандкуль, советник юстиции Швабах — этот даже играет видную роль в национал-социалистской партии,— директор гимназии Петт, медицинский советник Хаферлаг, профессора Копенхейде и Роде, директор художественного училища Занфтлебен — словом, почти все. Эти господа держатся с достоинством, выглядят хорошо упитанными и довольными. Многие из них успели отрастить себе брюшко, многие демонстрируют сверкающие лысины, которых в другое время никто бы не увидел под шляпами. Одним словом, это сливки общества.

В глубине зала толпятся молодые люди в коричневых мундирах. Нимало не стесняясь, они шутят и громко разговаривают. Среди коричневых солдат несколько седовласых людей, в том числе сапожник Габихт; его большие прозрачные уши то и дело вспыхивают красным огнем.

Просто поразительно, что большинство здесь присутствующих принадлежит к национал-социалистской партии. Может быть, многие горожане остались без приглашения? Фабиан составил список на семьсот человек, но ведь его контролировал Таубенхауз. К числу

беспартийных относился Вольфганг Фабиан; поначалу он весело оглядывал зал, но, убедившись в сухом к себе отношении, утратил всю свою непринужденность. По соседству с ним сидел учитель Глейхен, молчаливо забившийся в угол. Всем был известен его нелюдимый нрав, а теперь многие вспомнили, что его перевели в сельскую школу в Амзельвизе в наказание за то, что он не оказал должного почтения флагу со свастикой.

II

Перья голубовато-стального отлива взволнованно трепыхались на крошечной шляпке фрау фон Тюнен. Баронесса без умолку говорила и смеялась. Ее восторженный голос и громкий смех разносились по всему залу. В эти дни она стала одной из руководительниц национал-социалистского женского союза и чувствовала себя как рыба в воде.

Полковник фон Тюнен кокетничал своей полковничьей формой, точно юный кавалерист; его усеянная орденами грудь сверкала. Он здоровался, пристукивая каблуками и выбрасывая вперед руку, шутил, смеялся. И, несмотря на свои седые, как всегда, тщательно приглаженные волосы, выглядел очень помолодевшим.

— Фрау Фабиан! — крикнул полковник, заметив Клотильду, пробиравшуюся сквозь толпу. Он поспешил ей навстречу, стал навытяжку, как перед генералом, и отвесил ей подчеркнуто низкий поклон. Клотильда покраснела, радуясь вниманию, оказанному ей на глазах у всех собравшихся.

— Идите к нам, Клотильда! — закричала баронесса.— У нас тут собрался прелестный кружок.

Молодой Вольф фон Тюнен, старший лейтенант, высокомерно улыбаясь, держался поодаль от дам, окружавших его мать; его, как он говорил, не интересовали женщины старше сорока лет. В манере, с которой он раскланялся и почтительно поцеловал руку Клотильды, было нечто старомодно учтивое.

В этот момент двери закрыли, и все стали рассаживаться по местам. Впрочем, болтовня смолкла лишь на

какую-нибудь минуту, потом опять послышался восторженный голос баронессы.

Последним, стараясь остаться незамеченным, через зал прошел Фабиан, пытливым взглядом окидывая ряды присутствующих.

Ему очень хотелось увидеть здесь Кристу и фрау Беату Лерхе-Шелльхаммер. Он включил их имена в список приглашенных, хотя и знал, что как раз в эти дни они собирались поехать в Баден-Баден. Но сколько он ни смотрел, их нигде не было видно.

«Как жаль, что нет Кристы»,— подумал Фабиан и направился в конец зала, где сидели рядовые нацистской партии в коричневых рубашках. Они с готовностью подвинулись; вид у них был такой, словно подошел командир.

— Он прекрасно выглядит,— шепнула баронесса на ухо Клотильде.— И как хорошо, что он наконец-то принял решение.

— Если что делаешь, то уж надо делать до конца,— отвечала Клотильда.— По-моему, он как истый солдат должен состоять в какой-нибудь военизированной организации.

— Конечно, от него именно этого и ждут,— продолжала баронесса,— а то, что он совершил этот шаг, не обусловив наперед получения какого-нибудь высокого воинского звания, несомненно будет считаться большой его заслугой.

Бургомистру пора уж было появиться.

Но он все не шел. Чего-то, видно, еще ждали. В зале оживленно обсуждали этот вопрос, указывая на три пустых места в ряду, предназначенном для членов муниципалитета. Интересно, для кого же оставлены эти три стула? Или сегодня ждут высоких гостей?

Большие двери вновь распахнулись, и на пороге появились трое в коричневых и черных мундирах нацистской партии; они поспешно направились к пустовавшим стульям. Впереди быстро шел приземистый, широкоплечий человек. У него было широкое добродушное лицо, толстые губы и медно-красные, расчесанные на пробор волосы. По его щекам сбегала узкая полоска бакенбард. Всем бросилось в глаза, что на

нем не было орденов,— одна только скромная ленточка, выглядывавшая из петлицы. Двое других, молодые, с прекрасной военной выправкой, были, по-видимому, его адъютантами.

В зале началось движение, шум. Любопытные повскакали с мест, «коричневые солдаты» вскинули руки и закричали: «Хейль!»

Приземистый, широкоплечий человек слегка поднял руку в знак приветствия. И в зале сразу воцарилась тишина.

— Это гаулейтер Румпф,— взволнованно прошептала баронесса на ухо Клотильде.— Ну, что, не говорила ли я вам, что он придет на доклад?

— Гаулейтер?

Клотильда была разочарована. Гаулейтер представлялся ей величавым властелином, окруженным великолепной свитой.

Баронесса вся трепетала от волнения.

— Вы заметили ленточку в его петлице? — спросила она Клотильду, в возбуждении вонзая ей ноготь в руку.— Это «орден крови», высшая награда, которой удостаивает фюрер. Высокий белокурый офицер — адъютант Фогельсбергер, а брюнет с суровым лицом — адъютант граф Доссе. Боже мой, Клотильда, я никогда не забуду этого дня!

Но тут как раз открылась узкая дверь, и на эстраду, украшенную флагами со свастикой, весь в черном, вышел бургомистр Таубенхауз.

III

Таубенхауз медленным, размеренным шагом поднялся на кафедру. Вначале он казался несколько смущенным, но вскоре зарекомендовал себя красноречивым оратором.

В полутемном зале его длинное, худое лицо выглядело бледнее обычного. Сегодня оно было еще желтее, невыразительнее и утомленнее, чем обычно. Черная шевелюра казалась лишенной всякого блеска, так же как и темная щеточка под ноздрями. Он был при орденах, и люди. в этом разбирающиеся, отметили сразу,

что никаких редких орденов у него не было, даже Железного креста первого класса. Никто не мог бы подумать, что этот человек командовал «Аистовым гнездом» в Аргоннском лесу, к тому же ордена бренчали всякий раз, как он раскланивался.

Как только он произнес первые слова, Фабиан улыбнулся. Конечно, Таубенхауз начал с гусей и коз, которые разгуливали по рыночной площади его родного города в Померании. Слушателям понравилась эта откровенность, и они были страшно изумлены, услышав, что гуси и козы бродят и у них в городе, но гуси и козы другой породы, весьма малоприятной, скорей даже позорной. Все весело смеялись и аплодировали.

Легкий румянец заиграл на безжизненном, деревянном лице бургомистра; с этой минуты Таубенхауз, казалось, вернулся к жизни.

— Я приехал сюда,— крикнул он громким голосом, и его золотые очки блеснули,— чтобы пробудить ум и сердце этого города!

Он так прокричал эти слова, что слушатели испугались.

— Да, этот город, прозванный некогда «городом золотых башен», должен снова засиять своей былой славой. Через несколько лет он станет красивейшим городом страны, красоту и богатства которого будут превозносить все, дух общественности и гостеприимства которого вызовет всеобщую завнсть. (При этих словах грянули аплодисменты.) В этом городе мы построим новый театр оперы и драмы, по сравнению с которым теперешний будет казаться гусиным хлевом, постоянное помещение для художественных выставок, музыкальной академии, лучшие в мире стадионы и бассейны.— Глаза слушателей заблестели.— Весь город будет покрыт зеркально гладким асфальтом, по которому с огромной скоростью понесутся комфортабельные автобусы. Что толку горожанам в трамвае, которого нужно ожидать по пятнадцати минут. Я проверил это с часами в руках.

Город спит, спит, как спал в средние века! Я хочу грянуть громом и разбудить его! — Тут он зарычал еще громче, чем в первый раз.— Мы воздвигнем новые

мосты! — И бургомистр стал пространно рассказывать о Мосте героев с Фридрихом Великим, скачущим на гордом коне в окружении знаменосцев и барабанщиков, ландскнехтов с алебардами и бердышами, за которыми следуют германцы с секирами и сучковатыми дубинками. Новые земли будут присоединены к городу, на них расселятся тысячи, многие тысячи людей, ибо через десять лет население города возрастет вдвое. Новые площади украсят город, новые улицы и магистрали. Все старое, все, что мешает, должно посторониться. Долой старое! Надо, чтобы большие грузовики беспрепятственно проносились по улицам. К черту старый хлам! Он, бургомистр, уж сумеет позаботиться, чтобы город имел вполне современный вокзал и хороший аэродром. Какой жалкий вид сейчас у Вокзальной площади! Смотреть стыдно! В скором времени приезжающих будет встречать шелест цветущих деревьев и веселый плеск двух гигантских фонтанов.

Двух? Фабиан насторожился. Таубенхауз почти слово в слово пересказывал заготовленную им речь. Вдобавок все предложения Фабиана, относящиеся к далекому будущему, он включил в программу немедленной перестройки и тем самым сделал ее неосуществимой. Фабиан говорил о перестройке театра, у Таубенхауза театр строился заново. Некоторая модернизация вокзала у Таубенхауза превратилась в новый вокзал. Это и был новый дух, стремившийся к пределам, где возможное уже граничит с невозможным.

«Кто хочет строить замок, не должен начинать с собачьей конуры»,— дословно процитировал Таубенхауз фразу из черновика Фабиана.

Люди слушали и дивились — до чего же завлекательная фантазия у оратора, о педантизме и скопидомстве которого носилось столько слухов.

Теперь Таубенхауз как из рога изобилия осыпал город богатствами. Он хотел внедрить новые отрасли промышленности и промыслов, воскресшие ремесла должны были вступить в фазу процветания. Жители города сидели зачарованные. Да, этот бургомистр не чета боязливому и осторожному Крюгеру, вот уж поистине творческий ум! Ведь из богатств, сыпавшихся

на город, кое-что должно было перепасть и горожанам. Есть у тебя дом или нет, фабрикант ты или нет, но если идет такое строительство, то все кругом процветает. Земельная собственность увеличивается в цене, десятники, строители, столяры, стекольщики, маляры, слесари — все имеют шансы стать богачами. Слушатели замолкли и не шевелились. Нажиться! Нажиться! Разбогатеть! В глазах всех читалась жажда наживы. Обогащаться! Сегодня, завтра! Вот смысл жизни!

Стой! Таубенхауз забыл кое о чем. Нет не забыл, такой, как он, никогда ничего не забывает, он приберег это под конец: Дом городской общины.

Дом городской общины! И это было идеей Фабиана, но он мыслил его чем-то вроде большого клуба, который будет построен не в столь уж близком будущем, а Таубенхауз говорил о здании гигантского масштаба. В нем должна была разместиться городская община, клубы, бюро партий, спортивные организации. Партий? Разве есть партии, а не только партия? В этом же здании предусматривается большой концертный зал, залы для собраний, совещаний и конгрессов; двенадцать этажей — оно будет выше собора, будет символом нашего города, всей провинции, символом нашей великой и прекрасной эпохи.

В воздух взметнулась унизанная кольцами женская рука; гаулейтер тоже поднял правую руку, и зал разразился овацией.

Но где же будет воздвигнут Дом городской общины? Он, Таубенхауз, неоднократно консультировался со своими друзьями, и, наконец, они нашли подходящее место: в Дворцовом парке наверху, где сейчас стоит Храм мира. Этот холм возвышается над всем городом, всей округой, а маленький, изящный Храм мира, сооруженный жителями города после Освободительных войн, уже свое отжил и будет теперь украшать другой уголок Дворцового парка.

Итак, вот его программа.

Да, еще! Таубенхаузу нужны деньги, деньги и деньги! Жертвы, жертвы и жертвы! Общепризнанное моральное единство горожан должно вновь выказаться во всем блеске. В приемной бургомистра лежит под-

писной лист, и пусть никто не стыдится вписать в него свое имя и не стесняется взглянуть, на сколько подписался другой.

— Да, и я не постесняюсь проверить это самым тщательным образом! — выкрикнул он и покинул трибуну.

Громкая и долго не смолкаемая овация и крики «Хейль!» послужили ему наградой за произнесенную речь.

Гаулейтер встал, быстрыми шагами подошел к трибуне и долго тряс руку Таубенхаузу.

IV

«Таубенхауз пробуждает ум и сердце города!»

«Таубенхауз приводит в движение духовные силы города!»

Речь его была полностью напечатана в газетах и долгое время служила основной темой разговоров. Все городские пивные и винные погребки были открыты далеко за полночь, и посетители их оживленно обсуждали каждый отдельный пункт речи бургомистра. Усталость, плохое настроение, нерешительность как рукой сняло. Возникали планы, учреждались новые предприятия, люди покупали, продавали, былая предприимчивость вновь проснулась в них, на многих улицах воздвигались леса. Все шло в гору. У каменщиков и плотников работы было хоть отбавляй. Хотя Таубенхауз кормил всех только обещаниями, да еще к тому же требовал жертв, в воздухе уже запахло деньгами, все были полны предчувствием будущих богатств.

«Наступает век Перикла»,— предсказывал советник юстиции Швабах, восседая за большим столом в «Глобусе». Об этом веке Перикла он твердил каждый вечер, осушая очередной бокал. А ведь советник юстиции вряд ли станет бросать слова на ветер.

— Но деньги? Откуда Таубенхауз добудет деньги?

— Что деньги? Денег у него будет столько, сколько он пожелает.

— Сколько пожелает?

— Да, сколько пожелает.

— Если Таубенхауз выполнит только десятую часть своей программы, он и то заслужит монумент.

— Таубенхауз — гений.

Двери в приемную бургомистра были открыты настежь, горожане толпились у подписного листа, и сумма пожертвования каждого опубликовывалась в газетах с указанием его имени и фамилии.

— Я доволен пожертвованиями,— заявил Таубенхауз репортеру.— Они уже перевалили за миллион. Но есть среди нас и такие, что не внесли ни единого гроша. Я жду их. Я ненасытен.

Какой-то коммерсант пожертвовал для городского музея прекрасный шкаф в стиле барокко. Этот шкаф целую неделю стоял в витрине ювелирного магазина Николаи, украшенный изящной дощечкой с надписью: «Пожертвование коммерсанта Модерзона, Флюсхафен, 18». Общество содействия процветанию города устроило заседание в «Глобусе», продолжавшееся до утра. Историческое общество организовало экскурсию в Амзельвиз, где убеленный сединами профессор Галль, тот самый, что пришел в ратушу с медалью «за спасение утопающих» на груди, прочел на поросшей сорняком мусорной куче лекцию о раскопках древнегерманских гробниц.

Весь город пришел в движение. Казалось, слова Таубенхуаза, подобно урагану, раздули угасающее пламя.

Во всех кругах городского общества, в особенности среди дам, в связи с взволновавшей всех речью бургомистра стало упоминаться имя Фабиана. О нем тоже было что порассказать.

— Знаете, такой красивый мужчина, женатый на Прахт, глава адвокатской конторы. Если вам что-нибудь нужно, обратитесь к нему. Это самая светлая голова в городе.

В один прекрасный день к Фабиану зашла фрау фон Тюнен поздравить его с большим успехом.

— Бог ты мой, какой неожиданный, но заслужен-

ный успех! Мы гордимся вами, мой друг, в особенности, конечно, Клотильда. Она вами не нахвалится.

Фабиан скромно отклонил эти славословия.

— Мы все знаем, уважаемый,— сказала баронесса, смешно мигая своими маленькими хитрыми глазками.— Конечно, это был ваш долг, ваша обязанность многое подсказать Таубенхаузу. Я понимаю. Откуда же ему знать наш город? А Дом городской общины! Уже одно это — гениальная идея.

Фабиан улыбнулся и объяснил ей, что о двенадцатиэтажном доме он впервые узнал из речи Таубенхауза.

Баронесса посмеялась над ним.

— Вы слишком скромны, мой милый! — воскликнула она.— Ах, если бы все люди были такими идеалистами! Как это было бы замечательно! Благословение для нашего отечества! Уж самая мысль о том, что ты служишь большому делу и работаешь на благо общества,— прекрасная награда. Ваше поведение делает вам честь! Пусть же успех подвигнет вас на новые дела на благо нашего возлюбленного отечества. До свидания, я спешу, моя работа среди женщин доставляет мне много хлопот и забот, но я счастлива!

Фабиан со дня на день ждал, что Таубенхауз вновь позовет его. Но Таубенхауз молчал, он был очень занят. Гаулейтер все еще находился в городе, его каждый день видели в автомобиле. На улице перед «Звездой» все еще стояли кадки с лавровыми деревцами, как на свадьбе, а в гостинице ночи напролет горел яркий свет. Гаулейтер любил торжественные обеды, ужины, банкеты, и все знали, что он умеет обходиться почти без сна.

Наконец, Фабианом овладело беспокойство. Он стал чаще заходить к себе в контору и спрашивать, что слышно нового. Но ничего нового не было слышно. Не найдя успокоения в конторе, он объявлял, что забыл об одном важном деле, и снова убегал.

Он усердней, чем обычно, занимался текущими делами, например неоднократно совещался с братьями Шелльхаммер, добиваясь высокой ренты, которую требовала фрау Беата. Часто заходил к ней для переговоров — ведь о таких щекотливых делах трудно было

говорить по телефону. На самом же деле он просто хотел видеть Кристу. Она была неизменно приветлива и часто весело, по-дружески болтала с ним и встречала его все той же нежной улыбкой, которая потом часами ему мерещилась. Теперь она обычно краснела, завидев его.

Никто из них больше ни словом не обмолвился ни о встрече в «Резиденц-кафе», ни о мессе в Пальме на Майорке, описания которой Фабиан не мог забыть до сих пор, ни о розах, которые он прислал Кристе. У него часто являлась потребность поболтать с ней часок-другой, но в эти дни он чувствовал себя слишком беспокойно.

Однажды Криста, пристально взглянув на него, покачала головой и заметила:

— По-моему, вы за последнее время стали очень нервны, друг мой.

Фабиан засмеялся.

— Я это знаю сам,— ответил он.— Последние дни потребовали от меня большого напряжения сил. Но скоро моя контора пополнится дельными людьми, которые немного освободят меня. Тогда я опять почувствую себя лучше.

— Надеюсь, что это время не за горами.

Теплые нотки в ее голосе тронули и обрадовали его.

— Ничего важного? Нет, ничего, только так, незначительные мелочи.

Он даже урвал время поехать в Амзельвиз, чтобы побеседовать часок с медицинским советником Фале.

— У меня завязываются новые связи,— сказал он, стараясь утешить старика, но тут же покраснел и оборвал разговор, боясь возбудить в старике напрасные надежды.

— С Таубенхаузом у меня тоже установились более близкие отношения,— продолжал он,— и я надеюсь продвинуть ваше дело. Терпение и мужество. Вот все, о чем я прошу вас.

Поводов для беспокойства было достаточно. Неуже-

ли он зря трудился эти две недели над созданием «города с золотыми башнями»?

И Вольфганг не подавал о себе вестей. Когда ему звонили, он отвечал по телефону нелюбезно, почти резко. «Я измучился с этим проклятым «Юношей, разрывающим цепи»! — кричал он и бросал трубку. Наконец, Фабиану удалось завлечь его в «Глобус» отведать карпов. Но он весь вечер был неразговорчив и угрюм, несмотря на то, что карпы были приготовлены превосходно.

— Ты сегодня ничего не пьешь, Вольфганг,— укоризненно заметил Фабиан.

Вольфганг бросил на него быстрый, мрачный взгляд, который словно ударил Фабиана.

— Можешь успокоиться,— буркнул он.— Сегодня уж я напьюсь. Напьюсь, хотя бы от злости на то, что мой брат стал участником этой комедии.

Слово было сказано. Кровь бросилась Фабиану в голову.

— Должен откровенно признаться тебе, Вольфганг,— начал он,— что я звонил тебе так настойчиво только для того, чтобы вызвать тебя на этот разговор, который считаю необходимым.

— А я,— закричал Вольфганг, и глаза его сверкнули,— я пришел сюда, только чтобы получить от тебя объяснение относительно перемены твоих взглядов.

— Перемены моих взглядов? — Фабиан улыбнулся.— Мои взгляды не переменились. Я остался таким же, как был... Речь идет о формальности.

— Формальности? — Вольфганг устремил сверкающий взгляд на Фабиана.

Да, и только. Вольфганг не должен забывать, что у него на руках жена и двое сыновей. Его выставили из магистрата и объявили ему бойкот как юристу. Он должен был вступить в национал-социалистскую партию, в противном случае его ждала экономическая катастрофа. А затем от него, как от офицера, потребовали, чтобы он примкнул к одной из военизированных организаций.

— Прими все это во внимание, Вольфганг, прежде чем судить меня,— закончил Фабиан.— Это был край-

ний срок для принятия решения. Через три недели моя контора была бы закрыта.

Скульптор скомкал салфетку и швырнул ее на стол. Он побагровел от гнева, и краска долго не сбегала с его лица.

— Конечно, они вымогатели,— проскрежетал он сквозь зубы,— но все же... В художественное училище также назначили нового директора, некоего Занфтлебена, бездарного мазилу,— продолжал он, и его голос так дрожал от волнения, что почти невозможно было разобрать слов,— и этот «новый» часто делает ему, Вольфгангу, недвусмысленные намеки. Но он просто не слушает их. Пусть его увольняют, пожалуйста! Ему это в высшей степени безразлично. Он поступит на фарфоровую фабрику, где будет получать триста марок. Род людской от этого не погибнет.

Фабиан вздохнул с облегчением. Самое неприятное осталось позади.

— Хорошо, что твоя профессия имеет применение на фарфоровых фабриках, и хорошо, что тебе не надо заботиться о жене и детях,— возразил он.— Твое положение куда лучше моего.

Слава богу, опасный румянец постепенно сходил с лица Вольфганга.

Скульптор закурил сигару.

— Франк,— сказал он примирительным тоном, попыхивая ею,— сигара плохо разгоралась,— Франк, я ни в коем случае не хочу из-за расхождения в политических взглядах лишиться своего единственного брата, пойми меня правильно! Кроме того, я тебя слишком хорошо знаю и уверен, что ты не сделаешь и не допустишь ничего дурного. Когда-то ты хотел стать священником, и тебя никакими силами нельзя было от этого отговорить. Но потом ты сам во всем разобрался и передумал. Вот и сейчас я говорю тебе: оставь его, он образумится, как в тот раз.

Фабиан протянул ему руку.

— В этом ты можешь быть уверен,— воскликнул он,— но в данном случае подождем год-другой, Вольфганг. Кто знает, возможно, что и ты многое увидишь в ином свете. Возможно, что на этот раз уверуешь ты.

Вольфганг засмеялся.

— Не спорю, многие уже посходили с ума,— отвечал он.— Хорошо, вернемся к этому через несколько лет. А сегодня давай говорить о другом. Оставим в стороне этот политический вздор, который мало-помалу всю страну превращает в сумасшедший дом. Давай-ка лучше посудачим насчет пресловутого Моста героев этого Таубенхауза. Я и сейчас умираю со смеху, вспоминая об этом мосте: Фридрих Великий с германцами, медвежьими шкурами и дубинками! Ха-ха-ха!

Он смеялся так громко и заразительно, что сидевшие за соседними столиками обернулись.

— Какой величины должен быть этот Мост героев? — сквозь слезы спрашивал Вольфганг.— Миля, две-три мили? Вообще, я вижу, этот Таубенхауз здорово вскружил всем головы своими потемкинскими деревнями.

— Значит, ты не веришь, что в первую очередь им руководило желание вдохнуть новую жизнь в наших упавших духом горожан?

Вольфганг снова рассмеялся, а Фабиан заказал еще бутылку вина.

Оба они ушли из «Глобуса» поздно ночью. И расстались как друзья, как братья.

Наутро после примирения с братом Фабиан поздно пришел в контору. Он еще не успел снять пальто, как его позвали к телефону. Услышав голос Таубенхауза, Фабиан испугался и вместе с тем обрадовался. Бургомистр просил его явиться немедленно.

Фабиана ждал весьма любезный прием. Бургомистр был уже не так бледен, легкий румянец играл на его лице, а глаза казались покрасневшими и воспаленными.

— К сожалению, я никак не мог раньше выкроить времени,— начал Таубенхауз.— И теперь только хочу сказать, что очень доволен вами. Господин гаулейтер весьма похвально отозвался о докладе и моих планах, а также выразил желание при первой возможности познакомиться с вами.

Фабиан поклонился.

— Он приказал мне сообщить вам об этом,— про-

должал Таубенхауз.— Я решил учредить центральное бюро, куда будут стекаться все планы по перестройке города. Там же будут рассматриваться все старые и новые предложения по этому вопросу. Между прочим, господину гаулейтеру особенно понравилась моя мысль переделать мостовую в городе.— Таубенхауз улыбнулся.— Теперешняя мостовая, сказал гаулейтер, не годится для машин, разве что для коров и прочих парнокопытных.

Тут улыбнулся и Фабиан.

Таубенхауз, видимо, спохватился, что впал в излишнюю фамильярность, и продолжал уже сухим, официальным тоном:

— Для вышеупомянутого бюро мне нужен человек, соединяющий в себе трудолюбие с талантом изобретателя. Последнее никогда не повредит. Это первое условие. Кроме того, он должен обладать кое-какими правовыми знаниями и известными дипломатическими способностями. Разумеется, и вы с этим несомненно согласитесь, такого человека сыскать нелегко, но мне кажется, что я его нашел.— На губах бургомистра снова промелькнуло некое подобие улыбки, и он продолжал: — Руководителем Бюро реконструкции я назначаю вас, господин доктор Фабиан!

Фабиан поклонился и пробормотал несколько слов благодарности.

Таубенхауз взял в руки какой-то документ, тем самым давая понять, что беседа окончена.

— С сегодняшнего дня вы принимаете на себя руководство Бюро реконструкции,— добавил он.— Я хочу, чтобы наше бюро выглядело в высшей степени представительно, в первую очередь помещения для приема посетителей. Представительность — все! Вам придется об этом позаботиться! Для начала вам хватит помещения в восемь — десять комнат. Дом должен, конечно, находиться в одном из лучших кварталов города. В ваше распоряжение будет предоставлен обслуживающий персонал в том количестве, в каком вы найдете нужным, а также служебная машина, даже две, если потребуется. Через неделю прошу явиться ко мне с докладом. Надеюсь, что мы с вами сработаемся!

Фабиан поблагодарил и удалился.

В оцепенении шел он по гулким коридорам. Это был успех, большой успех! Фабиан стоял у преддверья многообещающей карьеры, это он чувствовал всем своим существом. Размышлять он был еще не в состоянии.

На другой день в газетах появилось подробное сообщение о Бюро реконструкции, в качестве руководителя назывался Фабиан.

Конечно, недоброжелатели и завистники есть везде и всюду. И Фабиан через несколько дней обнаружил у себя на столе таинственное письмо, смысл которого он не мог разгадать. Письмо, напечатанное на пишущей машинке, состояло из одной строчки, гласившей: «И ты, Брут?», и подписи: «Неизвестный солдат».

Непонятно! Фабиан бросил загадочное письмо в корзину.

V

В тот же самый день Фабиан приступил к работе. Первым делом надо было найти внушительный дом, который удовлетворял бы требованиям Таубенхауза.

«Через неделю прошу явиться ко мне с докладом».

В свою контору Фабиан почти не заглядывал или лишь на считанные минуты. Фрейлейн Циммерман приходилось туго.

— Мне нужен доктор Фабиан.

— Его сейчас нет на месте.

— Передайте, пожалуйста, что звонила фрау Беата Лерхе-Шелльхаммер.

— Хорошо, передам.

Фрау Беата звонила каждый день, но никогда не заставала Фабиана. Каждый день ему об этом докладывали, но он почему-то все не удосуживался позвонить ей.

Наконец, фрау Беата вышла из терпения.

— Нет на месте? Передайте доктору Фабиану, что если он не объявится, я приглашу другого адвоката. Он не один в городе... И еще передайте, что я скоро

уезжаю за границу, через несколько дней он меня уже не застанет.

— Хорошо, передам.

Все это черным по белому записывалось в его блокноте на письменном столе.

— Все забываю, забываю! Фрейлейн Циммерман, позвоните и скажите, что завтра в пять я буду к ее услугам.

И хотя времени у него по-прежнему было в обрез, он решил пойти. Слово «заграница» его испугало.

Фабиан быстро шел по Дворцовому парку, кутаясь в пальто. Стояла осенняя пора. Липовые аллеи были желто-коричневого цвета. Временами Фабиан не слышал собственных шагов, таким толстым ковром устилали землю опавшие листья. Зеленый свод местами был весь изрешечен, местами его вообще больше не существовало. Итак, незаметно для него подкралась поздняя осень. Погруженный в деловые хлопоты, Фабиан даже о Кристе не вспоминал последние дни. Только завидев дом Шелльхаммеров, он попытался собраться с мыслями.

Переговоры с братьями фрау Беаты сейчас приостановились, и об этом ему предстояло осторожно сообщить ей. Оба брата внезапно заняли равнодушную, уклончивую позицию. В подобных переговорах терпение, пожалуй, является главным фактором. Сначала братья назвали сумму отступного, превзошедшую ожидания Фабиана. «Лишь бы не канителиться»,— как они выразились. Тогда он предложил фрау Беате потребовать от них еще и ренту. Она согласилась, но ее требования возрастали день ото дня.

— Вы только не разводите с ними особых церемоний,— говорила она,— и не вздумайте уступать этим негодяям. Хватит им обряжать своих разжиревших супруг в меха и брильянты. Я ни одним грошом не поступлюсь. Когда миллионеры предлагают вам талер, с них надо требовать тонну золота. Вот и требуйте с них тонну, вы ведь только мой адвокат, вам нечего стесняться. А я учрежу сиротский приют на сто коек — пусть видят, что я не такая жадина, как их супруги.

Из-за этих требований высокой ренты собственно и приостановились переговоры. «Надо придумать что-то новое, иначе все застрянет»,— размышлял Фабиан.

Он позвонил.

— Ах, как давно я вас не видела! — воскликнула Криста, и легкий румянец мгновенно окрасил ее щеки. Зато фрау Беата встретила его градом упреков.

Фабиан, смеясь, пытался оправдаться.

— Я сейчас верчусь, как белка в колесе,— заявил он со смехом.— К сожалению, в переговорах в настоящее время произошла заминка, но надеюсь, их в любое время можно будет возобновить.

— Нет,— грубо оборвала его фрау Беата.— Хватит этих переговоров, с меня довольно. Пожалуйста, войдите.— Она заперла дверь и предложила Фабиану сесть.

— Нужно скорее добиться соглашения, друг мой!— воскликнула она и затем ясно и деловито, как человек, все взвесивший и продумавший, добавила: — Вернитесь к той сумме отступного, которую мои братья назвали вам в последний раз. Попытайтесь всеми способами добиться вместо ренты повышения суммы отступного. Вы меня поняли? В случае, если вы не добьетесь этого повышения, я уполномачиваю вас без долгих разговоров согласиться на ту сумму, которую они вам предлагали. И конец.

Она выпалила все это так быстро, что у нее перехватило дыхание.

— Не нужно мне никакой ренты,— продолжала фрау Беата, помолчав,— потому что я не хочу иметь ничего общего с заводами. Поставьте об этом в известность моих братцев. Теперь я знаю, почему они хотели во что бы то ни стало выжить меня из дела. Негодяи эдакие! А сейчас я вам скажу, что руководит мною. Криста, закрой дверь на террасу, становится прохладно. И принеси сюда мою качалку, кстати на ней лежат сигареты.

Криста закрыла дверь, ведущую в сад. Терраса была усыпана мокрыми листьями. В комнате сразу стало темно.

Фрау Беата уселась в качалку, старую и обтрепанную, по-видимому, доставшуюся ей еще от матери. Она закурила и, медленно покачиваясь, начала:

— Ну, а теперь, милейший, слушайте, что заставило меня прийти к такому решению, я спокойно все изложу вам.

— Не надо волноваться, мама,— попросила Криста.

Фрау Беата тряхнула головой и продолжала спокойно курить.

— Да я и не волнуюсь,— сказала она.— Все волнения уже позади.

Итак, фрау Беата перед путешествием поехала на завод, чтобы там проверили, в порядке ли ее большой автомобиль. Инженер, который обычно осматривал эту машину, был занят, и фрау Беату направили в шестой цех. В шестом цехе столпились инженеры, техники и какие-то офицеры. Они стояли вокруг какой-то машины и горячо спорили.

— Но, друг мой, вы, наверное, захотите знать, что это за машина?

Фрау Беата своим глазам не поверила. У этой машины вместо колес была гусеничная передача. Ужас! Она вся помертвела. Это был танк!

— Танк! — выкрикнула фрау Беата, в волнении вскочила, вынула из шкафчика хрустальный графин и налила себе изрядную рюмку коньяку.

Наконец, ей удалось подозвать к себе знакомого инженера, продолжала фрау Беата, шагая взад и вперед по комнате, чтобы скрыть свое волнение.

— Это что — танк? — спросила она его.— Уж не затеваете ли войну?

Этот болван расхохотался ей в лицо. Нет, просто это новый военный заказ. Их завод должен выпустить двести таких танков.

— Но, значит, вы все-таки затеваете войну,— настаивала фрау Беата.

— Если армия вооружается, то это еще не значит, что она собирается воевать,— отвечал этот дуралей.

Фрау Беата засмеялась.

— Вы так полагаете? А я лучше знаю жизнь. Все это мне известно еще со времени мировой войны. Вам втирают очки, а вы, дураки, верите. Что это за офицеры?

Инженер ничего не ответил ей.

Фрау Беата остановилась. Пепел с ее сигареты упал на пол. Да, теперь она знала достаточно. И она нн за что не согласнтся получать ренту с завода, который работает на вооружение. Ни за что, н дело с концом!

Криста вышла распорядиться насчет чая, и фрау Беата объяснила, что в мировой войне она потеряла мужа, который был тяжело ранен в танковом бою под Суассоном. Уж' кто-кто, а она-то знает, что за штука танк. От волнения фрау Беата налила себе еще рюмку коньяку, выпила её и налила снова.

Затем закурила сигару и уселась в кресло.

— А теперь я попрошу вас только об одном,— обратилась она к Фабнану, когда Криста опять появилась в комнате: — постарайтесь как можно скорее прийти к соглашению. Кланяйтесь моим братьям и передайте, что я прошу поторопнться. Мы намерены в самом ближайшем будущем отправиться в Италию, чтобы провести зиму во Флоренцин и в Риме.

Фабиан почувствовал укол в сердце.

— Вы уже опять собираетесь уезжать? — спросил он.

— Да,— отвечала Криста вместо матери с какой-то невеселой улыбкой.

— И как можно скорее! — воскликнула фрау Беата.

— Не будет ли автомобильное путешествие в это время года слишком утомительным? — осведомился Фабиан.

— Утомительным? — Фрау Беата рассмеялась.

— А может быть, нам послать машину вперед, мама?

— Нет, я сяду в нее у самого подъезда и буду ехать до тех пор, пока мы не застрянем где-нибудь в сугробах. Ты увидишь, девочка моя, как быстро мы окажемся во Флоренцин.

Тут горничная внесла чай.

VI

Фабиан изо дня в день разъезжал с маклерами на машине в поисках подходящего помещения для своего Бюро реконструкции. Переговоры с братьями Шелльхаммер он вел очень вяло. В конце концов нельзя его осуждать, если он хотел несколько отсрочить путешествие дам Шелльхаммер. Уже сейчас он страшился этой зимы без Кристы.

Однажды вечером, когда Фабиан один как перст сидел в «Звезде», в погребок вошел советник юстиции Швабах со своими друзьями. Немного позднее Швабах подсел к Фабиану.

— Превосходные новости! — объявил он.— Поверенный вашей жены был у меня сегодня утром. Радуйтесь, Клотильда хочет идти на мировую.

— Клотильда... на мировую? — недоверчиво переспросил Фабиан.

— Да, во всяком случае я сделал именно такой вывод из длинной речи моего коллеги. Но вы, кажется, совсем не рады?

Фабиан, улыбаясь, покачал головой.

— Я вам очень признателен, господин советник юстиции,— ответил он.— Но это известие так неожиданно, что я не могу сразу собраться с мыслями. Завтра утром я зайду к вам в контору.

Первое чувство, вызванное в нем сообщением Швабаха, было торжество. Клотильда хочет примирения! Прекрасно, но теперь он не хочет. Клотильда проиграла! Другая, более достойная, вошла в его жизнь, и он начнет жизнь сначала. Прощай, Клотильда! Он больше не любил ее. Теперь он ее ненавидел. Конечно, он всегда будет помнить, что она подарила ему двух способных, здоровых сыновей, но не забудет и обид, которые она ему нанесла. Однажды они поссорились, Клотильда схватила свою подушку и положила ее в ногах постели. Другой раз она среди ночи забрала свою постель и ушла в другую комнату. Таких обид мужчина не забывает! Он и по сей день чувствует себя оскорбленным.

— Ваше здоровье, господин советник! — воскликнул Фабиан, поднимая свой бокал.

Швабах, сидевший за соседним столиком, ответил ему тем же.

Назавтра он зашел к Швабаху и наотрез отказался от примирения, заявив, впрочем, что ничего не имеет против того, чтобы разойтись полюбовно.

И уже на следующий день почувствовал результаты своего отказа: Клотильда больше не выходила к столу.

— Барыня обедает сегодня в будуаре,— смущенно сообщила Марта.

Клотильду часто стали навещать дамы высшего общества, еще в передней заводившие разговор о политике. Иногда Клотильда приглашала их к обеду.

— У барыни гости в столовой,— сообщала Марта.— Не прикажете ли, господин доктор, подать в кабинет?

— Спасибо, не надо,— отвечал Фабиан.— Я не буду больше обедать дома.

«Клотильда уязвлена,— думал он со злорадством,— теперь она видит, что проиграла».

Клотильда передала Фабиану через адвоката Швабаха, что и она предпочитает мирно разъехаться и не доводить дело до бракоразводного процесса, главным образом из нежелания повредить карьере Фабиана. Но в свою очередь выставляет два условия.

Первое: чтобы сыновья были всецело предоставлены ее попечениям, второе: чтобы их теперешняя квартира отошла к ней.

Клотильда знала его слабые места и била по ним без сожаления.

Фабиан нежно любил своих мальчиков. Робби было десять лет, Гарри двенадцать. Он тысячи раз говорил себе, что «как отец и христианин» не может допустить, чтобы они росли в той атмосфере, которая окружала их мать. Еще недавно он решил настоять, чтобы они года три-четыре пробыли в пансионе — пусть подрастут вдали от дома. Сердце его обливалось кровью при мысли отказаться от своих мальчиков, с которыми он связывал столько честолюбивых помыслов, но он смирился. Ради Крисы. Удивленному Швабаху он объяснил,

что всегда считал жестокостью разлучать мать и детей. Такая жестокость претила ему. Кроме того, он пришел к убеждению, что мужчине легче, чем женщине, устроить себе новую жизнь.

Второе условие было значительно легче.

С того дня, как он понял, что действительно любит Кристу и сам, по-видимому, ей не безразличен, он стал стремиться внести ясность и единство в свою жизнь. Тогда же у него возникло намерение разъехаться с Клотильдой. О том, что фактически их брак больше не существовал, знали все в городе, и Криста, вероятно, тоже.

Фабиан заранее принял меры. Он был в хороших отношениях с Росмейером, владельцем «Звезды», дела которого вел, и тот за сходную цену предоставил в его распоряжение две недурные комнаты.

В день, когда мать и дочь Лерхе-Шелльхаммер собирались выехать на машине по маршруту Флоренция — Рим, Фабиан обедал у них. Когда же Криста пообещала время от времени присылать ему весточку, он дал ей адрес «Звезды».

— Разве вы теперь живете в «Звезде»? — удивленно спросила она.

— Да,— с удовлетворением ответил он,— через несколько дней я буду жить в «Звезде». Когда придет ваша первая весточка, я уже совсем обоснуюсь там.

Криста покраснела, и по ее блуждающему взгляду Фабиан понял, что она сразу же все сопоставила и уяснила себе.

— От всей души желаю вам счастья,— сказала Криста, протягивая ему руку.

«Мое счастье в ваших руках»,— хотел он ответить, но вместо этого произнес нечто туманное:

— Большое спасибо. Я еще льщу себя надеждами.

Клотильда удивилась, вдруг обнаружив в своей квартире десять ящиков. Пять из них стояли в прихожей, другие пять — в кабинете Фабиана. Они условились, что он возьмет с собой свои книги, письменный стол и несколько домашних вещей.

На следующий день он переехал. Вскоре две комнаты в гостинице, заполненные «обломками его семей-

ной жизни», приобрели довольно уютный вид. Хотя он привык к комфорту и просторной, хорошо обставленной квартире, он все же внушил себе, что чувствует себя здесь как дома.

Итак, для него началась новая жизнь, волнения его улеглись, и мысли текли спокойно, не стесненные больше тысячами будничных мелочей, которые, как мухи, облепляли его, и вечной претенциозностью Клотильды, деспотизм которой в последнее время проявлялся даже в самых несущественных житейских мелочах.

В первые вечера он наслаждался тишиной своих комнат. Он усаживался в кресле, удобно вытягивал ноги, курил сигару и ничего больше не делал. Потом он набросился на чтение, а когда ему и это надоело, пригласил на ужин своего брата Вольфганга, чтобы открыть ему тайну своего нового местопребывания.

Они прекрасно поужинали, а когда кельнер принес еще бутылку шабли, Вольфганг спросил:

— Скажи, что у тебя за праздник сегодня?

— Ах, да,— смеясь, ответил Фабиан,— ты ведь не знаешь, что я уже две недели, как живу в «Звезде». Я окончательно расстался с Клотильдой.

Вольфганг пригубил шабли и кивнул головой. Помолчав, он проговорил:

— Это, конечно, достаточная причина для празднования. У тебя великий талант исправлять совершенные ошибки. Поразительный талант. В последнюю минуту ты умудрился отделаться от священнического сана, теперь ты разрываешь брак с Клотильдой, от которого тебя отговаривали друзья. Итак, можно надеяться что твое последнее увлечение политикой тоже кончится когда-нибудь.

— Увлечение? — переспросил Фабиан.

— Не обижайся, но я считаю это не более как увлечением. Теперь давай поговорим о бедняжке Клотильде. Ты знаешь мое мнение о ней. Клотильда — охотничья собака, ей подавай дичь! По-моему, она очень неумна.

Фабиан улыбнулся.

— Иными словами, у нее нет души.

«Может быть, Вольфганг и прав,— подумал Фа-

биан,— хотя обычно душу не называют разумом». Ему вдруг вспомнились те два оскорбления, которые он не мог забыть.

Фабиан был полон новых жизненных сил. Медлительности и лени как не бывало! Началась новая жизнь, со старой покончено. Итак, вперед!

Фабиан с увлечением окунулся в дела. Он снял нижний этаж виллы на Гётештрассе, очень подходивший для его Бюро реконструкции. Вилла эта была расположена в нескольких минутах ходьбы от ратуши, на улице, обсаженной молодыми каштанами. Несколько недель он провозился с перестройкой дома, еще несколько недель с внутренней отделкой, но, наконец, все было готово. Пора приступать к работе!

Ежедневно ровно в девять к «Звезде» подавалась служебная машина, а днем его часто видели разъезжающим по городу.

VII

Как только Фабиан ушел из дома и переселился в «Звезду», Клотильда взялась за осуществление планов, с которыми она уже давно носилась. Марте велено было подмести кабинет, имевший довольно жалкий вид без письменного стола, рабочего кресла и многотомной библиотеки. В тот же день Клотильда отправилась в обойный магазин Маркварда и занялась выбором обоев.

— Цена не имеет значения,— сказала она молодому продавцу,— но вы должны запастись терпением, молодой человек, мне нелегко угодить, а обои я собираюсь менять в восьми комнатах.

Наконец-то, наконец-то она может выбирать по своему вкусу, не выслушивая замечаний педантичного супруга, который дрожит над каждой копейкой и к тому же не отличается хорошим вкусом.

— Отложите вот эти обои благородного серебристо-серого цвета. Они подойдут для прихожей. И вот эти бирюзовые с темно-золотистыми полосами, они просто очаровательны.

— Однн нз самых благородных рнсуиков, которые у иас имеются,— осмелился заметить продавец.

Клотильда засмеялась.

— Вот увидите, что я выберу все самые благородиые рисуики.

Продавец терпеливо развертывал рулон за рулоиом, очароваиный небесно-голубыми глазамн белокурой дамы, для которой цена не нмела зиачения.

После того как Клотильда, проведя в магазине несколько часов, отобрала, накоиец, обои, оиа сказала:

— Отложите их для меия, завтра я приду со своей приятельиицей, бароиессой фои Тюнеи, и тогда решу окончательно. Сегодня у меня уже устали глаза.

Потом оиа иаправилась в мебельный магазии Штолля, где пожелала говорить с самим владельцем. У иего иа витрине выставлено очень удобное иизкое кресло, ей нужно таких полдюжнны, и к тому же безотлагательио. Штолль вызвался немедленно позвонить на фабрику и узиать, в какой срок могут быть изготовлены кресла. Вот такой инзкий стол ей тоже необходим, но только в два раза больше. Штолль пообещал заказать и стол.

Из мебельиого магазина Клотильда поспешила в магазии Кемиицера за гардииами. Тем времеием наступил вечер.

Боже мой, сколько ей всего нужно! Несколько дией она провела в сплошиой беготие по городу. Чайный сервиз иа двадцать персои и рюмки для ликера, ведь мужчииы не переступят порога ее дома, если им не подать ликер. Необходимо иметь постоянный запас ликеров и крепких иапитков, чтобы каждый раз не бегать в магазии. Оиа купила целый ящик вин.

Часто ее сопровождала бароиесса фон Тюйен.

— Я поселила своего мужа в «Звезду», пока не будет окоичеи ремонт в квартире,— сказала Клотильда.

— А потом вы, иавериое, возьмете домой и ваших мальчиков, дорогая?

— Вы точио читаете мои мысли. К сожалеиию, только придется с этим иемного повремеиить, мие еще предстоит уйма хлопот с квартирой.

Обе дамы целую иеделю ходили по городу в поис-

ках большого ковра. Они даже дали объявление в газету. Наконец, им предложили ковер такой величины, что он закрыл весь пол в новом салоне Клотильды. Ковер этот принадлежал одной знакомой баронессы — генеральше, которая мечтала от него отделаться.

По дороге к этой генеральше баронесса с Клотильдой прошли мимо ювелирного магазина Николаи; перед его витриной толпилось множество народу, в особенности молодых девушек. Интересно, что же там такое выставлено? Посреди витрины лежала черная бархатная подушка, к которой наподобие ордена была прикреплена брильянтовая свастика. Возле этой подушки виднелась карточка с надписью: «Собственность фрау Цецилии Ш.».

— Цецилия Ш.? Кто эта счастливица? — спросила обуреваемая завистью баронесса.

— Цецилия Шелльхаммер? Есть только одна женщина в городе, которой может принадлежать такая вещь,— не задумываясь, ответила Клотильда.

Баронесса не могла оторвать глаз от сверкающей свастики.

— Вот счастливица, ей можно позавидовать, — повторяла она.— Но нам надо идти, дорогая, я обещала генеральше не опаздывать.

Ковер оказался прекрасным и достаточно большим. Цена его — шесть тысяч марок — нимало не смутила Клотильду, ведь пока они официально не разведены, платить будет Фабиан.

Наконец, все было закончено. Новый салон Клотильды выглядел поистине великолепно. Стены были оклеены бирюзовыми обоями в золотую полоску, бирюзовыми же кистями были подхвачены занавеси цвета слоновой кости. Роскошный ковер и новомодный приглушенный свет дополняли картину. Клотильда, надо отдать ей должное, обладала изысканным вкусом. Она пригласила баронессу на чашку чая, чтобы похвалиться салоном и, наконец, посвятить ее в свою сокровенную тайну.

— Чтобы служить Германии и ее гениальному фюреру,— начала она дрожащим от волнения голосом,— я решила открыть политический салон!

Баронесса вскрикнула.

— Политический салон! — Она обняла Клотильду.— Моя дорогая, это замечательно. Гениальная, положительно гениальная идея! Это просто гениально! — без устали повторяла она.

Обеим дамам понадобилось немало времени, чтобы прийти в себя.

Первая овладела собой баронесса.

— Ну и удивится же наш доктор, когда увидит все это! «Как моя женушка все замечательно устроила!» — скажет он.

Но у Клотильды наготове был еще один сюрприз. Она открыла шкафчик, битком набитый ликерами всех сортов и дюжинами ликерных рюмок.

— Чудесно! Чудесно! — в восторге восклицала баронесса.— Вы уловили дух нашего великого времени. Эта эпоха создает великое, но не лишает людей и маленьких радостей жизни.— Она поздравила Клотильду.— Я не ошибусь, предсказывая, что ваш салон вскоре прогремит на весь город.

Обе дамы выпили по рюмочке бенедиктина.

VIII

В «Звезде» всё выколачивали и чистили, даже плевательницы в углах коридора наполнили свежим песком. В полдень кельнеры вынесли и поставили перед входом кадки с лавровыми деревьями, а посредине мостовой вдруг так ярко засияла лысина Росмейера, что Фабиан заметил ее со своего балкона на втором этаже. Росмейер властными движениями толстого указательного пальца дирижировал кельнерами, пока кадки не были установлены как следует. Затем у подъезда расстелили красную дорожку, как на богатых свадьбах, и Росмейер, перешедший на противоположный тротуар, чтобы еще раз все проверить, последним властным движением указательного пальца загнал своих людей обратно в дом. Ну, теперь пусть приезжает хоть сам кайзер.

Несколько часов спустя четыре элегантных совершенно одинаковых серебристо-серых автомобиля резко

затормозили у подъезда. По их цвету и скорости можно было догадаться, кому они принадлежат. В ту же минуту между лавровыми деревцами вновь мелькнула шишковатая лысина Росмейера и торжественно склонилась перед вторым автомобилем. Росмейер, содержавший когда-то гостиницу в Ницце и встречавший на своем веку немало князей, миллионеров, знаменитостей, знал, как это следует делать.

Гаулейтер Ганс Румпф и его долговязый адъютант Фогельсбергер в черных мундирах вышли из машины. Гаулейтер, сияющий, пышущий здоровьем, приветливо протянув руку Росмейеру, почтил его несколькими шутливыми словами. Золотые зубы гаулейтера блеснули на солнце. Шишковатая лысина Росмейера несколько раз подпрыгнула, адъютант весело рассмеялся. Потом они быстро вошли в гостиницу, не обратив ни малейшего внимания на лавровые деревья и красную дорожку. Росмейер почтительно склонил свою лысину перед другими автомобилями и немедленно отошел в сторону, пропуская целую свиту адъютантов и офицеров.

Когда несколько дней спустя Фабиан спросил Росмейера, что ему сказал гаулейтер, тот ответил:

— Он, знаете ли, постоянно отпускает одни и те же остроты по поводу моей лысины. На этот раз он сказал: «Рога все еще не вылезли наружу».

Когда начало смеркаться, к гостинице стали подъезжать вереницы автомобилей. То и дело слышался визг тормозов, хлопанье дверок; в вестибюле стоял гул голосов, ибо весь первый этаж был отведен для гаулейтера. Садовники еще накануне начали украшать зал. Стол, настоящий цветник из белых роз, очень любимых гаулейтером, ломился от серебра и сверкающего хрусталя. В вестибюль проникали волшебные запахи ракового супа и жареных кур, рыбы и других яств, которые вот уже несколько дней подряд в поте лица заготовлял шеф-повар.

С восьми часов из комнат доносились звуки рояля. Играл знаменитый берлинский пианист. Гаулейтер страстно любил музыку.

Фабиан взял отпуск и остался в гостинице, так как

Таубенхауз обещал в этот раз представить его гаулейтеру. Фабиан был наготове и обедал у себя в комнате. По временам он отворял дверь в коридор и вдыхал ароматы, заполнявшие всю «Звезду» от нижнего этажа до самой крыши. Иногда он подходил к перилам поглядеть, что делается внизу. Видел он, впрочем, немного,— снизу до него доносился только звон бокалов. Кельнеры с бутылками в руках стремительно пробегали мимо, где-то вдали промелькнула шишковатая пламенеющая лысина Росмейера. Росмейер проверял марку каждой проносимой мимо бутылки с вином; дело шло о его чести. А как прекрасно играл Моцарта берлинский пианист! Одного только Моцарта — «Фигаро», «Дон Жуана»! Музыка опьяняла Фабиана. В его сердце пробуждались желания и честолюбивые мечты. Может быть, завтра, если Таубенхауз не соврал?

После одиннадцати Фабиан уже собирался лечь спать и наполовину разделся. Вдруг послышались торопливые шаги на лестнице и в коридоре. Фабиан даже испугался, услышав стук в свою дверь. К вящему его изумлению, в комнату вошел долговязый адъютант, за ним ворвались звуки Моцарта.

— Гаулейтер ждет к себе господина доктора Фабиана!

Вихрь радости и страха, буря самых различных ощущений пронеслись в сердце Фабиана. Он побледнел и вскочил.

— Сию минуту,— пробормотал он,— вы видите, я уже хотел ложиться.

Фогельсбергер, улыбаясь, смотрел на растерянного Фабиана.

— Надо полагать, через две — три минуты вы будете готовы,— сказал он, закрывая за собой дверь.

«Прихоть властелина,— подумал Фабиан, надевая мундир.— Почему нельзя было немного раньше известить меня, что он хочет говорить со мной после обеда?» Он пытался спешно придумать возможные вопросы и находчивые ответы на них, но в тот момент, когда он засмотрелся в зеркало на свои великолепные коричневые бриджи и для репетиции несколько раз щелкнул каблуками, на лестнице вновь раздались те

же торопливые шаги, и адъютант влетел в комнату, даже не постучавшись.

— Идемте, господин Фабиан! — запыхавшись, крикнул Фогельсбергер.— Гаулейтер сказал, чтобы я привел вас в том виде, в каком застану.— Он помог Фабиану надеть мундир и за руку потащил его к двери, которая так и осталась открытой настежь.

Жемчужная россыпь финала, одного из очаровательных финалов Моцарта, сопровождаемая бурными аплодисментами, донеслась до них из вестибюля.

— Вы можете по дороге привести себя в порядок. Скорей, он рассвирепел, что я не сразу привел вас. У нас всегда так.

Фабиан, на ходу застегивавший мундир, едва успел бросить на себя взгляд в зеркало, как Фогельсбергер уже протащил его через зал, где множество народу толпилось вокруг пианиста в черном фраке. На них никто не обратил внимания. Фогельсбергер открыл дверь в комнату, где за несколькими столами играли в карты. В клубах табачного дыма Фабиан заметил неподвижное, бледное лицо Таубенхауза. Элегантный, небольшого роста адъютант, одетый во все черное, сидевший возле стола, указал на какую-то дверь, и в ту же минуту Фогельсбергер, выпустив руку Фабиана, поспешил к двери и осторожно постучал. Потом он распахнул дверь, кивнул и, пропуская Фабиана вперед, возгласил:

— Доктор Фабиан!

Фабиан глубоко вдохнул в себя воздух и вошел. Уже с порога он отвесил глубокий поклон.

IX

Фабиан был очень удивлен, очутившись в бильярдной «Звезды». Гаулейтер без пиджака, с сигарой в зубах, стоял, облокотившись на бильярд, и с заботливостью опытного игрока намеливал свой кий. Не изменяя положения, он уставился темно-голубыми глазами на Фабиана и ответил на его поклон легким кивком головы.

— Директор Зайфтлебен — сейчас он болен,—

громко заговорил он,— рассказывал мне, что вы превосходный игрок. Поэтому я и пригласил вас сюда.

— Большая честь для меня,— отвечал Фабиан, смутившись от взгляда этих голубых глаз, и пристукнул каблуками. Его честолюбие было уязвлено. Он ждал, что гаулейтер заговорит с ним о важных политических вопросах и это даст ему возможность блеснуть своим умом. Тем не менее он скрыл свое разочарование, более того, он почувствовал даже известный внутренний подъем оттого, что знакомство со столь великой персоной уже состоялось.

— Приготовьтесь,— продолжал гаулейтер.— Я привык отдыхать после рабочего дня за игрой на бильярде. Мы сыграем на пятьдесят par le rouge[1]. Понятно?

— Разумеется.— И они начали игру.

Только сейчас Фабиан заметил, что бильярд новый и превосходный. Месяц назад он играл с этим самым Занфтлебеном на старом, обтрепанном бильярде; теперь, видимо, тот уже не удовлетворял Росмейера. Директор Занфтлебен, которого он сегодня имел честь заменять, был молодой живописец, недавно назначенный директором художественного училища. Прежний директор, старый, весьма уважаемый художник, был просто-напросто уволен, и Занфтлебен, едва достигший тридцатилетнего возраста, занял его место. Все это пронеслось в уме Фабиана, едва только он начал играть, и, кстати сказать, от волнения, весьма неудачно. Вспомнился ему и нелестный отзыв Вольфганга об этом Занфтлебене.

«Жаль,— подумал он,— что он рисует не так хорошо, как играет на бильярде. Им следовало произвести его в директора бильярдной, а не художественного училища». Пока весь этот вздор проносился в его голове, он прозевал до смешного легкий шар. Гаулейтер расхохотался, и Фабиан решил сосредоточиться на игре. И правда, ему тотчас же удалось положить четыре шара кряду, что при их условиях игры было очень нелегко.

К нему подошел долговязый Фогельсбергер и впол-

[1] Красными *(франц.)*. Вид игры на бильярде.

голоса спросил, что он желает: красное вино, белое или шампанское?

— Вы ведь знаете, официанты не имеют доступа в эту комнату.

Фогельсбергер был молодой человек со смазливым и заурядным лицом. На редкость светлые волосы блестели на его узком черепе, подобно стальному шлему.

После того как Фабиан высказал свои пожелания, Фогельсбергер неслышно вышел и через минуту явился с двумя бутылками мозельского вина. Затем снова уселся в кресло. Белокурый и ничем не примечательный, он курил сигарету за сигаретой, следил за каждым движением гаулейтера, и стоило тому осушить бокал, как он немедленно наполнял его. В этом как будто и состояли все обязанности адъютанта.

Они играли с полчаса, не обменявшись ни единым словом. В бильярдной царила полная тишина.

В соседнем помещении, где шла картежная игра, тоже было сравнительно тихо, но зато из ресторана доносился все возрастающий шум и крики. Потом вдруг посыпалось разбитое стекло, и раздался оглушительный взрыв смеха. Румпф, налегший на бильярд, отнял кий от шара и, нахмурив низкий лоб, взглянул на Фогельсбергера. Тот вскочил и выбежал из комнаты. В ресторане на несколько минут стало тихо.

Весь красный, Румпф пробормотал сквозь зубы какое-то ругательство и досадливо глотнул вина. Затем снова подошел к бильярду. Он покачал головой.

— Пробить можно только копфштосом,— пробормотал он. Он был не только превосходный игрок, но и блестящий комбинатор.

Фабиан предупредительно отошел в сторону, чтобы не мешать партнеру во время трудного удара. Теперь он мог спокойно разглядывать гаулейтера.

Румпф почти лежал на бильярде, вскинув кий, и пристально всматривался в шар темно-голубыми глазами.

Это был приземистый, мускулистый человек с толстым затылком и резкими чертами лица. Прежде всего бросались в глаза его волосы цвета ржавчины, довольно длинные и аккуратно разделенные пробором на го-

лове; по щекам они сбегали в виде узких бакенбард, курчавившихся возле ушей, как красная шерсть. Темно-голубые глаза, суровые и неподвижные, временами казались почти стеклянными. Ноги у него были удивительно маленькие, а руки — нежные. На мизинце его левой руки, которой он опирался о бильярд, переливался всеми цветами радуги брильянт величиной с горошину. Запястья казались затканными шелком ржаво-красного цвета, так густо росли на них волосы. Сорочка на нем была шелковая, заграничного покроя.

Сложная комбинация удалась, и Румпф упруго разогнулся. Он улыбался счастливой улыбкой, как мальчик, радующийся своей удаче, и отпил большой глоток вина.

Фогельсбергер зааплодировал, впрочем неслышно, а Фабиан почтительно поклонился.

Успех, казалось, привел гаулейтера в превосходное настроение.

— Да, такой удар не часто удается,— самодовольно заметил он и обратился к адъютанту: — Фогельсбергер! Теперь я тоже полагаю, что жеребец принесет мне счастье. Позовите графа Доссе.

В комнату тотчас же вошел черный адъютант. Это был кадровый офицер с мечтательным и тонким лицом.

— Граф Доссе,— крикнул ему Румпф,— немедленно дайте телеграмму в Эльзас! Я покупаю племенного жеребца. Пусть назовут крайнюю цену. У меня предчувствие, что жеребец принесет мне счастье!

Граф Доссе поспешно удалился.

Все знали, что Румпф — владелец лучших беговых конюшен в стране. Он создавал их в течение нескольких лет путем ликвидации большинства других, и в первую очередь тех, что принадлежали евреям. Таким образом, все лучшие лошади доставались ему. Кроме того, в Восточной Пруссии у него был завод чистокровных лошадей.

После удачного удара гаулейтер, казалось, почувствовал потребность в отдыхе. Он прислонил кий к стене и присел у стола со стаканом вина в руке.

— Часто ли вам доводилось бывать за границей, доктор? — спросил он Фабиана.

— Я жил некоторое время в Италии и в Лондоне,— услужливо отвечал Фабиан.

— Жаль,— продолжал Румпф,— за границей надо жить подолгу, чтобы знать, что делается на свете. Я служил на флоте и подолгу жил в Америке и в Мексике. Я могу порассказать вам такого, что вы только диву дадитесь. Вы, наверно, слышали о чикагских бойнях? Так вот на этих бойнях я целый год проработал мясником.

Он внезапно переменил разговор.

— Кстати, вы подготовили для Таубенхауза прямо-таки замечательную речь, черт возьми!

— Я старался следовать указаниям господина бургомистра,— не моргнув глазом, ответил Фабиан.

— Мост героев, Вокзальная площадь, Дом городской общины,— смеясь, перечислял Румпф.

— Все это мне подсказал господин бургомистр,— улыбаясь, ответил Фабиан. Он почувствовал удовлетворение при мысли, что гаулейтер наконец-то видит в нем не только партнера по бильярду.

Румпф расхохотался.

— Я вижу, на вас можно положиться, друг мой,— одобрительно проговорил он.— Слышите, Фогельсбергер, он хочет уверить нас, что все это придумал сам Таубенхауз, ха-ха-ха! Нет, мой милый, Таубенхауз — прекрасный администратор, которого мы все ценим, но фантазия не его сильная сторона. Ну, да это в конечном счете неважно! Во всяком случае, я намерен всеми силами поддерживать его планы и помогать ему чем возможно.

Когда Фабиан поздно ночью поднимался наверх, ему встретился Росмейер, вышедший из своей комнаты. На лице Росмейера были следы утомления, шишки на его лысине пылали.

— Вы так долго пробыли у него? — спросил он вполголоса, чтобы не разбудить постояльцев, хотя из нижних помещений все равно доносился неописуемый шум.— Поздравляю вас, ваша карьера обеспечена, если вы только сумеете к нему подойти. Ведь произвел

же он этого художника Занфтлебена в директора художественного училища только за то, что тот хорошо играл на бильярде!

И Росмейер рассказал о художнике Занфтлебене, который прежде влачил полуголодное существование, не имея за душой ничего, кроме долгов. Долги, одни долги, а теперь он разъезжает в мерседесе. Кстати, гаулейтер вскоре переедет в наш город и поселится в епископском дворце. Ему проболтался об этом один офицер. А тогда можно надеяться, что он вспомнит, наконец, о своем неоплаченном счете. Ведь он, Росмейер, всего-навсего хозяин гостиницы. Счет гаулейтера достиг уже ста шестидесяти тысяч марок; шутка сказать: сто шестьдесят тысяч марок!

— Не унывайте, Росмейер! — Фабиан попробовал утешить хозяина.— Эти расходы окупятся.

— Будем надеяться, будем надеяться,— пробормотал Росмейер.— Я ведь охотно кредитую своих клиентов, это для меня удовольствие и честь,— добавил он, уже спускаясь вниз по лестнице.— А тут я знаю, для кого я это делаю и какому великому делу служу. Такое не забудешь. Еще раз желаю всех благ.

Шум голосов поглотил его слова.

Фабиан лег спать довольный, что познакомился с гаулейтером, который показался ему человеком простым, добродушным и любезным.

Он просидел несколько вечеров в гостинице, ожидая вызова, так как гаулейтер отпустил его, пообещав вновь вызвать в ближайшие дни.

Но однажды утром — было еще совсем рано —горничная сообщила ему, что гаулейтер уезжает. Фабиан быстро вышел на балкон и поразился, увидев на улице огромную толпу.

Только что подъехавшие серебристо-серые автомобили были окружены любопытными. Из дверей вышла свита гаулейтера, а следом и он сам в сопровождении Фогельсбергера. Позади всех шел Росмейер, его шишковатая лысина блестела в лучах утреннего солнца.

Люди махали руками и восторженно выкрикивали: «Хейль! Хейль!» Гаулейтер сел в машину. В эту минуту сквозь толпу протиснулась бедно одетая жен-

щина в желтом платке на голове. Она оживленно жестикулировала, пытаясь пробить себе дорогу к машине гаулейтера, тогда как толпа оттирала ее. Женщина не переставая пронзительно кричала: «Аликс! Аликс!»

Офицеры в черных мундирах выскочили из последней машины и, оттеснив ее, стали спиной к машине гаулейтера, как бы прикрывая его собой.

Сирены взревели, и машины тронулись. Офицеры последними вскочили в свою машину.

Улица быстро пустела. Только бедно одетая женщина в ярко-желтом платке на голове осталась на месте и все кричала: «Аликс! Аликс!» Она упала на колени, простирая руки вслед машинам, исчезнувшим за углом.

X

Несколько часов спустя Фабиан, к своему удивлению, снова встретил женщину в ярко-желтом платке. Она сидела в приемной его конторы, куда он, как обычно, пришел между одиннадцатью и двенадцатью. Фабиан сразу узнал ее по платку, хотя сейчас он лежал у нее на коленях. В приемной сидели еще два клиента, пожилые коммерсанты, которые встали при его появлении и поздоровались с ним за руку, как старые знакомые.

Он немедленно осведомился, кто эта крестьянка с желтым платком.

— Некая Кэтхен Аликс,— отвечала фрейлейн Циммерман,— бывшая владелица трактира «Золотистый карп» в Эйнштеттене близ Амзельвиза.

— Где раньше подавались такие чудесные карпы? — сказал Фабиан веселым тоном и велел просить фрау Аликс. Эта женщина заинтересовала его. Все знали, что Эйнштеттен несколько лет назад перешел во владение гаулейтера Румпфа.

Фрау Аликс медленно вошла в комнату. Она стояла, переминаясь с ноги на ногу и глядя в пол, пока Фабиан не предложил ей сесть. Желтый платок она держала в руках. Лицо у нее было осунувшееся, но еще молодое. Жидкие поседевшие волосы были стянуты на затылке в маленький, жалкий пучок.

— Я ищу правосудия и справедливости,— тихо начала она, по-прежнему не поднимая глаз.— Я пришла к вам с просьбой взять на себя мое дело. У меня есть деньги,— добавила она.— Я могу сейчас же внести задаток, если это нужно. Вы только назовите сумму.— Голос ее звучал несколько хрипло.

Это дало повод Фабиану сделать несколько шутливых замечаний. Он даже весело рассмеялся, чтобы успокоить взволнованную женщину. Пусть она расскажет ему все, что у нее на сердце, спокойно и не торопясь.

— Можно мне начать с самого начала,— спросила фрау Аликс,— то есть рассказать, как все это случилось? — Она впервые взглянула на него. Глаза у нее были красивые, ясные, молодые.

— Именно об этом я и прошу вас,— ободрил ее Фабиан.

И молодая женщина с седыми волосами и молодыми глазами начала свой рассказ. Фабиан прерывал ее очень редко, чтобы задать тот или иной вопрос.

— Когда, значит, Ганнес стал большим человеком...— начала она, но Фабиан тут же прервал ее:

— Какой Ганнес?

Молодая женщина с седыми волосами вся съежилась и испуганно огляделась вокруг, хотя знала, что они вдвоем в комнате.

— Имени я ни за что не назову,— проговорила она глухим голосом,— вы сами потом поймете, о ком идет речь.

Фабиан кивнул головой и просил продолжать.

— Ганнес вдруг стал большим человеком,— снова начала она,— этому уже три года. Да, три года назад я впервые снова увидела Ганнеса. Как-то летом, день был очень жаркий, к нашему дому подъехала машина с тремя господами в военной форме.

— Поди-ка встреть их, Аликс,— сказала я мужу,— это, видно, важные господа.

Тут я увидела, что один из них прошел в сад, но я не знала, что это Ганнес, такой у него был важный вид, настоящий вельможа! Он прохаживался по саду, словно Эйнштеттен был его поместьем, и останавли-

вался перед фигурными деревьями. Надо вам знать, что некоторым деревьям была придана прнчудливая форма. Лесничнй, прежний хозяин трактнра, очень искусно их вырезал и подстрнг. Раньше их было очень много, но теперь остались только три — петух, еж и шар. А то был еще кабан, гном и ведьма с корзинкой на горбу н всякое другое. Но Аликс почти все срубнл, потому что онн занимали слишком много места в нашем саду.

— Куда девался кабан? — спроснл важный господин таким тоном, словно он был здесь хозяином.

— Я его срубнл,— ответил Аликс.— От него уж остались только иглы.

— Срубил? А где ведьма и все прочее?

— Я срубил весь этот хлам.

— И ты даже не удивляешься, откуда я все это знаю?

— Верно, бывалн раньше в этих местах?

Господин засмеялся.

— Да,— сказал он,— я действнтельно бывал здесь когда-то, и ты должен знать меня, Конрад, вгляднсь в меня хорошенько..

— Это было, наверно, очень давно, я вас сроду не видывал.

Господнн снова засмеялся.

— Ты даже как-то укусил меня за нос. Шрам еще остался, вот посмотри. Мы тогда учнлись в сельской школе н подрались из-за того, что я на пасху украл у тебя красное яйцо. Я — Ганнес, ну, теперь ты узнал меня наконец?

И правда это был Ганнес. Его отец, прежний хозянн трактнра, разорился н вынужден был продать свое заведение. Он пил с утра до ночи. О Ганнесе мы зналн только, что он лентяй, который ничему не выучился н пошел бродяжничать. Говорили, что он потом уехал в Америку и служил поваром в пароходной компанни.

И вот Ганнес заходит в дом и осматривает все в комнате н в кухне. Другне господа в военной форме тоже входят с ннм.

Ганнес садится за стол возле печки и подпирает голову рукой:

— На этом месте сидела, бывало, моя мать, вот так же подпершись рукой, всегда озабоченная, потому что в доме обычно не было ни копейки. Отец же мой жил, ни с чем не считаясь.

Потом Ганнес вдруг спросил о Терезе.

— А Тереза уже не работает у вас, Конрад? Эта Тереза,— обратился Ганнес к своим спутникам,— жарила карпов, как никто на свете. Они плавали в масле, такие румяные и поджаристые, что даже смотреть на них было наслаждением и хрящики можно было есть, они так и похрустывали на зубах. Послушай, Конрад, Тереза должна приехать и поджарить нам карпов на свой манер. Пообещай ей бесплатный проезд в первом классе, сто марок на чай и напиши сейчас же.

Потом он заказал на десять человек по две порции карпов и приказал подать самого лучшего вина. Он швырнул сто марок на стол и сказал:

— Сдачу возьми себе, Конрад, хоть ты и укусил меня за нос!

Тереза действительно приехала жарить карпов, и Ганнес прибыл вместе с гостями — все важные господа — на трех автомобилях. Он даже ящик вина привез с собой.

— У тебя плохое вино, Конрад,— заметил он,— но чтобы не остаться в убытке, запиши на наш счет десять бутылок.

Перед отъездом он сказал:

— Сегодня твой участок понравился мне еще больше, чем в первый раз. Ведь это дом моего отца, здесь я вырос. Продай его мне, Конрад, ты на этом деле не пострадаешь.

— Нет,— сказал Аликс. Он терпеть не мог Ганнеса, потому что тот вечно задавался.— Я десять лет работал как вол, чтобы восстановить запущенное хозяйство.— Этот Ганнес,— обратился он ко мне,— два раза живьем приколачивал к дверям сарая трех маленьких ежей.

— Подумай хорошенько, Конрад, я заплачу тебе

двойную цену, хоть ты и срубил кабана и ведьму. Поразмысли на досуге. Ведь это участок моего отца, а кто, как не сын, может почтить память отца? Купи себе трактир в городе, там ты будешь поближе к твоим друзьям коммунистам. Эта местность и рыбная ловля прямо как будто созданы для меня. Я хочу здесь обосноваться.

Через три месяца он явился опять.

— Ну, как, надумал, Конрад? Я принес деньги. Вот, смотри, я выкладываю их на стол, хоть ты и укусил меня за нос, но я не помню зла. А эти золотые часы с браслетом — подарок твоей жене.

Но Аликс сказал:

— Нет!

Глаза у Ганнеса стали злыми.

— С людьми, которые кусаются, следовало бы, собственно, обходиться иначе. Ну же, решай!

Аликс стал белым, как стена.

— Нет,— сказал он.

Ганнес разозлился. Он покраснел, жилы на его лбу вздулись.

— Ну, смотри, чтобы тебе не пришлось жалеть об этих словах. Я снова приеду через неделю.

И правда, он явился через неделю, на этот раз с каким-то штатским. Штатский вынул из кармана рулетку и начал измерять трактирную залу.

— Вот, смотри, здесь в конверте лежит чек! Я не хочу, чтобы пошли разговоры, будто мне даром достался трактир «Золотистый карп». Надеюсь, ты одумался? Даю тебе еще одну неделю сроку!

Аликс только покачал головой. От злости на штатского, который измерял комнату, он слова не мог выговорить.

— Ровнехонько через неделю,— закончила свой рассказ крестьянка,— этот штатский явился снова. С ним на машине приехали еще двое. Они забрали Аликса, и с тех пор он как в воду канул.

Женщина тяжело вздохнула и умолкла. Она взяла желтый платок, лежавший у нее на коленях, и теперь старалась сложить его как следует.

— С тех пор он исчез? — спросил Фабиан.

— Да, с тех пор исчез,— подтвердила она.— Тому уже три года.

Она писала, писала, подавала прошение за прошением, но ни разу не получала ответа. Долгое время она не знала, где Аликс, не знала даже, жив ли он. Но вот уже месяц, как она знает, что он в лагере Биркхольц, его там видел один рабочий; теперь она хочет подать в суд и, если надо будет, дойдет до высших инстанций.

Фабиан встал.

— Милая фрау Аликс,— сказал он в раздумье, покачивая головой.— Это, конечно, случай из ряда вон выходящий, многие пункты тут еще подлежат уточнению, но не будем об этом говорить, я за такое дело взяться не могу. Не могу, поймите меня правильно. У нас, адвокатов, так же, как у врачей, имеются узкие специальности. Один врач специалист по уху, горлу, носу, другой по глазам, третий по легочным болезням, так ведь? Ваше дело вне моей компетенции. Вот вам адрес моего коллеги, он очень хороший адвокат, выступающий по таким делам. Обратитесь к нему, я сейчас позвоню и предупрежу его.

XI

Фабиан имел все основания быть довольным. Его неожиданно сделали правительственным советником. Он был глубоко обрадован. Не потому, что придавал большое значение титулам, нет, но новое звание, конечно, увеличивало его престиж. Правительственный советник — это звучало громко. В городе уже стало известно, как любезно он был принят гаулейтером. А то, что гаулейтер в течение нескольких часов беседовал с ним на политические темы, окружило его личность каким-то ореолом.

В последние недели его адвокатская практика так возросла, что он должен был взять к себе в контору опытного юриста, который снял с его плеч часть повседневных хлопот. Он опять много зарабатывал, и никто не ставил ему в упрек то, что он радовался этим заработкам.

Счастье благоприятствовало Фабиану, но редко кто

видел его веселым. Погруженный в свои мысли, сумрачный, проезжал он по городу. С тех пор как дела его наладились, у него стало больше времени думать о Кристе. Она была далеко, где-то там. К большому сожалению Фабиана, из его памяти изгладилась улыбка Кристы, неописуемо нежная улыбка, постоянно витавшая на ее устах. И как он ни напрягал свою память, улыбка не возвращалась.

Однажды вечером он нашел у себя открытку с итальянской маркой, и на лице его снова появилось выражение счастья и радости. Он даже тихонько засмеялся. Криста опять вошла в его жизнь!

Криста писала ему из Флоренции очень сердечным тоном. «Вот, значит, как все хорошо»,— облегченно подумал он. Мать и дочь Лерхе-Шелльхаммер благополучно прибыли в Италию. Задержаться им пришлось только в Бреннере. Они действительно завязли в сугробах, и машину пришлось отправить поездом.

Сердечные слова Кристы осчастливили Фабиана, и на мгновение перед его глазами вновь мелькнула ее чарующая улыбка. Он потратил целый вечер на то, чтобы написать ей подробное письмо. Это не было в точном смысле слова любовное письмо, отнюдь нет, еще менее было это объяснением, но женщина, умеющая читать между строк, могла вычитать из него все, что ей хотелось.

Он писал, что со времени их разговора в «Резиденц-кафе» она каким-то чудесным образом стала ему ближе. Он не может забыть ее описание рождественской мессы в соборе Пальма на Майорке, не проходит дня, чтобы он не вспоминал о нем. При этом ему слышится, как гремит великолепный орган.

Он хотел еще написать, что перед ним стоит ее просветленное лицо таким, каким он видел его в тот вечер в кафе, но не решился, ибо, по правде говоря, лицо это стерлось из его памяти, что он сам с болью сознавал. И он написал только, что, как это ни странно, при одной мысли о ней он чувствует себя чище и восприимчивее ко всему хорошему. Даже стихи, казавшиеся ранее плоскими и банальными, он теперь воспринимает по-новому. Короче говоря, чувствует себя другим, луч-

шим человеком. Конечно, это эгоизм, но он хотел бы, чтобы она поскорей возвратилась, он открыто ей в этом признается и мечтает часто быть возле нее, когда она вернется. Как уже говорилось, это было длинное письмо, своего рода исповедь, которая многое могла ей раскрыть.

XII

Бюро реконструкции начало свою деятельность. Стучали пишущие машинки, и сотрудники сидели, склонившись над чертежными досками. Фабиану нравилось его новое занятие. Оно не носило чисто бюрократического характера и давало ему возможность встречаться с самыми различными людьми. Несмотря на то, что работы было очень много, у него ежедневно оставалось несколько часов для себя.

На некоторых улицах мостовую уже сорвали, и там теперь работали черные, перемазанные дегтем машины, наполнявшие смоляной вонью весь город. Работы по асфальтированию были поручены заграничным фирмам.

Фабиан горячо взялся за дело, и число безработных в городе с каждым днем уменьшалось.

Одним из первых посетителей нового бюро был городской архитектор Криг.

Растрепанный, с развязавшимся галстуком, он ворвался в кабинет Фабиана, простирая к нему руки так, словно они не виделись целые годы.

— Скажите мне только одно, друг мой,— взволнованно крикнул он,— только одно! Как мог напасть Таубенхауз на мою идею о новой Рыночной площади? Ведь это моя идея, с которой я ношусь уже пять лет, а Таубенхауз в городе всего несколько месяцев.

Фабиан засмеялся и предложил Кригу коньяку.

— Успокойтесь, друг мой,— сказал он,— я внес в программу Таубенхауза несколько предложений и в том числе упомянул о вашей идее создания новой Рыночной площади. Я считаю эту мысль превосходной и хотел немедленно обратить на нее внимание Таубенхауза.

У Крига точно камень с души свалился. Он вскочил и стал жать руки Фабиану.

— Так это вы! Значит, это я вам обязан тем, что Рыночной площади было уделено так много места в речи бургомистра! — громко закричал он и от радости даже пустился в пляс.— Ведь люди могли подумать, что я украл эту идею у Таубенхауза. Вы уж, наверно, знаете, что теперь и я получил пресловутое письмо в коричневом конверте. Перестройка квартиры бургомистра уже закончена. Если магистрат меня уволит, то я с двумя дочками останусь на улице. Но вы своими словами снова вдохнули в меня надежду.

Он вынул из кармана скатанный в трубочку чертеж и развернул его на столе.

— Смотрите, эти планы нельзя набросать в несколько дней. Разрешите еще рюмочку?

— Сделайте одолжение.

Фабиан углубился в изучение планов, вычерченных добросовестно и в высшей степени аккуратно.

— Площадь будет выглядеть очень красиво,— проговорил он,— не беспокойтесь, вас не уволят. Нам, милый друг, придется еще немало поработать вместе. Вы специалист во многих отраслях. В следующий мой визит к Таубенхаузу я ознакомлю его с вашим проектом.

Криг захлопал в ладоши.

— Как? Вы правда хотите это сделать? — радостно воскликнул он.— И вы ему скажете, что я вынашивал эту идею пять лет? Даже Крюгер зажегся моей идеей, несмотря на всю свою скаредность. Если я получу этот заказ — я спасен. Между нами говоря, эти дни я не знал ни минуты покоя. Ведь мне надо содержать двух дочерей, Гедвиг и Гермину, у которых уже есть известные требования к жизни. Намекните, кстати, Таубенхаузу, что, если это необходимо, я готов вступить в национал-социалистскую партию.

— Не думаю, чтобы в этом была необходимость.

Криг засмеялся.

— Ведь вам не хуже, чем мне, известно, что заказы получают только члены этой партии! — воскликнул он.

Фабиан с холодным достоинством сказал:

— Нет,— и, покачивая головой, добавил: — Это мне неизвестно. А если бы и было известно, то я вряд ли

стал бы открыто об этом говорить. Не следует верить любым россказням.

Криг посмотрел на него как-то сбоку.

— Вы правы, друг мой,— ответил он уже другим тоном, стараясь быть сдержанным.— Люди болтают сейчас много всякой ерунды. Я буду вам очень обязан, если вы походатайствуете за меня перед Таубенхаузом. Вы же знаете, что частные заказы сейчас редкость. Ремонт квартиры Таубенхауза занял у меня много времени, но ведь платы за него я требовать не мог. Словом, постарайтесь, если вам нетрудно. Завтра я пойду к Габихту. Сообщите это Таубенхаузу.

На беду Таубенхауз был не в духе, когда Фабиан разложил перед ним проекты Крига.

— Этот Криг,— заявил он,— трус и педант. Мне очень хотелось сделать красивую лестницу в моем доме, но он все не решался приступить к ее перестройке. Это должно стоить тридцать тысяч марок. А мне какое дело, спрашивается? Неужели бургомистр не стоит тридцати тысяч марок? Да, проекты очень милы, милы и аккуратны. Но что можно усмотреть из всех этих чертежей? Из всех этих скучных линий? Я спрашиваю вас, господин правительственный советник, неужто этот Криг никогда не слыхал о перспективе?

— Да ведь это рабочий чертеж,— осмелился вставить Фабиан.

— Но мы-то не техники, не строители. Нам нужно видеть! Скажите Кригу, пусть представит перспективные рисунки, чтобы даже дилетант мог себе что-то представить по ним. До этого мы никакого решения принять не можем.

Перспективные рисунки! «Ведь это делается разве что на миллионных объектах»,— сказал ему Криг. У Фабиана работал молодой одаренный художник, искусный во всякого рода зарисовках, о которых Криг пренебрежительно отзывался: «Реклама и плакат». В конце концов старик поддался на уговоры и стал работать вместе с художником.

— Чего не сделаешь ради двух девочек, которых уж скоро пора и замуж выдавать! — вздыхал он.

Молодой художник, к большому удовольствию Фа-

биана, прекрасно справился со своей задачей. Как же выглядела теперь пустынная площадь за Школой верховой езды? Можно было подумать, что это рынок в итальянском городе. Живописная толпа теснилась в сводчатых галереях, над прилавками с грудами овощей и апельсинов колыхались цветные зонтики, поодаль фланировали дамы и сновали автобусы, а над крышами простиралось великолепное лазоревое небо.

— Подтасовка фактов,— смеялся Криг,— никогда вы не увидите такого неба в этом городе.

Криг при всех обстоятельствах оставался верен себе.

Фабиан вызвал молодого художника для разговора.

— Вы кое о чем позабыли,— сказал он ему.— И знаете, о чем именно? На всей площади не видно ни одного человека в коричневой форме, а без этого картина современного немецкого города неубедительна. Но ведь это дело поправимое, правда? Кроме того, мы должны окрестить новую Рыночную площадь? Подпишите название: «Площадь Таубенхауза».

Таубенхауз пришел в восторг от творения молодого художника.

— Так вот и должно это выглядеть; теперь можно браться за переустройство. Ведь надо же что-то показать людям. Отлично! Отлично! Криг, как я вижу, уже дал площади и название.

— С вашего позволения, это была моя мысль,— скромно заметил Фабиан.

Таубенхауз снял очки и подышал на них. Он улыбался.

— Весьма польщен, благодарю вас. Но мы окрестим ее иначе. Мы назовем ее площадью Ганса Румпфа, в противном случае нас упрекнут в тщеславии. Через месяц пусть Криг представит мне смету. А как, кстати, обстоит дело с асфальтированием?

Фабиан ежедневно утром и вечером заезжал в свою адвокатскую контору для проверки дел и подписания деловых писем.

Во время одной из этих поездок он вдруг снова уви-

дел крестьянку с желтым платком па голове. Фабиаи слышал, что фрау Аликс обошла уже все адвокатские конторы, но никто не решался взять на себя ведение ее дела. Теперь она стояла перед витриной магазиий Николаи и, как зачарованная, смотрела иа брильянтовую свастику, собственность фрау Цецилии Ш. От восторга оиа раскрыла рот и уперлась ладонями в стекло витриины. Машина Фабиана в это время остановилась, и ои отличио видел ее.

Но в ту же минуту к витрине подкатила другая невзрачная машиия, из которой вышли два человека. Один дотроиулся до плеча жеищины. Увидев этих людей, она испугалась, отпрянула и, пронзительио вскрикнув, бросилась бежать. Но они схватили женщину и втолкиули в машину, иесмотря иа ее вопли и отчаянное сопротивление. Машиия тронулась. Фабиан увидел руки, простертые из окиа. И автомобиль скрылся из виду.

XIII

Прошло немало времени, прежде чем Криг приступил к выполиеиию получеииого им заказа. Наконец, все было скалькулироваио и рассчитаио. На новой площади предполагалось соорудить сорок новых магазиов и складов. Словом, целый торговый квартал. Но Таубенхауза, который, не задумываясь, приказал построить в своей квартире лестницу стоимостью в тридцать тысяч марок, все еще одолевали сомнения. Накоиец, Шиллинг, преемник Фабиаиа, получил приказ купить дом Школы верховой езды.

Но тут возникло иовое затруднение, поставившее под угрозу весь план. Школа верховой езды за это время перешла к другому владельцу. Многие годы она приидлежала мельиице и служила складом пустых мешков из-под муки. А месяц назад была продана одному иностранцу, причем купчую оформлял советник юстиции Швабах. Упомянутый иностранец намеревался перестроить школу и открыть в ней кино.

Криг был вне себя.

— Это какой-то рок,— вопил он, воздевая руки к небу.— Подумайте только, месяц назад! Пока мы тут

считали и пересчитывали! Да, трудно жить на этом свете!

— Еще рано падать духом, друг мой! — успокаивал его Фабиан.

— Да я готов волосы на себе рвать! — кричал Криг.

Но Таубенхауз неожиданно проявил широту, которой никто от него не ожидал. Он уже свыкся с этим проектом и не пожелал от него отступиться. Швабаху было поручено откупить Школу верховой езды, что ему и удалось после долгих переговоров и уговоров. Иностранец заработал на этой сделке тридцать тысяч марок.

Криг, наконец, вздохнул с облегчением.

— Злая судьба все-таки сыграла нам на руку! — воскликнул он в восторге и пригласил Фабиана к себе на ужин.

Фабиан вдруг задумался.

— Не будем ломать себе головы над шутками судьбы,— сказал он,— а лучше порадуемся, что все трудности, наконец, устранены.

Кроме него, Крига и Таубенхауза, никто ничего не знал о проекте. Фабиан вспомнил, что Таубенхауз, заключая договоры на асфальтировочные работы, упорно отдавал предпочтение одной берлинской фирме, невзирая на то, что та требовала на десять процентов больше, чем ее конкуренты. И многое ему уяснилось.

В газетах появились интересные снимки асфальтировочных работ и вид будущей площади, прелестью не уступавшей площадям южноитальянских городов.

Таубенхауз был в восторге.

— Народ должен что-то видеть!

Это было его излюбленное выражение.

— Пропаганда — самое важное на свете. Помещайте в газете как можно больше фотографий.

Несмотря на то, что новая площадь должна была быть закончена только к весне, уже сейчас нашлось много желающих вступить во владение магазинами, которые распределялись городским управлением. Разнеслись слухи, что самый большой склад арендован правлением заводов Шелльхаммер, далее называли обувную фабрику Габихта и портного Мерца, который буд-

то бы собирался открыть на новой площади магазин для военных.

Криг был вне себя от радости.

— Я рад за моих дорогих девочек,— говорил он.

Таубенхауз отдал распоряжение — не стесняться в расходах и строить магазины, не уступающие столичным.

Бургомистр был одержим неистовым честолюбием. Он стремился во что бы то ни стало снискать благоволение горожан. Пусть говорят о нем, пусть воздают ему хвалу, пусть не угасает интерес к его особе. Его жажда славы не имела границ. Тому, кто это понимал и шел навстречу его желаниям, работать с ним было очень легко, а Фабиан разгадал его с первой минуты.

Сбор средств, начало которому Таубенхауз положил еще в день своей нашумевшей речи, против ожидания оказался весьма эффективным. Он принес два миллиона чистоганом, одни только владельцы заводов Шелльхаммер подписались на сорок тысяч марок. Позднее Таубенхаузу удалось добиться согласия городских советников на заем в двенадцать миллионов «для начала», как он выражался. Надо было иметь немало смелости, чтобы обратиться с таким призывом к городским советникам, которые во времена Крюгера кричали «караул» из-за ста тысяч марок. В большинстве своем члены национал-социалистской партии, они были воспитаны на мысли, что деньги для того и существуют, чтобы находиться в обращении.

С такой суммой уже можно было приступать к делу, и Фабиан целыми днями совещался с архитекторами, строителями, градостроителями, инженерами и садоводами, так что даже в отсутствие Кристы ему некогда было скучать.

Честолюбие не давало покоя Таубенхаузу. Он почти каждый день предлагал какие-то дополнения.

Зима надвигалась, и он понимал, что в этом году речь может идти только о подготовительных работах. Зато весной, весной он развернется! Но одна мысль прочно засела в его голове: если зимой нельзя строить, то ведь можно взрывать. Запланированная магистраль Норд-Зюд не переставала занимать его.

— Дорогой господин Фабиан, гаулейтер требует немедленного сооружения магистрали,— заявил Таубенхауз.— Он считает, что в ближайшем будущем мы должны без задержки пересекать город во всех направлениях. Предположим, что разразится война? Что тогда? Конечно, ни вы, ни я не хотим новой войны, но, с другой стороны, эта мысль и не страшит нас. Одним словом, мы должны вплотную заняться этим делом.

И Фабиан вплотную занялся магистралью. Начались бесконечные совещания со специалистами. Проект Норд-Зюд нуждался в подробном обсуждении. Прессе было разрешено высказаться, и она стала единодушно ратовать за сооружение магистрали. «Промышленный расцвет города! Возможность войны!». Таубенхауз ничем не рисковал, предоставляя печати высказывать свое мнение: стоило ему только моргнуть — и газеты замолкли бы.

Полковник фон Тюнен, личность весьма почтенная, освещал вопрос со стратегических позиций. Разумеется, такая магистраль нужна, более того — необходима. «Не будем закрывать глаза на возможность войны,— писал он.— Давайте представим себе, что нам стратегически необходимо напасть на неприятеля с севера. Давайте представим себе, что стратегическая обстановка потребует от нас заманить врага в ловушку и спешно отвести войска обратно на юг. Поэтому я высказываюсь за магистраль, и каждый истинный патриот поддержит меня».

Поразительно, в какой короткий срок было завоевано общественное мнение.

Вопрос о прокладке магистрали оживленно дебатировался еще десять лет назад. Кто только тогда не высказывался: Историческое общество, общество содействия процветанию города, художественное училище, художники и архитекторы, журналисты всех направлений, Союз домовладельцев, даже «капуцины», как тогда называли обитателей Капуцинергассе. Архитектор Криг тоже немало пошумел в то время. Но где же теперь все эти люди? Они не открывают рта, молчат, словно вообще больше не существуют на свете.

Криг сетовал у Фабиана на то, что исчезнут прекрасные фронтоны в стиле барокко на Капуцинергассе, но в печати словом об этом не обмолвился.

— Сердце разрывается, так жаль этих фронтонов! — скорбно восклицал он.

— Если старое стоит нам поперек дороги, — отвечал Фабиан,— то надо его убрать, как бы оно ни было прекрасно. Город должен разорвать оковы, которые на него наложили в старину. Попробуйте себе представить, что началась война. Разве могут танки и военные машины пройти по Капуцинергассе? Современному городу нужен простор и воздух.

Криг кивнул головой.

— Да, я, видно, не подхожу для нашего времени,— задумчиво сказал он.— Но вы мне скажите, куда денутся все люди с Капуцинергассе? Куда? — Он заломил руки.

Фабиан рассмеялся.

— Заботясь об общественном благе, мы не можем считаться с такими мелочами. Этим людям придется покориться необходимости и разместиться в гостиницах или еще где-нибудь. Подумайте о Берлине, Мюнхене, Гамбурге. Таубенхауз делает то же, что делают там. Не воображаете ли вы, что там очень церемонятся? Обер-бургомистр Берлина, который стал протестовать против таких мероприятий, вынужден был уйти только потому, что его мнение шло вразрез с мнением вышестоящих лиц. А мы между тем уже подумали о ваших бедных «капуцинах». Вы удивлены? На шоссе, ведущем в Амзельвиз, будет воздвигнут новый пригород. Это будет лучший город-сад в Германии, город с десятью тысячами жителей. Планы в основном уже готовы. В ближайшем будущем «капуцины» смогут выбрать себе новые квартиры.

Криг поднялся. «Этого тоже подхватило течением»,— с грустью подумал он и простился.

На Капуцинергассе день и ночь стучали мотыги. Машины, наполненные щебнем, проносились по городу, старая Капуцинергассе превращалась в кучу развалин. А люди, ее населявшие, все эти «капуцины» — врачи,

адвокаты, торговцы, чиновники, рантье, куда они девались? Они исчезли, и никто не знал, куда. Зато городской музей приобрел несколько старинных засовов и дверных ручек.

За короткое время Фабиан сделался важной персоной в городе. Впрочем, надо отдать ему справедливость: свое влияние, там, где это требовалось, он употреблял и на пользу друзей. Так, он не забыл медицинского советника Фале из Амзельвиза.

В последнее время ему часто приходилось беседовать с профессором Зандкулем, директором городской больницы, так как по плану предполагалось перенесение больницы за черту города. При случае он неизменно сводил разговор на заслуженного создателя рентгеновского института и излагал просьбу Фале. Ведь речь, насколько он понимает, идет об открытии, которое будет иметь мировое значение.

Но профессор Зандкуль нелегко поддавался на его уговоры.

— Фале уничтожит ценнейшие мои аппараты,— возражал Зандкуль.— Как еврей, он исполнен наследственного чувства ненависти. Прочитайте мою книгу. В библии приводятся сотни примеров вероломства и обмана. Разве характер Юдифи не лучшее тому доказательство?

Зандкуль недавно выпустил в свет книгу «Психология евреев», продиктованную ему слепой ненавистью.

Фабиан употребил весь свой ораторский талант на эти уговоры, и Зандкуль, наконец, согласился сделать исключение.

— Но,— заявил он,— только при условии, что вы ручаетесь за него и представите мне это поручительство в письменном виде, я согласен дать Фале возможность работать в институте по воскресеньям с десяти до восьми часов.

Фабиан написал поручительство. Потом по телефону вызвал Марион к себе в контору, чтобы сообщить ей радостную весть.

— Боже милостивый! — смеясь, воскликнула Мари-

он, и слезы блеснули в ее черных глазах.— Папа будет счастлив и признателен вам по гроб жизни.

— Передайте отцу сердечный привет,— сказал Фабиан,— я бы сам с удовольствием приехал в Амзельвиз, но вы знаете, как я занят.

— Папа и мы все,— отвечала Марион,— очень огорчены тем, что обстоятельства не позволяют вам больше посещать нас.

— Обстоятельства?

Марион засмеялась.

— Почему вы притворяетесь удивленным? Ведь мы же евреи, если говорить начистоту.

Фабиан поднялся со стула.

— Зачем вы оскорбляете меня, фрейлейн Марион? — проговорил он.— Меня этот вздор ни в какой степени не затронул. В ближайшее воскресенье я буду у вас к пяти часам. Я не помешаю?

Марион захлопала в ладоши.

— Замечательно,— смеясь, воскликнула она,— вас встретят счастливые люди!

Ну, а теперь ей пора домой, порадовать своих хорошими вестями. Но Фабиан все не отпускал ее; они проговорили еще около получаса, хотя приемная была полна посетителей. Веселый смех Марион слышался в конторе.

Когда они стали прощаться, Марион, улыбаясь и краснея, попросила разрешения поцеловать руку Фабиана в благодарность за его доброту. При этом на ее черные глаза вновь набежали слезы.

— Этого только недоставало! — со смехом воскликнул он.— А вот я действительно попрошу вас об одолжении, прекрасная Марион.— И он поцеловал ее в лоб. Она не сопротивлялась, только вдруг притихла.

— Это *моя* благодарность, Марион.

Марион громко рассмеялась.

— Что это на вас вдруг нашло? — воскликнула она, все еще пунцовая, и, улыбаясь, протянула ему руку.

— До воскресенья!

Когда она проходила через контору, фрейлейн Циммерман подумала: «Да, с такой красотой и таким умением смеяться можно и еврейкой быть».

XIV

На лестнице слышался топот ног, звон шпор, оживленные голоса. Клотильда открыла свой «салон» и принимала гостей. Среди них было много молодых офицеров, друзей обер-лейтенанта фон Тюнена. Сегодня должен был состояться первый доклад учителя гимназии доктора Деблера. Он выбрал тему «Священная Римская империя германской нации».

В течение по крайней мере месяца Клотильда и баронесса фон Тюнен ездили с визитами ко всем видным семействам в городе; такое начинание требовало тщательной подготовки. Баронесса сопровождала Клотильду, чтобы оказать ей поддержку в ее высокой миссии. В одиночку Клотильда чувствовала себя несколько смущенной, у баронессы же всегда было наготове нужное словцо. «Главное — всегда быть наготове,— так обычно начинала она разговор,— а посему необходимо морально подготовить закладку фундамента нового рейха».

Обеих дам любезно принимали почти во всех бюргерских домах, как только выяснялось, что они не занимаются сбором пожертвований и не пытаются навязать людям какую-нибудь должность. На визитной карточке Клотильды черным по белому стояло: «урожденная Прахт», иными словами — из семьи богачей Прахтов, замужем за правительственным советником Фабианом, правой рукой бургомистра Таубенхауза.

В этот вечер Клотильда выглядела прелестно; длинное ожерелье из светло-красных кораллов на тёмном платье искупало излишнюю пышность ее туалета. Все восхищались новым салоном. Марта, красная от волнения, разносила чай.

Доктор Деблер действительно говорил очень интересно, хотя несколько длинно. Обилие исторических подробностей многим показалось утомительным. Учитель был молод, строен, белокур и очень понравился дамам. Клотильда знала, что делает. Не исключено, что ее гости, сами того не подозревая, присутствовали сегодня при рождении новой Римской империи германской нации.

Настроение поначалу было, пожалуй, слишком серьезным, все оживились, только когда Марта стала подавать напитки. Теперь раздавался даже громкий смех, особенно в углу, где собрались офицеры.

— Австрия? Да, Австрия. Наконец-то Австрия снова соединилась со своими братьями в рейхе.

— Удивительно, до чего мало мы знаем,— сказала баронесса Клотильде,— никто из нас никогда и не думал обо всех этих исторических связях. Вы, моя милая, своей просветительной работой выполняете святую и высокую миссию. Чего только не пережила наша многострадальная родина за последние тысячелетия, сколько было войн, потрясений, заблуждений! Какое счастье, что теперь ею управляет сильная, решительная рука, которая уверенно поведет ее к благополучию и процветанию! Принеси мне рюмочку вон того зеленого ликера, Вольф. Марта знает, какой я люблю.

На лестнице опять раздается топот, звон шпор, несколько голосов громко и весело перекликаются в вестибюле. Газеты напечатали подробный отчет о вечере у Клотильды, предсказывая доктору Деблеру блестящую будущность.

Во всяком случае это был выдающийся успех!

— Поздравляю вас, дорогая,— сказала баронесса Клотильде на другой день, приехав к ней на чашку чая.

Клотильда, утомленная треволнениями своего дебюта, еще нежилась в постели.

— Вот увидите, ваш салон станет духовным центром города, как я вам и предсказывала. Но наше здешнее общество еще должно привыкнуть к нему.

Молодой белокурый доктор Деблер первым сломал лед, но только профессору Галлю из Исторического общества удалось создать в салоне Клотильды приятную и непринужденную атмосферу. На этот раз люди смеялись даже во время лекции, неизбежной натянутости первого вечера как не бывало.

Свою лекцию профессор Галль читал в начале нового года, тема его была: «Культура древних германцев и раскопки в Амзельвизе».

Профессор Галль, маленький, хилый, сутулый, держался с большим достоинством; пряди белых волос,

как шелковые флажки, реяли над его лысой головой, и хотя он говорил тоненьким голоском, но слушатели даже час спустя после его лекции пребывали в убеждении, что только старый ученый может так живо рассказывать о том, что отделено от нас тысячелетиями. Им начинало казаться, что он долгие годы прожил бок о бок с древними германцами. Вначале они, правда, были несколько озадачены его заявлением, что германцы — смешанный народ. Смешанный? Баронесса сморщила носик. Но это неблагоприятное впечатление вскоре стерлось благодаря красноречию профессора. Ну кто бы мог подумать, что древние германцы ходили бритыми! Бритыми, вы только подумайте! А между тем в гробницах сплошь и рядом находят искусно сделанные бритвы.

Ведь все были почему-то уверены, что древние германцы, косматые, длиннобородые, только и делали, что валялись на медвежьих шкурах и пили мед.

А оказывается, что некоторые из них были римскими офицерами, брат знаменитого Арминия даже говорил по-латыни. Когда слушаешь профессора Галля, то кажется, что видишь, как они хозяйничают в своих домах, полных мастерски сработанной утвари, с искусной резьбой на заборах и коньках крыш. Седовласый ученый даже продемонстрировал несколько черепков, найденных во время раскопок в Амзельвизе. На них еще сохранились следы тонкого орнамента, правда, уже едва заметные, но красноречиво свидетельствовавшие о легендарных временах, о которых никто из присутствующих не имел ни малейшего представления.

— Таковы были праотцы могучего народа, народа-творца, которого бог избрал для господства над миром,— вдохновенно воскликнул своим тонким голоском профессор Галль, и белые локоны взметнулись над его пергаментным черепом. Громкие аплодисменты послужили ему наградой.

У Клотильды были все основания гордиться своими успехами. Ее уже заметил Таубенхауз. Более того, он однажды обмолвился, что не понимает, как можно желать развода со столь духовно значительной женщиной.

Клотильда и баронесса торжествовали. Они пили чай в изящном, со вкусом обставленном салоне Кло-

тильды и без умолку болтали. Баронесса, упиваясь собственным красноречием, выставляла напоказ свои узкие руки, унизанные сверкающими кольцами.

— Порадуемся же, моя дорогая,— сказала она,— что и мы с вами принадлежим к первым строителям нового рейха.

Клотильда обзавелась книгой, где были расписаны темы и названия будущих лекций. Список был огромный. Песнь о Нибелунгах, империя Карла Великого, значение Фридриха Великого, бессмертные немецкие полководцы и так далее и тому подобное.

Сложней было найти подходящих ораторов. Для того чтобы выступать в салоне Клотильды, требовалась безупречная репутация и ярко выраженное национальное самосознание.

Имя полковника фон Тюнена уже давно стояло в списке ораторов. Он собирался говорить о сражении под Верденом, в котором был тяжело ранен. «Герои форта Дуомон» — должна была называться его лекция.

XV

Росмейер, хозяин «Звезды», оказывается, был прав. Таубенхауз рассказал Фабиану, что гаулейтер решил переселиться в город. Его служебные помещения предполагалось устроить в епископском дворце, жить он намеревался в замке Эйнштеттен.

И снова подъезжают к подъезду «Звезды» автомобили, и целую неделю в гостинице стоит шум и гам. Гаулейтер привез с собой из Мюнхена двух архитекторов, которым поручено наблюдение за перестройкой и отделкой епископского дворца.

Замок Эйнштеттен тоже приспосабливался для жительства гаулейтера.

После того как Румпф купил трактир «Золотистый карп», в Эйнштеттене несколько месяцев все было тихо. Заброшенный домишко с высокой старинной крышей одиноко стоял близ дороги; окна без занавесок, с побитыми кое-где стеклами зияли черными дырами. Вид поистине жалкий! И вдруг явились садовники, превратившие сад перед домом в красивый цветник. Петух

остался иа месте, его только подправили, аккуратно подстригли, ежа сломали, но зато растрепаиный шар превратили в ежа. Затем из города прибыли каменщики и мастеровые, старую вывеску над трактиром заиово покрасили; высокая железиая ограда отделяла теперь участок от проезжей дороги, и в газетах писали: «Сын, заработавший деньги за границей, чтя память отца, приобретает трактир, иекогда ему принадлежавший, и восстанавливает его в том виде, в каком он памятен ему с детства».

Следующей весиой иалетела целая стая каменщиков и плотииков, которые еще до иаступления лета успели воздвигнуть стены солидиого жилого дома, обширные хозяйственные постройки и еще три иебольшие виллы, предназначенные для каких-то особых целей.

Затея с охотничьим домиком, в который гаулейтер хотел превратить трактир «Золотистый карп», потерпела неудачу. С романтикой и идиллией было раз и навсегда покончеио. Гаулейтер позабыл, что прежде всего ои слуга отечества, которому секретари, адъютанты, слуги и охрана ие дадут возможности готовить «у дымящегося очага охотничий завтрак».

Теперь ие до чепухи!

Следующей весиой Румпф прибыл собствеииой персоиой с толпой гостей, в сопровождении целой колонны автомобилей, слуг и отряда охраиы. Веселая жизнь началась.

Старый трактирчик, расположеииый вдали от дороги, обслуживал кучеров и шоферов. Румпф же со своими гостями только одиажды посетил старый дом, чтобы осмотреть его, полюбоваться искусно сделанным петухом, которому приделали пышный хвост, и посмеяться над маленьким ежом с острой мордочкой.

Сам же он со своей свитой поселился в большом доме, который получил название «замка».

Как же выглядел этот «замок»?

Здешние жители много чего иасмотрелись, но такого еще не видывали. Две величествеииые башни украшали это прочнейшее строение. Стеиы его были толстые, как в крепости, а окиа сидели в глубоких иишах. Мюнхеиский архитектор, строивший этот дом, сделал

его таким удобным и роскошным, что каждый сразу хорошо чувствовал себя в нем. Приемные комнаты были расположены в первом этаже; две широкие, как во дворце, лестницы с массивными железными перилами вели в бельэтаж, одна — на половину хозяина дома, вторая — в так называемый «адъютантский флигель». В доме была еще одна особенность — подвал, отделанный не хуже других этажей. Там помещались кухня, кладовые и большие винные погреба, которых никто не видел, хотя они и могли считаться достопримечательностью. Потолки в доме были сводчатые, как в средневековых замках, и по толщине не уступали стенам. Стягивались они железными многотонными скобами.

«Умный человек строит прочно»,— говорил Румпф, хитро посмеиваясь.

Однажды прибыл целый железнодорожный состав с лошадьми, и конюшни заполнились великолепными чистокровными конями. Охота, прогулки верхом, пикники, концерты, празднества, парады и торжественные шествия сменяли друг друга, но не прошло и трех недель, как все это кончилось.

Машины укатили, охрана, адъютанты, секретари исчезли. Великолепные кони были снова размещены по вагонам, «двор» гаулейтера отбыл в Восточную Пруссию.

Эйнштеттен и «замок» опять погрузились в тишину.

Каждый год гаулейтер приезжал на несколько недель в Эйнштеттен; однажды он даже пробыл там два месяца, но исчезал он так же неожиданно, как и появлялся. На сей раз его пребывание, по-видимому, было рассчитано на более долгий срок,— может быть, на годы. Гаулейтер устроил себе служебное помещение в епископском дворце, обедал он либо в «Звезде», либо в «замке». Дворец, так же как и Эйнштеттен, охранялся солдатами. В один прекрасный день, с целым табуном чистокровных коней, прибыл ротмистр Мен, до того управлявший конским заводом в Восточной Пруссии; вокруг все кишело офицерами и чиновниками; в одной из маленьких вилл было устроено «специальное» почтовое отделение. Приемы, пикники, обеды, ужины сменялись пирами, кутежами, оргиями. И так неделя

за неделей. Иногда Румпф устраивал большие приемы в «Звезде». На один из этих приемов был приглашен и Фабиан.

Он чувствовал себя польщенным и воспринял это приглашение как знак того, что отныне он принадлежит к обществу, задающему тон в городе. Но Румпф почти не взглянул на него, и Фабиан был доволен уже и тем, что он крепко пожал ему руку. После обеда Фабиан распил бутылку вина с долговязым Фогельсбергером и низеньким чернявым графом Доссе, с которым они премило побеседовали о французской живописи. Фабиан никогда не предполагал, что у маленького графа такие познания в этой области.

На следующий день он просмотрел газеты, не забыли ли упомянуть о присутствии на приеме правительственного советника Фабиана. Нет, не забыли.

Но вдруг в Эйнштеттене все изменилось. Гаулейтер молчал, он больше не шутил за столом, молча, нахмурившись, пил красное вино, и его темно-голубые глаза походили на стеклянные шарики. Он ежедневно вел телефонные переговоры с Мюнхеном и иногда даже скрежетал зубами. Вблизи него всем делалось как-то не по себе, и адъютанты старались не попадаться ему на глаза.

Внезапно гаулейтер среди ночи уехал в Мюнхен. Целую неделю он отсутствовал, не подавая о себе никаких вестей. Через три дня должен был праздноваться день его рождения, а от него не было ни слуху ни духу. Румпф явился ночью, когда его никто не ждал, и его камердинер, бывший раньше слугой у саксонского короля, наутро вышел из спальни гаулейтера с сияющей физиономией. За завтраком Румпф был в прекрасном настроении.

— Мы здесь пробудем еще несколько месяцев,— сказал он.—А день моего рождения отпразднуем в «замке» в тесном кругу.— И благодушно добавил, что в этом году не собирается выписывать балет из Берлина или вообще затевать что-нибудь подобное, нет, на обратном пути его осенила блестящая, поистине блестящая идея.

Адъютанты выжидательно смотрели на него.

— Да, да, блестящая,— улыбаясь, повторил гаулейтер.— Ведь у вас, господа, у всех есть красивые невесты, не так ли? Кое-кого из них я уже знаю. Мне говорили, что вы, граф Доссе, помолвлены с премированной красавицей?

Граф Доссе, невидный, тщедушный, почти уродливый, покраснел до корней волос.

— Она действительно красавица и получила первый приз на конкурсе красоты в Вене,— отвечал он.

Гаулейтер оглядел всех присутствующих.

— Так вот,— сказал он,— всех этих невест мы пригласим на день моего рождения, и вашу красавицу тоже, граф Доссе.

Граф Доссе смущенно заметил, что его невеста — актриса в Вене и вряд ли сможет приехать на праздник.

Гаулейтер, смеясь, прервал его, заявив:

— Ротмистр Мен все уладит.

Никогда еще гаулейтер не бывал в таком замечательном расположении духа.

XVI

В штабе гаулейтера царило большое волнение. Все шесть адъютантов были холостяками, кроме одного, который женился полгода назад, потому что его невеста родила ему ребенка.

Всегда веселый, ротмистр Мен, шатен с заносчивым лицом, прославленный наездник, сразу же разбил свою «штаб-квартиру», как он выразился, в курительной комнате. Он велел принести себе бутылку коньяку и принялся звонить по телефону, составлять телеграммы, выписывать всевозможные удостоверения. Две дамы должны были приехать с Запада, две из Берлина и одна из Вены.

— Вы слышали, граф Доссе,— обратился он к чернявому адъютанту, который взволнованно ходил по комнате.— Больше всего он интересуется вашей премированной красавицей, «мадам Австрией»; значит, мы должны доставить ее сюда живой или мертвой.

Граф Доссе, который никогда не пил, налил себе двойную порцию коньяку.

— Ну, разумеется,— отвечал он, краснея. Когда он поднял рюмку, рука его дрожала.— Шарлотта будет счастлива, очень счастлива.

Слова эти он невольно произнес на венском диалекте.

— Но, понимаете, мой дорогой, она ведь работает в театре и сейчас гастролирует в Будапеште. А времени у нас всего два дня! Я буду в отчаянии, если нам не удастся вызвать ее.

— А «Люфтганза» [1]? Для чего же существует воздушное сообщение? — засмеялся Мен.— Одну телеграмму отправим ей на дом, другую в адрес театра в Вене, третью в адрес театра в Будапеште. Я не я буду, если нам не удастся доставить сюда божественную Шарлотту.

Граф Доссе дал домашний адрес Шарлотты. Шарлотта действительно была премированная красавица, получившая первый приз на конкурсе красоты в Вене и с тех пор носившая имя «мадам Австрия». Теперь она была танцовщицей в Вене. Никто из этих господ не видел ее, только белокурому Фогельсбергеру попался однажды ее портрет в иллюстрированном журнале, и он нашел ее «божественной».

Мен вынул из кармана пригоршню папирос и бросил их на стол.

— Имейте в виду, граф, — воскликнул он,—что прошли те времена, когда вы могли держать вашу красавицу под стеклянным колпаком. Мой список скоро будет заполнен. Прошу вас, найдите мне Фогельсбергера.

Он позвонил секретарше.

Граф Доссе удалился к себе в комнату, чтобы часок поупражняться на скрипке — занятие, которым он почти никогда не пренебрегал. Покуда он играл, его собака, великолепная овчарка, лежала на кровати и хмуро рассматривала своего хозяина. Внезапно посреди этюда Доссе прекратил игру и вышел из дому. Он не мог больше усидеть в комнате.

Надежда вдруг, нежданно-негаданно, словно по мановению волшебного жезла, увидеть свою возлюблен-

[1] Компания воздушных сообщений.

ную буквально опьянила его. Чтобы убить время, он пешком отправился в город.

— Как, по-твоему, Паша, — обратился он к собаке,— когда мы получим ответ от нашей Шарлотты?

Собака, которой передалось радостное возбуждение хозяина, тявкала и прыгала вокруг него. Граф Доссе пообедал в городе и, несмотря на усталость, пешком вернулся обратно. Ответа все еще не было.

Телеграмма пришла лишь поздно вечером из Будапешта.

Мен непрерывно держал связь с «Люфтганзой». Он был в веселом настроении и слегка под хмельком. Список приглашенных был уже закончен. Молодые адъютанты находились в приподнятом состоянии духа, лишь один из них злился и огорчался: его невеста наотрез отказалась от приглашения.

Официальная часть праздника началась в семь часов утра и продолжалась до часу дня. Прибыл курьер из Мюнхена, прибыли депутации от разных учреждений и от жителей города; гаулейтеру преподнесли много цветов и вин. В час дня в «Звезде» начался обед, продолжавшийся до пяти часов. Фабиан снова был в числе приглашенных, и на этот раз гаулейтер удостоил его более продолжительного разговора и пообещал посетить Бюро реконструкции, планы которого были одобрены в высших сферах.

Вскоре после того как подали ликеры, Мен исчез. Ему надо было на вокзал — встречать первую из приглашенных дам. Это была майорша Зильбершмидт — разводка, избранница долговязого Фогельсбергера. Он отвез ее в Эйнштеттен и снова отправился на вокзал встречать свою невесту Клару.

— Самолет из Вены будет через двадцать минут в Дрездене.— Этими словами встретил его граф Доссе. Граф был страшно взволнован, услышав, что это единственный самолет на линии. Ему казалось невероятным, чтобы Шарлотта могла прибыть к десяти часам, к началу праздника. Вид у графа был совершенно растерянный, хотя он и улыбался.

— Сейчас мы их там всех расшевелим,— засмеялся Мен и велел соединить себя с «Люфтганзой». В ка-

кие-нибудь четверть часа он все уладил. Прекрасная Шарлотта имеет возможность часа два отдохнуть в гостинице. За ней будет послан специальный самолет из Берлина.

Граф Доссе, совсем было упавший духом, облегченно вздохнул. Вскоре он уже разговаривал по телефону с Шарлоттой, прибывшей в Дрезденский аэропорт. В самолете она страдала морской болезнью, но тем не менее хотела продолжать путь.

В эти мгновения не было на свете человека счастливее графа Доссе. Паша прыгал через вытянутую руку своего хозяина, пока не обессилел. Потом, в сумерках, граф, в сопровождении все еще тяжело дышавшей овчарки, стал расхаживать вокруг «замка», чтобы быть на месте, если его позовут к телефону. Легкий ветерок гнал по полям редкие снежинки. Наконец, пришло сообщение, что берлинский самолет сделал посадку в Дрездене, и еще через несколько минут, что он вылетел в дальнейший рейс.

Граф Доссе надел зимнее пальто,— ему все время было холодно,— и направился с Пашой к аэродрому. Через час Шарлотта будет здесь!

В темном небе уже слышался звук мотора, когда автомобиль Мена подкатил к аэропорту, и в ту же минуту граф Доссе заметил в ночном небе красный, стремительно снижающийся огонек. Когда самолет сел, в снопе света, падающего из кабины, закружились снежные хлопья, невидимые до этого мгновения. Граф Доссе узнал Шарлотту по тому, как она ставила ногу на ступеньку, и сердце его замерло. Можно позабыть, как уродлив человек, но что можно позабыть и то, как человек красив, это он понял только сейчас.

Шарлотта выглядела элегантной дамой в своем норковом манто и шапочке с драгоценными аграфами. Но что собственно удивительного, если премированная красавица имеет норковое манто и шапочку с аграфами? Да, да, и премированная не каким-нибудь гимнастическим обществом или яхт-клубом, а жюри, состоящим из двенадцати лучших художников Вены.

— Меховой мешок и одеяла в машине, сударыня,— услужливо ввернул Мен и бросил на счастливого гра-

фа многозначительный взгляд, как бы говоря: «Теперь я понимаю, почему вы ее от всех прятали».

Дамы были размещены вблизи «замка» в виллах, предназначенных для гостей. К ним были приставлены горничные и парикмахерши. В момент, когда вошли Доссе и Мен с Шарлоттой, Фогельсбергер пил вермут в холле. Все были в приподнятом настроении. Пробило половина десятого.

XVII

Выносливость гаулейтера была поистине фантастической. С шести часов утра он был уже на ногах, беседовал с сотней людей, битых четыре часа просидел на званом обеде, где выпил две бутылки старого бордо, не говоря уж о различных наливках, потом принял во дворце с десяток посетителей, но, возвратившись к девяти часам в «замок», был так же свеж, как утром. Даже его ржаво-красный пробор имел все тот же безупречный вид. Вернувшись, наконец, домой, он улегся на диван и стал читать приключенческий роман.

После утомительной поездки прекрасная Шарлотта прилегла на часок отдохнуть. Она давно уже поняла, что красота — это профессия и к ней надо относиться с полной серьезностью. Ротмистр Мен любезно назначил ужин на час позже, и граф Доссе обещал вовремя привести Шарлотту. Ведь все равно гаулейтер вряд ли появится раньше двенадцати.

В одиннадцать часов где-то в соседней комнате заиграл квартет, и ужин начался. Мужчины, еще под хмельком после обеда в «Звезде», пребывали в самом веселом настроении, а дамы сразу же перестали стесняться и непринужденно шутили и смеялись. Все они старались разыгрывать из себя дам общества, но очень уж часто выходили из роли. Пожалуй, лучше всего это удавалось майорше Зильбершмидт, происходившей из хорошей семьи. Фогельсбергер уже целый год собирался жениться на ней. Клара, возлюбленная Мена, дочь очень богатого фабриканта, юная хорошенькая девушка, соблазненная Меном, вела себя вначале очень манерно, но вскоре все ее жеманство исчезло; она начала

неудержимо и звонко смеяться и уже не могла остановиться. Кроме этих двух дам, за столом сидела еще стройная, элегантная женщина, хозяйка салона мод на Курфюрстендамме в Берлине. Вначале она почти ни с кем не разговаривала и не сводила глаз со своего дружка, молчаливого адъютанта Фрея, в то время как Мен подчеркнуто ухаживал за ней.

Граф Доссе сидел, низко склонившись над тарелкой, и сиял от радости. Сегодня его лицо казалось почти красивым. Как только кто-либо взглядывал на него, он легкомысленным жестом поднимал свой бокал, а когда смеющаяся Клара уронила салфетку, первым ринулся ее поднимать.

Он ежеминутно взглядывал на часы и, наконец, по знаку Мена покинул зал. Через несколько минут он снова появился вместе с прекрасной Шарлоттой.

Все мужчины повскакали с мест, женщины обернулись, как по команде, и звонкий смех слегка захмелевшей Клары оборвался журчащим каскадом. На минуту стало очень тихо, слышались только буйные выкрики «хейль». Это охрана внизу, в погребе, праздновала день рождения гаулейтера.

Шарлотта и в самом деле была удивительно хороша. Ее фигура, фигура Юноны, отличалась редкой пропорциональностью, отчего и казалась стройной. Прекраснее всего была ее кожа — матовая, немного слишком бледная, гладкая, как слоновая кость. С белоснежных висков Шарлотты ниспадали нежные золотистые локоны, а ресницы она поднимала медленно и величаво — так павлин распускает свой хвост. За ее руки, казавшиеся мастерскими слепками с рук ботичеллиевских женщин, двенадцати венским художникам следовало бы выдать ей особую премию.

На «мадам Австрии» было голубое, стального отлива, платье фантази, золотые туфельки, а говорила она на мягком, вкрадчивом венском диалекте. Когда она вышла к столу, все заметили, что губы ее накрашены чуть-чуть ярче, чем принято, и охмелевшая Клара тут же вынула зеркало из сумочки, чтобы поглядеть, не слишком ли накрашен и ее рот.

Не успела прекрасная Шарлотта сесть за стол, как

вошел гаулейтер; весь светясь благодушием, он небрежно пожал рукн знакомым дамам. Заметив Шарлотту, он остолбенел и с нескрываемым любопытством стал смотреть на нее. Потом прнветливо кнвнул, пожал ей руку н попроснл гостей не обращать на него внимания.

— Веднте себя так, как будто меня здесь нет,— громко сказал он.— Я простой человек из народа.

Дамы были очарованы этой простотой обращения, ведь как-никак это один нз могущественных людей Германнн; все помннлн, что он принадлежал к числу тех, кто участвовал в шествии к Фельдхеррнхалле[1].

Румпф сел на свое место, и официант в черном фраке наполннл его бокал вннoм.

— Разве не блестящая идея прншла мне в голову— прнгласить сюда дам? — крикнул он через весь стол, внимательно разглядывая то одну, то другую женщину.— Ну, а теперь, господа, будьте как дома.

Он молча ел свой суп, не спуская пристального взгляда с Шарлотты. Наконец, он подозвал ее к себе.

— Я внжу, вы тоже только что начали кушать,— сказал он. — Составьте мне компанию, «мадам Австрия». Граф Доссе еще успеет наглядеться на вас.

Фогельсбергер вскочнл, н Шарлотта заняла место рядом с гаулейтером. Она раскраснелась, в глазах у нее появился возбужденный блеск. Разумеется, Шарлотта торжествовала: этот важный вельможа изо всех женщнн отличил именно ее.

Прерванная застольная беседа возобновилась; снова раздался звонкий смех Клары.

— Как я слышал, путешествне было не из приятных, «мадам Австрия»? Вы разрешите мне так называть вас?

— Как вам будет угодно,— ответила она не без смущення.— Поездка, и правда, оказалась очень нелегкой, особенно трудно пришлось перед Дрезденом. Я чувствовала себя совсем плохо.

[1] Гнтлеровский,так называемый «пивной путч», имевший место 8—9 ноября 1923 года в Мюнхене, начался с шествия фашистов к Фельдхеррнхалле —зданию, воздвигнутому в честь германскнх полководцев.

Румпф громко рассмеялся.

— Морская болезнь?

Шарлотта тоже засмеялась и покачала головой.

— Нет,— сказала она,— но еще немного и...

И она принялась рассказывать различные подробности о своем путешествии. Она чувствовала, что гаулейтер охотно слушает ее, и не смущалась тем, что он не сводит с нее глаз. Пусть смотрит, она к этому привыкла. Она играла глазами, кокетничая своими обольстительными ресницами. Чем больше она ему понравится, тем это будет полезнее для Доссе, который часто бывал недоволен своим начальником.

— Неприятно, очень неприятно,— смеясь, сказал Румпф и знаком приказал слуге подлить вина Шарлотте.— Неприятно, в особенности для женщины. А ведь красивые женщины всегда бывают предметом особого внимания.

Шарлотта, улыбаясь, кивнула головой, как бы показывая, что она сумела оценить меткое замечание гаулейтера.

— Я удивляюсь только одному: почему же вы не открыли стоп-кран,— шутил Румпф, серьезно вглядываясь в лицо Шарлотты.

— Разве это можно? — не подумав, спросила Шарлотта.

Румпф громко рассмеялся.

— Разумеется,— отвечал он, и его голубые глаза блеснули от удовольствия.— Это значит, что вы протестуете против такой транспортировки и требуете назад деньги.

Красавица Шарлотта неуверенно взглянула на него.

— А если протест ни к чему не приводит, то надо попросту выйти из самолета,— продолжал Румпф, одержимый каким-то буйным весельем.

Граф Доссе сжал губы. Он находил безвкусными эти пошлые шутки по адресу Шарлотты. Фогельсбергер и Мен, напротив, громко расхохотались: они уже не раз слышали эту шутку гаулейтера. Майорша Зильбершмидт тоже разразилась громким смехом. Она не пропустила ни слова из этого разговора и теперь ог-

кровенно торжествовала над несообразительной красавицей, которой только что завидовала. Наконец, засмеялась и сама Шарлотта, но в ее смехе послышались стыд и обида.

— Как это нехорошо! — воскликнула она и погрозила гаулейтеру своим изящным пальчиком.— Вы потешаетесь надо мной, господин гаулейтер.

Граф Доссе сидел совершенно подавленный.

— Шарлотта! — умоляюще крикнул он через стол, но никто не обратил на него внимания.

Румпф надрывался со смеху.

— Вы неподражаемы, «мадам Австрия»!—воскликнул он.

Даже лакеи в черных фраках, накрывавшие на стол, и те смеялись. По такому поводу и они были вправе проявить человеческие чувства. Впрочем, очарованные столь необычной красотой, они обслуживали Шарлотту с особым вниманием.

Румпф, наконец, угомонился. Он наполнил бокалы, выпил за здоровье Шарлотты и продолжал:

— Я недавно читал, что две молодые дамы, англичанки, просто вылезли из самолета как раз в тот момент, когда он пролетал над Лондоном.

— Они, наверно, хотели покончить с собой,— заметила прекрасная Шарлотта, не подозревая того, что ее замечание вновь вызовет приступ бурного веселья.

— Надо думать! Надо думать! — давясь от смеха, вскричал Румпф, и все общество присоединилось к его хохоту.— Надо думать, прекраснейшая «мадам Австрия»!

Но прекрасная Шарлотта обиделась. Она высоко подняла брови, больше никого не удостаивала взглядом и вдруг, как по мановению волшебного жезла, стала неприступной. Но примечательно, что волнение сделало ее еще красивее. Точь-в-точь разгневанная богиня. Даже на Румпфа это произвело впечатление. Поняв, что зашел в своих шутках слишком далеко, он перестал смеяться. В то же мгновение в зале воцарилась полная тишина.

— Я хотел только сказать,— примирительным тоном обратился он к обиженной Шарлотте,— что пасса-

жиры воздушного транспорта напрасно стесняются. Надо привыкнуть к морской болезни в самолете. Недавно мы летели в Кельн; погода была прескверная. Мы, конечно, старые ландскнехты, но признаюсь вам, прелестная Шарлотта, что блевали, как собаки,— ничуть не стесняясь.— Румпф раскатисто засмеялся.

Шарлотта скривила свой накрашенный ротик в улыбку. То, что гаулейтер назвал ее просто по имени, немедленно ее с ним примирило.

Румпф заговорил о путешествиях по морю; на пароходах пассажиры опытнее, чем в самолетах.

Шарлотта с радостью ухватилась за новую тему и спросила, много ли ему приходилось ездить по морю.

— По морю? — вскричал Румпф. И стал на своих толстых пальцах перечислять моря, которые он переплывал.

— Атлантический, Тихий, Индийский океан,— начал он и так без конца. Когда он достиг Желтого моря, ротмистр Мен встал, чтобы произнести тост в честь гаулейтера.

XVIII

Радостно сиявшее лицо графа Доссе омрачилось, снова сделалось серым и усталым. Налет красоты исчез. Осталась лишь легкая улыбка, настолько деланная, что, казалось, он забыл ее на лице. Граф не слышал, что говорил ротмистр Мен, он машинально взял в руки свой бокал, когда все встали, машинально открыл рот, когда все закричали «хейль», но с губ его не сорвалось ни единого звука.

С того момента, как Шарлотта обрела благоволение гаулейтера, ей ни разу даже не пришло в голову посмотреть в сторону графа, хотя бы улыбнуться ему. Словно его больше не существовало.

Куря папиросу за папиросой, он украдкой наблюдал за ней. Улыбка ее стала живее, искристее, глаза блестели лихорадочно и ярко. Она выпила полный бокал шампанского; а ведь она его не выносила! Он хорошо знал ее! Она стремилась покорить Румпфа, влюбить его в себя, надо было видеть, как она выставляла напоказ свою грудь, изваянную богом. Берегись, Шар-

лотта! Она любила простых, сильных, здоровых мужчин. Почему бы ей и не любить их? Даже таких невежественных и примитивных, как этот Румпф, бывший кок на грузовом пароходе.

Когда она шутливо погрозила гаулейтеру пальцем, сердце замерло в груди у Доссе. Какая непостижимая наивность! Она ведь не знала этого человека, не знала его безграничного тщеславия, его причуд, которые в одну десятую долю секунды могли обернуться гибельной ненавистью.

Официанты рядами ставили на стол бутылки с шампанским и ликерами. Все было готово для кутежа. Румпф закурил сигарету и громко рассмеялся. Он чувствовал себя в своей стихии. Когда гости, мертвецки пьяные, валились на пол, он бывал доволен. Хорошенькая Клара, уже подвыпившая, разбила бокал и начала смеяться, как звонкий колокольчик, который никак не может замолкнуть. Участь Клары была на совести у ротмистра Мена, как и участь многих других до нее. Он прокутит ее деньги, а когда у нее ничего не останется, сбежит от нее. Сбежит немедленно!

За столом уже царило шумное веселье. Следующей стадией будут разнузданность, громкие крики.

— Людовик Четырнадцатый,— кричал Румпф голосом, заглушавшим шум,— или это был Людовик Шестнадцатый? Aprés nous... Да подскажите же мне, Мен.

— Aprés nous le deluge [1],— сказал Мен, единственный из всех хоть немного говоривший по-французски.

— Это неправильно! Он нас не знал, и к нам это не относится! — кричал Румпф.— Мы переделаем это изречение, Мен: после нас хоть рай!

Мен поднялся и умильным голосом произнес:

— Aprѐs nous le paradis [2].

Вокруг восторженно зааплодировали.

— Заморозьте две дюжины бутылок божественной влаги вдовы Клико! — крикнул Румпф официантам в черных фраках и чокнулся с Шарлоттой.— Людовик Четырнадцатый или Людовик Шестнадцатый — это в

[1] После нас хоть потоп *(франц.)*.
[2] После нас хоть рай *(франц.)*.

конце концов безразлично,— сказал он.— А все-таки сегодня я жалею, что я не король-солнце.

Шарлотта покраснела. Она не знала, как ей истолковать его слова, но решила принять их за комплимент.

Тут гаулейтер поднялся, и все общество направилось вслед за ним в соседнюю гостиную, посреди которой стоял большой стол красного дерева. Гостиная была настоящим цветником. Шарлотта, проходя мимо графа Доссе, собралась что-то сказать ему, но в этот момент ее позвал гаулейтер, и она быстро прошла вперед. Граф последовал за ней в гостиную и уселся в углу у самой двери, под лавровым деревцем. Подали кофе и ликеры.

Граф Доссе чувствовал себя здесь хорошо, никто не мешал ему, зато он мог свободно наблюдать за всеми сквозь цветы в высоких вазах. Программой было предусмотрено, что после ужина он сыграет соло на скрипке, но никто не напомнил ему об этом; Мен был настолько поглощен своим флиртом с владелицей салона мод в Берлине, что позабыл обо всем.

Доссе радовался, что сегодня вечером Шарлотта услышит его. Он хотел играть для нее, для нее одной, но теперь был доволен, что Мен позабыл о программе.

«Не буду я играть,— злобно думал он.— Пусть Румпф ей играет на телячьем хвосте». В эту минуту он был зол и твердо убежден, что лишает общество первейшего удовольствия, но общество нисколько не тревожилось по этому поводу. Гости вели себя теперь еще более развязно и разговаривали громче, чем в столовой; временами стоял такой шум, что нельзя было разобрать ни единого слова. Пробки от шампанского стреляли в потолок.

— Молодым людям следует приучаться к пороху,— смеялся Румпф и все настойчивее ухаживал за Шарлоттой.

Но у Шарлотты появилась соперница — невеста Фогельсбергера, белокурая майорша Зильбершмидт. Она сидела в более чем непринужденной позе на ручке кресла, предоставляя обществу любоваться ее красивыми ногами. Граф Доссе иронически смеялся, сидя в своем углу. «Вы просто смешны, моя милая,— думал

он,— извозчичья кляча не может соревноваться с рысаком». Лицо белокурой майорши от выпитого вина разрумянилось, глаза помутнели, искусная прическа растрепалась на затылке, но что это она говорит? Доссе прислушался. Она говорила с гаулейтером по-английски.

Гаулейтер, казалось, слушал с интересом и живо отвечал ей. Он тоже говорил по-английски, и так громко, что все могли его слышать; он очень гордился своим знанием английского.

В гостиной раздался взрыв смеха, и граф Доссе перестал слышать то, что говорилось, а когда шум замолк, Румпф уже говорил по-немецки и рассказывал что-то, видимо, очень занимательное. В комнате на минуту стало тише.

— Двести свиней в день! — кричал гаулейтер.

— Двести свиней? — спросило несколько голосов.

— В те времена в Чикаго закалывали по тысяче свиней ежедневно,— продолжал Румпф.— Я зашибал тогда немалую деньгу!

«Ах, это опять все та же история о чикагских бойнях! — подумал Доссе.— И как ему не надоест!»

Румпф подробно описывал, как они забивали по двести свиней в день. Так вот, стояло большое колесо, и свиньи висели головой вниз; удар ножом по шее — и уже льется кровь.

Женщины вскрикнули.

— Но, сударыни, свиней, согласно предписанию, оглушали по всем правилам науки и техники.

Кровь, само собой разумеется, аккуратно сливалась, и вот уже звонит звонок, свинья исчезает в люке и поступает в цех, где ее обваривают кипятком. А сверху уже ползет другая свинья, визжит и бьется на крюке, удар ножом по горлу — и снова кровь брызжет струей. К концу дня наши белые халаты были насквозь мокры от крови. Опять звонок — и новая свинья ползет сверху вниз. Да, тогда он, Румпф, был молод и хотел зарабатывать много денег!

Женщины притихли и с ужасом смотрели на него.

— Нервы, конечно, нужны были крепкие, стальные! — воскликнул он.— У американцев, если они не

умирают молодыми, именно стальные нервы. Это крепкая порода, такую мы должны выращивать здесь в Германии, люди с проволочными канатами вместо нервов. Долго ли, спрашиваете вы? Полгода я выдержал на чикагских бойнях, а больше — нет! Но вы ничего не пьете, господа? Надо уметь пить и слушать одновременно.

Вновь зазвенели бокалы и забегали официанты. Гаулейтер пил только красное вино, изредка перемежая его рюмкой ликера. Он даже не раскраснелся, лишь сквозь коротко остриженные волосы просвечивала теперь очень розовая кожа на голове. Его ржаво-красный пробор был так же безукоризнен, как и утром.

Едва закончив первую историю, он принялся рассказывать вторую, тоже из своей жизни в Америке.

— Я тогда зарабатывал пятьдесят долларов в день,— начал он.— Неплохо, а? Но это была очень опасная job[1]. Дело происходило на нефтяных промыслах в Мексике, и работа моя состояла в том, чтобы перевозить динамит с участка на участок. Автомобили были снабжены первоклассными рессорами, но, несмотря на это, каждый год несколько машин взлетало на воздух.

Это job он тоже бросил через четыре месяца.

Гаулейтер мог часами рассказывать о своих путешествиях, особенно когда бывал, как сегодня, в хорошем настроении.

Граф Доссе знал почти все эти истории, и чем чаще он их слышал, тем больше сомневался в их достоверности. Но тут случилось маленькое происшествие: не в меру разрезвившаяся Клара опять разбила бокал; на этот раз это было не легкое опьянение, а какая-то одержимость. Вне себя она хватала со стола бокалы с шампанским и бросала их об стену.

После третьего бокала ее стали держать за руки, и она, пытаясь вырваться, упала на пол. Клара сидела на полу и смеялась так звонко и неудержимо, что все стали вторить ей. Веселее всех смеялся Румпф. Мен поднял ее и поставил на ноги. Она покачнулась, но все

[1] Работа, занятие *(англ.)*.

же сделала попытку пройти по комнате. Стараясь обойти лавровое деревце, она пошатнулась и рухнула прямо на горку с посудой. Раздался звон, и осколки чашек и вазочек покатились по полу. Гости кричали, смеялись, а гаулейтер захлопал в ладоши. Это была ценнейшая коллекция редкостного китайского фарфора белого цвета, которую Румпф, по его словам, привез с Востока.

Мен вывел Клару из комнаты, но за дверью тотчас же послышался ее веселый и звонкий смех, снова заразительно подействовавший на остальных. Это, разумеется, послужило предлогом выпить за здоровье веселой Клары.

Фогельсбергер решил, что пора провозгласить тост в честь гаулейтера. Нельзя было не признать, что он говорил очень хорошо и красиво, чего никто от него не ожидал. Белокурая Зильбершмидт глядела ему прямо в рот изумленными глазами и первая громко зааплодировала своими маленькими ручками.

Довольный гаулейтер сразу же выступил с ответным тостом. Короткая речь его была великолепна.

— Благодарю вас, дорогой мой Фогельсбергер,— начал он, и все насторожились: гаулейтер редко произносил тосты.— Вы правы, я, так же как и вы, верю в то, что мы обретем нашу былую мощь! Будем надеяться, что вскоре мы снова, как и прежде, будем плавать по морям на наших быстрых челнах! — И он указал на фриз в гостиной, на который до сих пор никто не обращал внимания. Узкие челны с высокими носами неслись по волнам, а на корме, подняв щиты, толпились воинственные викинги.— И мы,— вдохновенно вскричал гаулейтер,— как эти там, наверху, будем бряцать мечами о щиты. Наконец, придет и наш черед; мы получим то, на что имеем право уже в течение столетий, а этим бакалейщикам, на острове, придется потесниться. Дорогу — мы идем!

Мен воспользовался тем, что в комнате после ответной речи Румпфа наступило шумное ликование, и приказал распахнуть двери в зал. Квартет на эстраде заиграл танцевальную музыку, женщины радостно взвизгнули.

Мен первым ввел свою даму в мягко освещенный

зал, за ними последовали другие пары. Шарлотта танцевать отказалась под предлогом, что еще не оправилась от путешествия. Она предпочитала общество гаулейтера, который не танцевал. Он любовался ее руками и даже просил разрешения прочитать линии на ее ладони.

— Мне сейчас откроется ваша судьба,— предупредил он Шарлотту.

Лакеи опять внесли кофе и ликеры, а также вино, содовую воду и огромные подносы со сладостями и фруктами, на случай, если кто-нибудь еще недостаточно насытился. Когда они открывали двери, из кухни доносились смех и песни, а из погреба — крики и пение охраны, которая тоже шумно праздновала день рождения гаулейтера.

— Прекрасные руки! — воскликнул гаулейтер и внимательно, точно хиромант, стал всматриваться в линии на ладони Шарлотты. Он сгибал ее послушные пальцы.— Но что это? — Гаулейтер отпрянул в испуге и с удивлением заглянул в лицо Шарлотты.

Шарлотта непринужденно засмеялась.

— Вы опасная женщина, «мадам Австрия»,— заключил Румпф.— Вам это известно? Вы принесете несчастье многим мужчинам.

Шарлотта фыркнула, и это не понравилось графу Доссе. Сердце у него сжалось.

— Но, надеюсь, и счастье тоже,— ответила Шарлотта, сопровождая свой находчивый ответ торжествующим взглядом.

Гаулейтер так сжал ей руку, что ее лицо искривилось от боли.

— Вам лучше знать,— отвечал он,— прав я или нет.

Но тут квартет заиграл вальс, который, как электрический ток, пронизал Шарлотту. Она вскочила с места. Да, теперь она хочет танцевать!

— Покажите нам свое искусство, «мадам Австрия»,— смеясь, подбодрил ее гаулейтер.

Шарлотта кивнула головой и приняла очаровательную позу. Глаза ее загорелись.

— Сейчас я буду танцевать! — воскликнула она.—

Но только не в зале, а вот на этом столе. На этом столе,— как одержимая, повторяла она и танцевальным шагом стала приближаться к столу.

Гаулейтер велел убрать бокалы, но Шарлотта воспротивилась.

— Я буду танцевать между бокалов и не уроню ни одного, ни одного! — кричала она.

Граф Доссе встал с места.

— Шарлотта,— вполголоса произнес он. Он хорошо ее знал. От шампанского она становилась невменяемой.

Но Шарлотта его не видела. Неукротимое желание блистать во что бы то ни стало овладело ею. Она сделала несколько па, но когда повернула свою прекрасную голову, то пошатнулась и расхохоталась.

Все гости пришли в гостиную полюбоваться на танцы прекрасной Шарлотты и столпились у большого стола красного дерева. Шарлотта встала на кресло, и множество рук услужливо поднялось, чтобы помочь ей взобраться на стол. Но она отклонила всякую помощь.

— Я и одна сумею,— воскликнула она и засмеялась так громко и весело, что не смогла уже двинуться с места.

— Прошу тебя, Шарлотта,—молил подбежавший к ней граф Доссе,— не забывай, что ты устала с дороги.

— Он ревнует,— сказала Шарлотта с презрительным смехом, и взгляд ее красивых, лихорадочно блестевших глаз скользнул по его лицу.

— Настоящий мужчина постыдился бы выказывать свою ревность во время такого торжества! — крикнул Румпф и зловеще засмеялся.

— Ревность — вздор,— пояснила Шарлотта и топнула ножкой, обутой в золотую туфельку.— Я все равно буду танцевать, черт возьми! Да, да, я буду танцевать на столе,— упрямо твердила Шарлотта,— на накрытом столе, между всеми этими бокалами, и не опрокину ни единого, даже вот того, посередке.

Наконец, она решилась поднять ножку в золотой туфельке и влезла на стол.

Все зашумели и захлопали в ладоши. Шарлотта озиралась вокруг с ребяческим торжеством. Божествен-

но красивая и победоносная, стояла она на столе. Никогда еще граф Доссе не видел ее столь прекрасной. Сердце его было полно печали, которая, казалось, пригибала его к земле. Он не выдержал и отвернулся.

Но вот Шарлотта протянула руки, как бы стараясь ухватиться за воздух.

— Как здесь все-таки высоко наверху,— боязливо проговорила она.

— Разрешите мне удалиться, — с поклоном обратился граф Доссе к гаулейтеру.

— Пожалуйста. Мы рады избавиться от тех, кто портит нам праздник.

— Он рассердился! — хихикнула Шарлотта, стоя на столе.

— Не обращайте внимания, прекрасная Шарлотта,— сказал гаулейтер.— Он не сердится и скоро вернется.

XIX

Шарлотта перевела дыхание и улыбнулась самой очаровательной из своих улыбок.

— Из-за чего я разнервничалась? — сказала она и засмеялась.— Теперь я чувствую себя свободнее. Ах, как глупы мужчины! Ну, играйте! — обратилась она к музыкантам.— Неторопливо, торжественно. Прошу!

Квартет заиграл вальс в медленном темпе, приглушенно. Шарлотта закинула руки, чтобы принять обольстительную позу, но вновь уронила их.

— Нет, слишком много бокалов, ничего не получится,— сказала она не без робости.

Бокалы мгновенно исчезли.

Шарлотта сделала несколько грациозных шажков, дело как будто пошло на лад. Но только она взмахнула руками, откинув широкие рукава, как опять испугалась.

— Не выходит, — сказала она огорченно и покачала головой.— Меня стесняет этот непривычный костюм.

— Устраивайтесь, чтобы вам было удобно, и танцуйте в чем мать родила! — крикнул Румпф и грубо засмеялся.

— Как? — Шарлотта сделала вид, что не расслышала.

— Почему бы и нет? Ведь мы не мещане,— подбодрил ее Румпф.

Все с напряженным интересом смотрели на стоявшую на столе Шарлотту и разжигали ее громкими выкриками.

Шарлотта испытующе взглянула на Румпфа сквозь узкую щелочку между ресниц.

— Как? — снова спросила она.— Впрочем, без одежды и правда куда лучше танцевать.

— Смелей, смелей! — воскликнул Румпф.— Плачу двадцать тысяч марок за пять минут танцев!

— Двадцать тысяч марок? — недоверчиво переспросила Шарлотта.— Вы это серьезно говорите?

— Даю слово.

Шарлотта раскраснелась от волнения, потом неожиданно побледнела, уши ее стали совсем белыми. В венском театре она получала триста крон жалованья. Потом опять покраснела. Быстрым взглядом измерила ширину и длину стола и снова сделала несколько очаровательных па. Но, подняв руки, она сильно покачнулась, еще сильнее, чем раньше, и безнадежно понурила голову.

— Сегодня у меня вряд ли получится,— удрученно сказала она.— Я слишком много выпила. Но завтра я смогу танцевать. Вы и завтра предложите мне двадцать тысяч марок?

— Да, и завтра. Вам же известны мои условия.

— Хорошо, тогда я буду танцевать завтра,— обрадованно воскликнула Шарлотта и попыталась сделать пируэт, впрочем, неудачно.— Помогите мне сойти,— попросила она.— Завтра я буду хорошо танцевать! На этом столе. И пусть все смотрят! Сегодня я уже устала и не хочу ничего, кроме шампанского.

— Смелая девушка! — засмеялся Румпф. Он снял Шарлотту со стола и отнес в кресло.

— Благодарю! — сказала Шарлотта. И с удивлением, с восторгом крикнула гостям: — Боже мой, какой он сильный!

— А теперь нальем прекрасной Шарлотте шампан-

ского, чтобы она завтра была такой же смелой! — сказал Румпф и хлопнул в ладоши.

Официанты ринулись к нему.

— Я сдержу свое слово! — уверяла Шарлотта.— Еще бокал шампанского, и я почувствую себя как в Вене. Там они прозвали меня «Цветущая жизнь».

— Шампанского, вина, музыки! — распорядился гаулейтер.— Теперь мы повеселимся вовсю.— Он велел принести сигары, папиросы и бутылку своего любимого красного вина. Квартету было приказано играть только самые веселые мелодии.

Но в самый разгар приятной болтовни открылась дверь — и кто же вошел? Звонко смеющаяся резвушка Клара. Вот она снова здесь! Она переоделась, причесалась и, освежившись, была готова к новым приключениям. Ее встретили шумным ликованием.

— Вот это смелость! — воскликнул Румпф.— Такие смелые женщины нужны нам в Германии, таких не одолеешь. Подсаживайтесь ко мне, дитя мое.

Праздник продолжался. Подали икру, дорогие закуски, водку.

Гости становились все шумливее и развязнее. Воскресшая Клара беспрерывно смеялась и, танцуя, громко пела бойкие французские песенки. Гаулейтер развалился в кресле, лицо его лоснилось от удовольствия. На одном колене у него сидела прекрасная Шарлотта, на другом — белокурая Зильбершмидт, совсем уже опьяневшая. Румпф щупал рукой то шею майорши, то шею прекрасной Шарлотты. Крупный брильянт на его мизинце переливался всеми цветами радуги, на запястьях кустились густые рыжие волосы. Обе дамы наперебой что-то говорили ему, хотя он едва слушал их и только изредка смеялся и кивал головой.

— Смотрите, смотрите! Вот! — воскликнула вдруг прекрасная Шарлотта и указала на двери. В дверях стоял граф Доссе, подтянутый и трезвый, как всегда, только необычно бледный.

— Входите, юнкер! — грубо крикнул Румпф, раздраженный тем, что его потревожили.

— Разрешите мне...— начал бледный граф Доссе спокойным, но холодным и враждебным тоном. Он за-

пнулся и умолк. Сквозь дым, поднимавшийся от множества сигар и папирос, его фигура казалась очень далекой, но слова его, несмотря на смех и крики, были слышны отчетливо.

— Что вам разрешить? — угрожающе спросил Румпф и подобрал ноги, так как обе дамы соскочили с его колен. Голос его звучал сердито. Только теперь все заметили, что лоб графа Доссе прорезан двумя вертикальными складками. Его близко посаженные глаза, казалось, еще больше сдвинулись, придавая бледному лицу выражение нескрываемой горечи и сдерживаемой ярости.— Что вам разрешить? — повторил Румпф странно глухим голосом.

Официанты отпрянули к стене.

— Разрешите мне...— начал граф Доссе тем же враждебным тоном.— Разрешите мне спросить?..

Румпф вскочил. Жилы на его висках вздулись, затылок побагровел, и кожа на голове, просвечивавшая сквозь ярко-рыжие волосы, стала пурпурно-красной.

— Здесь вам ничего не разрешат! — крикнул он.— И вам не о чем спрашивать! — Он сделал шаг вперед и заорал: — Смирно!

Граф Доссе много лет был кадровым офицером. Приказ подействовал на него как удар электрического тока. В мгновение ока он вытянулся и, казалось, врос в землю. В комнате воцарилась мертвая тишина. Бокал с шампанским опрокинулся, не разбившись, слышен был только звук льющейся жидкости. Официанты бесшумно скрылись. Когда у гаулейтера начинался приступ гнева, все разбегались. Дамы также не осмеливались нарушить тишину, они трепетали от страха и жались друг к дружке.

— Я ваш начальник,— продолжал Румпф низким, сильным голосом, раздававшимся на весь дом.— Если я говорю: умереть — вы умираете. Если я говорю: окаменеть — вы превращаетесь в камень. Понятно? Вы воображаете, что графский титул позволяет вам задавать вопросы? — Гаулейтер замолчал, злобно расхохотался и направился к своему месту, красный, с налившимися на висках жилами, задыхаясь. Он попытался заговорить спокойным тоном, но голос его звучал хрип-

ло.— Садитесь,— обратился он к дамам, как будто ничего не случилось,— и не обращайте внимания!

Он вынул сигару из ящичка и, не торопясь, стал закуривать. Затем снова сел на свое место. Граф Доссе все еще неподвижно стоял у двери, адъютанты не шевелились, никто не решался открыть рта, только белокурая майорша Зильбершмидт что-то произнесла вполголоса. Граф Доссе вызывающе посмотрел на гаулейтера и снова начал:

— Разрешите мне...

— Смирно! — загремел Румпф.

Гаулейтер опять удобно устроился в кресле и пригласил обеих дам подойти поближе, так как прекрасная Шарлотта и белокурая Зильбершмидт старались держаться от него на расстоянии, как держатся на расстоянии от огнедышащего вулкана. Но он тут же снова вскочил и уставился своими пронзительными темноголубыми глазами на графа Доссе.

— С ума вы, видно, сошли? — заорал он.— Смирно! Направо кругом! Лицом к стене! И стоять так, пока я не скомандую «вольно»! Повиноваться — и точка! Если я приказываю: «идите ко всем чертям», то вам надлежит немедленно идти ко всем чертям! Не сметь задавать вопросы, даже если я пожелаю убить вас! Поняли вы меня наконец? — Румпф отошел к креслу.— Не угодно ли дамам еще кофе? Прошу! Не станем расстраиваться из-за тех, кому хочется испортить наш праздник.

Граф Доссе все еще неподвижно стоял у двери, обратив лицо к стене. Это было жалкое зрелище.

— Прошу вас сюда поближе, прекрасная Шарлотта,— снова начал Румпф.— Ведь вы же не боитесь меня? И вы, моя дорогая Зильбершмидт. Я вижу, Кларе хочется чего-нибудь освежающего. Где официанты? Уснули они, что ли, Мен?

У двери шевельнулся граф Доссе, скрипнул паркет. Все увидели, что он повернул голову и с трудом зашевелил губами, словно они у него одеревенели. С искаженным лицом он снова заговорил:

— Позволю себе заметить, что вы вовсе мне не начальник,— явственно произнес он ко всеобщему ужа-

су.— Я старший лейтенант армии, тогда как вы были в армии всего лишь старшим поваром.

— Что? — Румпф снова вскочил. Он указал пальцем на графа Доссе.— Смирно! — закричал он.— Это бунт! Господин капитан Фрей, арестовать этого человека! Отвести его в его комнату! Вы не обменяетесь с ним ни единым словом и ответите головой, если он сбежит.

Капитан Фрей поднялся, чтобы выполнить приказ.

Праздник продолжался. До самого рассвета длилось чествование гаулейтера по случаю дня его рождения.

Когда забрезжил день, в доме раздался выстрел, но никто не слышал его, так как во всех комнатах стоял невообразимый шум. Граф Доссе застрелился.



I

«Миллионы, миллиарды мыслей и чувств — вот то единственное, из чего составляется народ!»

Эта сентенция сразу бросилась в глаза Фабиану, когда он распечатал первое длинное письмо Кристы; и ее голос звучал в его ушах, будто она сама читала ему свое письмо.

Эту мудрую мысль, писала Криста, высказал в беседе с ней настоятель одного монастыря — почтенный старец, седой как лунь, в которого она влюбилась. Да, влюбилась!

У Фабиана заныло сердце, когда он прочел это признание, хотя Криста и писала, что настоятель стар, сед как лунь и рот у него сморщенный и впалый, как у старухи.

«Эти миллионы и миллиарды чувств хороши и благородны в одни эпохи; низменны и злы — в другие. Но горе народу, если чаша злых помыслов перевешивает чашу добрых». Так ей сказал настоятель.

Криста подробно описывала свое знакомство со старым настоятелем, когда она писала акварелью во дворе монастыря «Три самаритянина», неподалеку от Рима. Почтенный старец заговорил с нею, и она сразу же пришла в восхищение от чудесной ясности его блестящих глаз, желтовато-карих, как янтарь. «Дочь моя»,— называл он ее. Австриец по происхождению, он сорок лет прожил в Италии. Вскоре они стали проводить вместе целые часы, оживленно беседуя. Сначала говорили на общие темы, затем настоятель стал упорно возвращаться к политическим вопросам, особенно подробно касаясь политического положения в Германии.

Мрак навис над миром, говорил он, и тяжкие испытания обрушились на человечество. Горе, горе немецкому народу, чаша злых помыслов переполнена и клонится все ниже и ниже. Уже недалеко время, когда она перевесит чашу добрых помыслов.

Патер не скрывал, что прежде он восхищался Германией. Прежде? А теперь? О нет, теперь он ею не восхищается. Германия слишком сильно изменилась в последние годы, изменилась к худшему, отвечал он. Горе, горе немецкому народу!

Ему, например, рассказывали, что теперь опасно говорить правду. Один надежный человек привел ему в доказательство тысячи примеров... Страшных примеров... Слышала ли она о том, как позорно обращаются в Австрии с разными религиозными обществами и монастырями?

Нет, она никогда ничего об этом не слышала.

Зло растет и порождает зло! Тот же самый человек рассказал ему, как грубо и безжалостно изгоняют из монастырей почтенных и богобоязненных монахинь. Он привел подробности, которые не могут не вызвать краски стыда у каждого добропорядочного человека. «Да, старому настоятелю будущее немецкого народа кажется мрачным, как темная ночь»,— писала Криста. В письме она так часто возвращалась к своему почтенному настоятелю с прекрасными глазами, что Фабиан почувствовал досаду. Особенно поражало старика то, что в облике немецкого народа проступили

страшные и опасные черты, которых он прежде никогда не замечал в нем.

— О каких это страшных чертах он говорит?—в испуге и недоумении стала допытываться Криста.

— Например, коварство, дочь моя,— отвечал ей настоятель,— вот одна из этих черт — пугающая и совершенно неожиданная в облике немецкого народа. С некоторых пор она проявляется все чаще и чаще.

И он рассказал ей историю, звучащую совсем неправдоподобно. Эта история случилась не с тем надежным человеком, а с собственным племянником настоятеля; от него он и узнал ее.

Его племяннику, венскому студенту, верующему и богобоязненному, воспитанному родной сестрой настоятеля, претили все эти националистические союзы молодежи и студенческие организации, в настоящее время расплодившиеся в Австрии, как ядовитые грибы. Он посвятил себя своим занятиям и стал избегать встреч с теми знакомыми и товарищами, которые прожужжали ему уши всевозможными посулами, соблазнами и фантастическими россказнями.

— Что же случилось, дочь моя? Вы, наверное, сочтете это невероятным, да и мне вначале не верилось. Однажды мой племянник нашел у своей двери сверток, и что, по-вашему, произошло, когда он беззаботно открыл его? Произошел взрыв, и у моего племянника оторвало правую руку! Вы так же возмущены этой безбожной жестокостью, дочь моя, как был возмущен и я. Я считал бы эту историю злостной выдумкой, если бы мой племянник не остался калекой.

Фабиан недоверчиво покачал головой и с досадой рассмеялся. Хватит с него рассказов об этом почтенном, седом как лунь настоятеле. Криста, по-видимому, слишком наивна, она не догадывается, что стала жертвой клеветы, которую сеет католическая церковь. А потерявший руку племянник — ложь, драматический эффект, придуманный почтенным старцем. Надо обязательно предостеречь ее от этого человека.

Конечно, Криста тоже возмущена, она не допускает, чтобы такие вещи происходили в действительности, она ведь сама пишет об этом. И все-таки ясно, что в ко-

нечном счете она ему вернет. Так или иначе беседы с ним глубоко взволновали ее.

«До сегодняшнего дня мы с вами, к сожалению, намеренно избегали разговоров на политические темы,— писала Криста.— Мама наложила на них запрет, а вы тоже до них не охотник. Вы всегда твердили, что не надо верить всяким россказням, что все это явления переходного времени, что надо выжидать, выжидать... или что-то в этом роде! Но теперь мне думается, что мы были неправы. Во всяком случае я решила обстоятельно поговорить с вами обо всем этом, когда мы встретимся; ясно, что вы о многом судите более разумно, чем тысячи других».

Фабиан уже почти дочитал письмо, а в нем, к его большому разочарованию, все еще не был затронут тот вопрос, который имел для него жизненно важное значение.

«Я столько настрочила,— кончала Криста,— но я вся под впечатлением моих бесед с настоятелем и не могу не писать вам о них. Уже поздно, мама сердится. Завтра рано поутру мы отправляемся в Кампанью. В следующем письме я, наконец, отвечу на ваше длинное и прекрасное письмо, «письмо настоящего друга», если можно так выразиться. Обещаю вам это».

Письмо Кристы, посвященное неутешительным рассказам настоятеля, по правде говоря, сильно разочаровало Фабиана и привело его в скверное настроение. Хорошо, что он приглашен в десять часов к гаулейтеру играть на бильярде.

После нескольких недель томительного ожидания пришло, наконец, второе письмо от Кристы; на этот раз то самое, долгожданное письмо. Он стал читать его очень внимательно, вопреки своей привычке торопливо пробегать письма глазами.

Криста начинала с уверения, что она неделями носила с собой его длинное и прекрасное письмо, письмо настоящего друга, и что она много раз его перечитывала. И чем чаще она его читала, тем прекраснее оно ей казалось и тем большей отрадой были для нее дружеские чувства, которыми оно проникнуто.

Фабиан улыбнулся счастливой улыбкой, даже покраснел. Он снова почувствовал, как глубоко, по-настоящему любит он эту женщину. «Только бы она скорее вернулась, только бы скорее вернулась»,— думал он.

Не раз, сообщала ему Криста, мысленно отвечала она на это письмо, но теперь, когда она взялась за перо, ей кажется, что это одно из тех писем, на которые нельзя ответить письменно, оно настойчиво требует живого, непосредственного общения.

«Вы пишете, что в моем присутствии ощущаете бóльшую уверенность в себе и ясность, чувствуете себя как-то благородней и лучше. Это такая большая похвала для меня, что я не знаю, как на нее ответить. И потому умолкаю».

Впрочем, уже сейчас она может сказать, что радуется духовной близости, возникшей между ними. Так же как и он, она хочет, чтобы эта близость укрепилась. Она молит бога, чтобы это стало возможным. Так она и писала: «Молю бога».

Но здесь она снова чувствует, что перо беспомощно и необходима встреча. Она радуется, что снова увидит его, что они поговорят обо всем, чего нельзя написать, и надеется, что свидание не за горами.

«Я теперь часто мечтаю посидеть и поболтать с вами в нашем «Резиденц-кафе». Возможно, что мы с мамой вернемся раньше, чем предполагали, и если это случится, то не без вашей вины. Больше я вам ничего не скажу».

Фабиан почувствовал себя счастливым, читая эти строки. И сердце у него забилось сильнее.

Она писала еще об их общей знакомой, его клиентке, и одно замечание Кристы особенно его порадовало. «Если я люблю человека,— писала она,— то это не значит, что я непременно стремлюсь к браку, как Рут. Почему она не становится возлюбленной своего избранника, ведь это же было бы самое естественное, простое и понятное? Ей незачем ждать, пока он разведется с женой. Ведь Рут не какая-нибудь маленькая продавщица? Скажите ей мое мнение, когда она снова придет к вам в контору».

«Так мыслит только чистый, искренний человек, преодолевший все мелкие предрассудки»,— думал счастливый Фабиан. Да, это женщина, на которой спокойно можно жениться, не рискуя раньше или позже прийти в ужас от ее отсталости, как это случилось в его браке с Клотильдой.

II

Письмо Кристы еще долго согревало сердце Фабиана. В бюро реконструкции теперь стало спокойнее, улеглась летняя сутолока, и Фабиан, не упрекая себя за бездействие, мог выпить иногда рюмочку ликера с друзьями. Даже когда снег облеплял покрытые смолой дорожные катки, рабочие в толстых чулках все еще работали на улицах среди дыма и чада. Только мороз прогнал их. Площадь Ганса Румпфа вчерне уже была закончена, и городской архитектор Криг надеялся, что к весне будут готовы и магазины и ларьки — словом, все вплоть до последней оконной рамы. Начиная с первого мая, на площади Ганса Румпфа раз в неделю будет базарный день, и начнется перестройка площади Ратуши.

Осенью прибыли, наконец, из Мюнхена план и рабочие чертежи Дома городской общины, сделанные одним модным архитектором и составлявшие гордость Таубенхауза.

Это было нечто вроде небоскреба довольно унылого вида, несмотря на четыре башенки по углам, напоминающие минареты. Фабиан заказал картину величиной с дверь, на которой это строение, высоко вздымающееся над вершинами Дворцового парка, выглядело очень внушительно. Картина получилась настолько удачной, что Таубенхауз даже пожелал повесить ее у себя в приемной, но Фабиан еще до того выставил ее в витрине ювелира Николаи, и прохожие долгое время дивились на это творение.

Подготовительные работы для постройки Дома городской общины были проведены еще поздней осенью. Храм мира в Дворцовом парке, поэтичный скромный

пантеон в стиле Шинкеля[1], построенный городом по окончании Освободительных войн, был разрушен и весной должен был быть снова воздвигнут где-нибудь в укромном уголке того же парка. На его месте, на зеленом холме, с которого был виден весь город, предстояло вырасти Дому городской общины. Пока что холм был точно измерен, и красные колышки отметили будущую линию фундамента; в этом году больше ничего нельзя было сделать.

Затем машина Фабиана стала часто появляться на Вокзальной площади. По его заданию архитекторы уже работали над проектами ее перестройки. А потом Фабиан велел, все с теми же украшательскими атрибутами, написать маслом и новую площадь. Да, это площадь, какой не сыщешь и в столице, черт возьми! Люди диву давались, глядя на роскошные клумбы и газоны, на два чудесных фонтана, которые посылали в сказочно прекрасное небо свои сверкающие струи. Даже рекламы Ниццы и Монте-Карло не выглядели столь соблазнительно. Трамвайные станции превратились в изысканные галереи, а между фонтанами на крытой дерном площадке высился изящный павильон, окруженный маленькими столиками, совсем как в Париже. Когда иллюстрированная газета поместила эту фотографию, весь город был вне себя от восторга.

Таубенхауз! Таубенхауз! Крюгер по сравнению с ним был человеком, начисто лишенным фантазии. Разве мог он додуматься до чего-либо подобного?

Таубенхауз был так доволен, что собственной персоной заявился в контору Фабиана, чего он никогда не делал.

— Превосходно,— сказал он; лицо его сохраняло свою обычную неподвижность. — Мы можем гордиться нашей новой площадью. Примите мои поздравления.— И затем, строго взглянув на Фабиана, добавил: — Прошу вас, дорогой правительственный советник, впредь ничего не опубликовывать в печати без моей санкции.

---

[1] Немецкий архитектор конца XVIII— начала XIX века, пытавшийся возродить в Германии стиль греческой архитектуры.

Фабиан поклонился в знак безусловной покорности и щелкнул каблуками.

Однако Фабиана по-прежнему часто видели в автомобиле у Вокзальной площади. Одна идея крепко засела у него в голове.

Его внимание привлек обширный складской участок транспортной фирмы «Леб и сыновья». Участок был запущенный, с плохоньким зданием конторы и полусгнившим деревянным амбаром. Вдобавок там же стояло штук десять больших и малых уже отслуживших свое мебельных фургонов с надписью «Леб и сыновья», с изображением какого-то нелепого геральдического льва. Ясно, что такой запущенный участок по соседству с новой Вокзальной площадью — позорное пятно для города. Эти ветхие строения надо убрать! На их месте вырастет роскошная гостиница; мысль о ней уже несколько недель занимала Фабиана.

Клотильда постоянно упрекала его в непрактичности. Потому-то он и «остался ни с чем, тогда как другие стали миллионерами». Ну вот, теперь посмотрим, права ли она. Во всяком случае, у него нет ни малейшего желания сложа руки созерцать, как все вокруг лопатами загребают деньги! Сапожник Габихт, занимавшийся мелкой починкой, стал владельцем процветающей обувной фабрики, которую он ежегодно расширяет. Шарфюрер Дерр, бывший мелкий зеленщик, заведует пунктом по сбору яиц и уже выстроил себе великолепную виллу в Принценвалле. Его друг Таубенхауз привлекает к работам по асфальтированию улиц фирмы, которые запрашивают втридорога; и уж, конечно, у него есть на то достаточно веские основания. Тот же самый Таубенхауз поспешил купить несколько дешевых строений на Капуцинергассе, прежде чем приказал снести эту улицу. Штурмфюрер Лампенбард раньше торговал кроличьими и заячьими шкурками, а нынче у него элегантнейший меховой магазин. Десятки таких случаев вспоминались Фабиану. Почему же ему, который по своим способностям на голову выше их всех, не нажиться на этом перевороте? Нет, не такой уж он дурак!

Фабиан решительно открыл заржавевшие железные

ворота и очутился на участке фирмы «Леб и сыновья». Из трубы маленького конторского помещения тонкой струей вился дым; рабочий, шаркая лопатой, сбрасывал кокс в подвальное помещение.

— Есть тут кто-нибудь из хозяев? — спросил Фабиан.

— Да, молодой Леб в конторе,— отвечал рабочий, прекратив на мгновение свое занятие.

Фабиан постучал в дверь и вошел, не дожидаясь ответа.

III

В холодной, совершенно пустой конторе за старым письменным столом сидел юноша с огненно-рыжими волосами, по его лицу текли слезы. Он растерянно смотрел на измятое письмо, которое держал в руках, и даже не давал себе труда вытереть глаза.

— Извините за беспокойство, — сказал Фабиан.

— Я не слышал вашего стука, господин правительственный советник,— огорченно произнес рыжий юноша; наконец, он спохватился, что нужно вытереть мокрое от слез лицо. Машинально поднявшись, он пододвинул гостю единственный стул, стоявший у стены.

— Вы меня знаете?

— Кто же вас не знает, господин правительственный советник! — усталым голосом отвечал молодой Леб.— В последнее время я часто видел вас на Вокзальной площади... Вас сопровождали землемеры с приборами...

Фабиан кивнул.

— Да,— сказал он, опускаясь на стул.— Мы измеряли площадь. Господин Леб, говорят, все еще в Швейцарии? А вы, надо думать, его сын?

Юноша снова сел за письменный стол.

— Да,— произнес он удрученно и указал на измятое письмо.— Отец все еще в Швейцарии, в Цюрихе. Совсем один. Да, я его сын, Исидор Леб.— И слезы снова повисли на светло-рыжих ресницах молодого Леба.

— Надеюсь, никаких дурных вестей? — участливо

спросил Фабиан. Вид плачущего человека всегда вызывал у него сострадание.

Исидор Леб покачал головой, и несколько слезинок скатилось по его веснушчатому лицу.

— Нет, нет,— отвечал он,— вся беда в том, что мы оба так одиноки. Отец сидит в Цюрихе и мучается, а я сижу здесь и мучаюсь. Беда в том, что все вокруг так тяжко.

— Надо спокойнее относиться к жизни, господин Леб! — попытался Фабиан утешить юношу, который едва сдерживал рыдания.

Горе его было неподдельно, и Фабиан жалел Исидора Леба. Это был рыжий, как белка, хилый юноша со светло-рыжими ресницами. Его бледное лицо было густо усеяно веснушками, а на носу они сливались в сплошное пятно. Он производил впечатление изнеженного, избалованного маменькина сынка, который вдруг оказался брошенным на произвол судьбы.

— Я уже успокоился,— ответил Исидор и вытер лицо скомканным, грязным носовым платком. Участливость Фабиана, видимо, подействовала на него благотворно.

— А теперь послушайте, господин Леб,— серьезно начал Фабиан, — у меня к вам дело. Один из моих клиентов поручил мне снестись с вами. Его интересует ваш складской участок.

И они сразу оживленно заговорили, уже почти не слыша доносившегося со двора шарканья лопаты.

— Покупатели уже находились не раз,— сказал Исидор Леб,— но сделка не состоялась, всем хотелось получить участок за понюшку табаку. А отец распорядился не продавать его меньше чем за сто шестьдесят тысяч марок.

Фабиан тихонько свистнул сквозь зубы.

— Сто шестьдесят тысяч марок,— повторил он.— Сумма изрядная! Мой клиент рассчитывал на значительно меньшую. Он предлагает вам восемьдесят тысяч. Сделка будет оформлена по всем правилам. За это я ручаюсь, а ведь вы меня знаете.

Исидор взглянул на собеседника своими бледно-голубыми водянистыми глазами, чем-то напоминавшими

Фабиану глаза Клотильды, и кивнул. Сейчас он был вполне серьезен и деловит.

— Это ровно половина. Подумайте, ведь в нашем участке свыше трех тысяч квадратных метров.

Фабиан назвал такую сумму не потому, что решил купить участок за полцены, а потому, что как раз эта сумма — восемьдесят тысяч марок — в данный момент была в его распоряжении. Он встал.

— Напишите отцу,— закончил он,— что мой клиент, к сожалению, не может предложить больше. Напишите также, что я беру на себя ответственность за все остальное.

Исидор кивнул, и слабая улыбка впервые появилась на его веснушчатом лице.

— Я знаю,— возразил он,— что мой отец питает к вам полнейшее доверие. Он вас очень ценит и всегда отзывался о вас с большим уважением. Но я не думаю, чтобы он согласился. Нет, не думаю. — Он с сожалением покачал головой, всем своим видом показывая, как ему неприятно отвергать предложение Фабиана.

— Во всяком случае, я буду вам благодарен, если немедленно вы сообщите отцу о нашей беседе, господин Леб.

— Я сегодня же напишу ему.

— Давно ли старый Леб в Швейцарии? Целых два года? Ну, тогда он, конечно, не может судить о нынешней обстановке. Не исключено, что настанут времена, когда он вообще ничего не получит за свой участок. Будем, конечно, надеяться, что до этого не дойдет. Тем не менее все возможно.

Фабиан не хотел распространяться на эту тему. Неделю тому назад советник юстиции Швабах сообщил ему, что готовятся новые суровые законы касательно недвижимости, принадлежащей евреям, однако Исидору Лебу он ничего не сказал об этом.

— Хочу дать вам добрый совет, господин Леб,— настойчиво продолжал Фабиан.— Поезжайте в Цюрих. Расскажите вашему отцу, как обстоят нынче дела! За эти два года положение сильно изменилось. Скажите ему, что я дал вам этот совет.

Исидор посмотрел на Фабиана широко открытыми глазами, в которых опять заблестели слезы, и печально покачал головой.

— Я бы поехал с радостью! Хоть сию минуту! — пояснил он.— Но ведь это невозможно. — Слезы снова хлынули у него из глаз, и он попытался вытереть их грязным платком.

— Почему невозможно? — спросил Фабиан и засмеялся, чтобы ободрить молодого Леба.

Лицо Исидора Леба выражало полное отчаяние.

— Потому что мне не дадут паспорта, разве вы не знаете? Мне девятнадцать лет, и военное ведомство не дает мне паспорта.

— Военное ведомство? — Фабиан перестал смеяться, но едва подавил улыбку. На что нужен военному ведомству этот беспомощный маменькин сынок, который упадет в обморок при первом же пушечном выстреле? — Послушайте, господин Леб,— сказал он, вынимая часы.— Присядем, в моем распоряжении еще десять минут. Если вопрос только в этом, то выход, пожалуй, найдется. Военные власти, надо полагать, заинтересованы в одном: чтобы вы вернулись из Швейцарии обратно. Ну, вот, вы и вернетесь через недельку. Вам немедленно дадут разрешение на выезд, если кто-нибудь поручится за ваше возвращение.

— Да, да! — Исидор склонился над столом и смотрел на Фабиана широко открытыми глазами, в которых мелькнул луч надежды.— Кто же поручится за меня? — спросил он, и от волнения на его веснушчатых щеках выступили чахоточные пятна. Он весь дрожал.— Прочтите это письмо, господин правительственный советник,— воскликнул он, так как Фабиан упорно молчал, и протянул ему измятое письмо.

Фабиан взял листок и быстро пробежал его. Это было письмо охваченного отчаянием отца к сыну. «Мне страшно за тебя,— писал старик Леб,— я потерял сон от страха. Освободи меня от этой муки, приезжай сюда, мой бесценный».

Бесценным называл старик Леб от избытка родительских чувств эту веснушчатую белочку! Но Фабиан даже не улыбнулся, письмо старого Леба потрясло его.

— Я поручусь за вас,— сказал он после недолгого раздумья.— Закон не препятствует тому, чтобы взять на себя это поручительство.

Исидор вскочил и протянул Фабиану бледную, покрытую веснушками руку.

— Вы хотите это сделать, господин правительственный советник? — крикнул он; голос его от волнения звучал визгливо.— И я могу ехать, завтра же?

Фабиан улыбнулся и отошел на несколько шагов, опасаясь, что рыжеволосый малый кинется его обнимать.

— Чтобы все это уладить, понадобится, вероятно, несколько дней, звоните мне ежедневно по телефону,— сказал он.— Я подумаю, может быть, найдется еще лучший выход. Но вы должны обещать мне, объяснив отцу, как сильно изменилась обстановка, немедленно по телеграфу сообщить ответ. Я должен поставить об этом в известность моего клиента, — деловито добавил он.

— Обещаю, обещаю! — воскликнул Исидор. Руки его, когда они прощались, были влажны от пота.

Фабиан направился к машине, поджидавшей его за углом. Он был доволен результатами разговора. «Может быть, Клотильда все-таки неправа?» — мелькнула у него мысль, когда он вытирал носовым платком руки. Бог ты мой, почему он так потеет, этот Исидор?

Фабиан в три дня уладил все дело с паспортом. Он отправился к генералу, возглавлявшему военное ведомство в городе, и изложил ему свою просьбу.

— Этот земельный участок имеет очень важное значение для новой Вокзальной площади,— сказал он.

Старый генерал, с которым он был знаком еще по ресторану «Звезда», объяснил, что Исидору Лебу лучше всего подвергнуться в обычном порядке врачебному освидетельствованию у военного врача. Если молодой человек окажется негодным к военной службе, а по-видимому, это так, то он его просто освободит, тем более что евреи ему и даром не нужны. Спустя неделю Исидор Леб уехал в Швейцарию.

Через несколько дней Фабиан получил телеграфное уведомление о том, что старик Леб согласен продать

участок за восемьдесят тысяч марок и что сделка вступит в силу с того момента, когда деньги будут внесены в Цюрихский банк.

Молодой Исидор Леб не приехал обратно. У него не было ни малейшего желания возвращаться в Германию, да никто и не интересовался его возвращением. Военные власти никому не поручили следить за Исидором Лебом.

Фабиан был доволен, угрызения совести не мучили его. «Не сделай я этого дела,— думал он, пожимая плечами,— раньше или позже его сделал бы кто-нибудь другой».

IV

Оказалось, что Фабиан не так уж непрактичен, как полагала Клотильда. Он поручил архитектору Кригу составить проект роскошной гостиницы и принес этот эффектный эскиз советнику юстиции Швабаху, который считался специалистом по учреждению новых акционерных обществ.

— Мы хотим строить гостиницу и нуждаемся в вашем совете, коллега,— сказал он.

Советник юстиции Швабах надел пенсне и уткнулся своей курчавой головой в проект.

— Великолепно, я просто потрясен! — сказал он, рассмотрев отдельные эскизы.— Да, этот Таубенхауз — малый не промах!

— Идея принадлежит не Таубенхаузу, а одному из моих клиентов, владельцу земельного участка,— заметил Фабиан.

Швабах кивнул. Он уже знал, кто владелец этого участка.

— И где же будет расположена гостиница «Европа»? — спросил он.

— У вокзала, на участке фирмы «Леб и сыновья».

Советник юстиции выпятил губы и снова кивнул: хорошее дело, многообещающий проект, черт возьми!

— Привлечь к этому делу людей с капиталом не составит, конечно, труда: завод Шелльхаммеров, естественно, заинтересован в том, чтобы у вокзала была

гостиница, так же как и другие фирмы, к которым приезжают иногородние клиенты. Габихт ищет, куда бы поместить свои капиталы, да и кроме него немало найдется людей, нажившихся на новой конъюнктуре, которые ищут прибыльного помещения денег. Строительная смета — два миллиона. Хорошо, а сколько хочет ваш клиент за участок?

Швабах навострил уши, заросшие седыми курчавыми волосами. Его разбирало любопытство: в какой мере его коллега научился мыслить по-деловому?

— Мой клиент требует двести тысяч наличными,— глазом не моргнув, отрезал Фабиан,— и восемьсот тысяч в акциях гостиницы.

Советник юстиции Швабах запустил руку в шевелюру и встал, качая головой.

— Мой совет вашему клиенту: согласиться на пятьсот тысяч в акциях гостиницы. Он, видно, не знает, какие расходы в настоящее время ложатся на предприятие. Деньги! Деньги! Нынче все хотят зарабатывать деньги!

Преподав Фабиану это поучение, он закончил:

— Ну, хорошо, мы учредим акционерное общество «Гостиница «Европа». Я все подготовлю.

Спустя неделю за обедом в «Звезде» состоялось учреждение общества «Гостиница «Европа». Швабах пригласил с десяток заинтересованных лиц, среди гостей был и Таубенхауз. Советник юстиции поздравил Фабиана, который сумел уговорить своего клиента уступить участок за триста тысяч, и выразил удовлетворение по поводу того, что Таубенхауз согласился принять подарок в сто тысяч акциями нового общества и обещал ему свое благосклонное содействие. Таким образом, общество «Гостиница «Европа» будет крепко стоять на ногах. Он, Швабах, забыл еще об одном пустяке. Он просит, чтобы его уполномочили предложить высокочтимому господину гаулейтеру двести тысяч марок акциями, хотя ему, конечно, неизвестно, согласится ли гаулейтер принять их в подарок. Во всяком случае, он рискнет обратиться к нему с таким предложением.

На торжестве по случаю учреждения общества

произносилось много тостов. Фабиан был в превосходном настроении и поздно ночью предложил учредить еще одно акционерное общество под названием «Земельные фонды». В первую очередь обществу надлежало заняться земельными участками на Вокзальной улице, оживить эту запущенную, захудалую трассу и придать ей современный вид. Вокзал находился в двух километрах от Старого города, и Вокзальная улица была застроена дешевыми доходными домами, фабричными зданиями, гостиницами, теплицами и старыми виллами. Для начала общество «Земельные фонды» ознакомится с отдельными участками и затем начнет постепенно скупать их для новостроек современного типа.

— Нищенская Вокзальная улица превратится в одну из самых роскошных торговых улиц! — воскликнул Фабиан.

Советник юстиции Швабах чокнулся с Фабианом. У этого Фабиана, оказывается, больше деловой сметки, чем можно было предположить.

В тот же вечер Швабаху было поручено подготовить почву для учреждения общества с ограниченной ответственностью под названием «Земельные фонды», а также приискать надежного маклера.

В этот полный событий вечер Фабиан впервые в жизни напился пьян. «Нарезай свистульки, пока сидишь в тростнике»,— всю ночь вертелось у него в голове, и он непрерывно смеялся, представляя себе, как он сидит в тростнике и нарезает свистульки. А ведь это чертовски трудно — сидеть в качающейся лодке и не упасть в болото. И как, собственно, нарезают свистульки? Он этому не учился.

Ложась спать, он сказал себе вслух:

— А Клотильда-то, видно, ошиблась! Урожденная Прахт тоже может ошибиться, совсем как Гомер.

Впервые случилось, что он крепко спал, когда постучался шофер, ежедневно отвозивший его в контору. Фабиан не поехал, сославшись на нездоровье, и обещал позвонить туда после обеда. «Вино-то было хорошее,— подумал он,— но что меня дернуло пить виски?»

В час дня к нему опять постучались, и в комнату вошел долговязый Фогельсбергер.

— Гаулейтер просит господина правительственного советника отобедать у него в Эйнштеттене. Из Берлина прибыли представители общества «Люфтганза», у гаулейтера состоится с ними беседа. А у вас — это слова гаулейтера — всегда такие интересные мысли, господин правительственный советник,— закончил Фогельсбергер и засмеялся.

— Весьма польщен,— отвечал Фабиан.— Постараюсь быть!

Значит, надо поскорее бриться, принимать ванну, облачаться в парадный костюм, словом, спешить.

— Вы можете не торопиться, господин правительственный советник, моя машина ждет у дверей. А я пока спущусь вниз и выпью виски.

— Брр! Не пейте виски, это очень вредно! — предостерег его Фабиан.

— Вы себе и представить не можете, как мы кутили сегодня ночью! — воскликнул Фогельсбергер.

За обедом Фабиан мало-помалу пришел в себя, но он был не в ударе, и сколько-нибудь значительные мысли не приходили ему в голову. Он утешал себя тем, что гость из Берлина и сам прекрасно разбирается во всех этих вопросах. Суть дела заключалась в том, что гаулейтер, если Фабиан правильно понял, хотел превратить городской аэродром в аэропорт международного значения.

Перед десертом гаулейтер поднял бокал за Фабиана.

— Теперь особый тост за нашего достопочтенного правительственного советника,— произнес он, склоняясь над столом, чтобы чокнуться с Фабианом.— Сегодня утром я получил извещение, что фюрер произвел вас в оберштурмфюреры.

Фабиан поднял бокал, щелкнул каблуками и стал принимать поздравления присутствовавших. Его знобило, еще немного — и на глаза у него навернулись бы слезы. Как он торжествовал!

Первой мыслью его была Криста. Такое назначение означало признание его способностей, и Кристу это,

вероятно, обрадует. Во всяком случае, ей не придется краснеть за него. Что касается самого Фабиана, то он был до глубины души счастлив, хотя звание оберштурмфюрера соответствовало чину капитана, который он уже имел в армии. Но все равно — начало было многообещающее.

Через несколько дней, после того, как в газетах появилась заметка о присвоении ему звания, стол Фабиана оказался заваленным поздравительными телеграммами и письмами. В бюро тоже с утра до вечера толпились поздравители. Даже Клотильда сочла нужным поздравить его. «В такой день голос вражды и неприязни должен смолкнуть»,— так начиналось ее поздравление.

Но в то же время он получил — этого следовало ожидать — и много анонимных писем; одно письмо было настолько резким, что он не решился кому-либо показать его. И под ним опять стояла подпись: «Неизвестный солдат».

Поскольку в этом письме содержались серьезные оскорбления, Фабиан решил на этот раз не бросать его в корзину, а передать гестапо.

Письмо, которое Фабиан скрыл от всех, гласило:

«В библии говорится о непростительном грехе: это грех против святого духа. Те, кто продали душу, будут повешены на самой высокой виселице! Одумайтесь, доктор Фабиан, пока не поздно!» Не оскверняйте вашу душу, служа жалкой кучке преступников, ибо вам этот грех не простится. Одумайтесь, доктор Фабиан, пока не поздно!»

V

Марион медленно поднималась по ступеням епископского дворца. Выпал свежий снег, и когда она очутилась наверху и нерешительно обернулась, то увидела на ступеньках четко отпечатавшиеся следы своих ног. Она постояла, чтобы перевести дыхание. Теперь, когда она уже отважилась прийти сюда, отступления быть не могло, хотя мужество, которое только что наполняло ее сердце, рассеялось, как дым. Она принадлежала к тем людям, которые всегда держатся смело, даже

дерзко, но в решительный момент поддаются страху.

Из двери на верхней площадке вышел дежурный в черном мундире, с револьвером на боку; он с любопытством оглядел ее. В ту же секунду в Марион проснулась безмерная, несказанная ненависть, и мужество вернулось к ней. Она объяснила дежурному, что хочет видеть гаулейтера, и тот, еще раз окинув ее любопытным н одобрнтельным взглядом, распахнул перед нею дверь. Гаулейтер неоднократно заявлял, что принимает всех без исключення, но посетнтели редко заглядывали к нему.

Марнон приложила все усилия, чтобы выглядеть как можно красивее и привлекательнее. Дорогая шубка окутывала ее стройное тело, меховая шапочка была сдвннута на затылок, оставляя открытыми черные, как смоль, волосы, падавшие на большой красивый лоб. Туфли, перчатки, все мелочи, дополняющне дамскнй туалет,— все было безукорнзненно.

Странная тишнна в вестибюле и весь его вид поразилн ее. Входя сюда с улнцы, человек точно попадал в какой-то нной мир. Стены сверху донизу былн распнсаны святыми, пророками, аллегорическимн фигурами, отчего все здесь дышало благолепием и святостью. Казалось, это преддверне неба. Марион с детства не была в епископском дворце.

Она медленно поднималась по белой мраморной лестнице, н сердце у нее снова сжнмалось от страха. Но донесшиеся сверху веселый смех и мужские голоса ободрнли ее, н она решительно постучала в серую украшенную замысловатым орнаментом дверь, которая вела в адъютантскую.

В это мгновение на пороге показались два офнцера; они, смеясь, жали на прощание друг другу рукн. Однн из них, человек средних лет с выражением какой-то особенной удали на лице, стал торопливо спускаться по лестнице. В дверях остался долговязый белокурый офнцер. Он знаком пригласил Марион войти.

— Прошу вас,— приветливо сказал он; улыбка еще продолжала нграть на его губах. Он быстро скользнул по ней взглядом, и по лицу офицера она по-

няла, что понравилась ему. Сегодня, если она хочет чего-нибудь достигнуть, ее главная задача — нравиться всем мужчинам, которые ей здесь встретятся.

— Прошу вас, садитесь,— учтиво продолжал офицер, указывая на стул.

Окутанная табачным дымом комната адъютанта — она же и библиотека — была доверху заставлена книгами. Марион чувствовала на себе испытующий, хотя и дружелюбный взгляд офицера. Она назвала свое имя и стала было объяснять цель своего прихода, но офицер прервал ее.

— Фрейлейн Фале? — сказал он, улыбаясь.— А я-то ломал себе голову: где же я вас видел? Вы ведь известная теннисистка? Продолжайте, прошу вас. Вы курите? — Он пододвинул к ней коробку с сигаретами.

Марион покраснела; до сих пор все шло хорошо.

— Благодарю вас,— сказала она и сообщила, что в настоящее время она учительствует. Затем изложила свою просьбу, которая и привела ее сюда. У нее в классе тридцать мальчиков и девочек, но для занятий им предоставлена только одна небольшая комнатка, раза в два меньше этой библиотеки. Один единоверец предложил им три комнаты для школы, и она пришла сюда, чтобы получить на то разрешение господина гаулейтера. Долговязый офицер внимательно выслушал ее и кивнул, но, по мере того как она говорила, дружелюбное выражение сбегало с его лица. Под конец он отвел от нее взгляд и потупился.

— Разрешите мне минутку подумать,— сказал он несколько более холодным тоном.— Дело ваше — не простое. Тем не менее я постараюсь быть вам полезным.— Он снова поднял глаза и взглянул на нее.— Хотя, повторяю, дело довольно щекотливое. Господин гаулейтер сегодня очень занят, и я не знаю, примет ли он вас. Вы еврейка? Кажется, так вы сказали?

— Да, еврейка,— отвечала Марион и посмотрела прямо в лицо адъютанта. Ее большие черные глаза вспыхнули ярким пламенем, не понять, что значило это пламя, было невозможно. Ее глаза говорили: «Не думайте, что я стыжусь этого, и берегитесь нанести мне

хоть малейшее оскорбление». Фогельсбергер хорошо ее понял.

Он стал смотреть в сторону и так тряхнул головой, что белокурые пряди его волос блеснули в воздухе. Улыбка опять появилась на его губах.

— Хорошо, хорошо! — снова начал он.— Будьте спокойны, я сделаю все, что от меня зависит, фрейлейн Фале. Через несколько минут я дам вам ответ.

Марион с благодарностью взглянула на него.

— Я вам чрезвычайно обязана! — воскликнула она.

Долговязый офицер вышел из комнаты, его шаги гулко отдавались в коридоре.

Марион была довольна; она продолжала сидеть и ждать, обводя глазами старинные, переплетенные в свиную кожу книги на полках. «Он желает мне добра,— думала она, исполненная благодарности.— Чем дольше он задержится, тем больше надежды». Через четверть часа в коридоре снова раздались шаги долговязого офицера. Вот они приблизились, замерли, дверь распахнулась.

— Господин гаулейтер просит вас,— сказал адъютант с едва слышной ноткой удовлетворения в голосе.

Марион вспыхнула от радости и поблагодарила его улыбкой.

— Прошу! — сказал офицер. Они долго шли по коридору, пока он, наконец, не постучал в высокую дверь с белыми кариатидами по обе стороны.— Прошу! — повторил он с поклоном и щелкнул каблуками.

Марион вошла.

Величина и необычный вид приемной в первое мгновение смутили ее. Это был большой зал с великолепной плафонной росписью, которая сразу очаровала Марион. На плафоне было изображено вознесение господне; сонм ангелов окружал спасителя; другие ангелы устремлялись из светлых облаков к толпе апостолов и верующих, оставшихся на земле. Итальянскому мастеру удалось создать впечатление, что потолок уходит куда-то в бесконечную высь, теряется в небесах. Паркет из темного и светлого дерева был уложен в виде звезды. Вдоль стен стояли ряды роскошных красных кресел, возле них статуи ангелов в серой с золотом

одежде, а рядом прозаические и уродливые отопнтельные батареи. Марнои вспомиились городские толкн о том, что отопление, которое провел во дворце гаулейтер, обошлось в миллион марок.

В конце этого зала, там, где коичалась паркетная звезда, стоял большой письменный стол, за которым писал что-то приземистый человек с расчесаинымн на пробор рыжими волосамн н рыжимн бакенбардамн. Это был гаулейтер. В школе, где преподавала Мариои, дети называли его «волком». Марнон узнала его, хотя видела один только раз, и то мельком. «Волк» продолжал писать н даже не пошевельнулся, когда она вошла.

Оиа сндела на стуле возле двери и ждала в терпеливой позе благовоспнтаниой дамы. Ангел на плафоне долго занимал ее внимание; округлив щеки н дуя в трубу, он, казалось, спускался из желтого облака прямо на нее; его полные красные щеки показалнсь ей забавными. Каждая отдельная фнгура на плафоне до такой степенн захватывала ее воображеине, что минутами оиа забывала, где она н зачем пришла сюда. «Неужели рыжему приземистому гаулейтеру хорошо среди всех этих ангелов и святых?» — думала оиа.

Между тем Румпф, по-вндимому, чувствовал себя среди них превосходио. В первые дин, когда ои еще только начал работать в этом зале, ему пришла на ум шутка, которую он повторял всем и каждому:

«Ангелы н святые уже перестали смущать меня; иадеюсь, они тоже привыклн ко мие, хотя, конечно, им это нелегко далось».

Но так было в первые дни. Теперь он уже не замечал ни ангелов, ни святых.

Вдруг Марион услышала, как гаулейтер зашевелился за своим столом. Он отодвинул стул н положнл перо. Затем подиял голову, н на Марион уставнлись темиоголубые глаза, круглые, как шары.

— Подойдите поблнже, фрейлейн! — сказал ои, и его голос уверенио и громко прозвучал под сводамн тихого зала.

Марнон поднялась и пересела поблнже к письменному столу, в одно из роскошных красных кресел, на

которое ей небрежно указал гаулейтер. Она чувствовала, что он следит за каждым ее движением, лукавая улыбка оживляла его широкое, красное, толстое лицо. Все это она видела, хотя и старалась не смотреть на него.

Пусть глазеет, пусть ухмыляется, она должна сделать все, чтобы понравиться ему, если хочет достичь своей цели.

Гаулейтер негромко засмеялся и сказал:

— А ведь мой адъютант прав: в самом деле, ведь это вы вышли победительницей на теннисном состязании в Дворцовом парке.

Марион покраснела и подняла на него свои черные глаза. Она знала, что они красивы.

— Да, я была неплохим игроком,— ответила она скромно, но твердым голосом.

Гаулейтер кивнул и с интересом стал рассматривать ее.

— Помню, помню, вы превосходно играли! — воскликнул он, и его благожелательный тон придал смелости Марион.— Но почему,— продолжал он,— почему вы тогда, во время состязания, так неудержимо смеялись? Нам всем это казалось непонятным.

— Почему? — Вспомнив об этом состязании, Марион снова разразилась своим особенным, задушевным смехом, позабыв, с кем она говорит. Она смеялась потому, что ее коварные мячи вконец загоняли противников. Когда ей удавалось подать мяч так, что противник не мог его принять, ее разбирал смех. — О, в эти дни я была злючкой, — закончила Марион и снова рассмеялась.

Ее смех заразил и гаулейтера.

— Вы очень злая? — спросил он.

— О да, я могу быть злой,— подтвердила Марион.— Как и большинство женщин,— она опять весело рассмеялась.

Гаулейтеру, по-видимому, нравился ее непринужденный тон.

— Этим летом я не видел вас на корте в Дворцовом парке,— сказал он.— Разве вы больше не играете?

— Нет,— ответила Марион и покачала головой. Те-

перь она не смеялась. Она посмотрела на гаулейтера; в глубине ее темных глаз снова разгорелось пламя, и продолжала уже совсем другим тоном: — Меня исключили из клуба, потому что я еврейка.

— Понимаю,— кивнул гаулейтер. Он задумчиво покачал головой и неодобрительно засмеялся.— Клуб поступил неумно, очень неумно! — сказал он.— Следовало сохранить такого сильного игрока, как вы. Надо было добиться, чтобы для вас сделали исключение! Не хотите ли снова вступить в клуб?

Марион решительно тряхнула черными кудрями.

— Нет, нет! — воскликнула она, лицо ее покраснело, глаза пылали.— Ни за что!

Она и вправду больше слышать не хотела об этом клубе. Членами его состояли люди избранных кругов города — врачи, офицеры, судьи, адвокаты. Но все это избранное общество вело себя по отношению к ней как бесхарактерный, безвольный сброд. Врачи, офицеры и судьи, которые сегодня за ней ухаживали, завтра уже не узнавали ее. Боже ее сохрани опять встретиться с ними! Еще счастье, что она побила их всех в игре. Пришлось-таки им побегать!

Гаулейтер тихо засмеялся. Он молчал и задумчиво смотрел на нее своими темно-голубыми глазами.

В зале стояла мертвая тишина; молчание гаулейтера, его пытливые темно-голубые глаза вселили тревогу в Марион. Может быть, не следовало так вызывающе бросать слово «еврейка»; во всяком случае, зря она столь резко отклонила его услуги, когда он заговорил о клубе. У него жесткий, стеклянный взгляд, нельзя понять, о чем он думает. Может быть, она задела его. Говорят, что от гаулейтера всего можно ждать.

Не надо было забывать, что в этих краях он господин над жизнью и смертью. В его пресловутом лагере Биркхольц заключенных, которые пытаются бежать, преследуют собаки-ищейки, и крики истязаемых слышны в окрестных деревнях. Об этом ей рассказывал один крестьянин, и он не лгал.

Беспокойство и страх вдруг охватили Марион. Ей захотелось вскочить и убежать из этого жуткого зала.

В это мгновение гаулейтер откинулся на спинку кресла. Тонкий солнечный луч, пробившись через окно, заиграл на его рыжих бакенбардах, курчавившихся возле ушей. Красная физиономия вдруг одобрительно закивала, и Марион с облегчением вздохнула; страх, охвативший ее, прошел.

Гаулейтер откашлялся, и благосклонная улыбка заиграла на его резко очерченных губах. Он еще раз кивнул.

— Вы красивая девушка! — сказал он и добавил: — Наверно, у вас есть возлюбленный?

Вопрос был так неожидан и груб, что Марион громко рассмеялась.

— Господин гаулейтер,— воскликнула она,— ни одна женщина не ответит вам правдиво на этот вопрос!

Гаулейтер, в свою очередь, засмеялся.

— Великолепно,— сказал он.— Вы даете прекрасные ответы, которые, собственно, ответами не являются.— Он встал.— Мое время, к сожалению, ограничено,— сказал он,— а о том, что привело вас ко мне, мы еще не говорили.

И деловито закончил:

— Вашим школьным делом, фрейлейн Фале, я как гаулейтер, во всяком случае, живо интересуюсь. Нам еще надо будет подробно о нем потолковать. Но уже сегодня я могу заверить вас, что все это будет улажено. Сейчас мне, увы, необходимо закончить срочный доклад, но завтра я выберу время для беседы с вами; я буду работать дома. Можете ли вы приехать ко мне в Эйнштеттен завтра в шесть часов?

— Конечно,— ответила Марион, засветившись улыбкой.

Гаулейтер протянул ей через стол руку.

— Тогда, значит, завтра в шесть,— сказал он.— Вы обратитесь к ротмистру Мену. До свидания.

Аудиенция закончилась.

Уходя, Марион заметила на плафоне женскую фигуру в светлых одеждах, с восторженно простертыми к небу руками. Это было ее последнее впечатление, она быстро закрыла дверь.

Марион стремительно сбежала вниз, удача окрыли-

ла ее. Она оказала школе важную услугу, хотя все, решительно все предрекали провал ее затее.

Спускаясь по дворцовой лестнице, она увидела, что на снегу еще сохранились следы ее ног; только снег слегка подтаял, и они стали совсем черными. Это выглядело очень забавно.

VI

С тех пор как гаулейтер поселился в «замке», в Эйнштеттен ежечасно отправлялись автобусы, но Амзельвиз находился — самое большее — в пятнадцати минутах ходьбы оттуда, и Марион пошла пешком. Ровно в шесть она обратилась к дежурному, объяснив, что ей нужно видеть ротмистра Мена.

Дежурный, ни слова не говоря, повел ее к большому безмолвному дому. Но едва они отошли несколько шагов, как из дома вышел офицер залихватской наружности, которого она видела вчера во дворце, и направился к ней навстречу.

Он весьма предупредительно приветствовал ее.

— Мне дано почетное поручение встретить вас, фрейлейн Фале,— сказал он.— Господин гаулейтер ждет вас. Он уверял меня, что совершенно очарован вашей непринужденной манерой разговаривать. Но особенно восхитил его ваш задушевный смех.

Он не сказал, что Румпф вчера вечером, за картами, прожужжал ему все уши рассказами о новом знакомстве.

«Чудное создание,— говорил он,— свежа, как маков цвет. От ее смеха молодеешь на десять лет. Я не знал, что у евреев такие восхитительные женщины. Ей-богу, в такую можно по уши влюбиться!» И чего-чего только не говорил он! Ротмистр Мен был интимный друг гаулейтера. Он знал и всячески поощрял его любовь к красивым женщинам.

Мен попросил Марион войти и провел ее в просторную, высокую прихожую, где на полу, выложенном плитками, стояли темно-синие, в метр вышиной, вазы с ветками белой сирени, распространявшими дивный

аромат. Старик-лакей снял с нее шубку. Ротмистр Мен, учтиво поклонившись, открыл дверь.

— Господин гаулейтер просит вас быть как дома,— сказал он.— Я тотчас доложу ему о вас.

Марион была удивлена и смущена такой изысканной вежливостью. Сердце ее громко стучало, когда она осталась одна; она боялась даже оглядеться вокруг.

Весь вчерашний вечер она ликовала при мысли, что ей удалось раздобыть для школы три комнаты. И только ночью успокоилась настолько, чтобы припомнить все подробности своего визита к гаулейтеру. Одно было ясно: она не произвела на него неблагоприятного впечатления. Понравилась ли она ему, сказать трудно. Потом ей вдруг стало казаться странным, что «волк» предложил ей явиться в Эйнштеттен по делу о каком-то школьном помещении для еврейских детей. Подумать только! Сама того не желая, она впуталась в настоящее приключение, довольно необычное, быть может, даже опасное. И самое скверное, что ей даже не с кем посоветоваться. Единственный человек, которому она вполне доверяла, Криста Лерхе-Шелльхаммер, была где-то во Флоренции, или в Риме, или бог ее знает где. Полночи Марион пролежала без сна, наконец к ней вернулась ее спокойная рассудительность. «Ничего с тобой не сделается, — говорила она себе. — «Волк» тебя не съест. В конце концов можно и постоять за себя».

Ей даже пришла в голову мысль взять с собою испанский кинжал отца. На всякий случай она зашьет его в платье! Марион заснула успокоенная, а наутро устыдилась своих мыслей. «Волк» не посмеет до нее дотронуться.

После обеда ее опять охватила тревога, и она для собственного успокоения искусно зашила в платье испанский кинжал. Ну, теперь-то уж с ней ничего не случится.

И вот она здесь.

Комната, в которой она находилась, была небольшая гостиная, выдержанная в светло-голубых тонах, с голубыми креслами и множеством маленьких вставленных в рамы гравюр с изображением лошадей. На

накрытом для чая столе посредине комнаты стояло печенье и букет белой сирени.

Она услышала тяжелые шаги на лестнице; это мог быть только хозяин дома.

И в самом деле, по лестнице медленно спускался гаулейтер; он не спешил, так как хотел докурить сигару; в голове его теснилось множество мыслей.

До сегодняшнего дня, если хорошенько подумать, он знал только продажных женщин. Одной он оплатил билет ценою в доллар, другую купил за три сигареты, завалявшиеся у него в кармане; третьей—во Фриско—преподнес шляпку с огромным страусовым пером. Все эти смехотворные подробности уже стерлись в его памяти. Женщины, бывшие прежде только рабынями, по-видимому, и теперь еще не целиком освободились от морали рабынь. «У каждой есть своя цена,—думал он,—даже в наши дни. Одну покупают за косынку, другую за три папиросы, третью за дворец или высокий титул. В наше время миром правит тот же закон: женщина продается, а мужчина покупает ее. Редко бывает, чтобы женщина отдавалась мужчине, не спрашивая о цене. Он по крайней мере не знал такой женщины».

И тем не менее мечтал встретить женщину, которая бы бескорыстно полюбила его. Ей он охотно подарил бы и дворец и титул.

Но еврейская девушка, ожидающая его там, внизу,— она ничего не спрашивала — ни дворца, ни титула. Что же ей нужно? Терпение! Терпение! Он готов был заплатить высокую цену.

Он сильно нажал на дверную ручку и вошел в гостиную. Марион тотчас же бросилось в глаза, что он был в штатском, отчего выглядел моложе. Вместо отвратительного коричневого мундира на нем был светло-серый костюм. Если бы не ржаво-красные расчесанные на пробор волосы, от которых лоб его казался еще ниже, он был бы видным мужчиной, даже несмотря на приземистую фигуру.

Смеясь, он стал громким голосом выговаривать Марион за то, что она не расположилась поудобнее.

— Живо, живо, устраивайтесь получше! — воскликнул он.— Молодым девушкам смелость к лицу. Мы

будем пить чай и говорить о делах, так я представлял себе. Но, видно, мне придется еще и ухаживать за вами,— весело продолжал он, кладя на тарелку Марион целую гору печенья.

— Благодарю вас! Хватит, хватит! — воскликнула Марион, и к ней вернулся ее сердечный, задушевный смех.

На этот раз гаулейтер пожелал сразу перейти «к делам», как он выразился.

— Расскажите мне сначала о вашей школе,— предложил он.

Марион рассказала о трудном положении, в котором очутилась еврейская школа, как она накануне рассказала об этом адъютанту, особенно напирая на невыносимые антигигиенические условия школьного помещения. Конечно, она не забыла упомянуть об эпидемии коклюша, разыгравшейся весной этого года, и подчеркнула, что все дети в школе переболели заразными болезнями.

— Этой зимой у нас было шесть смертных случаев только от дифтерита. Тяжелая пора для еврейской общины! — серьезно добавила она.— Но самое худшее — это наш класс в подвале,— продолжала Марион.— Помещение меньше этой комнаты и совершенно темное. Уличные мальчишки через решетку бросают к нам всякую гадость — дохлых мышей, кошек и еще кое-что похуже.

Упомянув об этом, Марион громко рассмеялась.

— В конце концов пришлось застеклить окна, но с тех пор в подвале не хватает света. В помещении, где нет вентиляции, целый день горит электрическая лампа.

Гаулейтер внимательно слушал Марион. Наконец он жестом остановил ее — все понятно. Он заставил Марион выпить еще чашку чая.

— Я не имел ни малейшего представления обо всем этом,— сказал он.— Возьмите все три комнаты, весь этаж, если вам его предложат. Я не возражаю.

— Как школа будет благодарна вам, господин гаулейтер! — Марион поклонилась, взволнованная и растроганная.

Гаулейтер засмеялся.

— Надеюсь, люди постепенно убедятся, что я не та-

кой изверг, каким меня изображают,— отвечал он.— Вы, наверно, знаете, что меня обвиняют в чрезмерной суровости. Или это не так? Вы можете говорить вполне откровенно, фрейлейн Фале.

Марион колебалась, потом она подняла на гаулейтера свои большие глаза, в тусклом свете казавшиеся совсем черными, и кивнула головой.

— Да, так говорят. Вас считают очень суровым.

— Очень суровым? — Гаулейтер захохотал.— Совсем недавно мне в высоких, очень высоких сферах заявили, что я слабый человек, которого каждый может обвести вокруг пальца. Ха-ха! Что вы на это скажете? Между тем я давно уже держусь мнения, что управлять народом можно только суровыми мерами. Некоторые народы, к сожалению и немецкий народ в том числе, не повинуются ничему, кроме кнута.

Покуда они пили чай, он изложил Марион свои взгляды.

— По правде говоря,— начал гаулейтер,— с тех пор как мир стоит, в нем существуют только господа и слуги, господа и слуги — больше ничего. Если вам внушают другое, вас просто обманывают. Господа и слуги, или, точнее, господа и рабы. Я в этом уверен.

Он считал, что люди с течением времени стали учтивее, вот и вся разница. Прежде господ называли властителями, а слуг — рабами, теперь господ величают «шефами» или «директорами», а слуг — служащими или сотрудниками, чтобы польстить им. И даже коллегами. Во времена французской революции их из вежливости называли «гражданами». А по существу все это одно и то же. С тех пор как стоит мир, рабами управляет небольшая кучка господ.

— Съездите, фрейлейн Фале, в так называемую свободнейшую в мире страну и присмотритесь к тому, что там делается. Хозяин, недовольный служащим, учтиво заявляет ему: «С первого числа я больше не нуждаюсь в ваших услугах». И служащий будет сотни раз выслушивать такие заявления, покуда не поймет, чего хотят от него хозяева. А если он этого не поймет, то попросту подохнет. Может быть, даже в какой-нибудь великолеп-

но оборудованной больнице, которую государство соорудило на гроши рабов. Ха-ха!

Гаулейтер смеялся громко и презрительно. И поскольку речь зашла о делах, ему хорошо знакомых, стал подробно распространяться о социальных условиях в Америке.

— Там, за океаном, докатятся до большевизма скорее, чем это принято думать,— пророчествовал гаулейтер, переходя на английский язык, чтобы произвести впечатление на Марион. Некоторое время беседа велась по-английски, пока он не спохватился, что и Марион отвечает ему на том же языке.

— Вы превосходно говорите по-английски! — воскликнул он.

Марион засмеялась.

— Я ведь преподаю в школе английский язык,— сказала она.

— Вы даете уроки языков?

— Да, французского, английского и итальянского.

— Вы знаете итальянский? — живо заинтересовался гаулейтер.

— Знаю.— Марион объяснила, что в детстве ее воспитывали гувернантки, с которыми она говорила по-английски, по-французски и по-итальянски.

— Стойте, стойте! — воскликнул он, пододвинув к Марион сигареты.— Меня осенила великолепная идея!

Со вчерашнего дня он ломал себе голову, как привлечь это восхитительное создание. Что сделать это будет нелегко, он понял с первого взгляда.

Ему нравилось ее прямодушие, ее такт, беззаботность и особенно ее задушевный смех. Прежде всего надо почаще встречаться с нею, с девушкой, похожей на итальянскую мадонну. И вот случай приходит ему на помощь.

— Стойте, стойте! — повторил он и подошел к окну, чтобы закурить сигарету. Потом обернулся и сказал:— Мне дали поручение следующим летом съездить в Италию. Как было бы хорошо, если бы вы к тому времени обучили меня немного итальянскому языку. Надо знать хоть несколько слов, чтобы не чувствовать себя совсем

дураком. Хотите? Будем заниматься раз в неделю! Я был бы вам весьма признателен, фрейлейн Фале.

Марион растерянно посмотрела на него. Она не могла принять предложение гаулейтера, но не знала, в какой форме отклонить его.

Румпф рассмеялся.

— Отчего вы колеблетесь? — спросил он.— Вы меня боитесь? Это смешно. Я всегда буду относиться к вам с должным уважением. Я знаю вас, фрейлейн Фале, и знаю вашего отца.

Марион покраснела. Ей сразу стало ясно, как она должна поступить.

— Моего отца? — И она кивнула головой в знак согласия.— Хорошо, попробуем.

В темно-голубых глазах Румпфа блеснула радость. Он пожал ей руку.

— Благодарю,— сказал он.— Вам придется пустить в ход весь ваш педагогический талант, ибо перед вами ученик, которому вечно некогда. Начнем через неделю. В это же время? Идет! А теперь выпьем по рюмочке ликера!

Они еще немного поболтали о теннисном клубе и других спортивных обществах в их городе.

— Только не подумайте, что я вас выспрашиваю. Для этой цели у меня имеются специальные люди.

Зазвонил телефон, и Марион поднялась.

— К сожалению, мне пора. Прошу прощения,— сказал гаулейтер.

Он вышел с Марион в переднюю и крикнул старому камердинеру:

— Вы проводите даму до ворот.

«Терпение, терпение»,— думал он, глядя вслед Марион.

За это время совсем стемнело, поднялась вьюга. У ворот стояла серебристо-серая машина; из темноты к Марион приблизилась какая-то фигура. Это был Мен.

— На меня возложена честь проводить вас домой,— сказал он.

— Благодарю,— ответила Марион.— Но мне всего несколько минут ходьбы.

Мен преградил ей дорогу.

— Вы видите, какая пурга! Очень прошу вас,— настаивал он.— Мне приказано довезти вас до дверей вашего дома.

Через несколько минут они уже были в Амзельвизе, и ротмистр Мен, снова сославшись на приказ, передал Марион несколько веток белой сирени.

Она вошла в кухню в весьма приподнятом настроении. Внимание, которое ей оказал гаулейтер, подчеркнув этим свое к ней расположение, невольно радовало Марион. Всякой девушке приятно, когда ей оказывают внимание.

— Ты, я вижу, развеселилась? — заметила мамушка, настроенная отнюдь не весело. Она подозрительно взглянула на сирень.

Марион рассмеялась.

— У меня достаточно причин для этого! — воскликнула она.— Кажется, я понравилась высокопоставленной особе!

— Боже мой!

Марион опять засмеялась. Как же не радоваться, ведь это обстоятельство может послужить на пользу школе да и всем им вообще.

— Разве ты не понимаешь!

Ей пришлось, конечно, рассказать все впечатления этого дня до мельчайших подробностей. Она сделала это с большим юмором, надламывая и бросая в огонь одну за другой ветки сирени.

— Мне жаль чудных цветов! — негодовала мамушка.— В чем провинилась бедная сирень?

Цветы обуглились и сгорели; Марион принялась мешать в печке щипцами.

— Мало ли о чем приходится жалеть на этом свете,— ответила она.— Я, например, жалею людей за то, что они вынуждены столько лгать и лицемерить.

Несколько дней спустя медицинский советник Фале получил в высшей степени учтивое письмо от директора больницы, того самого доктора Зандкуля, что написал отвратительную книгу о евреях. Директор сообщал, что он счастлив снова передать высокочтимому ученому его исследовательский институт и все права на него. Он просил только, чтобы в экстренных случаях больнице

предоставляли возможиость пользоваться институтом. Исследовательский иститут при больнице, строительство которого только что утвердил господин гаулейтер, будет готов лишь к следующему лету.

— Ну, вот, и в наше время еще возможны чудеса,— сказал счастливый Фале.— Кто зиает, быть может, они еще образумятся.

VII

— Безумцы, сумасшедшие, одержимые! Даю вам слово, профессор, их еще сошлют иа Чертов остров, и оии там поубивают друг друга.

— Дай-то бог, Глейхен! — сказал Вольфгаиг из своего угла.

Была уже поздняя иочь.

— Чешскому президеиту они, должно быть, всыпали яд в вино, а может быть, оии его усыпили хлороформом! Скаидал за скандалом! Вот увидите, профессор, завтра из Праги по телеграфу раздастся крик о помощи, как в свое время из Вены. Бьюсь об заклад! На что хотите! Ложь, обмаи, коварство, низость куда ни гляиь!

— Пейте, Глейхен! — сказал Вольфгаиг и громко рассмеялся, когда тот в отчаянии воздел руки к небу.

Глейхеи, всегда спокойный и превосходно владевший собою, сегодня был в бешенстве. Он ходил большими шагами по мастерской и говорил громко, отчетливо, точио перед многолюдным собранием. Он скандировал каждый слог, каждую букву, в каждом его слове чувствовалась искреиняя, глубокая убеждениость.

Его серые непроницаемые глаза, в которых обычно только тлел огонек, запылали, когда ои продолжал:

— Подлецы! Что они сделали с немецким народом! Они раскололи его на национал-социалистов и беспартийных, которые хотят отмежеваться от этого позора! Раскололи по религиям и расам! Вместо того, чтобы развивать положительиые черты в ироде, оии потворствуют всем дуриым — ложиому националиму, фетишу мундира, тщеславию, страсти к ордеиам, патологической потребиости во внешнем блеске, милитаристскому честолюбию!

Глейхен остановился и в отчаянии тряхнул седой головой.

— Мы тоже катимся в пропасть, профессор,— закричал он,— и никто никогда не узнает, как безмерна наша боль, наша печаль! Никто! Никогда! И тем не менее,— продолжал Глейхен, помолчав,— этот король всех мошенников, у которого нашлась одна-единственная оригинальная мысль — вновь ввести телесное наказание,— мог сделать с нашим народом все что угодно. Он мог сделать его самым просвещенным, самым добрым, великодушным и творческим народом, которому никто в мире не отказал бы в уважении! И тогда этому человеку воздвигли бы памятник в небесах! А теперь этому подлецу воздвигнут памятник в преисподней! Трагично, трагично, невообразимо трагично!

Глейхен устало опустился на стул и стал ерошить волосы.

Мастерская скульптора была жарко натоплена, но вокруг старого крестьянского дома в этот вечер бушевала метель. И когда ветер сотрясал оконные рамы, в комнату врывался ледяной воздух, и лампа качалась под потолком. Вольфганг забился в темный угол и, полулежа в низеньком потертом кресле, курил свою «виргинию». Рядом с ним возвышалась фигура в человеческий рост, в полумраке казавшаяся почти белой,— «Юноша, разрывающий цепи».

Жюри мюнхенской выставки отклонило эту работу под каким-то смехотворным предлогом. Не удивительно, что у Вольфганга было далеко не радостное настроение. Вкусы в стране теперь определялись бездарностями и тупицами.

Новый порыв ветра с такой силой потряс окна, что в комнату сквозь щели пробилась снежная пыль. Вольфганг вышел из своего угла, перешел в полосу света и поставил на стол новую бутылку вина.

— Напьемся допьяна, друг мой! — воскликнул он.— Только пьяным и можно еще жить в этой стране!

— Да, да, напьемся, профессор,— согласился Глейхен и опорожнил до дна свой бокал. — Ничего другого эти подлецы не оставили нам. — Немного погодя он продолжал: — Я, кажется, еще не говорил вам,

что гестапо вчера конфисковало мою пишущую машинку.

Вольфганг испуганно взглянул на него и, потрясенный, воскликнул:

— Что вы говорите, Глейхен!

Глейхен успокоительно рассмеялся.

— Не бойтесь, профессор. Столько ума, сколько у гестапо, найдется еще и у меня.

Но Вольфганг долго не мог успокоиться.

— Будьте осторожны, Глейхен,— просил он.— Вы не знаете всего коварства гестапо. Самый ничтожный промах — и голова с плеч! Тогда и с «неизвестным солдатом» будет покончено.

— Это-то я знаю! — засмеялся Глейхен и задумчиво добавил: — Представляете вы себе, сколько сейчас в стране людей, ведущих подпольную борьбу? Нет, не представляете? Сотни и сотни. А что знает об этом мир? Ничего. Что знает мир о десятках тысяч людей, которые гибнут в тюрьмах? Ничего. Разве что изредка в газете промелькнет коротенькая заметка, что тот или другой застрелен при попытке к бегству. Больше нам ничего не сообщают. Но мы, профессор, знаем! Этот застреленный — один из неподкупных, один из непримиримых.

— Не будем терять надежды, Глейхен,— ответил Вольфганг и достал из шкафа еще одну бутылку.— Нам еще рано впадать в уныние. Выпьем за лучшее будущее!

— За лучшее будущее!

Оба молчали, прислушиваясь к порывам ветра. Время от времени на чердаке раздавался треск, или где-то в саду откалывался сук и глухо ударялся о землю.

Глейхен сидел, мрачно глядя в пространство. Иногда он отпивал глоток вина и снова смотрел в пол. Наконец, он заговорил:

— Одно только мне неясно, профессор. Почему демократические страны не порвали всякие сношения с этим королем мошенников сразу после того, как он ввел войска в Рейнскую область? Почему? Их протеста было бы достаточно! Им-то ведь были известны скандальные подробности поджога рейхстага, о которых ничего

не знал немецкий народ, о которых не знает и поныне! Онн знали, что в Германии власть захватили преступннки. Почему они не предостереглн немецкий народ? Почему позволнли ему слепо ринуться навстречу гибели? Теперь онн денно н нощно говорят о гуманности и человечности. В глубнне души они ведь были убеждены, что этот король мошеннников ввергнет Германню в пропасть! Илн онн хотели уннчтожения Германии? Выходнт, что так! Вот чего я не понимаю, профессор!

Вольфганг не отвечал. Он уснул. Заннмалось утро. Глейхен еще долго говорил, хотя и не получал ответа.

— Передавать по радно трогательные рождественскне стишкн н народные песнн — и до смертн избнвать дубннками соцналистов. Эта банда подлецов верна себе во всем. Позор и стыд, стыд н позор! — ворчал он, но голос его становнлся все тише и тнше.

— С каждым днем мы все глубже погружаемся в болото лжи н разложення,— уже шепотом пробормотал он.—Я вижу день гнбелн! — Наконец, он совсем смолк.

Онн оба заснулн, лампы в мастерской продолжали гореть, вокруг дома бушевала метель.

VIII

Как и у всех людей, у Фабнана былн свон удачные, счастливые днн.

В одно апрельское утро он проснулся в особенно веселом и радостном настроенин. Он отлично выспался и, открыв глаза, понял, что ему снилась Крнста. Во сне он так отчетлнво видел пред собою ее лнцо, как нникогда не видел его в жизни, и даже когда он проснулся, оно все еще стояло перед ним. Улыбка Крнсты — вот с чего начался этот день.

На улице он стал вспомннать, о чем они говорнли между собой во сне. Криста поздравляла его с пронзводством в оберштурмфюреры, кто-то написал ей об этом. «Еще немного терпення,— сказала она ему.— Одна рнмская гадалка предсказала мне: «Вы выйдете замуж за красивого человека, который станет министром в своей стране». И они оба долго, долго смеялись над этнм.

Солнце сняло и снльно грело, хотя апрель был еще только в начале. Фабиан решил пойтн в контору пешком. Он раскланивался со знакомыми, и оин почтительно отвечали иа его прнветствия. Все сегодня выглядели необыкиовенно свежими и хорошо вымытыми, вероятно, оттого, что светило солнце.

В конторе его ждал маклер, заннмавшийся Вокзальиой улнцей. Общество «Земельные фонды» уже скупнло множество участков, некоторые из них по смехотворно дешевой цене, и теперь маклер предлагал еще несколько выгоднейшнх сделок.

Так или иначе, но общество «Земельные фонды» еще будет делать большие дела. Фабиан подсчитал, что он уже заработал на этих операциях свыше миллнона. Нет, Криста, не за бедняка выйдешь ты замуж, не нсключеио также, что твой сужеиый станет министром. Почему бы, собствеино, и ие исполииться предсказаиию римской гадалкн?

В одиниадцать у него было дело в суде, и ои выиграл его. Да, сегодня все шло великолепно! Затем он поехал иа часок за город подышать свежим воздухом. Солнце все еще светило и сияло.

У железнодорожного переезда, возле завода Шелльхаммеров, ему пришлось долго ждать: по путям проходил иескончаемый товариый состав. Фабиан насчитал трндцать вагоиов. Что вез этот поезд? На платформах — ои видел это собственнымн глазамн — стояли танки, иовехонькие танки, одинаково окрашенные в серый цвет и прнкрытые толстым брезентом. Картина, милая сердцу Фабиана! Несколько дней назад ему рассказали, что на швейной фабрике Вурмзера делают снаряды. В три смены. Со всех рабочих и служащнх взяли подписку о сохранении тайны, и все же весь город знает об этом. Да, у Вурмзера делали снаряды, и на ткацкой фабрике «Лангер и К°» тоже, н где-то еще, ои уже позабыл где!

Что же, значит армия вооружается, это хорошо. С Версалем покончено.

После обеда он поехал к Дворцовому парку и велел шоферу остановиться у ворот в стиле барокко.

Дворцовый парк стоял еще голый. Лнпы отбрасы-

вали на расчищенные аллеи растрепанные, похожие на метлы тени. На газоне, перед домом садовника, выделялись одинокие крокусы — желтые, как яичный желток, и лиловые; у самых дверей кучками цвели подснежинки и светло-желтые карликовые тюльпаны. Фабиан неторопливо пошел по главной аллее. На кустах уже набухли почки, кое-где даже пробивались листья, а рядом стояли еще совсем мертвые кусты. Но если царапнуть ногтем ветку, то видно было, что она уже зеленеет, наливается соком и жизнью. И липы, казавшиеся безжизненными, уже покрылись почками. Сомнений быть не могло — как ни сурова была зима, на смену ей шла весна.

Еще месяц — и Криста опять будет в городе, и его жизнь снова получит смысл и содержание. «Только любимые,— думал Фабиан,— обогащают жизнь, без них она бедна и призрачна».

Криста обещала написать ему подробнее, и выражать нетерпение было бы недостойно. Так или иначе он твердо решил возможно скорее жениться на Кристе, чтобы никогда уже не расставаться с ней. Вот уже с месяц, как он присмотрел красивую виллу, которая, несомненно, придется по вкусу Кристе. Пожалуй, она немножко великовата, но у них будет достаточно средств, чтобы держать столько прислуги, сколько понадобится. Практика и всевозможные финансовые операции давали ему солидный доход, да и Криста, вступив в брак, принесет с собой крупное состояние — не то что в свое время Клотильда с ее заложенными и перезаложенными четырьмя домами.

На обратном пути он прошел мимо дома Кристы. Все ставни были закрыты. Небольшой палисадник выглядел по-зимнему запущенным, на кустах висели увядшие листья. Но Неро уже был здесь и с лаем прыгал у решетки, его светлые глаза так и сверкали. Фабиан окликнул собаку, и она тотчас же радостно завиляла хвостом и стала тереться головой о решетку, так что Фабиан смог погладить ее. Неро бежал за ним до соседнего участка и нетерпеливо залаял, когда Фабиан пошел дальше. Он еще долго слышал его лай. Хорошее предзнаменование...

Вернувшись к себе, он нашел на письменном столе телеграмму от Кристы. «Возвращаемся шестого мая. Помните, что нам предстоит большой разговор»,— телеграфировала она.

Телеграмма опьянила его. Он, как гимназист, покрывал ее страстными поцелуями. Криста тоже думала о предстоящем разговоре!

Он открыл окно и долго смотрел в темную ночь. На небе была видна только одна большая звезда. Звезда Кристы! Воистину он достиг сейчас вершины своей жизни.

От счастья Фабиан не мог заснуть; он спустился в ресторан и заказал бутылку шампанского. Росмейер только что проводил последних гостей. Вид у него был довольный. Фабиан пригласил хозяина распить с ним шампанского.

— Я получил добрые вести по телеграфу,— весело сказал он,— выпейте со мною, Росмейер.

Хозяин гостиницы сел и пригладил жидкие волосы, закрывавшие шишки на его голове.

— Благодарю,— сказал он.

— Вы сегодня, я вижу, в превосходном настроении, Росмейер? Он, наконец, заплатил по счетам?

Ресторатор покачал головой.

— Нет, он все еще не заплатил, а уже подходит время платить проценты по закладным. Но меня это теперь не тревожит.

— Вот видите, что я вам говорил!

— Я стал смотреть на все с иной, возвышенной точки зрения, как вы мне и советовали,— продолжал Росмейер.— Ведь дело и правда идет о вещах, куда более значительных. А кроме того, банки дают мне сколько угодно денег, и ротмистр Мен запросил, не хочу ли я приобрести гостиницы в Карлсбаде и Мариенбаде.

— В Карлсбаде и Мариенбаде?

— Да, все гостиницы, принадлежащие евреям, будут конфискованы. Я собираюсь съездить туда на будущей неделе и привезти себе десяток — другой ящиков с серебром и хрусталем. Гаулейтер выдаст мне соответствующее разрешение. Вы же знаете, что за последние годы у меня перебито и украдено много посуды.

IX

Апрель быстро близился к концу, и в городе уже начались приготовления к первому мая. Первое мая, издавна праздновавшееся рабочими, теперь было превращено в торжественный праздник национал-социалистской партии.

Рестораны и гостиницы были открыты до поздней ночи, и уже с вечера, в канун праздника, на некоторых домах вывесили флаги. Наутро же этого большого дня весь город был усеян флагами со свастикой! На Вильгельмштрассе флаги свешивались буквально из каждого окна. Многие из них были так длинны, что доходили до самого тротуара, например флаг, вывешенный из окна советника юстиции Швабаха. Блоквартам[1] было приказано смотреть в оба и доносить о тех, кто не вывесил флага. А кому же охота попасть в черный список!

Все окна Бюро реконструкции были украшены небольшими флагами.

Утром пораженные горожане увидели целые стены флагов — символ безусловной победы национал-социалистской партии. Иные удивленно качали головами. В конце концов качать головой никому не возбранялось, хотя, конечно, лучше было делать это не слишком явно. По улицам шныряли сотни шпиков. Качание головой могло выражать радостное сочувствие всему происходящему, а могло выражать и скорбь о несчастной Германии.

В городе гремели марши, они неслись из всех улиц, из всех переулков. Из домов поспешно выходили нацисты в коричневых и черных рубашках; пожилые люди гордо красовались в мундирах нацистской партии. Тут были судьи и профессора, чиновники и учителя — и все в форменной одежде. Да, что и говорить, это был большой день для нацистов. Из переулков шли отряды гитлеровской молодежи в коричневых рубашках; у многих за поясом торчали кинжалы. В голове каждого отряда плыло небольшое знамя со свастикой. Молодежь пела, и звуки молодых, свежих голосов разноси-

[1] **Специальные уполномоченные национал-социалистской партии по наблюдению за жителями вверенных им домов.**

лись по всему городу. «Сегодня Германия — наша, а завтра, завтра — весь мир»,— пели они, и еще множество других песен оглашало воздух. Навстречу им шли отряды молодых девушек в синих юбочках; девушки тоже несли знамена со свастикой. Они весело щебетали и время от времени затягивали песню. Пусть весь мир видит, что они дочери народа, любящего музыку, и что им хорошо живется под сенью флага со свастикой. Разве вожаки национал-социалистов не твердили постоянно, что немецкий народ дал миру Моцарта и Бетховена?

Время от времени на Вильгельмштрассе появлялись — в одиночку или небольшими группами—бегуны; толпа глядела на них и расступалась, пропуская их. Бегуны обливались потом, рубашки на них были насквозь мокрые, на плечах они тащили тяжелые ранцы. Это были члены спортивного союза «Звезда», предпринявшие по случаю первого мая марш с походной выкладкой. До Вильгельмштрассе они пробежали уже двадцать километров с тяжелыми ранцами на плечах и теперь, обессиленные, с остекленевшими глазами, устремились на площадь Ратуши, где их уже дожидался Таубенхауз с большими серебряными кубками.

Вот прошел духовой оркестр, шумно и победоносно играющий новый марш.

За ним следовали три отряда коричневорубашечников. Топот ног, обутых в тяжелые сапоги, наполнил Вильгельмштрассе. Последний отряд сильных, мускулистых парней вел приземистый человек с оттопыренными, красными ушами, которые бросались в глаза уже издалека. Это был штурмфюрер Габихт. Его отряд выглядел самым удалым. Если эти парни полезут в драку, тогда берегись! Над колоннами развевались знамена со свастикой, толпа, как положено, становилась во фронт, мужчины снимали шляпы и в знак приветствия вытягивали вверх руки.

Но вот затрещали барабаны, марширующие загорланили песни. Потом пение стало стихать вдали.

Колонны направлялись к учебному плацу, где их ждал гаулейтер. Туда стекались все: рабочие завода Шелльхаммеров, рабочие и работницы ткацких фаб-

рик, вагоностронтельных и котельных предпрнятий, служащие универсальных магазинов, контор — все, все.

Им велели слушать речь гаулейтера, н онн подчнннлнсь, чтобы продемонстрнровать свою прнверженность национал-социалистам.

У тех, кто надеялся увнльнуть, ничего не вышло: когда они собиралнсь в колонны и когда расходилнсь по домам, нх нмена проверялись по спнскам. Не говоря уж о том, что улицы кишели шпиками н наблюдателями, ннкто не знал, не донесет ли на него подручный, работающий вместе с ннм за токарным станком, нли краснвая касснрша нз уннверсального магазина.

Фабиан оделся очень тщательно. Впервые он прнннмал участне в офнцнальном празднестве в качестве крупного должностного лнца. Новая фуражка оберштурмфюрера с ярко-красным околышем была просто велнколепна и очень шла к нему. Свон старые, внушнтельно скрипевшие сапоги он счел слншком топорными н заменил их более элегантнымн из тонкой лакированной кожи.

Хотя погода была неустойчивая и с обложенного тучамн неба время от времени падалн каплн дождя, Фабиан поехал по городу в открытой машнне. Он сндел в небрежной позе, предоставляя прохожнм любоваться своей особой. Когда с ним здоровались, он дружески, любезно н даже чуть-чуть снисходнтельно подымал руку. «Людям нужно кем-то восхищаться, на кого-то смотреть снизу вверх. Есть, конечно, и такне, которые предпочитают смотреть сверху вниз,— я, например, но об этом нельзя говорить вслух»,— думал Фабиан. На Внльгельмштрассе он приказал шоферу ехать помедленнее, чтобы посмотреть, как выглядит в праздник эта торговая улнца. Многие магазины были украшены цветами н знаменамн, портретамн н бюстами фюрера. Особенно выделялся своим убранством магазнн ювелира Ннколаи: лавровые деревца обрамляли большой знак свастнкн, составленный из белых и красных роз. «Старнна Швабах, как всегда, хочет перещеголять всех нас»,— подумал Фабнан, увидав огромный флаг, свнсавший на тротуар с балкона Швабаха.

Ненстовое «хейль» докатнлось до него с учебного

плаца. Гаулейтер только что взошел на трибуну. Смешавшись с толпой адъютантов, штурмфюреров, оберштурмфюреров, штандартенфюреров, Фабиан слушал выступление гаулейтера и минутами с трудом подавлял улыбку.

Он хорошо знал эту речь, так как сам сочинил ее. Румпф попросил его об этом, когда они играли в бильярд в Эйнштеттене.

«Государство без колоний не может стать великим государством! — надрывался гаулейтер.— Оно подобно городу, окруженному пустыней, а не садами, полями и перелесками. Мы восхищаемся государствами, которые силой завоевывают колонии там, где это еще возможно! Мы восхищаемся Италией Муссолини!»

Фабиан одобрительно кивнул, это были его слова и его мнение.

Гаулейтер казался теперь в свете солнца еще более багровым, чем обычно, а минутами был красен, как рак. Время от времени он начинал буквально неистовствовать на маленькой трибуне, украшенной свастикой и лавровыми деревцами. Бросался из стороны в сторону, подпрыгивал, и один раз так хватил кулаком по кафедре, что стук разнесся по всей площади и записи гаулейтера полетели в воздух. Фогельсбергер тотчас же подскочил к нему и быстро собрал рассыпавшиеся листки.

«Маленькой Голландии принадлежал целый архипелаг! Франция владела огромными земельными пространствами, хотя ей приходилось ввозить негров для обработки полей, потому что французские женщины отказывались рожать! А Англия! Давайте посмотрим, что такое Англия,— выкрикивал Румпф слова, заготовленные Фабианом,— величиной она с кулачок, но этот кулачок разжался, пальцы протянулись далеко-далеко и что же они захватили? Пятую часть земного шара захватили эти пальцы!»

Громкие крики «хейль» послужили наградой оратору, вытиравшему пот с лица.

«Ну, а у нас? Как обстоит дело у нас? Великие державы отняли у Германии те жалкие колонии, которые

сколотил для нее Бисмарк, хотя нам с нашей ужасающей перенаселенностью, видит бог, не приходилось ввозить негров! Когда слона повергли наземь и он потерял способность сопротивляться,— орал Румпф, — победители отпилили ему клыки — наши колонии! И что же они оставили нам? — Лицо гаулейтера налилось кровью.— Ничего не оставили, даже грязной лужицы, даже мертвого негра!»

Эти выражения уже были продуктом его собственного творчества.

«Почему? Я вас спрашиваю: почему? — вопил гаулейтер, и слова его разносились по площади, где люди стояли вплотную друг к другу.— Потому что у нас не нашлось сильного человека, который дал бы отпор этим разбойникам! Теперь они уж ни на что подобное не решатся! Теперь, теперь у нас есть этот сильный человек!»

Он замолчал в изнеможении и пережидал, покуда не затихли неистовые крики «хейль».

После этого он уже быстро закончил свою речь, тем более что по каким-то соображениям выбросил несколько фраз Фабиана.

«Нам осталась только надежда,— кричал он,— надежда на будущее. Дурак тот, кто верит, что раздел мира совершен раз и навсегда. Приходят новые поколения, поколения отважных людей, не боящихся смерти, умеющих держать оружие в руках,— эти люди установят новый порядок в мире. Вам же я говорю: не теряйте надежды и будьте всегда наготове!»

Он кончил. Нескончаемое «хейль» разнеслось далеко вокруг. Одновременно заиграли все оркестры. Толпа запела «Германия превыше всего», и взволнованный Фабиан, подняв руку, присоединился к поющим. С юных лет он восхищался этой песней.

К площади подъехали серебристо-серые автомобили, которые тотчас же были окружены офицерами в черных и коричневых мундирах; офицеры поздравляли гаулейтера с успехом и выражали ему свое восхищение.

Позднее гаулейтер, стоя на балконе епископского дворца, принял еще парад коричневых и черных отря-

дов. Он стоял совсем один и удалился лишь после того, как прошла последняя колонна.

Фабиан продолжал стоять на площади перед дворцом, болтая с начальниками отрядов. Полковник фон Тюнен, в форме штандартенфюрера, высказывался как специалист о различных подразделениях, возвращавшихся с парада.

— Великолепный материал! — восклицал седой полковник, размахивая руками.— Подобного ни у какого другого народа нет. Обратите внимание, какая воля к борьбе! Разве ее обуздаешь? С такой молодежью мы завоюем мир. Смотрите, вот ваш отряд, господин правительственный советник! — закончил он, указав на колонну нацистов в коричневых рубашках, приближавшуюся с громким топотом. Это был отряд Габихта, который вместе с другими подразделениями был подчинен Фабиану.

Габихт некогда служил унтер-офицером в Потсдаме и теперь прилагал все усилия, чтобы обучить военной выправке эту кучку ландскнехтов. Узнав Фабиана, он только бросил взгляд на своих молодцов, и те сразу подтянулись; знамя, древко которого один из них небрежно положил на плечо, молниеносно взметнулось вверх и поплыло в воздухе, как на параде.

Фабиан шагнул вперед и вскинул руку.

Габихт стал смотреть на Фабиана, его примеру последовали остальные, отряд, равномерно и глухо шагая, прошел мимо. Тогда Фабиан опустил руку. Он был взволнован.

X.

Мать и дочь Лерхе-Шелльхаммер вернулись на несколько дней раньше, чем предполагали. Их американские друзья поехали на машине до Генуи, чтобы там сесть на пароход, и они решили присоединиться к ним. Но в Генуе стояла невыносимая жара, и они поспешили на север. Ехали день и ночь и прибыли домой в полном изнеможении. Почти весь первый день они чувствовали себя настолько усталыми, что оставались в постели. Впрочем, к вечеру Криста уже

отдохнула и поехала в город в своем маленьком автомобиле.

Прежде всего она направилась к гостинице «Звезда», чтобы узнать что-нибудь о Фабиане. Он был на майском параде. Что ж, он городской чиновник и волей-неволей обязан принимать участие в празднестве! Затем она поехала на Бухенштрассе взглянуть на дом номер шесть. В своем последнем письме Фабиан упоминал, что собирается приобрести этот дом. Нетрудно было догадаться, зачем он ему понадобился. Криста не сомневалась, что дом покупается для нее.

Да, если быть честной, то надо признаться, что Фабиан ей более чем симпатичен — она любит его. Он несомненно человек одаренный, выше среднего уровня, в этом она отдавала себе отчет. Прежде всего она ценила его ясный ум и понимание искусства. Кроме того, он красив, с прекрасными манерами, ужиться с ним ей будет нетрудно. Кристе нравилось и то, что он в свое время собирался стать священником. Такое желание могло возникнуть только у хорошего человека.

Она засмеялась. Да разве можно выразить словами, отчего любишь?

Дом номер шесть понравился Кристе, хотя и показался ей слишком большим. Удовлетворив свое любопытство, она снова отправилась в центр города, чтобы повидаться с Марион.

Вид Вильгельмштрассе ужаснул ее. Домов почти не видно за сплошной стеной этих мерзких флагов со свастикой, которые она всегда ненавидела. Криста постаралась как можно скорей уехать с этой улицы. Кроме того, ей сказали, что еврейскую школу перевели куда-то поблизости. Она попросила вызвать Марион и довольно долго с ней проговорила.

— Интересные новости,— смеясь, сообщила ей Марион.— Произошли невероятные, ошеломляющие события.— Марион то и дело краснела и смеялась так громко и радостно, что ученики выглянули в коридор посмотреть, что случилось. Но и плакала Марион тоже.

— Слава богу, что ты вернулась, Криста! — воскликнула она. — Мне необходимо с тобой посоветоваться. Конечно, тебе это покажется невероятным, это

похоже на сон, но... знаешь, в меня влюбился гаулейтер. — Последние слова Марион проговорила таинственным шепотом.

Ребятишки в классе что-то запели, и Марион поспешила к ним.

— Я приду к тебе, Криста, и все расскажу! — крикнула она, исчезая за дверью.

Свидание с Марион обрадовало Кристу: Марион, которая совсем было впала в отчаяние, опять на что-то надеется.

Криста сделала кое-какие покупки, но отряды нацистов в коричневых и черных мундирах преградили дорогу ее машине.

Наконец, она решила кружным путем добраться до «Резиденц-кафе»; ей хотелось за чашкой чая поразмыслить о том, что рассказала Марион, и о доме номер шесть.

Таким образом она очутилась неподалеку от епископского дворца и остановила машину в переулке, чтобы не попасться на глаза группе нацистских офицеров, стоявшей на площади.

Когда она уже собралась подняться по лестнице в кафе, ей бросился в глаза один из этих офицеров — седой, подвижный, он что-то рассказывал, сопровождая свой рассказ оживленными жестами. Криста сразу признала в нем полковника фон Тюнена. Ее мать называла Тюнена паяцем, так как он ни минуты не мог оставаться спокойным и всегда разговаривал руками. Полковник Тюнен беседовал с молодым, очень стройным офицером; они чему-то смеялись, но у Кристы вдруг остановилось дыхание, и она отдернула ногу от ступеньки.

Этот стройный смеющийся офицер показался ей знакомым, но она не верила себе, не хотела верить.

— Не может быть, — прошептала Криста, бледнея.

В это время одна из колонн строевым шагом прошла через площадь, и стройный офицер шагнул вперед, подняв руку в знак приветствия.

При этом он обернулся к ней лицом, и она узнала его. Сомнений не было! Это Фабиан!

Она отпрянула и прислонилась к какому-то дерев-

цу, затем, с трудом передвигая ноги, перешла через дорогу и вошла в только что открывшуюся лавчонку. Здесь она обычно покупала перчатки.

— Что с вами? — участливо спросила ее пожилая, седовласая женщина, владелица магазина.— Вам дурно, фрейлейн Лерхе-Шелльхаммер?

— Простите, я, правда, почувствовала себя нехорошо! — Криста присела на стул, у нее дрожали колени. Она была бледна, как смерть.— Не может быть! Не может быть!

Ей подали стакан воды, и мало-помалу она пришла в себя.

— Успокойтесь, фрейлейн Лерхе-Шелльхаммер, вы испугались чего-то? — допытывалась женщина.

— Испугалась? Да, я испугалась,— едва слышно ответила Криста.— Эта толпа испугала меня.— Ее руки повисли, как плети. — Разрешите мне отдохнуть еще минутку.— При этом она не отрывала глаз от окна.

XI

Улица опустела. Отряд коричневорубашечников, сопровождаемый толпой любопытных, с шумом и смехом протопал мимо магазина. Наконец, все стихло. Затем промчалось несколько автомобилей. Теперь, кажется, уже можно выйти на улицу. Криста огляделась по сторонам, не видя никого поблизости, прокралась к своей машине и медленно, почти не отдавая себе отчета в том, что делает, поехала домой. Она была так подавлена, что долго стояла перед домом, не понимая, что она уже у цели. Тяжело ступая, как старуха, взобралась она по лестнице.

— Боже милостивый, что с тобою, Криста? — в ужасе вскричала фрау Беата, когда дочь вошла в комнату.— На тебе лица нет!

— Мама! — крикнула Криста, опускаясь на стул.— Небеса разверзлись надо мною!

— Да говори же толком, дитя мое.

— Небеса разверзлись надо мною! — повторила Криста, машинально снимая шляпу. — Подожди, мама,

подожди минутку, я все тебе расскажу. Уедем отсюда! Уедем, уедем!

Фрау Беата была уверена, что с Кристой стряслась большая беда, о которой ей даже говорить трудно. Она вышла из комнаты и вскоре вернулась со стаканом горячего грога. По ее убеждению, это была панацея от всех зол. Грог, если и не помогает, то во всяком случае подбадривает организм!

Прошло много времени, прежде чем Криста в нескольких словах рассказала матери о том, что ей пришлось пережить: о том, как она обманулась, о своем разочаровании, отрезвлении, смятении.

— Уедем отсюда, мама,— беспрестанно повторяла она.— Уедем, уедем из этого города!

Фрау Беата долго молчала, затем поднялась и стала тяжелыми шагами ходить взад и вперед по комнате. Наконец, она остановилась перед Кристой.

— Трудно заглянуть в глубину человеческого сердца, Криста! Почти все люди в этой стране потеряли даже ту крупицу разума, которая у них была.— Она позвонила горничной и велела подать крепкого чаю.— И вот еще что,— добавила она,— заприте-ка двери! Мы никого не хотим видеть. А если кто-нибудь придет или позвонит, скажите, что мы только что приехали, очень утомлены и никого не принимаем. Вы меня поняли?

Криста постепенно приходила в себя.

— Только бы уехать из этого города, уехать! — Она вскоре удалилась в свою комнату и на следующее утро вышла оттуда молчаливая и мертвенно-бледная.

Продолжительная беседа матери с дочерью кончилась тем, что они решили опять уехать на несколько недель, хотя бы в Баден-Баден, где все-таки немного теплее, чем здесь, на севере. Они снова уложили чемоданы, только что распакованные. Большой автомобиль стоял в гараже, покрытый пылью и грязью, привезенной еще из Италии. Они уехали на следующее утро после завтрака.

Криста вздохнула свободнее, только когда город уже остался позади. Фрау Беата сидела за рулем и

вела машину на большой скорости, как всегда, когда ей удавалось хорошо выспаться. Криста сидела рядом и, вся уйдя в свои мысли, безучастно смотрела на поля.

«Удивительно,— думала она.— Ведь он никогда не носил нацистского значка, и мы никогда не говорили о политике — или очень редко. Порой я замечала, что он переводит разговор, как только я касаюсь политики. Никогда он ни словом не вступился за нацистов и никогда ни словом не обмолвился против них». В голове ее проносились все одни и те же мысли.

— Cheer up, my girl! [1]— бодро воскликнула фрау Беата.— Солнце еще проглянет! Да, Криста, я знаю: в молодости кажется, что все мужчины ломаного гроша не стоят! Но с годами мы начинаем судить о них справедливее. И понимаем, что они не ангелы и не исчадия ада, а всего лишь люди. Как и женщины...— Она рассмеялась.

XII

Когда вечером Фабиан пришел на обед, который гаулейтер давал для всех высокопоставленных чиновников национал-социалистской партии и именитых людей города, швейцар доложил ему, что утром приезжала какая-то дама и спрашивала его. Радость пронзила сердце Фабиана. Криста! Это могла быть только Криста! Значит, она вернулась раньше, чем предполагала. Чудесно! За обедом он был в превосходнейшем настроении. На следующее утро он позвонил Кристе, но горничная ответила, что дамы очень устали и никого не принимают. Тогда он заказал в цветочном магазине прелестную вазу с ландышами, которые сам очень любил, и приложил коротенькое письмецо Кристе.

«Я рад и счастлив,— писал он.— Последние месяцы были для меня жестоким, почти невыносимым испытанием, никогда еще пустота жизни и одиночество так не угнетали меня».

Позвонив вечером, он получил тот же ответ. Тогда он послал Кристе письмо; она получит его завтра утром.

[1] Веселей, девочка! *(англ.).*

«Отдохните хорошенько, любимая моя Криста,— писал он.— И не сердитесь за то, что я докучаю вам цветами и письмами, это объясняется моей страстной жаждой снова увидеть вас после долгой разлуки. Я твердо надеюсь, что до вечера вы отдохнете настолько, что сможете подарить мне несколько минут. Сегодня с пяти часов и до семи я буду ждать вас в «Резиденц-кафе». Прежде всего я мечтаю о большом разговоре, «важном» разговоре, как вы писали. Дом номер шесть по Бухенштрассе я приобрел и буду счастлив показать его вам в ближайшие дни».

День прошел, как обычно, в работе. Пообедав, Фабиан купил у ювелира Николаи старинное ожерелье из черного янтаря, которое давно уже было у него на примете. Как оно будет к лицу Кристе! Ровно в пять часов он сидел в «Резиденц-кафе» за чаем.

В кафе было совершенно пусто; лишь немного погодя пришел какой-то старик; он уткнулся в газету и сильно кашлял. Фабиан ждал и на досуге внимательно рассматривал помещение. Это кафе было открыто еще в то время, когда во дворце обитал какой-то епископ; вся обстановка здесь была выдержана в стиле дешевого рококо. На стенах висели картины, писанные неумелой рукой в манере Ватто и теперь потускневшие, почти черные, большей частью в облупившихся рамах. На одной картине, изображавшей пикник в лесу, он с трудом разглядел двух молодых дам, слушавших юного кавалера, который играл на флейте. За окнами становилось все темнее, на улице и на сердце у Фабиана сгущались сумерки. Он вздрагивал при каждом звуке приближавшегося автомобиля и готов был вскочить всякий раз, когда открывалась дверь. Ожидание становилось мукой. Просмотрев все газеты, он, чтобы убить время, стал обдумывать дело, которое ему сегодня поручили, и кое-что записал в блокнот.

Затем он снова принялся рассматривать картины, удивляясь, что юный кавалер все еще играет на флейте.

Странно, но с тех пор как он узнал, что Криста в городе, он с пугающей его ясностью увидел всю пустоту и бессодержательность своей жизни. Он тянулся

к ней, как умирающий от жажды тянется к воде. И его снова стала волновать загадка, как может человек нметь такую власть над другим человеком. Это походнло на волшебство. Если долго смотреть на спящего, он открывает глаза. Может быть, так н с любовью. Может быть, на нас смотрят сотнн глаз, и сотнн неведомых глаз в глубинах нашего существа открываются в ответ. А может быть, любовь и физическн изменяет нас? Кто знает! Человеку никогда не проникнуть в эту тайну.

Уничтоженный, он, наконец, встал. Было уже около восьми, н он больше не надеялся на приход Кристы. Что-то, по-вндимому, случилось! Уж не заболела ли она?

Усталый, терзаемый мрачными мыслями, он шел по тихнм н темным улицам обратно в гостнннцу. Он все яснее понимал, что жизнь без этой женщнны для него бессмысленна, более того — невозможна.

Разбитый и подавленный, Фабнан вошел в свою комнату н зажег все лампы, так как темные улнцы, по которым он возвращался домой, и мрачные мысли все еще преследовали его.

Почему Криста не прнслала ему записки в «Резиденц-кафе»? Почему она не позвонила ему?

Он был очень встревожен, но не решался звоннть ей сегодня, чтобы не показаться навязчивым. Ясно, произошло нечто непредвнденное.

В тревоге и горестн сел он за письменный стол, чтобы написать несколько писем. Неудачный день, безнадежно неудачный день!

Около часа он пнсал, затем отложил перо, так как мыслн его мешались. И, вконец разбитый, лег в постель.

Наутро первой его мыслью была Криста. Нет, сегодня он уже не будет полагаться на телефон. Он проработал с час в бюро и в одиннадцать велел везти себя к дому Лерхе-Шелльхаммер. Сен-бернар встретил его радостным лаем и даже побежал за ним вверх по лестнице, чего он обычно не делал.

— Могут ли уже дамы принять меня? — спросил он у горничной.

— Их нет дома, они сегодня утром уехали на машине.

— Уехали? Куда? — Он пошатнулся.

Горничная не знала, и Фабиан ушел. Он даже не дал себе труда скрыть свою растерянность перед девушкой.

Может быть, им вздумалось предпринять какую-нибудь непродолжительную поездку, пытался он успокоить себя, но сам себе не верил. Даже привета она не передала, даже словечка не написала!

Вчерашнее предчувствие беды не обмануло его; ему пришлось собрать все свои силы, чтобы взглянуть правде в глаза. Криста порвала с ним, просто порвала, ни слова не сказав. Это какая-то загадка... Может быть, его оклеветали? Но нет, Криста не такая женщина, чтобы поверить любому вранью. Она потребовала бы от него объяснений...

Глубокая печаль овладела им: едва завоевав Кристу, он по какой-то загадочной причине ее утратил. Печаль снедала его, и он поехал в Бюро реконструкции, чтоб хоть на несколько часов забыться в работе.

К обеду Фабиан не прикоснулся, ему не хотелось ни есть, ни пить, и рано вернулся к себе в гостиницу. Ему было так плохо, что он, одетый, повалился на кровать. Неподвижно, как оглушенный, пролежал он много часов, вперив взор в потолок.

Нет, нет, так продолжаться не может! Жизнь без этой женщины потеряла всякий смысл! Она открыла ему новый мир и, когда он увидел жизнь во всем ее великолепии, покинула его. Это больше того, что может вынести человек. И теперь, пожалуй, единственный исход пустить себе пулю в лоб.

«Прощай, Криста!» — будет его последней мыслью.

Сгустились сумерки, стало совсем темно, наступила ночь, а он все еще лежал и смотрел в потолок.

«Я стоял на вершине жизни, а она в мгновение ока низвергла меня в пропасть отчаяния»,— думал он, готовый расплакаться.

Наконец, он с трудом поднялся и зажег свет. Затем выпил стакан воды и вымыл лицо и руки. Немно-

го освежившись и вернувшись к жизни, он сел за письменный стол.

Пусть она узнает, что он ни в чем не виноват и что это невероятная жестокость бросить его так, без единого слова. «Только одно слово, Криста, одно-единственное слово, и все было бы по-другому. Но теперь поздно, Криста! Ты возвела меня на вершину жизни, ты показала мне великолепие этого мира. Скажи, какой же демон внушил тебе мысль в эту минуту, именно в эту минуту столкнуть меня в пустоту? Скажи мне, Криста. Благодарю тебя и прощай!»

Почувствовав страшную слабость, он подкрепился рюмкой коньяку и принялся быстро писать. Он писал страницу за страницей, и весь мир исчез для него. Порой до него доносился шум проезжавшего автомобиля, шаги официанта в коридоре, затем снова воцарялась глубокая тишина.

XIII

Спустя некоторое время ему почудился легкий стук в дверь. Он вздрогнул. Кто-то стучит? Да, стук повторился.

Он выпрямился за столом и спросил:

— Кто там?

Женский голос что-то проговорил смеясь, и дверь распахнулась. Если бы в этот момент вошла Криста, он бы нисколько не удивился, так спутаны были его мысли. Но к нему вошла другая женщина, которую он не сразу узнал.

— Господин правительственный советник,— смеясь, проговорила незнакомка,— вы, наверное, поражены столь неожиданным вторжением? — С этими словами она вступила в полосу света, и он узнал ее. Это была прекрасная Шарлотта.

С трудом скрыв свое изумление, он по привычке вскочил и пошел ей навстречу.

— Вы здесь, в этой гостинице, сударыня? — растерянно спросил он; в горле у него пересохло.

Прекрасную Шарлотту рассмешила его удивленная, недоумевающая физиономия.

— Да, с сегодняшнего дня я живу здесь,— сказала она.— И на том же этаже. Гаулейтеру пришлось уехать на довольно долгий срок; он опасался, что я до смерти соскучусь в Эйнштеттене. Поэтому я проживу некоторое время в гостинице.

Фабиан почти машинально подвинул ей кресло и предложил сигареты.

— Надеюсь, сударыня, вы не откажетесь от рюмки коньяку? — Он задал этот вопрос, не зная, с чего начать разговор.

— Конечно, нет, спасибо,— и Шарлотта подняла на него свои божественные глаза.

У них завязался оживленный разговор. Фабиан пробуждался от своего оцепенения. Он несколько раз видел Шарлотту в «замке», но всегда только мельком. Теперь он мог любоваться ее удивительной красотой, и вид этих совершенных линий и форм окончательно вернул его к жизни. Ничего не могло быть ему приятней, чем этот неожиданный визит в минуту отчаяния и внутренней слабости. Ее приход был чудом, рассеявшим его унылые мысли, подлинным спасением.

Шарлотта беззаботно болтала, и ее глупости и пустой смех нисколько не смущали его.

— Я просто счастлива, что застала вас дома,— сказала она.— Я сегодня в ужасном настроении, в таком ужасном, что остается либо повеситься, либо напиться. Гаулейтер сказал мне: если тебе станет скучно, дитя мое, отправляйся к Фабиану, он расскажет тебе много интересных историй, например про «Аистово гнездо». Это что, роман, который вы написали?

Фабиан невольно рассмеялся и покачал головой.

— «Аистово гнездо» — это высота, которую в последней войне никак не мог взять противник и которая стоила жизни тысячам людей.

Прекрасная Шарлотта затрепетала.

— Ради бога не говорите о войне,— взмолилась она.— Уж не сражались ли и вы под Верденом?

Фабиан засмеялся.

— Нет, нет, в боях под Верденом я не участвовал.

— Они озорники,— смеясь, сказала Шарлотта,— и

гаулейтер и тем более ротмистр Мен. Да, просто озорники, не знаешь, верить им или нет. Но я им все-таки благодарна, что они направили меня к вам. Это счастье, что я вас застала сегодня вечером в гостинице. Иначе я, наверное, впала бы в отчаяние.

Фабиан поблагодарил за комплимент.

— Такая красивая женщина не вправе слишком быстро впадать в отчаяние,— заметил он. Он ничего так не хочет, как помочь ей, и уверен, что город придется ей по душе.

— Надеюсь, вам предоставили хорошую комнату? — осведомился Фабиан.

Шарлотта звонко рассмеялась.

— Хорошую комнату! — воскликнула она.— Ну, разумеется, меня постарались удобно устроить, иначе гаулейтеру пришлось бы краснеть.

Она бросила недокуренную сигарету в пепельницу и поднялась.

— У меня три прекрасные комнаты,— сказала она.— Это настоящая маленькая квартира, которая была оставлена для гаулейтера. Если у вас есть время, пойдемте, я вам ее покажу.

Она направилась к двери и знаком пригласила Фабиана следовать за собой. Он пошел, чтобы не показаться неучтивым, да и не в его натуре было отклонять просьбу красивой женщины.

Комнаты оказались просторными и со вкусом обставленными. Повсюду стояли большие вазы с ландышами, точно такие, какую Фабиан вчера купил для Кристы.

— Здесь просто великолепно,— заметил он.

— Правда, хорошо? — ответила она, равнодушно прохаживаясь по комнатам.

И, не дожидаясь, покуда он выскажет свое мнение, добавила:

— Вы уже ужинали? Нет? Вот и прекрасно.

Она даже захлопала в ладоши.

— В таком случае доставьте мне удовольствие и поужинайте со мной. Идет? Если вы ничего не имеете против, мы проведем этот ужасный вечер вместе. Садитесь и будьте как дома.

Не дождаясь его ответа и как будто боясь, что он откажется, Шарлотта продолжала:

— Я закажу официанту ужин на двоих. Что он принесет, в конце концов безразлично. Но шампанского я хочу непременно, если вы ничего не имеете против. Сегодня я должна пить шампанское, много шампанского. Надо вам сказать, что, пока я живу в гостинице, я гостья гаулейтера, а он приказал мне не скупиться.

Она позвонила официанту

— Вы, господин Фабиан, лучше меня знаете, какая марка шампанского считается здесь лучшей, прошу вас, распорядитесь! Ах, вы и не подозреваете, в каком я сегодня ужасном настроении!

Проговорив это, прекрасная Шарлотта засмеялась.

XIV

— Никто и не подозревает, в каком я сегодня ужасном настроении,— снова сказала Шарлотта после того, как они, поужинав, перешли в восхитительный маленький салон. И опять рассмеялась.

— Вы не верите мне, потому что я говорю это смеясь. Ах, как плохо вы знаете женщин!

— В таком случае мне остается только преклониться перед мастерством, позволяющим вам так искусно скрывать плохое настроение,— ответил Фабиан.

Шарлотта подняла на него свои прекрасные глаза.

— Я люблю лесть,— сказала она и улыбнулась.— Но садитесь же, прошу вас. Я налью вам бокал шампанского. Вы не представляете себе, как я вам благодарна за то, что вы развлекаете меня сегодня вечером. Выпьем за нашу дружбу.

Фабиан поклонился.

— За дружбу.

Шарлотта опустилась в одно из широких голубых кресел, в котором лежать было удобнее, чем сидеть. Она взяла со стола сигарету и закурила. Может быть, Фабиан хочет еще чего-нибудь? Ликера, кофе, виски?

— Да, да,— начала Шарлотта и выпустила дым через ноздри.— Я бесконечно признательна вам за то,

что вы составили мне компанию. Видите эти чемоданы? Я больше не вернусь в Эйнштеттен. Мое пребывание в «замке» окончено. Гаулейтер был очень щедр! Посмотрите на это кольцо! В брильянте два карата. Или вот это. Видели вы где-нибудь более оригинальный мундштучок? На серебряной полоске выгравировано: «Цветущей жизни». Это, конечно, шутка, мои товарищи, венские актеры, так прозвали меня. Ха-ха-ха! Другая, поумнее, была бы счастлива на моем месте, но только не я. Глупый человек не может быть счастлив, он весь во власти своих вздорных мыслей. Человек с головой, когда пьет шампанское, становится веселым, а глупый только больше печалится. Вы знаете, что граф Доссе умер?

Фабиан кивнул головой.

— Да,— участливо проговорил он,— я очень ценил его.

— Бедный Александр, он рано простился с жизнью,— продолжала Шарлотта.— Прошло уже четыре месяца, и я немного успокоилась. В первые дни это никак не укладывалось в моей голове. Представьте себе моё состояние, когда гаулейтер положил передо мной телеграмму: «Граф Доссе тяжело ранен во время автомобильной катастрофы в Мюнхене».

— В Мюнхене? — переспросил пораженный Фабиан.

— Да, в Мюнхене. Я хотела тотчас же выехать туда,— продолжала Шарлотта, вставая и закуривая новую сигарету.— Но Фогельсбергер протелефонировал в Мюнхен, и ему сказали, что в клинику никого не пускают, а кроме того, мой приезд мог слишком сильно взволновать его после операции. Через три дня гаулейтер подал мне газету, и я прочла, что граф Доссе скончался в клинике от ранений, полученных при катастрофе.

Фабиан даже привскочил, но, по счастью, Шарлотта, занятая своей сигаретой, не заметила его удивления. К тому же в этот момент появился официант с кофе.

Шарлотта прервала свой рассказ и обратилась к нему:

— Передайте господину Росмейеру, что я очень довольна тем, как меня обслуживают, и сообщу об этом господину гаулейтеру.

Официант пробормотал что-то нечленораздельное и поклонился. Пока он расставлял чашки, Шарлотта поднялась с кресла и стала расхаживать по комнате.

— Я целых три дня никого не могла видеть,— вернулась она к своему рассказу. — Я была очень довольна, что никто меня не тревожил.

— Не надо сливок,— сказал Фабиан официанту просто для того, чтобы что-нибудь сказать.

Он отлично помнил, как Фогельсбергер доверительно сообщил ему, что после крупного разговора с гаулейтером на празднике в честь дня его рождения Доссе застрелился. Не исключено, впрочем, что Доссе был пьян. Во всяком случае, история получилась пренеприятная. Собака Доссе Паша так выла и скулила три дня подряд, что чуть всех с ума не свела. Наконец, гаулейтер приказал ее пристрелить, что и было исполнено одним унтер-офицером. У него, Фогельсбергера, не хватило бы духу это сделать, ведь он знал Пашу много лет.

Все это молнией пронеслось в голове Фабиана.

— Сегодня день рождения бедного Александра,— снова заговорила Шарлотта и, вздохнув, помешала ложечкой кофе.— Вот вы и узнали причину моей сегодняшней хандры. Будьте любезны, налейте мне еще шампанского. Благодарю!

Она залпом осушила бокал и продолжала:

— Александр умел меня любить. Он — единственный. Он был предан мне как собака. Понимаете, если женщину любить по-настоящему, то нужно любить ее как собака, — преданно и безоговорочно. Так как я не безобразна, то меня с юных лет любили, поклонялись мне. Ха-ха, а что значит любить и поклоняться? Это самое простое, тут никакого умения не требуется. Но я хочу, чтобы на меня молились, восхваляли меня, воспевали в стихах, прославляли, обожествляли! Александр это знал и любил меня, ни о чем не спрашивая, ничего не требуя, как собака.

Шарлотта ходила взад и вперед по комнате, иногда

останавливаясь, чтобы глотнуть вина или стряхнуть пепел с сигареты. Она призналась Фабиану, что с годами ею завладела ненасытная страсть — быть любимой, страсть, уже граничащая с манией, и что она чувствует себя несчастной, когда эта страсть не удовлетворена.

Слушая Шарлотту, Фабиан не спускал с нее глаз. Он видел ее прекрасное лицо, то ярко освещенное светом лампы, то слегка затененное, и не знал, когда же оно прекраснее. Ее лоб, ее виски околдовывали его своей прелестью, и он все время открывал в ней новую красоту. Никогда не видел он таких ушей, точно выточенных из бледных кораллов. Никогда не знал, что человек может быть так похож на растение. Она казалась ему редким, красивым движущимся цветком.

Шарлотта разговорилась и теперь болтала без умолку. Фабиан не прерывал ее.

— Гаулейтер Румпф, — говорила Шарлотта, — не понимает женщин. Нет, нет. Он властен и агрессивен, иногда добродушен, но чаще бессердечен, понимаете? Абсолютно бессердечен, он обращается с женщинами как с куклами. Подойди, сядь, встань, прошу тебя быть пунктуальной. Если парикмахер замешкается, приходи непричесанной, но приходи точно в назначенное время. Мужчина, который требует, чтобы женщина являлась точно в назначенное время, даже если она плохо причесана, не понимает женщин. В Вене ни один человек не предъявит к женщине таких нелепых требований.

Она остановилась посреди комнаты и нахмурилась.

— Теперь к нему часто ходит другая молодая девушка, кажется, еврейка. Он берет у нее уроки еврейского языка.

— Еврейского языка? — перебил ее Фабиан.

— Да, еврейского. Он говорит, что настало время изучить язык евреев. Мне кажется, что он втюрился в нее, но это между нами. Однажды он представил ее мне. Она похожа на красивую итальянку. Может быть, он хотел возбудить во мне ревность? Он не знает, что я не способна ревновать, для этого я слишком красива,— прибавила она и засмеялась громко и весело.

Затем она попросила Фабиана налить ей еще бокал шампанского и при этом не забыть н себя.

— Александр не был красив. Напротив, он был безобразен. Это был его единственный недостаток. Но скажите, разве большннство мужчнн не уроды? Ха-ха-ха! Вы, мужчины, препротнвные людншки. Сколько средн вас встречается уродов, да еще к тому же слабосильных! Многие смахивают на тюленей, такие у ннх усы. Этн тюлени встречаются на каждом шагу. Император Франц-Иосиф тоже походнл на старого тюленя. А другие точь-в-точь старые меланхоличные обезьяны; в большннстве случаев это умные мужчины; есть и такие, что напоминают птиц — большеглазые, с огромными орлиными носамн.

Шарлотта расхохоталась и ннкак не могла остановиться. Потом вдруг задумчиво опустнла глаза и уже серьезным тоном продолжала:

— Да, Александр тоже был не красавец, скорей даже урод, но он был хорошнй человек и единственный, кто умел меня любнть. Он хотел на мне жениться, как только умрет его больная мать. Ах, теперь все вышло по-другому!

Шарлотта опустилась в кресло и умолкла. Фабиан увндел, что лицо ее изменнлось и на реснñцах повисли большие слезы.

— Я была несправедлнва к Александру, страшно несправедлнва, я обошлась с ннм плохо, очень, очень плохо.

Она медленно стянула с пальца кольцо с драгоценным камнем и швырнула его на пол вместе с серебряным мундштуком.

— Не нужен мне этот хлам. Мне тошно от него! — воскликнула она; ее щеки пылали, прекрасные глаза были полны слез.

Через несколько минут Фабиан встал и попросил разрешения удалиться.

Было уже поздно, когда он вернулся к себе в комнату. Как только он остался один, мрачные мысли снова завладели им, но шампанское, выпитое у прекрасной Шарлотты, все же подбодрило его. «Может быть, это глупости, которые ты сам себе вбил в голову,—успокаи-

вал он себя.— В ближайшие дни все выяснится, и ты напрасно терзаешься. Самое лучшее, что ты можешь сделать, это лечь спать. Вдруг завтра придет письмо от Кристы, и весь мир покажется иным. И помни, что написать письмо ты всегда успеешь».

XV

На следующее утро Фабиан проснулся утомленный, вялый; было уже довольно поздно. Заниматься делами ему не хотелось, и он попросил своего помощника выступить вместо него в суде. Разрозненные листки прощального письма к Кристе он запер в письменный стол, даже не взглянув на них, как будто это писал другой человек, так безразлично было ему все на свете.

От Кристы не было письма, но когда он брился, в дверь постучал долговязый Фогельсбергер и сообщил, что гаулейтер приказал Фабиану явиться к завтраку в «Звезду». «Мадам Австрия» тоже будет там.

Фабиан почел это приглашение за высокую честь и слегка оживился. Это было первое приятное чувство за последние дни.

В приподнятом настроении Фабиан спустился к часу дня в ресторан. Он был в мундире со знаками различия оберштурмфюрера.

Они завтракали втроем в небольшом кабинете: гаулейтер, прекрасная Шарлотта и он. Росмейер так почтительно раскланивался, что Фабиан явственно разглядел шишки на его лысине. Гаулейтер намеревался в ближайшие дни надолго покинуть город.

На пальце Шарлотты было, разумеется, кольцо с драгоценным камнем, то самое, которое она накануне вечером швырнула на пол; после завтрака она достала и оригинальный серебряный мундштук с надписью «Цветущей жизни». Шарлотта болтала и смеялась, как всегда, но Румпф казался отсутствующим и уделял ей меньше внимания, чем обычно.

Безразличное состояние Фабиана быстро прошло за завтраком; более того, он пришел в отличное настроение.

— Поухаживайте немного за молодой красавицей, дорогой друг,— сказал Румпф Фабиану.

Он назвал его другом!

— Думаю, что мы с вами подружимся! — заметила Шарлотта и, обворожительно улыбаясь, взглянула на Фабиана своими прекрасными глазами.

— Я буду только рад,— рассмеялся гаулейтер,— красивой женщине не пристало скучать.

Вдруг он заторопился. Приказал позвать Росмейера.

— На днях вы подавали нам старое шампанское,— сказал он ему,— с золотым ярлыком. Превосходное. Принесите такую же бутылку, мы разопьем ее на прощание.

Росмейер поклонился, польщенный, и Румпф, смеясь, заметил, что шишки на его голове выросли еще на сантиметр.

Вскоре он попрощался и ушел.

Когда Фабиан после обеда поднялся наверх, он увидел возле своей комнаты двух молодых людей. Как будто члены Союза гитлеровской молодежи. Как только он приблизился, они стали навытяжку, старший щелкнул каблуками и строго, внятно скомандовал: «Смирно!» А младший продолжал стоять неподвижно, держа в руке флажок со свастикой.

И вдруг Фабиан узнал их. Это были его сыновья, Гарри и Робби, которых он не видел уже несколько лет и которых горячо любил. Сердце у него забилось от радости. Он бурно обнял их, хотя мальчики держали себя официально и сдержанно. Младший, Робби, с флажком в руке, выглядел тщедушным и бледным, к тому же на лбу у него была белая повязка, что делало его похожим на раненого солдата, только что вернувшегося с поля битвы.

— Вот и вы! — воскликнул Фабиан и прижал их к своей груди.— А что с нашим бедным Робби?

— Он был ранен вчера при атаке укрепления, — отвечал старший, Гарри, сильный, молодцеватый юноша.

Фабиан засмеялся.

— Как это понять? Входите, дети,— сказал он и пропустил обоих сыновей в комнату.— Как ты сказал? Где он был ранен?

— При атаке укрепления, папа,— пояснил Гарри.

— Погодите минутку,— перебил его Фабиан,— не хотите ли шоколаду с пирожными? Да? И целую гору пирожных? — Он позвонил официанту и попросил мальчиков рассказать об этом самом укреплении.

Они выстроили возле живодерни большое укрепление, которое решено было атаковать. Робби был в обороне, в партии красных, а Гарри в партии синих.

— Вы обманули нас! — воскликнул младший, Робби; свой флажок со свастикой он прислонил к стене, но тот все время падал.

— Вы недоглядели! — резко возразил Гарри.— Вы дали себя обмануть, трусы.

— Трусы? Мы, красные, не трусы! — возмутился Робби, тряхнув забинтованной головой.

— Такое укрепление не сдают! — заметил Гарри.

Фабиан не вмешивался в спор мальчиков, пытливо наблюдая за ними. Так вот какие у него сыновья! Он пожертвовал ими ради Кристы и оставил их на попечение Клотильды, хотя знал, что духовная атмосфера вокруг их матери могла сделаться опасной для мальчиков. Теперь его сыновья состояли в Союзе гитлеровской молодежи. Он сам, вероятно, воспитывал бы их вне политических интересов, которые во многих отношениях казались ему сомнительными.

Клотильда получила власть над их душами, а он, отец, оказался полностью отстраненным, в чем он теперь с горечью признавался себе. Мальчики уже несколько месяцев были в городе и только сегодня впервые пришли к отцу.

— Вы забили в барабан,— воскликнул Робби,— а это, по уговору, было сигналом к окончанию атаки.

— Не говори глупостей, Робби,— отвечал Гарри,— вы должны были знать, до шести часов оставалось еще целых пять минут.

— Вы нас обманули,— кричал Робби,—это был чистой воды обман!

— Не мели вздора, малыш,— рассердился Гарри.— Не обман, а военная хитрость. Солдат должен быть бдительным до последней минуты. Вы потеряли укрепление по собственной небрежности.

— Хватит! — прекратил их спор Фабиан.— Так, значит, при этой атаке Робби и получил свою шишку?

— Они ударили меня колом по голове, папа.

Гарри гордо показал свой почетный кинжал.

— Я — «фюрер седьмого флажка»,— сказал он внушительно. — Кинжал мне дали за храбрость.

Фабиан улыбнулся.

— А кто ваш фюрер? — спросил он.

Гарри стал навытяжку и, подняв руку, ответил:

— Наш фюрер — штандартенфюрер полковник фон Тюнен, он и построил укрепление.

Наконец, официант принес шоколад и пирожные, и мальчики немного успокоились. Они рассказывали о всевозможных приключениях и о последних событиях в пансионе, где Фабиан часто посещал их.

Там, например, застрелился учитель математики, доктор Шолль, как раз за месяц до того, как они кончили курс.

— Доктор Шолль застрелился? Почему? — спросил Фабиан.

— Ему угрожала потеря места, так как он не вступил в национал-социалистскую партию,— ответил Робби.

— Потому что он был трус,— высказал свое суждение Гарри.

Фабиан покачал головой в знак несогласия.

— Грустно,— сказал он,— очень грустно. Мы все ценили его, как справедливого человека и превосходного педагога. Твое суждение, милый мой, слишком поспешно.

— Стреляются только трусы,— отстаивал свою позицию Гарри.— Национал-социалистская партия осуждает самоубийство как трусость.

Наконец, мальчики коснулись непосредственной цели своего прихода. Речь шла о дне рождения Гарри.

— Первого числа я праздную свой день рождения,— сказал Гарри,— и мы пришли пригласить тебя к нам.

Фабиан подумал.

— Хорошо,— ответил он нерешительно,— я постараюсь быть, Гарри.

— Мама тоже ждет тебя,— снова начал Гарри, а Робби добавил: — Мама приглашает тебя к обеду в день рождения Гарри и просит непременно прийти. Она поручила мне передать это тебе.

Посидев немного, мальчики распрощались.

Фабиан смотрел, как они шли по коридору — Гарри со своим почетным кинжалом и малыш Робби с забинтованной головой и флажком.

«Мои сыновья! — думал он.— Еще много лет они будут нуждаться в руководителе. Хорошо, что они пришли и напомнили мне об обязанностях отца».

XVI

Фабиан часто ужинал с Шарлоттой в гостинице. Время от времени она приглашала его на обед в свою маленькую прелестную квартирку; она сама придумывала и заказывала изысканные кушанья. Это был один из ее талантов. К обеду подавали только самые дорогие рейнские вина и неизменное шампанское. Шарлотта памятовала о просьбе гаулейтера не скупиться.

Постепенно Фабиан привык к Шарлотте, но к красоте ее привыкнуть не мог; каждый день она наново поражала его. Образ Кристы все больше и больше бледнел, хотя тоска от этой потери улеглась не скоро. Свое прощальное письмо к Кристе он сжег. «Какое это было заблуждение! — с упреком сказал он себе.— Прежде всего надо было думать о сыновьях!»

Тоска по Кристе вновь пробудилась в нем, когда однажды из Баден-Бадена пришло письмо от фрау Беаты. К нему был приложен чек на большую сумму. Фрау Беата холодно, но очень вежливо благодарила его за хлопоты и сообщала, что пришла к соглашению с братьями. Ни привета, ни слова от Кристы.

Фабиан вздохнул, покачал головой и спустился в ресторан, чтобы поужинать с Шарлоттой и ротмистром Меном. Мен был назначен заместителем гаулейтера и в его отсутствие вел все дела.

Не удивительно, что Шарлотта, которая спала до двенадцати, а после обеда тратила долгие часы на свой

туалет, по вечерам блистала свежестью. Она кокетничала с ротмистром Меном, вызывающая внешность которого нравилась ей.

— Господин ротмистр,— сказала она ему, смеясь,— у вас такой вид, будто вы не знаете страха. Вы в самом деле ничего не боитесь?

— Помилуйте, я боюсь вашей красоты,— возразил ротмистр.

— Значит, и красота может отпугивать? — Шарлотта сделала удивленное лицо.— А вы, мой друг,— обратилась она к Фабиану,— вы тоже страшитесь моей красоты?

Фабиан покачал головой:

— Нисколько.

— Слава богу! — воскликнула Шарлотта с облегчением и взглянула на Фабиана своими сияющими, прекрасными глазами.— Тогда у меня есть надежда. Я опасалась, что вас мучает несчастная любовь. Вы так часто бываете мрачно настроены.

Весь день Фабиан вспоминал ее взгляд и ее глаза. «Нет,— думал он про себя,— с несчастной любовью покончено навсегда».

Иногда в сумерки он отправлялся погулять с ней, поглядеть на витрины. Ему было приятно показываться с такой красивой женщиной. Люди удивлялись Шарлотте, она казалась им человеком с другой планеты, населенной более красивыми существами.

«Это любовница гаулейтера»,— донеслись до него однажды слова, которые муж шепнул на ухо своей жене.

Любовница? Это слово кольнуло его.

Он редко входил с ней в магазины, когда она делала покупки, так как у нее была дурная привычка намекать на свое интимное знакомство с гаулейтером.

С этих коротких прогулок они возвращались обратно в гостиницу, чтобы еще немного поболтать. Скоро он совершенно позабыл Кристу и даже перестал видеть ее во сне.

Как-то вечером Шарлотта пригласила Фабиана к себе на ужин.

— У меня сегодня праздник! — таинственно сказала она.— А что за праздник, вы узнаете потом.

Он купил на редкость красивые цветы для этого вечера. «Должно быть, она празднует день рождения»,— подумал Фабиан.

В небольшой праздничо освещенной столовой стол был накрыт наряднее, чем когда-либо. Серебро и хрусталь сверкали, в графинах мерцало белое и красное вино.

— Я здесь! — крикнула Шарлотта из маленькой гостиной. Разряженная, она полулежала в кресле и протягивала ему руку для поцелуя.

Фабиан подал ей цветы.

— Богине этого праздника! — сказал он.

Шарлотта тихонько поблагодарила его. По-видимому, ей было не по себе, хотя она выглядела, как всегда, холеной и свежей. Устало и равнодушно взяла она цветы.

— Что с вами, сударыня? — спросил Фабиан, радостно ожидавший этого вечера.

— Сударыня? — переспросила Шарлотта, насупившись, с недружелюбной ноткой в голосе.— Зовите меня просто Шарлоттой.

Он нагнулся к ее руке.

— Что с вами сегодня, Шарлотта?

Она устало улыбнулась. Эта апатичная улыбка встревожила его. Наверно, Шарлотта простужена.

— У меня болит голова, дорогой друг,— сказала она наконец.— Я уже испробовала все средства, но боль не проходит.— Вздохнув, она снова откинулась в кресле и замолчала. Затем стала медленно растирать виски своими нежными пальцами, утверждая, что это единственное средство, которое ей помогает. Может быть, теперь вы попробуете?

— Боюсь, что у меня недостаточно ловкие руки,— ответил Фабиан.

— Напротив, я уверена, что ваша рука насыщена магнетизмом. Все равно, попытайтесь,— упрямо настаивала Шарлотта.

Фабиан послушно приблизился к ней и стал медленно, нежно, по мере сил стараясь не утомить ее, повто-

рять одни и те же движения, водя пальцами ото лба к уху.

— Как хорошо,— прошептала Шарлотта,— чудесно. Я уже чувствую, как меня начинает клонить ко сну. Я ведь всю ночь не спала.— Потом она уже только бормотала: — Хорошо... Замечательно...— И, наконец, лишь приоткрывала губы, как бы силясь сказать: «Замечательно!» Скоро она перестала даже шевелить губами, а Фабиан продолжал делать те же магнетические движения. Лицо ее приняло спокойное выражение.

У него было достаточно времени, чтобы рассмотреть это сказочно красивое лицо, внушавшее ему какую-то робость. Лоб, нос, щеки, губы — как все это было совершенно! Особенно хорош был рот, нежный и вместе с тем выразительный. Более красивого рта Фабиан никогда не видел. По форме ее рот напоминал слегка округленные лепестки роз. Фабиан даже отчетливо разглядел бесконечно нежный светлый пушок на верхней губе. Шарлотта, наконец, испустила чуть слышный вздох и больше не шевелилась. По-видимому, уснула. Повременив немного, Фабиан осторожно отнял руки от ее висков, но когда он хотел было бесшумно встать, ему почудилось, что в уголках рта спящей заиграла улыбка. Мгновение спустя улыбка обозначилась отчетливее, и Шарлотта раскрыла глаза; ее ясный взгляд ошеломил его.

— Я хорошая актриса, правда? — спросила она шепотом.— Как вы думаете, далеко я пойду? — продолжала она уже громче, разражаясь звонким, торжествующим смехом.

Фабиан не мог выговорить ни слова и только кивал — так он был поражен.

Шарлотта же охватила его шею своими нежными руками, с силой, которой он не предполагал в ней, притянула его голову к своему лицу и решительно поцеловала в щеку. Затем она вскочила и громко расхохоталась.

— Вы все еще не боитесь моей красоты? — воскликнула она.— Нет? Ну, давайте начнем наш праздник. И позвонила официанту.

Праздник длился до рассвета, и, расставаясь, они уже говорили друг другу ты.

С того вечера они стали неразлучны. Их часто видели вдвоем в машине. Шарлотта заезжала за Фабианом в бюро, по воскресеньям они отправлялись за город. Так, словно муж и жена, провели они вместе прекрасное лето.

Однажды Фабиан даже взял ее с собой в Берлин, куда он на неделю отправился по делам службы. Красота Шарлотты очаровала всех. Разговоры смолкали, когда она проходила мимо. Ее успех льстил Фабиану.

Впрочем, он замечал, что она не остается равнодушной ко взглядам восхищавшихся ею мужчин. Она широко раскрывала глаза и улыбалась особенной улыбкой — более живой, даже одухотворенной, а иногда более нежной, чем обычно. И смех ее тоже менялся: он звучал громче, победнее, но зато часто казался и деланным, искусственным. Что же касается восхищенных взглядов, которые бросали на нее женщины, то она их просто не замечала. Женщины для нее не существовали.

И вдруг все кончилось.

Однажды долговязый Фогельсбергер с белокурой шевелюрой явился в «Звезду», где они обедали, и обратился к Шарлотте со словами:

— Сударыня, честь имею сообщить вам, что завтра утром в одиннадцать вас будет ждать самолет.

Шарлотта побледнела.

— Самолет? — едва выговорила она.

— Гаулейтер в свое время доставил вас сюда на самолете,— с такой же вежливой улыбкой продолжал Фогельсбергер, затянутый в черный мундир,— и теперь считает своим долгом тем же способом доставить вас домой. Мне дано почетное поручение сопровождать вас до Вены и высадить на венском аэродроме. Таков приказ.

Глаза Шарлотты сверкали. Она все еще была бледна.

— А если я откажусь от этого самолета? — спросила она.

От удивления Фогельсбергер лишился дара речи. Он

с улыбкой взглянул на Шарлотту. Она бесконечно нравилась ему. Он был один из немногих, видевших ее в день рождения гаулейтера, когда она танцевала голая на столе красного дерева. На ней было лишь коротенькое трико, и это поразительное зрелище врезалось ему в память на всю жизнь. Все это он вспомнил сейчас.

Все еще с улыбкой глядя на Шарлотту, Фогельсбергер ответил:

— Как ваш друг и почитатель я не советую вам этого делать. Вы знаете, что я хочу вам добра. Итак, утром, точно в половине одиннадцатого, я приеду за вами.— Щелкнув каблуками, Фогельсбергер удалился.

XVII

Внезапный отъезд Шарлотты был для Фабиана крайне неприятной неожиданностью. Он привык к ней и не забывал, что она, сама того не зная, помогла ему пережить трудную пору.

Впрочем, к собственному удивлению, он не был огорчен тем, что она уехала, не ощущал тоски или боли. Наоборот, ему стало легче, привольнее. Шарлотта принадлежала к людям, о которых забывают, едва только за ними захлопнется дверь. После нее осталось лишь воспоминание о ее красоте.

«Одной красоты, значит, недостаточно,— думал он, одиноко сидя за бокалом вина в «Звезде».— В человеке мы любим совсем другое». Вспоминая о Кристе, он почти стыдился, что отдал так много Шарлотте, женщине, которая стояла настолько ниже Кристы.

Временами трудно бывало не замечать за красотой Шарлотты ее пустоты и самомнения. Красота стала для нее проклятием: к людям она подходила с одной лишь эстетической меркой, не интересуясь их моральным и духовным обликом. «Говорят, что моя красота околдовывает мужчин»; «говорят, что мой смех возвращает к жизни даже мертвых». Ему вспоминалось много таких изречений Шарлотты.

Для нее самой ее красота стала центром мира, вокруг которого вертелось все. У нее было лишь одно желание — чтобы на нее молились, чтобы ее боготво-

рили. Мужчина должен быть ее рабом и слугой, замечать только ее и видеть цель своей жизни только в поклонении ей.

Ему вспомнилась надменность, с которой она судила о женщинах, на ее взгляд недостойных внимания. Как часто он резко осуждал ее самомнение. Теперь он не мог без смеха вспомнить некоторые ее замечания. Когда, бывало, мимо проходила полногрудая дама, она говорила: «Будь у меня такая грудь, я покончила бы с собой». О женщине с большими ногами она сказала: «Лучше обрубить себе пальцы топором, чем ходить на таких ногах».

— Итак, прощай, Шарлотта,— сказал Фабиан и поднял бокал. Уже прошло три дня с ее отъезда; и нельзя было сказать, чтобы Фабиан очень горевал.

Впрочем, один вопрос не переставал занимать его. Почему гаулейтер так внезапно отослал Шарлотту в Вену? Тут должна была быть какая-то причина. Но как Фабиан ни ломал себе голову, он не мог проникнуть в эту тайну. Наверно, просто каприз гаулейтера.

Теперь этот вопрос снова стал его беспокоить. Уже прошло несколько недель после отъезда Шарлотты, как вдруг гаулейтер без всяких объяснений приказал ему явиться в Эйнштеттен. «Неужто он поставит мне в вину то, что я так часто показывался с Шарлоттой на людях?» На душе у Фабиана было скверно.

Но Румпф и не вспоминал об этом; да и вообще словом не обмолвился о Шарлотте. В «замке» Фабиану сказали, что гаулейтер ждет его в бильярдной. Он очень удивился, когда оказалось, что Румпф — он был без пиджака и с кием в руке — не один. У бильярда стояла черноволосая молодая женщина с загорелым лицом,

— Эта дама утверждает, что знает вас,— сказал Румпф, по-видимому превосходно настроенный.

Фабиан поклонился молодой женщине. В эту минуту она обернулась к нему. Марион! Нет, видно, уж нечему удивляться на этом свете! Однажды он встретил у гаулейтера самую красивую женщину Австрии, а теперь вот — свою хорошую знакомую, еврейку.

— Марион! — радостно воскликнул удивленный Фабиан.

Румпф громко расхохотался. Такого рода сюрпризы были в его вкусе.

— Да, это я,— приветствовала Марион Фабиана. Она засмеялась своим сочным, свежим смехом и вся залилась краской смущения. — Вы видите меня здесь в двойной роли,— сказала она: — учительницы итальянского языка и ученицы, обучающейся игре на бильярде.

Румпф все еще раскатисто смеялся, намеливая свой кий.

— Вы только посмотрите на эту девушку! — воскликнул он.— Ведь ее слова звучат как извинение? Можно подумать, что у меня с ней шашни завелись.

Марион покраснела еще сильнее. Она не удостоила Румпфа взглядом и снова занялась бильярдными шарами.

А Румпф, все еще продолжая смеяться, обратился к Фабиану:

— Ведь я еще никогда не подходил к ней на более близкое расстояние, чем к вам,— сказал он.— Фрейлейн Марион действительно дает мне уроки итальянского языка. Но я совершенно неспособен сидеть за столом как послушный школьник. Вот мне и пришла в голову мысль: нельзя ли соединить болтовню по-итальянски с игрой на бильярде? Представьте, это оказалось возможным. Или нет, professora? [1].

— Eccelentissimo, commodore! [2] — откликнулась склонившаяся над бильярдом Марион.

— Professora и commodore,— пояснил Румпф,— так мы друг друга титулуем. Вы удивитесь, — продолжал он, — успехам, которые фрейлейн Марион сделала за такое короткое время. Просто невероятно! Скоро мне уж нечему будет ее обучать.

Фабиан наблюдал Марион за игрой. Она и вправду играла отлично. Прекрасная теннисистка, она, конечно, с легкостью научилась игре на бильярде, требовавшей быстроты глаза и физической ловкости.

В это мгновение Марион, низко склонившаяся над

[1] Учитель *(итал.)*.

[2] Великолепно, начальник! *(итал.)*.

бильярдом, ударила мимо лузы, покачала головой и громко рассмеялась.

— А ведь это труднее, чем кажется! — воскликнула она.

— Ваш удар был слишком слаб, вот и все,— заметил Румпф.— Ну, а теперь, professora, сделаем небольшой перерыв и выпьем чаю. Прошу вас, пройдемте сюда.

В одном из углов бильярдной на возвышении была устроена ниша для зрителей и гостей; сейчас в этой нише был сервирован чай.

— Дорогой друг,— с улыбкой обратился гаулейтер к Фабиану,— вы сердцевед и уж, наверно, давно заметили, что Марион привлекла к себе все мои симпатии.

— Commodore,— сказала, смеясь, Марион,— по-видимому, я вам мешаю.

— Очень трудно не считать Марион крайне симпатичной,— убежденно сказал Фабиан.

— Трудно? Вы говорите, трудно? — подхватил Румпф.— Уверяю вас, это невозможно. И, тем не менее, клянусь вам, что я ни разу не решился даже руку ей поцеловать, до того она чопорна и неприступна.

Марион что-то весело возразила ему.

А Румпф продолжал смеяться.

— Да, чопорна и неприступна! — повторил он.— А кроме того, к ней еще и опасно приближаться,— закончил он.

Марион нервно откинула черные локоны со лба и хотела было встать.

— Commodore, — снова воскликнула она и повторила свои возражения по-итальянски, так что Фабиан не все понял. Ему еще никогда не случалось видеть, чтобы гаулейтер так по-приятельски обходился с кем-нибудь.

А Румпф все смеялся.

— Простите, professora,— сказал он.— О кинжале я промолчу.

— Пожалуйста, рассказывайте! — воскликнула Марион, краснея до корней волос.

Румпф обернулся к Фабиану.

— Дело в том, что Марион всегда носит при себе

кинжал,— сказал он.— Этот кинжал, если понадобится, она пустит в ход против всякого, кто бы он ни был. Даже против меня.

Марион вдруг побледнела и вскочила.

— Разрешите мне удалиться, господин гаулейтер,— сказала она официально и строго.

Румпф сразу перестал смеяться. Он огорченно посмотрел на Марион.

— Но ради бога, Марион! — воскликнул он.— Неужели вы не понимаете шуток? Я был бы очень огорчен, если б вы ушли из-за моей глупой болтовни. Прошу вас, пейте чай и улыбнитесь в знак того, что вы уже не сердитесь.

«Он говорит с ней, как с ребенком, — подумал Фабиан.— А ведь Шарлотта, пожалуй, права, он не умеет обходиться с женщинами».

Марион снова села. Она улыбалась, хотя глаза ее были полны слез.

— Простите, Марион,— сказал Румпф.— Я сегодня в задиристом настроении.

Посещения Марион превратились в привычку для гаулейтера. Он пытался бороться с этой привычкой и несколько раз отменял свои приглашения.

«К черту! К черту! — ругался он, скрежеща зубами.— Спятил ты, что ли? Оставь в покое эту надменную еврейку, есть столько других женщин!»

Но из этой попытки ничего не вышло. Мучительное беспокойство терзало его, несколько дней он был до того не в духе, что даже напился. Черт возьми, что же случилось с ним? Он сам себя не узнавал. На следующий день он позвонил Марион и успокоился лишь после того, как увидел ее. Так вот до чего уже дошло!

«Хорошо,— сказал он себе,— тут ничего не поделаешь. Придет день, когда ей самой наскучит эта платоническая чепуха. В конце концов она молодая женщина».

XVIII

Беспорядки начались летом, когда Шарлотта еще была в городе.

Однажды Шарлотта и Фабиан отправились за по-

купками на Вильгельмштрассе, но им преградили путь три больших грузовика. Машины были битком набиты ландскнехтами в коричневых мундирах, горланящими и улюлюкающими; их вызывающие физиономии и наглые жесты возбуждали негодование прохожих. По-видимому, они были пьяны. Грузовики останавливались у ресторанов, кондитерских, кафе, у еврейских магазинов. Наглые ландскнехты угрожали перепуганным прохожим на улицах и врывались в квартиры. Своими зычными, грубыми голосами они выкривали хором: «Еврей, берегись! Еврей, берегись! С. А. начеку! С. А. начеку!»

Затем машины с ревом трогались, чтобы вскоре снова остановиться; гнусные выкрики ландскнехтов разносились по городу.

Этот шум поверг каждую улицу и весь город в страх и смятение. Что это? Покой города, до сих пор чинного и благонравного, был внезапно нарушен; испуганные жители недоумевали, почему полиция потворствует этому безобразию — улюлюканью, гиканью. К тому же никто не знал этих коричневых ландскнехтов; они со своими грузовиками вынырнули неизвестно откуда и неизвестно когда.

Так это началось.

А глубокой осенью, вернее в начале зимы, город вдруг огласился сигналами пожарной тревоги и дикими криками испуганных людей. Пожарные машины, тяжелые грузовики, грохочущие телеги неслись по улицам, пронзительные сирены пожарных прорезали воздух, испуганные жители распахивали окна. Небо было объято кроваво-красным заревом.

Улицы наполнились топотом тревожных шагов, отчаянные вопли понеслись из мрака:

— Синагога горит!

Да, синагога, старинное добротное здание, полыхала огнем. Она загорелась внезапно, как и множество других синагог в Германии в ту же самую ночь, и выгорела до основания; к утру от нее осталась лишь куча тлеющих балок и дымящегося щебня. Пожарные команды не покладая рук отстаивали бензинохранилище, расположенное по соседству.

Но пожар синагоги был не единственным ужасом этой страшной ночи. Земля разверзлась, и ад выпустил на город полчища дьяволов. По улицам снова мчались большие грузовики с горланившими коричневыми ландскнехтами. Звон, треск и грохот наполняли город. То тут, то там вдребезги разлетались окна. Витрины всех еврейских магазинов были разбиты. Великолепные торговые помещения ювелира Николаи разгромлены. Осколки зеркальных стекол, словно толстый слой льда, покрыли тротуары. Ну, а кто знал, что Николаи еврей? Разве не у него в витрине была выставлена брильянтовая свастика, собственность Цецилии Ш.? И шкаф в стиле барокко купца Модерзона? За одну ночь Николаи был разорен дотла. Все витрины и сейфы были взломаны и разграблены, сотни колец, золотых цепочек, часов украдены. Из пригородов валом валили всякие темные личности, подбиравшие то, что не успели захватить другие. То же самое произошло и со многими другими еврейскими магазинами. Цветочный магазин Розенталя был разнесен в щепы. Оголтелые банды наполовину разрушили и разграбили универсальный магазин братьев Френцель. Осколки стекол кучами лежали вокруг пятиэтажного здания. Огромные рулоны сукон и кипы бельевой ткани были облиты бензином и зажжены, мебельные гарнитуры разрублены и брошены в огонь. Пылающие занавески и гардины взлетали над крышами, обугленная кушетка еще несколько дней свисала из окна верхнего этажа. Фарфор, стеклянные изделия и зеркала попросту сбрасывались в пролет лестницы так, что звон и грохот были слышны на мили кругом; ковры и дорожки вышвырнули на улицу. Пальто и костюмы растащили.

Орды, потерявшие всякий человеческий облик, врывались в еврейские квартиры, топорами выламывали двери и озверело накидывались на мебель и посуду. Они вспарывали ножами перины, и перья носились в воздухе, как снежные хлопья. Служанку, которая пыталась отстаивать имущество своих хозяев, коричневые ландскнехты закололи, а больного старика вместе с кроватью вышвырнули из окна во двор, где он к утру и умер. Врача-еврея, поспешившего к нему на помощь,

избили до полусмерти и потом арестовали. Из узких улочек старого города — Гербергассе, Шпитальгассе и Гензевега — неслись пронзительные крики. Целый день раздавались душераздирающие вопли и громкий плач детей и женщин. Эти вопли наполняли темноту и вонзались в сердца людей, как лезвие ножа.

Ужас, ужас и ужас! Отчаяние объяло город.

Наутро после наваждения той страшной ночи все ходили как неживые. Даже некоторые нацисты стыдились того, что произошло, но другие только злобно радовались. Многие мужчины плакали; целый день по улицам громыхали подводы, до верха груженные осколками стекол; евреям пришлось внести штраф в десять миллионов марок за убытки, которые причинили им нацисты.

Маленький Робби, страшно возбужденный, прибежал к отцу в бюро поделиться с ним своими сомнениями.

— Ты слышал, отец, на Шпитальгассе выбросили с третьего этажа двенадцатилетнюю девочку?

Фабиан, окончательно сбитый с толку всем случившимся, успокаивал его, как мог.

— Послушай, дорогой Робби,— сказал он сыну, гладя его по щеке,— не повторяй всего, что болтают люди. Ты и представления не имеешь, сколько сейчас лгут и выдумывают.

— Мама тоже говорит, что все это враки, выдуманные врагами национал-социалистской партии! — воскликнул Робби.

— Мама хочет успокоить тебя, Робби, но, конечно, многое преувеличено. А что говорит Гарри?

— Гарри говорит, что евреям так и надо.

Фабиан густо покраснел.

— Передай Гарри, что он рассуждает как уличный мальчишка. А ты, Робби, живо сбегай на Шпитальгассе и узнай, что с той девочкой. Затем ты вернешься ко мне и расскажешь, как было дело. Идет?

Через час Робби вернулся сияющий.

— Про девочку все выдумали,— объявил он.

— Вот видишь, Робби,— обрадовался Фабиан.— Что я тебе говорил? Не надо верить всему, что болтают.

XIX

Состоятельные евреи объединились, купили убогий танцевальный зал в Ткацком квартале и быстро, без огласки перестроили его под молельню. Они не жалели расходов и платили немногочисленным рабочим, большей частью старикам, почасовую плату в пятикратном размере. Через две недели молельня была готова и освящена торжественным богослужением. Но уже вечером она сгорела.

В этот вечер Вольфганг приехал в город, чтобы встретиться с Глейхеном в ресторане «Глобус». Уже смеркалось, когда он в наглухо застегнутом пальто обошел все переулки и улицы, где хозяйничали разбойники. Иначе он их не называл.

«Они преступники,— думал он.— Мы знали это давно. Но одураченный народ еще и по сей час этого не понимает. У него есть жратва и питье, а до остального ему дела нет. Да и что может народ, если Шелльхаммеры и прочие миллионеры, если промышленники и угольные магнаты поддерживают этих преступников и жертвуют им миллионы?»

Он чуть было не столкнулся нос к носу с одним из этих коричневых ландскнехтов, но тот вовремя отскочил.

— Поосторожней! — крикнул Вольфганг коричневорубашечнику. Сегодня задевать его было опасно.

«Честь Германии втоптана в грязь,— скорбно думал он, продолжая путь.— Мы докатились до того, что стыдно называться немцем! Позор и стыд, стыд и позор! — как говорит Глейхен. Прощайте, друзья мои в Париже, в Лондоне, во всем мире! У меня не хватит мужества снова показаться вам на глаза. Проклятие обрушилось на меня! Вам этого не понять! Проклятие обрушилось на меня и на весь немецкий народ! Немецкий народ доверился мошенникам и лжецам, потому что им доверились сильные и богатые. Вот в чем его вина! Судите сами, могут ли люди, у которых нет ничего, кроме рубашки на теле, не доверять тому, кому верят сильные и богатые,— ведь им-то есть, что терять! Вот проклятие, которое обрушилось на меня.

Друзья мои в Париже, в Лондоне, во всем мире, вы умны, проницательны и, должно быть, жалеете меня, но вам не понять моего горя! Прощайте, прощайте навсегда!»

Сумерки тяжело опускались на город, как печаль на сердце Вольфганга. От реки по улицам расползался туман, окутывая все вокруг легкой пеленой.

Вольфганг очутился вблизи ратуши и вдруг увидел толпу людей на Рыночной площади; среди них было много молодчиков в коричневых рубашках. Они, казалось, любовались каким-то интересным зрелищем. Лица у них были веселые, многие громко хохотали. Вольфганг, любопытный от природы, подошел ближе. Что это так потешает их?

Сначала он сам чуть было не расхохотался. На первый взгляд казалось, что на Рыночной площади толкутся и танцуют пьяные. Но это были не пьяные. Это были призрачные фигуры, расчищавшие метлами Рыночную площадь. В свете фар стоявшего на площади автомобиля они отбрасывали огромные тени на стены домов. Да, картина это была фантастическая и причудливая, так что смех разбирал. Приблизившись, Вольфганг заметил, что некоторые метельщики были в цилиндрах. Он вздрогнул и подошел еще ближе. Метельщики улиц в цилиндрах? Фантастическое и страшное зрелище! Вдруг он увидел, что это евреи. А прислушавшись к толкам возбужденных людей, быстро сообразил, что значит это позорное зрелище. Евреи, говорили в толпе, сегодня вечером освятили новую молельню. Когда они возвращались в город, их задержали коричневые орды. Им сунули в руки большие метлы и заставили подметать улицу. Смех, которым Вольфганг чуть было не разразился, замер на его губах. Он побледнел от негодования. Почтенные люди, большей частью пожилые, иные в черных сюртуках и цилиндрах, разыгрывали странную комедию на потеху гогочущей и горланящей толпы.

В это самое мгновение неподалеку от фонтана его работы он заметил старика в черном сюртуке с белой бородой и с цилиндром на голове; лицо старика показалось ему знакомым. Как и другие несчастные, он

силился справиться с длинной метлой, но от непривычных движений шатался из стороны в сторону, бледный и изнеможенный. Длинная палка, на которую была насажена метла, стукаясь о поля цилиндра, сбила его с головы старика низко на лоб; казалось, что старик пьян. Боже мой, да ведь это его старый друг, медицинский советник Фале. В мгновение ока Вольфганг оттолкнул гогочущих молодчиков и ринулся к советнику.

Вырвав у него из рук метлу, он крикнул:

— Это занятие не для вас, мой друг!

Медицинский советник Фале испуганно отпрянул и хотел снова схватить метлу.

— Но и не для вас, дорогой профессор! — воскликнул он.

Но Вольфганг, не выпуская метлы из рук, уже принялся мести, как и все прочие. Внезапно он почувствовал, что его схватили за руку.

— Что вы делаете? — крикнул кто-то над его ухом.— Убирайтесь к черту!

Тут же подскочил второй верзила. Он кричал что-то об аресте.

Вольфганга силой загнали в ближайшую улицу, которую он тотчас же узнал. Это была Хейлигенгейстгассе. Узнал он также и помещение, куда его втащили,— та самая комната, где его однажды допрашивало гестапо. Она была битком набита людьми, кричавшими и плакавшими.

Вольфганг не успел еще сыскать местечко, чтобы присесть, как всех арестованных выгнали на улицу и втиснули в какую-то машину. При этом один из молодчиков сильно ударил его по правому уху.

Машина эта была одним из тех небольших автобусов, которые теперь курсировали по асфальтированным улицам города с промежутками в десять минут. Таубенхауз в свое время пустил на линию тридцать таких машин, изготовленных на заводах Шелльхаммеров. Почти оглушенный ударом в ухо, Вольфганг, покорившись своей участи, забился в угол. Машина тронулась. «Вот они и схватили тебя,— думал он.— И понемногу выловят всех, кто отказывается выть по-волчьи,— всех,

всех, одного за другим, и тебя они в конце концов тоже поймают, Глейхен». Ни о чем другом он думать не мог.

Как ни был он растерян, он заметил, что большинство находившихся в машине — евреи, женщины и мужчины; среди них было несколько человек ремесленников, каменщиков, плотников. И все они, по-видимому, были так живо заинтересованы каким-то происшествием, что забыли о собственном несчастье.

Отблеск пожара полыхал в окнах автобуса.

— Да, да, это горит новая молельня в Ткацком квартале! — сказал невысокий кривоногий старик-каменщик в замазанных известкой рабочих штанах.

— Боже праведный! Они подожгли новую молельню! — запричитал какой-то еврей и стал рвать на себе волосы.— На Шиллергассе они вчера выбросили женщину из окна,— продолжал он, пристально вглядываясь в лица своих спутников.— Она сломала себе обе ноги. Они выбросили и ребенка, он тут же умер. Что за времена! Боже праведный!

Молодчик, стоявший на подножке автобуса, открыл дверцу и крикнул: — Замолчите, или я вас всех перестреляю!

Мучительная гримаса исказила лицо Вольфганга. «Хотел бы я, чтобы Глейхен очутился здесь, или еще лучше, мой братец! Пусть бы посмотрел, как они обходятся с людьми». И он стал испуганно ощупывать свой бумажник. Не потому, что беспокоился за его сохранность, а чтобы убедиться, что там еще лежит «виргиния».

Да, «виргиния» еще лежала в бумажнике; он вздохнул с облегчением, бесконечно счастливый тем, что сигара цела, заранее предвкушая удовольствие курения. Как ни странно, но в мыслях у него не было ничего, кроме такого вот вздора.

Теперь, когда автобус шел полем, видно было, что далеко в городе пылает пожар. Старик-еврей снова громко запричитал. «Боже праведный! — восклицал он.— Какие времена! боже праведный!»

Машина остановилась. Они прибыли.

Солдат, подгоняя арестантов, стал бить их прикла-

дом по ногам; все быстро высыпали из машины. Вольфганг с распухшим ухом,— ему казалось, что оно стало величиной с голову,— вылез последним; мысли его все еще были прикованы к сигаре. Арестованные стояли в кромешной тьме перед оплетенными блестящей проволокой воротами, которые вдруг широко распахнулись перед ними. Теперь он понял, где находится.

Находились они в Биркхольце, который Вольфганг знал по фотографиям.

Ворота закрылись за ним, и он зашагал к выбеленной башне, над дверьми которой черными жирными буквами стояло: «Равенство! свобода! братство!» Часовой крикнул, чтобы он поторапливался, и Вольфганг быстро пошел по пустому длинному проходу, в котором исчезла толпа арестованных евреев. В конце прохода он увидел человека, за одну руку подвязанного к потолку; у него был вид висельника. Но он еще жил, лицо у него было красное, мокрое от пота, из перекошенного рта сочилась слюна. Он смотрел на Вольфганга невидящими, налитыми кровью глазами и непрестанно шевелил голыми грязными ногами, пытаясь пальцами коснуться пола.

— Эге, да ты все еще болтаешься здесь! — закричал часовой и нагло расхохотался. — Что, небось, к ночи-то стало попрохладней? — С этими словами он пинком ноги открыл дверь и втолкнул Вольфганга в маленькую комнатку, где за столом сидел человек с черной курчавой бородой и карандашом в руках.

— Хейль Гитлер! — крикнул человек с черной курчавой бородой; череп у него побагровел от злости.— Не знаешь, что ли, как вести себя, негодяй?

Вольфгангу показалось, что ухо его превратилось в баллон, привешенный к голове. Кровь бросилась ему в лицо.

— Арестовали меня и еще требуете вежливости? — отвечал он коротко и резко.

— Что? — зарычал человек, приблизив к Вольфгангу свой ярко-красный череп.— Вилли, поди сюда.

В комнату вошел приземистый человек в арестантском кителе, сером в белую полоску. У него было бледное лицо и острый кривой нос.

— Этого мерзавца надо обучить хорошим манерам, Вилли! — крикнул человек с черной курчавой бородой.

Толстяк в арестантском кителе подошел к Вольфгангу и снизу вверх посмотрел на него косыми глазами. В ту же секунду он поднял руку и со страшной силой ударил Вольфганга под подбородок.

Вольфганг упал, как подкошенный.

XX

В вечер, когда сгорела еврейская молельня, свыше сотни евреев было арестовано, многие бежали или скрылись куда-то. Среди задержанных на Рыночной площади находился и медицинский советник Фале. Арестованы были все ремесленники, каменщики, плотники, столяры, работавшие на постройке новой молельни,— гаулейтер квалифицировал это как провокацию,— а также все поставщики материалов, не являвшиеся членами нацистской партии. Гестапо оказалось известным все, вплоть до самых ничтожных подробностей, и это было уже просто страшно.

Горожане обезумели от страха. Они не решались перемолвиться словом даже с лучшими друзьями: а вдруг те состоят на службе в гестапо? С этого дня все ушли в себя, и грозная тишина водворилась в некогда столь веселом городе. Подозрение внушали слуги, мастеровые, поставщики, весь мир. Единственный, кто еще отваживался говорить откровенно, был «неизвестный солдат», продолжавший рассылать свои анонимные письма.

«Остерегайтесь шпионов! — писал он.— Остерегайтесь ротмистра Мена, выброшенного из армии за грязные истории с женщинами. Он руководил погромом в день пожара синагоги! Остерегайтесь долговязого Шиллинга, начальника местного отделения гестапо! Он организовал поджог молельни в Ткацком квартале. Остерегайтесь очкастого Орловского — он начальник шпионов». «Неизвестный солдат» называл еще много других имен.

Кто был этот очкастый Орловский? Бывший судебный исполнитель, выгнанный со службы за пьянство.

Теперь, элегантно одетый, он каждый вечер сидел в ресторане, протирал свои очки и пил до потери сознания. Когда он входил, все умолкали. Он вращался в лучшем обществе, дружил с баронессой фон Тюнен, к которой часто являлся на «чашку чая», был чуть ли не постоянным гостем в салоне Клотильды.

Когда на следующий день гаулейтер Румпф увидел в списке задержанных имя Фале, он пришел в бешенство, и ротмистр Мен, вручивший ему этот список, даже испугался, как бы гаулейтер не прибил его.

— Нельзя же ученого с мировым именем арестовать, как мальчишку! — орал Румпф.— Где были ваши глаза? Я поставлю к стенке этого идиота Шиллинга, я прикажу запороть до смерти всех этих идиотов, Мен! Слышите, до смерти!

Ротмистр Мен, бледный, как полотно, щелкнул каблуками. Он стоял неподвижно, как труп, не шевеля ни единым мускулом. «Терпение,— говорил он себе,— это пройдет. Поди отгадай все его мысли! Какое мне дело в конце концов до этой еврейской девушки, в которую он втюрился. Стоит мне доложить кому следует, и он полетит ко всем чертям!»

— Я тотчас же протелефонирую коменданту Биркхольца,— смиренно отвечал он.— В случае с Фале произошла роковая ошибка. Я сам поеду в Биркхольц.

— Да, и сию же минуту, если вы не хотите, чтобы я уложил вас на месте!—заорал багрово-синий Румпф и швырнул тяжелую бронзовую чернильницу вслед Мену.

Медицинский советник Фале в это время был с другими арестованными на «заутрене». Так называли в лагере утренние упражнения, состоявшие в том, что арестанты-евреи бегом, один за другим, носились вокруг внутреннего лагерного двора, с грузом от шести до восьми кирпичей на груди. Несчастному, который уронит кирпич или не поспеет за другим, угрожало тяжелое наказание: двадцать пять палочных ударов по голому заду. Об этом только что грозным голосом возвестил широкоплечий, одетый с иголочки офицер-эсэсовец. Сверкая лаковыми сапогами, с двумя огромными буль-

догами на привязи, он стоял у решетки внутреннего двора.

Фале ковылял на своих слабых ногах вслед за плотным евреем с короткой шеей, стараясь соблюдать дистанцию в колонне, которая бежала по кругу, словно подгоняемая бичом. Через несколько минут силы Фале иссякли, в ушах у него, казалось, работал мотор. Это было его собственное свистящее дыхание. То у одного, то у другого скатывались кирпичи — один, два, вся ноша,— несчастные падали в поросший травою песок, к ним тотчас же подбегали люди в черных мундирах и били их палками из орехового дерева. Если же человек был не в состоянии подняться, его оттаскивали в сторону, и тогда появлялся арестант в сером полосатом кителе, эсэсовец по имени Вилли, который стремительно, как коршун, набрасывался на упавшего и начинал наносить медленные, страшные удары потерявшему сознание арестанту, громко отсчитывая каждый удар.

Фале, уже почти без сознания, продолжал бежать. Вдруг короткая шея перед ним исчезла; бежавший впереди толстый человек упал со всеми своими кирпичами, и Фале пришлось сделать большой крюк, чтобы не споткнуться о него. В этот момент, хотя он был уже близок к обмороку, до него донесся громкий голос с неба, звавший: «Фале! Фале!» Да, да, ему почудилось, что этот голос раздается из дыры в небе, и он взглянул вверх. В то же мгновение все кирпичи один за другим соскользнули с его груди. Это была катастрофа! Остатками своего сознания он понимал, что это гибель, но, как ни странно, отнесся к этому безучастно. Вдруг вся колонна остановилась, он услышал звук падавших кирпичей и увидел, что многие, обессилев, бросились на землю.

«Фале! Фале! Медицинский советник Фале, профессор Фале!»

Сомнений не было, это относилось к нему. Медленно, без единой мысли в голове поплелся он через двор. Рядом с высоким, широкоплечим офицером, державшим на привязи бульдогов, стоял коренастый человек в черной форме с наголо остриженной круглой головой

и приветливо улыбался. Он даже сделал несколько шагов ему навстречу и чуть-чуть приподнял руку.

К его большому сожалению, произошла досадная ошибка, он просит медицинского советника Фале извинить его.

Фале понял только, что он свободен и что высокий офицер выведет его отсюда, но воспринял все это равнодушно; он еще с трудом переводил дыхание.

Арестант в полосатом кителе, которого здесь звали Вилли, стремительно, как коршун, подлетел к нему с сюртуком и цилиндром. Этот Вилли был преступник, приговоренный к смерти. Комендант с недели на неделю отсрочивал ему исполнение казни за хорошее поведение.

Наголо остриженный офицер снова подошел и поднял руку в знак приветствия. Фале приподнял цилиндр.

Все еще задыхаясь, Фале апатично поплелся за высоким офицером. Проходя рядом с ним через белую башню, он даже не обратил внимания на мертвеца, привязанного за руку к вбитому в потолок костылю и неподвижно висевшего в проходе.

Часовой открыл большие решетчатые ворота, и Фале очутился на свободе. Через несколько минут он дошел до большой дороги и присел передохнуть у канавы.

Он сидел довольно долго, пока сердце его не стало биться ровнее. Человек в черном сюртуке и цилиндре, с редкой седой бородой и черными глазами привлекал любопытство прохожих крестьян. Они понимали, что это отпущенный на свободу арестант из Биркхольца; скорей всего один из евреев, арестованных накануне. Многие приветливо здоровались с ним, а один даже рассказал, как, минуя город, кратчайшим путем добраться до Амзельвиза.

Но Фале еще долго сидел и слушал жаворонка, заливавшегося высоко в небе. Эти трели растрогали его до слез; он видел, как жаворонок — серенькая, неприглядная птичка — спустился на землю и просеменил по траве. Песня жаворонка оживила его, и он стал собираться с мыслями. Потом встал и пошел домой.

«Душа человека необъяснима,— думал он.— Никто

не станет этого отрицать. И какие миазмы поднимаются со дна человеческой души, этого не знает никто».

Тщетно пытался он отогнать воспоминания о том, что видел в Биркхольце; эти картины неотступно, упорно преследовали его, стояли перед ним с полной отчетливостью.

Крестьяне, работавшие на полях, удивленно смотрели на человека в черном сюртуке и цилиндре, который шел и что-то бормотал про себя. Сначала они думали, что он возвращается с похорон. Но потом решили, что этого человека выпустили из Биркхольца и он слегка тронулся.

«Как это трагично,— продолжал думать Фале,— как несказанно трагично, что таинственные миазмы поднялись со дна немецкой души». С цилиндром в руках он пересек молодую березовую рощу, радуясь светлой зелени и солнечным бликам на траве между белых стволов. «Как я скорблю о немецком народе, ведь то, что мне пришлось пережить,— это болезнь народной души». Он думал о том, что истории известны примеры непостижимых душевных заболеваний целых народов, детские крестовые походы, например, или инквизиция, или французская революция. Все это случаи загадочного массового психоза. Душа человека еще далеко не исследована и задает все новые и новые загадки. Но душа немецкого народа тяжко больна, и если чудо не спасет немецкий народ, то он обречен на гибель.

Березовая роща мало-помалу перешла в высокий буковый лес. И если вся она звенела щебетом птиц, то среди высоких буков царила полная тишина. Только однажды Фале услышал тихий шелест и увидел одинокую сойку, семенившую по краю широкого солнечного пятна: ее крылья отливали стальной синевой. Он остановился, чтобы не вспугнуть ее. Но она вдруг поднялась и улетела, а с высокого бука вниз головою ринулась на соседнее дерево рыжая белочка.

Медицинский советник Фале не спешил. Это была удивительная прогулка, насыщенная созерцанием и философскими размышлениями. Лишь под вечер добрался он до дома и удивился, когда Марион в слезах бросилась ему на грудь.

Страшную, мучительную ночь провела Марион. Ночь ужаса и отчаяния. Утром она уже совсем было решила пойти к гаулейтеру, который не раз просил ее немедленно обращаться к нему в случае каких-либо неприятностей, как вдруг ее всполошил телефонный звонок. Дрожа всем телом, она подошла к аппарату, но дружелюбный тон ротмистра Мена успокоил ее. Произошла досадная ошибка, через час он лично привезет медицинского советника домой.

Ротмистр Мен в самом деле был в Биркхольце, но разминулся с медицинским советником, так как тот пошел лесом. Теперь Марион была вне себя от радости.

— Где ты был, папа, что они сделали с тобой? — допытывалась она сквозь слезы.

— Все это не так страшно,— ответил Фале и улыбнулся,— ничего плохого со мной не случилось. Ошибка, которая очень скоро разъяснилась. Потом я все расскажу. Я чудесно прогулялся по буковому лесу. Но теперь я страшно голоден.

Фале с трудом поднялся в свою библиотеку.

Но когда Марион пришла, чтобы позвать его обедать, он сидел в библиотеке на кушетке и плакал. Внезапно этот плач перешел в истерические рыдания.

— Присядь ко мне, Марион,— таинственно сказал он ей, тихо плача,— но только, смотри, будь осторожна и никому не передавай того, что я тебе скажу. Это трагедия! Немецкий народ гибнет! Он попал в руки преступников. Но молчи, Марион, слышишь? Молчи!



I



Политический салон Клотильды, недавно окрещенный «Союзом друзей», процветал. О докладах, устраивавшихся каждую неделю, сообщалось в «Беобахтер»; они всегда собирали большое количество слушателей. С тех пор как баронесса фон Тюнен привела с собой дам из руководимого ею национал-социалистского женского союза, салон был почти всегда переполнен. Клотильда уже не нуждалась в визитах обер-лейтенанта фон Тюнена и его приятелей. Господа офицеры утратили воодушевление, необходимое для столь большого дела. Они еще приходили выпить рюмку — другую кюммеля или шартреза, но, с тех пор как Клотильда распорядилась подавать после докладов только чай, вообще перестали появляться. Их интересовали лишь военные доклады, и Клотильда принуждена была согласиться, что доклад полковника фон Тюнена «О героях Дуомона» имел большой успех. Чисто политические темы, по-видимо-

му, нисколько не занимали молодых офицеров, Клотильда же заботилась именно о политическом просвещении членов Союза друзей.

Когда дошла очередь до доклада Менниха, известного профессора Кенигсбергского университета, Клотильда решила, наконец, отбросить «свою смехотворную скромность», как она выражалась, и пойти «напролом». Что подразумевалось под этим «напролом», она не пояснила. Но доклад профессора Менниха давал ей достойный повод показать себя. Профессор Менних, научное светило национал-социалистской партии, говорил о «тревожных сигналах в Польше». Этот доклад, читавшийся во многих крупных городах, всюду вызывал огромный интерес. Да, прочь бессмысленную скромность!

— Чем мы были до сих пор? Кружком, который собирался за чашкой кофе, моя дорогая! — сказала она баронессе фон Тюнен. — Отныне мы будем своего рода парламентом, значение которого оценит вся страна.

Она заказала пригласительные билеты на доклад профессора, отправилась вместе с баронессой фон Тюнен в редакцию «Беобахтер» и потребовала особого оповещения о дне доклада. Такое светило, как Менних, этого стоит.

Разумеется, секретариат Союза друзей послал особые приглашения гаулейтеру, Таубенхаузу и советнику юстиции Швабаху, игравшему теперь первую скрипку в местных национал-социалистских кругах. На видных людях мир стоит.

По счастью, кафедра для оратора, заказанная столяру по собственноручному эскизу Клотильды, поспела вовремя. На светлом фоне — инкрустированный знак свастики из красного дерева. Это выглядело строго и достойно. Но гвоздем программы являлся новый портрет фюрера работы знаменитого художника. Клотильда приобрела его в Мюнхене за триста марок. Фюрер на портрете выглядел «гениально», «каждая жилка в нем — гений и герой»,— изрекла Клотильда. В широком пальто, с прядью волос, смело спущенной на лоб, «обнимающий все тайны мира», он имел довольно ро-

мантический вид. Во всяком случае, портрет нравился всем и, заодно с широкой роскошной рамой, составлял лучшее украшение салона.

Нет, на этот раз Клотильда решила не жалеть трудов и идти «напролом».

Не получив от именитых людей никакого ответа на свое приглашение, она побывала у каждого из них, хотя вообще была тяжела на подъем.

Советник юстиции Швабах, с которым она говорила десятки раз, просто-напросто не узнал ее. Он мотнул курчавой головой, вскинул пенсне, чтобы лучше рассмотреть ее, снова сдернул его и снова покачал головой. Наконец, он обещал прийти, если ему позволит время.

У Таубенхауза, обремененного, как всегда, многочисленными делами, нашлось для нее всего две минуты времени, но он тотчас же выразил готовность прийти; конечно, это приглашение — высокая честь. Он учтиво проводил Клотильду до прихожей и поцеловал ей руку.

В прихожей Клотильда обратила внимание на молодую девицу с пухлыми, румяными, как яблоки, щечками,— это была одна из дочерей Крига — Гермина или Гедвиг — Клотильда не знала, она так и не научилась различать сестер-близнецов.

— Ах, фрейлейн Криг? — заговорила она с краснощекой девушкой, которая поднялась со стула, очень польщенная.— Вы теперь работаете у господина бургомистра?

— Да, уже три месяца, сударыня.

— И вам здесь нравится?

— О, даже очень,— с сияющим лицом отвечала фрейлейн Криг.— Господин бургомистр так предупредителен ко мне!

Ну, теперь скорее к гаулейтеру! Ее тотчас же приняли; сегодня Клотильде везло — по-видимому, гаулейтер был не очень перегружен работой. Он сидел за письменным столом и принял ее, не вынимая сигары изо рта.

Конечно, он знал о салоне. Да, до него даже дошли очень лестные слухи о Союзе друзей. Полковник фон

Тюнен, штандартенфюрер фон Тюнен — отличный солдат — читал там доклад, не правда ли? Да, да, о сражении под Верденом, припоминаю. Старик сам побывал в форте Дуомон. Кто бы мог поверить?

Клотильда, видимо, пришлась Румпфу по вкусу. Он был неравнодушен к голубым, незабудковым глазам, а пышные белокурые волосы Клотильды привели его в восхищение. Он попросил ее рассказать о своем салоне, придвинул ей коробку сигарет и даже встал, чтобы подать спичку.

— Очень хорошо! Очень хорошо! — время от времени прерывал он ее, расхаживая взад и вперед по большому залу, населенному святыми и ангелами.— Фридрих Великий, говорите вы? Превосходно! Вот пример для тех, кто хочет жить вечно... Великолепная фигура! И, конечно, его гений, его смелость были вознаграждены. Вы думаете, это случайность, что как ее там... Екатерина[1] умерла как раз в тот момент, когда Фридрих зашел в тупик? Отнюдь нет! Это награда за смелость, отвагу, за железную волю. В наши дни мы видим нечто подобное! Что? Абиссиния? Правильно! Удивительно, как вы быстро схватываете! Да, дуче я тоже весьма уважаю. И даже из уважения к нему изучаю теперь итальянский язык. Ха-ха-ха! Что вы на это скажете? Очень хорошо, весьма похвально.

Гаулейтер остановился перед Клотильдой.

— Очень хорошо, очень похвально! Да сохранит вам небо эту способность воодушевляться. Конечно, я всегда по мере сил буду поддерживать ваше начинание. Я стремлюсь во всех городах моего округа создать подобные же очаги воодушевления, фанатизма и безусловной преданности. И я пошлю вас, мой уважаемый друг, в эти города, чтобы заложить там фундаменты крепостей такой же слепой веры и нерушимой верности...

Клотильда покраснела от счастья и с благодарностью поклонилась.

---

[1] Здесь обнаруживается невежество Румпфа. В действительности в период тяжелых поражений Фридриха II умерла русская императрица Елизавета.

Румпф снова придвинул ей сигареты.

— Прошу вас, выкурите со мной еще одну,— сказал он, бесцеремонно разглядывая Клотильду.— Вы великолепная собеседница!

II

Клотильда охотно исполнила эту лестную для нее просьбу и стала с наслаждением пускать в потолок кольца голубого дыма.

— Вы слишком добры, господин гаулейтер,— сказала она.

«Она недурна,— подумал Румпф и снова зашагал по залу.— И кокетничает довольно искусно. Если пригласить ее на чашку чая в Эйнштеттен, то остальное, безусловно, не составит труда. Но она уже отцветает, это и слепому видно. Складки на шее очень заметны, и пудра тебе уже не поможет, моя дорогая. А ведь у маленькой майорши Зильбершмидт нет еще ни единой морщинки, не говоря уж о Шарлотте или восхитительной Марион, которая вся — юность и свежесть! Нет, не стану я ее приглашать в Эйнштеттен».

— Сколько у вас детей от правительственного советника? — неожиданно спросил он, остановившись перед нею.

— К сожалению, только двое,— смущенно отвечала Клотильда.— Два мальчика,— прибавила она, чтобы не чувствовать себя совсем уж пристыженной.

— Двое? — Румпф презрительно засмеялся.— Свежая, цветущая женщина, чистой расы — и всего два мальчика? У вас могло быть теперь шестеро сыновей, и вы носили бы орден материнства.

Клотильда покраснела.

— Я носила бы его с гордостью! — воскликнула она, повернув к Румпфу покрасневшее лицо.

Румпф кивнул головой и засмеялся.

— Клянусь честью, этот орден был бы вам очень к лицу,— продолжал он.— Жаль, что я не могу представить вас. Двое детей — это, вы сами понимаете, маловато. Разрешите еще один вопрос? — Гаулейтер хитро

прищурился.— Оба мальчика от правительственного советника? — Клотильда испугалась и отвела взгляд. Она побагровела, дым сигареты ударил ей в нос. В устах другого этот наглый вопрос возмутил бы Клотильду, но заданный столь высокопоставленной особой показался ей лишь проявлением благосклонности и разве что грубовато выраженного интереса к ней. Тем не менее она промолчала.

Вдруг Румпф громко расхохотался, плохо скрытое смущение Клотильды забавляло его.

— Простите,— сказал он и взял со стола новую сигару,— вы, я вижу, слишком чопорны для такого вопроса. Но, знаете, «You never can tell»[1]. Не решаюсь уж спросить, почему вы развелись, хотя мне это очень интересно.— Он рассмеялся и снова зашагал по залу; следом за ним тянулись большие клубы голубого сигарного дыма.— Может быть, с правительственным советником не так-то легко ужиться, кто знает? — продолжал он, остановившись.— Некоторые мужчины резко меняются, едва переступив порог своего дома. Верно я говорю?

На лице Клотильды заиграла понимающая улыбка.

— Я высоко ценю Фабиана,— прибавил Румпф,— он очень умный человек, идеи, так легко его осеняющие, уже не раз сослужили нам большую службу. Но, может быть, он слишком нерешителен, неуверен, может быть, ему не хватает твердости, которая так необходима мужчине? Так ли это? Или не так? Он вступил в национал-социалистскую партию, но меня он не обманет! Сдается мне, что он с нами только наполовину. Он может увлечься тем или иным делом, но отдаться ему до конца, как я и вы, он не способен.

Вдруг он подошел вплотную к Клотильде.

— Ему бы частицу вашего фанатизма! — воскликнул он.— И он бы стал идеальным членом национал-социалистской партии! Разве я не прав?

Клотильда кивнула.

— Да, вы правы, господин гаулейтер,— убежденно ответила она.

---

[1] Никогда нельзя быть уверенным! *(англ.)*.

— Ваше дело, уважаемая,— продолжал гаулейтер, указывая на грудь Клотильды,— заразить своим фанатизмом Фабиана. Вы слышите, что я говорю? По способностям он достоин занимать самые высокие посты в государстве. А с этой точки зрения личные раздоры тускнеют, это же смешные мелочи. Но в наше время смешные мелочи неуместны! Вы меня понимаете? — он смолк, спохватившись, что говорит слишком громко.

Клотильда несколько раз кивнула.

— Понимаю,— сказала она, устрашенная повелительным тоном Румпфа. Да, вот сейчас в нем заговорил гаулейтер.

— Этот ваш развод, извините меня, смешон,— продолжал Румпф уже своим обычным тоном.— Какое такое преступление совершил наш правительственный советник? Мне во всяком случае это дело не кажется непоправимым! — засмеялся он.— Право же, если за ним и числилась какая-то любовная интрижка, то это большого значения не имеет; да и непохоже, чтобы советник стал противиться примирению. В наши дни найдутся дела посерьезнее любовных раздоров. Он нам нужен, у нас на него определенные виды! А бессмысленного распыления сил мы не допускаем. Ведь вы-то не будете против примирения, уважаемая?

— Отнюдь нет,— не задумываясь, сказала Клотильда, и сказала правду.

— Я очень рад, что мы так хорошо понимаем друг друга,— отвечал Румпф, протягивая Клотильде свою мясистую руку.

Клотильда поблагодарила за аудиенцию и поклонилась. На секунду ею даже овладело искушение поцеловать руку гаулейтера, но она воздержалась, опасаясь совершить нечто неподобающее. В ту же секунду она увидела красные волосы на его запястье. «Точно рыжая шуба»,— подумалось ей.

Румпф засмеялся.

— Я чуть не позабыл о цели вашего прихода,— снова начал он.— На доклад этого профессора я, конечно, приду.— Клотильда поблагодарила.— И Таубенхауз тоже будет? Тем лучше. По четвергам у меня обычно

играют в карты, но мы это устроим. Можете твердо на меня рассчитывать.

Когда Клотильда, прощаясь, скользнула взглядом по плафону, Румпф воспользовался случаем еще раз повторить свою старую шутку о святых и ангелах.

Восхищенная Клотильда рассмеялась. Шутка гаулейтера показалась ей верхом остроумия, блистательным изречением великого ума.

Клотильда вернулась домой с лихорадочно пылающим лицом. Вот это была аудиенция! Боже ты мой!

Битых полчаса простояла она у телефона, излагая баронессе фон Тюнен все события этого утра. Каким большим, каким незабываемым переживанием была ее аудиенция у гаулейтера!

Ах, а сам гаулейтер! Такой человечный и простой! Она чуть было не влюбилась в него. Да, да! Одно слово — и он мог бы сделать с ней все, что угодно. Еще немного — и она поцеловала бы ему руку.

О бурых, как ржавчина, волосах на запястье, об этой рыжей шубе, испугавшей ее, она не обмолвилась ни словом. О самом важном и секретном она, конечно, не может рассказывать по телефону. Баронесса обязательно должна прийти к ней сегодня, и не позднее пяти часов!

Клотильда весь день пребывала в чрезвычайном возбуждении. Поручение гаулейтера — примириться с Фабианом и заразить его своим фанатизмом — не шло у нее из головы. Она уже сама сожалела о разрыве с Фабианом, особенно теперь, когда он стал подниматься в гору все выше и выше. Фабиан занимал одно из влиятельнейших мест в городе,— значит, деньги можно будет грести лопатой; его адвокатская практика тоже процветала. Возможность какой-то небывалой карьеры, на которую сегодня намекнул гаулейтер, конечно, могла хоть кому вскружить голову. Да, может быть, она скоро будет так же богата, как многие другие! Может быть, у нее будут автомобили, богатейший гардероб, слуги, может быть, она будет разъезжать по всему миру в экстренном поезде. Кто знает! А ее мальчики! Какое житье настанет для ее мальчиков!

Фабиан, насколько ей известно, не был связан в на-

стоящее время с какой-либо другой женщиной. Та красивая танцовщица, слава богу, исчезла из города. Она дважды видела его с ней на улице и, как это ни странно, с того времени снова почувствовала к нему влечение.

Да, но нечего терять время на пустые мечтания, надо действовать, действовать! Пусть весь мир увидит, что это значит, когда Клотильда говорит: «Я иду напролом!»

В тот же день Гарри лично отнес отцу в «Звезду» приглашение на доклад профессора Менниха, написанное в самом дружеском тоне. Гарри поручено было намекнуть, что гаулейтер, Таубенхауз и Швабах уже дали свое согласие и папа во что бы то ни стало должен прийти на доклад, если не хочет огорчить маму. Гарри, вернувшись, сообщил, что папа, по-видимому, был очень тронут и обещал прийти, если позволят дела.

Фабиан не пришел, но все же прислал письмо, что болен и лежит в постели.

Несколько почетных гостей тоже не пришли на доклад. Отсутствовал Таубенхауз, на которого она рассчитывала, да и гаулейтера задержали срочные дела. Только Швабах сдержал обещание, но с ним она больших надежд не связывала. Гаулейтер прислал своего заместителя, ротмистра Мена, который преподнес Клотильде фотографию Румпфа с его собственноручной любезной надписью. Да, вот у кого можно было поучиться светскому обхождению.

А гаулейтер и в самом деле не мог прийти. Он до трех часов ночи сидел в «Звезде» с Таубенхаузом, прокурором и ректором высшей школы, играя в двадцать одно.

Наемный лакей в черной паре и белых перчатках бесшумно открывал двери гостям, и Клотильда торжественно произнесла «приветствие фюреру», которое она недавно ввела в обиход, чтобы придать своим вечерам строгость и торжественность. Оно состояло в том, что, рекомендуя оратора, она от имени всех собравшихся обращалась с клятвой верности к фюреру. Сегодня ей впервые удалось простереть руку к портрету фюрера.

Профессор Менних, знаменитый кенигсбергский оратор, был уже немолодой человек; волосы на его голове торчали во все стороны. Он кротко и добродушно улыбался, видимо, нимало не волнуясь. В своем докладе профессор битый час говорил о Польше, где прожил много лет; особенно подробно останавливался он на ее населении. «Что же представляют собою теперь поляки? — улыбаясь, спрашивал он.— Прежде они были приятными соседями, а теперь? Теперь они бесцеремонно переходят через границу, сгоняют крестьян с их полей, и случается,— тут он выразительно улыбнулся,— убивают одного — двух немцев». Весь доклад был проникнут кротостью и миролюбием.

В прениях прозвучали более резкие ноты. Почтенный господин, пять лет прослуживший таможенным чиновником в Данциге, сообщил, что драки и убийства в польском коридоре давно стали бытовым явлением, это всем известно. В последнее время немцы толпами бегут в рейх, ища защиты. В Данциге это знает каждый ребенок, и можно только порадоваться, что на родине этими плачевными обстоятельствами заинтересовались, наконец, более широкие круги.

Баронесса фон. Тюнен, блестящий оратор, вызвала гром рукоплесканий, упомянув о миролюбии и терпении фюрера, которому немецкий народ обязан беспрекословно повиноваться. «Но настанет день, — воскликнула она, — когда его долготерпению придет конец! Фюрер насупит брови, и тогда горе всем врагам рейха!»

При этих словах баронессы юный Гарри явственно крикнул: «Браво!» — и громко захлопал в ладоши. В форме гитлеровской молодежи, с почетным кинжалом на боку, он, как всегда, занимал место у самой кафедры. Гарри был рослый пятнадцатилетний мальчик со светлыми, тщательно расчесанными на пробор волосами; он напряженно слушал, сохраняя при этом бесстрастное выражение лица. Но когда профессор Менних сказал, что поляки, случается, убивают немцев, он выпрямился во весь рост и грозно наморщил лоб. Мимо портрета фюрера он проходил только с поднятой рукой.

Гарри казалось, что он уже солдат. Он мечтал стать офицером, и дома его дразнили «генералом».

Робби, который был на два года моложе брата, забился в угол, стыдясь шишки, вскочившей у него на лбу. До начала доклада он торчал в передней вместе с лакеем, прислушиваясь к шагам гостей на лестнице. Когда шаги приближались, он тихо шептал: «Теперь открывайте» — и убегал на кухню.

Робби и слышать не хотел об армии, так как не любил рано вставать. Мечтательный и задумчивый от природы, он теперь начал сочинять небольшие рассказы. Клотильда называла его «поэтом» в противоположность «генералу». Она любила звучные, многозначительные слова.

После прений гости еще немного поболтали, прежде чем разъехаться. Наемный лакей в черной паре и белых перчатках и служанка с новомодной прической разносили чай. И тут снова вынырнул маленький Робби с зеленой шишкой на лбу. Он следовал за лакеем и служанкой с сахарницей в руках.

— Робби смешон, мама,— шепнул Гарри на ухо Клотильде.

Политический редактор «Беобахтер» горячо похвалил Клотильду. Он решил написать большую статью о Союзе друзей и попросил у нее фотографию, чтобы опубликовать ее в «Иллюстрированном приложении». Клотильда покраснела. Одно из ее заветных честолюбивых желаний уже сбывалось.

III

«Поэт» Робби был в большом затруднении. Завтра день его рождения, а он уже несколько недель ничего не знал об отце. Может быть, Фабиан давно позабыл о приглашении? Робби знал о разладе между родителями. В других семьях отцы жили дома, даже если они работали очень много, как, например, врачи, которых часто подымали с постели среди ночи, или пекари, вставшие в четыре часа утра.

— Бьюсь об заклад, что папа забыл о моем дне рождения,— каждое утро хныкал Робби,— ведь вот и

в день рождения Гарри он не пришел, хотя обещал непременно быть.

— Сходи к нему и пригласи его еще раз, Робби,— каждый день твердила Клотильда. Гарри был ее гордостью, но любила она Робби. Она рассчитывала, что Робби удастся уговорить отца, и без устали повторяла ему свой совет.

— Не позабудь захватить свои «произведения»,— насмешливо добавлял Гарри.— Если папа прочтет «Рождество железнодорожного машиниста» или «Спотыкалку», то уж обязательно придет.

Гарри много терся среди взрослых и знал, что родители его в разводе главным образом из-за того, что папа всегда и во всем считал себя правым. Судьи признали его виновным, и с тех пор он обязан платить маме, а также ему и Робби, пока они не достигнут восемнадцатилетнего возраста.

Гарри насмехался над рассказами Робби. Робби же совет брата пришелся по душе, и, отправившись к отцу, он захватил с собою свои «произведения». Целых два часа он ждал возле гостиницы, пока наконец не показалась машина отца. Только тогда он вошел. Он последовал практическому совету матери — сначала удостовериться, в гостинице ли отец.

— Что ж это за рассказы, Робби? — спросил Фабиан, когда они сидели за лимонадом в «Звезде».

Коротенькие историйки, вышедшие из-под пера Робби, были записаны на листках, вырванных из старой тетрадки по арифметике. В первой из них рассказывалось о железнодорожном машинисте, который нес службу в ночь под рождество. Поезд все шел и шел, но вдруг путь оказался закрытым. Остановка произошла возле домика стрелочника, и машинист увидел через окно елку со множеством свечей и детвору, игравшую в комнате.

Девочка получила в подарок куклу, мальчик — лошадку-качалку, сделанную из ящика. Впрочем, конец рассказа Робби намеревался изменить.

— Прекрасно, Робби, а второй рассказ, «Спотыкалка»? — спросил Фабиан, которому Робби был

особенно мил тем, что он узнавал в нем многие свои черты.

Спотыкалка был крошечный карлик, величиной с мизинец. Он всегда торчал на лестнице в цилиндре и крохотных лаковых сапожках. Когда кто-нибудь спускался вниз, карлик приподымал цилиндр и спрашивал, который час. Человек наклонялся к нему, дивясь карлику в лаковых сапожках, и почти всегда спотыкался, а то и падал с лестницы, а Спотыкалка смеялся без конца.

— А ведь в самом деле премилая сказка. «Спотыкалка» мне очень нравится,— похвалил Фабиан.

— Гарри говорит, что сказки — это глупости, а таких маленьких лаковых сапожков и вообще не бывает.

Фабиан успокоил мальчика и расцеловал его при всех, что Робби было очень неприятно.

— Передай Гарри,— сказал он,— что в сказках бывают сапоги всех размеров. Что бы ни случилось, я приду к тебе на день рождения.

— А ты не заболеешь, папа, как в день рождения Гарри?

— Нет, тогда у меня был грипп, а к тебе я приду обязательно, потому что ты сочинил сказку «Спотыкалка». Вот теперь и я знаю, почему люди так часто падают с лестниц. Ты это всем расскажи.

Фабиан в самом деле пришел к Робби, хотя и с опозданием на целый час.

В тот день у него было долгое совещание со строителем гостиницы «Европа» на Вокзальной площади и скучный разговор с архитекторами из Мюнхена, руководившими строительством Дома городской общины. Летом с места стройки уже было вывезено двести машин земли, а между тем по каким-то причинам, совершенно непонятным Фабиану, строительство замедлилось. Так, например, по приказанию гаулейтера пришлось вдруг сооружать двухэтажный подвал; в результате запроектированное двенадцатиэтажное здание после четырех месяцев работы едва подымалось над землей, хотя на стройке работала уже добрая сотня рабочих.

Фабиан явился к обеду усталый и раздраженный, когда все уже перестали ждать его. Только Робби все еще надеялся, что отец сдержит свое слово.

Но плохое настроение Фабиана рассеялось, и он очень скоро ощутил себя дома. Его обдало волной любви и тепла. Мальчики весело кричали что-то, служанка Марта, по-прежнему влюбленная в него, да и сама Клотильда прилагали все усилия, чтобы он чувствовал себя уютно и приятно в своем бывшем доме. Клотильда блеснула своим кулинарным искусством, и стол был так чудесно сервирован, что даже Росмейер мог бы позавидовать.

Разумеется, «Иллюстрированное приложение» лежало тут же, на случай, если Фабиан еще не видел номера с фотографией Клотильды, и, разумеется, его повели осматривать комнату, где устраивались доклады. Многое он похвалил, вкуса у Клотильды всегда было достаточно, но портрет фюрера, перед которым Гарри поднял руку, ему совсем не понравился, и он откровенно высказал свое мнение.

— Бездарная пачкотня,— заявил Фабиан.

Клотильда весело рассмеялась.

— За триста марок Рембрандта не купишь.

— Конечно. Но фабрикацию такой дряни следовало бы запретить.

Гарри подумал: «А ведь и в самом деле он всегда хочет быть правым, судья это верно заметил».

Веселый смех Клотильды был приятен Фабиану. Ее светло-голубые глаза сияли, как прежде. Может быть, присутствие мальчиков пробудило в ней материнскую доброту и любовь, примирительно настроило ее. Она как будто изменилась за последние месяцы, и сегодня он уже смотрел на нее другими глазами. Сегодня он видел в ней не возлюбленную, чувство к которой угасло, а мать своих детей, которую он ценил.

Клотильда рассказывала о своих поездках по разным городам округа, где она по приказу гаулейтера организовывала Союз друзей. Повсюду ее принимали как принцессу, да, как настоящую принцессу. С нею ездила баронесса фон Тюнен. Во всех гостиницах им предоставляли апартаменты, автомобили были в их

распоряжении круглые сутки, адъютанты сопровождали их. Самые влиятельные дамы наперебой зазывали их к себе.

Чудесно было во всем чувствовать власть гаулейтера. Глаза Клотильды сияли от счастья. Гарри и Робби с восхищением смотрели на мать.

— Меня захлестнуло счастье,— сказала Клотильда.— Счастье сознавать, что я могу хоть что-нибудь сделать для своей страны. Мне хочется рассказать тебе о моих новых планах, Франк,— добавила она, интимно кладя руку на шею Фабиана, словно между ними никогда не было разлада.

— О новых планах? — спросил Фабиан, ощутивший прикосновение ее руки как ласку.

— Ведь ты знаешь,— оживленно начала Клотильда,—мне всегда не по себе, когда у меня нет новых планов.— Да, эта квартира стала слишком тесна, и благодаря удаче, или, вернее говоря, нюху баронессы, мы нашли более просторную. — Клотильда улыбнулась.—Это квартира медицинского советника Флора, недавно умершего. Его вдова хочет обменять ее на меньшую. При самой незначительной перестройке можно будет выкроить большой зал для докладов, и все еще останется много места.— Гаулейтер предоставил в ее распоряжение двадцать тысяч для этой цели.

— И для тебя, Франк, там нашлись бы две большие комнаты, если ты когда-нибудь пресытишься жизнью в гостинице,— как бы невзначай уронила Клотильда, приветливо улыбаясь Фабиану.

Фабиан вспомнил, что недавно гаулейтер сказал ему: распыление сил единомышленников, обладающих волей к созиданию, в наши дни недопустимо, страна не может себе этого позволить. Он, гаулейтер, будет решительно пресекать все попытки такого рода. Между прочим, он беседовал по этому поводу с его, Фабиана, супругой, и ему кажется, что она не прочь помириться. И еще что-то в этом роде. Сейчас Фабиану вспомнилось все это, но он не подал вида и ничего не ответил Клотильде.

Клотильда же, видимо, ждала ответа; водворилось

неловкое молчание; по счастью, Марта в эту минуту позвала всех пить кофе. Мальчики тотчас же побежали в столовую.

— Мне хотелось бы при случае услышать твое мнение об этих моих замыслах,— сказала Клотильда, последовав вместе с Фабианом за мальчиками.— Надеюсь, ты теперь чаще будешь навещать нас. Гарри и Робби стали уже совсем разумными. Можешь позвать их к себе в гостиницу, если соскучишься по ним, или прийти к нам, когда тебе вздумается. Вот все, что я хотела тебе сказать. Мы идем! — крикнула она мальчикам, уже выражавшим нетерпение.

«Клотильде хочется знать мое мнение,— думал Фабиан.— С каких это пор Клотильда вообще интересуется чьим бы то ни было мнением? Нет, видно еще не перевелись чудеса на свете». То, что она сказала о мальчиках, было ему приятно, он любил сыновей, а ее великодушие являлось признаком примирительной позиции. Это его обрадовало.

Конечно, он остался ужинать. Робби, Гарри и Клотильда хором его упрашивали. Клотильда приготовила холодные закуски со всевозможными изысканными гарнирами и велела подать две бутылки превосходного рейнского вина. Она знала слабости Фабиана.

Да, это был счастливый день. В десять часов Фабиан распрощался и медленно направился к гостинице. О чем только он не думал, идя по улице! Пока что он не собирается возвращаться к Клотильде, он выждет, посмотрит, как развернутся события. «Радости семейной жизни,— подумал он и остановился в задумчивости,— самые чистые на свете. Они согревают человеческое сердце счастьем и любовью».

IV

Рано утром зазвонил телефон.

— Наконец-то, наконец, дорогая Клотильда! — крикнула в трубку баронесса фон Тюнен.— Разве я не говорила недавно на докладе профессора Менниха, что настанет день, когда фюрер нахмурит брови и долго-

терпению его придет конец. Вот он нахмурился — и теперь горе коварным польским убийцам! Вы не можете себе представить, что творится у меня в доме, дорогая! Полк Вольфа уже сегодня, в четыре утра, погрузился в эшелон и отправился на фронт. Какое было ликование! Полковник звонит по телефону всем на свете, чтобы скорей получить назначение от военных властей и ничего не прозевать. Да, жить стало радостно!

— Марта рассказывает, что весь город в страшном волнении.

— В страшном волнении? — воскликнула баронесса и засмеялась.— Город совершенно обезумел. Людей посреди ночи стаскивали с постели, даже старых ландштурмистов. Их отправили на польскую границу в штатской одежде, и только там они получат обмундирование. Вся армия проникнута новым духом — отвагой, бесстрашием. Говорят, что наши войска уже вторглись в Польшу на пятьдесят километров. Я хочу предоставить себя в распоряжение Красного Креста. Приходите к пяти часам на чашку чая, дорогая моя! Нам надо поговорить о тысяче вещей.

— Буду ровно в пять.

Город точно взбесился. Коричневые и черные колонны проходили по улицам и орали победные песни. Тысячи горожан, кадровые военные, ремесленники и чиновники уже несколько часов как покинули жен и детей и теперь мчались навстречу неверной судьбе; многие из них были озабочены и подавлены, но вскоре их захватило всеобщее опьянение войной. Экстренные сообщения по радио обгоняли одно другое. Англия и Франция объявили войну Германии! Ну, тут уж остается только смеяться! Мудрый фюрер одним гениальным ходом сделал им мат, прежде чем они успели выставить хоть одну пешку. На несколько недель раньше он заключил пакт с Россией! Англия и Франция попросту шли на самоубийство. Люди возбужденно обменивались мнениями, лишь немногие хранили молчание.

Поскольку ни о какой разумной работе нечего было и думать, Фабиан закрыл оба свои бюро. Он был взволнован до глубины души. Как бывшему капитану и «подлинному» солдату ему было трудно отрешиться от

чувств военного человека. И когда он все основательно взвесил, то и ему единственным возможным выходом показалась война! Только война могла вывести Германию из унизительного положения, в которое ее поставил Версальский договор!

Он отправился к Клотильде и попросил ее прислать в гостиницу его капитанский мундир и все военное обмундирование, которое находилось у нее.

— Это срочно? — испуганно спросила Клотильда.— Разве твой год уже берут?

— Еще нет,— отвечал он.— Но я считаю своей обязанностью быть наготове в любую минуту.

Обоих мальчиков он застал очень взволнованными. Гарри чувствовал себя глубоко несчастным и чуть не плакал оттого, что ему только шестнадцать лет. «Война кончится раньше,— сетовал он,— чем я попаду на фронт».

Зато «поэт» Робби находился в самом радужном настроении: он предвидел перерыв в школьных занятиях. Робби был лентяй.

На улицах и в магазинах уже можно было видеть офицеров запаса; они торопливо — многие с возбужденными, сияющими лицами — делали покупки. На Вильгельмштрассе Фабиан столкнулся с архитектором Кригом, который мчался куда-то во весь опор.

— Ну, что вы скажете? — крикнул ему Фабиан.— Наши бронетанковые части вторглись в Польшу и продвигаются вперед, как на маневрах.

Криг покачал головой, ему война была не по душе.

— Англия, Англия! — с озабоченным лицом воскликнул он.— Я только на днях читал, что Англия целых двадцать лет вела войну с революционной Францией. Двадцать лет! Вы только подумайте!

— Не смешите меня этими разговорами об Англии! — с улыбкой заметил Фабиан.— Ее роль сыграна. На этот раз мы вырвем у вашей пиратской Англии волчьи зубы, вырвем вместе с корнями, понимаете? Пойдемте-ка в ресторан.

Криг покачал головой и скорбно опустил глаза.

— К сожалению, не могу,— отвечал он,— я тороплюсь на вокзал, встречать мою дочь Гедвиг.

— Гедвиг? Ту хохотушку, которая служила у Таубенхауза?

— Да,— мрачно сказал Криг,— она целый год служила у Таубенхауза и часто работала до четырех утра. Работа так изнурила ее, что ей пришлось на несколько недель уехать в деревню.

У Крига было очень расстроенное лицо; он нервно теребил галстук и сумрачно смотрел на Фабиана.

— Я стал дедушкой, дорогой друг,— с убитым видом пояснил он.

— Дедушкой? — Фабиан хотел поздравить его, но при взгляде на удрученное лицо Крига и его полные слез глаза слова замерли у него на губах. Он даже растерялся.

— Да, дедушкой,— повторил смущенный архитектор.— Мир сошел с ума, дорогой друг, я убежден в этом! Однажды вечером Гедвиг с сияющим лицом заявила мне: «Радуйся, папа, я скоро стану матерью!». Меня чуть не хватил удар. Она помешалась, подумал я, но Гедвиг трясла меня за руку. «Радуйся же, папа!— восклицала она.— Я жаждала подарить фюреру ребенка и вот теперь осуществляю это». Безумие, чистое безумие!

Оторопевший Фабиан не нашелся, что сказать. Он только молча смотрел на Крига.

— Да,— продолжал архитектор,— теперь у меня, значит, еще новая забота на плечах.— Он помолчал и снова начал со смущенной улыбкой: — Вот уже несколько недель, как у Таубенхауза работает моя Гермина; она тоже нередко задерживается до четырех утра. Вы представляете себе состояние отца? Что я могу сказать? Ничего. Безумие, чистое безумие! Прощайте, дорогой друг.— И он помчался вниз по Вильгельмштрассе.

Фабиан очень удивился, увидев, что в «Звезде» заняты все столики. Среди гостей были и офицеры запаса в полной военной форме. За одним из столов сидел гаулейтер со своими адъютантами Фогельсбергером, ротмистром Меном и капитаном Фреем. Фрею предстояло этой ночью отправиться на фронт. Куда ни глянь — ордена и почетные знаки; на одном из гостей красовался

даже орден «Pour le mérite». У всех были взволнованные и не в меру веселые лица, без конца произносились тосты. Радио часто прерывало бравурную музыку военных маршей и передавало донесения с места военных действий. Бокалы вновь и вновь наполнялись вином; пили за «несравненные войска». Даже по количеству винных бутылок можно было судить о необыкновенных успехах армии, вторгшейся в Польшу.

Как ни удивительно, но все здесь, все до одного — судьи, адвокаты, прокуроры, профессора, проповедники, офицеры,— опьяненные победными реляциями, подпали под власть неумеренных надежд и пророчеств. Время от времени волна воодушевления, казалось, срывала со стульев этих людей, они высоко поднимали бокалы и пили за «великую Германию».

Тише! Говорит гаулейтер!

В самом деле, гаулейтер за своим столом начал произносить речь, все прислушались. Но так как прошло довольно много времени, прежде чем улегся шум, то гости услышали только конец его речи. А закончил он словами: «И через год мы будем пить кофе из наших колоний!»

Гром рукоплесканий был ему ответом, и звон бокалов заглушил восторженные крики.

Фабиан казался самым спокойным и разумным среди этих охваченных неистовством людей.

Конечно, он разделял общий восторг, но к бессмысленным и нелепым прорицаниям относился достаточно трезво. Не так-то просто будет отнять у этих бакалейщиков-англичан Гибралтар, Суэцкий канал и Индию, как это только что предсказал судья Петерсман. Нет, далеко не так просто, почтеннейший господин судья! Эти бакалейщики и Франция, где половина населения негры, сильные противники, и недооценивать их не рекомендуется. Он хорошо изучил их во время мировой войны. А вообще, если отвлечься от всей этой болтовни и суесловия, он, конечно, приветствует войну. «Германию обошли при разделе земли, и она вынуждена снова воевать, чтобы исправить эту несправедливость»,— думал он.

Мало-помалу Фабиан разгорячился и стал излагать

свои взгляды сидевшему рядом пастору, который все время одобрительно кивал головой.

— Победители в мировой войне, если мне дозволено высказать свое скромное мнение, совершили чудовищную ошибку, так унизив Германию. Они сделали это потому, что не знали настоящей Германии! Совсем не знали. С народом такой мощи, с народом великих химиков, физиков, хирургов, философов, музыкантов и поэтов нельзя обращаться, как с каким-нибудь балканским народцем, нельзя заставлять его гибнуть в тесных границах. Это роковая ошибка. Теперь Германия выступила в поход за свои права, за справедливость, и вопрос уже будут решать пушки. Я командовал батареей и знаю, что такое немецкие пушки!

Пастор снова кивнул и велел принести себе еще бутылку мозеля.

А Фабиан встал взволнованный: провозглашался новый тост за «великую Германию».

В два часа ночи гаулейтер и его адъютанты поднялись, чтобы ехать на вокзал провожать капитана Фрея.

Румпф весело кивнул гостям, тоже повскакавшим с мест.

После его ухода праздник превратился в оргию. Под утро Фабиан пьяный вернулся к себе в номер.

V

Автомобиль остановился перед домом Вольфганга Фабиана в Якобсбюле. Из него вышли мать и дочь Лерхе-Шелльхаммер. Дом скульптора выглядел одиноким и запущенным; зеленые ставенки, выцветшие от солнца, были закрыты. Дикий виноград, вившийся по стене, уже начал краснеть; несколько усиков вросло в ставни.

— Посмотри, мама! — сказала Криста, обходя с матерью дом и указывая на заросшие ставни.

— Видно, его давно уже нет здесь,— отвечала фрау Беата.— Да и вообще в доме никого нет.

— Но ведь по телефону-то нам ответили? — Вдруг Криста остановилась. В высокой траве лежал с переби-

тым хребтом «Одинокий зверь», ранняя работа Вольфганга, которая стояла как украшение в саду.— «Одинокий зверь», мама!

— По-видимому, его снесло с постамента бурей.

Дамы были очень разочарованы. Они обошли домик кругом и стали снова стучать в дверь:

— Ретта, Ретта!

Вдруг кухонное оконце скрипнуло, и из него боязливо выглянула старушка, похожая на сказочную ведьму.

— Гости приехали! — смеясь, закричала фрау Беата.

— Ах ты, господи, да еще какие почтенные гости!— проскрипела обрадованная старуха.— А я ничего не слышала. И фрейлейн Криста здесь? Сейчас открою!

Ретта впустила их и провела в маленькую столовую, где царил мягкий зеленый полумрак.

— Здесь только и убрано,— сказала она и распахнула ставни; в комнату ворвался резкий дневной свет.— Я как раз варю кофе и сейчас принесу вам по чашечке.

— Не беспокойтесь, Ретта,— сказала Криста.— Мы приехали узнать, что у вас нового.

Но Ретту нельзя было удержать.

— За эти шесть недель я живой души не видела!— воскликнула она.— Так неужто у вас не найдется полчасика для старухи?

Мать и дочь Лерхе-Шелльхаммер пробыли несколько недель в Баден-Бадене и затем совершили путешествие по Шварцвальду. Там, в гуще лесов, они обнаружили тихую чистенькую гостиницу, где и решили провести несколько дней. Но дни превратились в месяцы, так как Криста слышать не хотела о возвращении в город. И лишь после того как разразилась война с Польшей, они уложили свои чемоданы и, нигде больше не задерживаясь, поехали домой.

— Есть у вас известия от профессора, Ретта? — спросила фрау Беата, когда старуха вернулась с кофейником.

— Почти никаких,— отвечала Ретта, наливая кофе. Когда она говорила тихо, ее голос звучал хрипло, и ее едва можно было понять, а когда она повышала голос,

он становился скрипучим. Ей было уже под семьдесят.— Профессор еще в Биркхольце, и вряд ли его скоро выпустят.

— Но вы знаете что-нибудь о нем? Пишет он вам?

— Ах ты, боже мой,— проскрипела старая крестьянка.— Писать им запрещено, там хуже, чем в каторжной тюрьме. Случается, правда, что кто-нибудь проберется ко мне из Биркхольца. Сначала профессор работал в каменоломне; это тяжелая работа, многие не выдерживают ее, но профессор— сильный, здоровый мужчина. Они тащат тяжелые глыбы вверх на гору, это уже многим стоило жизни. Говорят, Биркхольц — настоящий ад. Поначалу профессора каждый день били, потому что он не хотел говорить «хейль Гитлер».

— Били? — в ужасе воскликнула Криста

Ретта кивнула головой:

— В Биркхольце они день и ночь бьют людей, многих уж забили насмерть! — выкрикнула она.— Но профессор не стал говорить «хейль Гитлер», я ведь его характер знаю. «Пусть меня убьют»,— сказал он. Затем ему пришлось долго работать с каменотесами, которые по двенадцать часов подряд высекали плитняк. Но теперь ему полегче, рассказывал мне один человек на прошлой неделе. Он лепит бюст жены коменданта,— закончила Ретта свой рассказ.

— А брат? Неужели он ничего не предпринимает?— спросила фрау Беата. — Ведь он теперь важная персона.

Ретта глотнула кофе.

— Да,— кивнула она.— Конечно, я побежала к его брату тут же, как забрали профессора. «Сделайте что-нибудь,— сказала я ему,— ведь вы ему брат, так же нельзя».— «Дорогая Ретта,— ответил он мне,— в этих делах вы ничего не понимаете. Как адвокат я не имею права вмешиваться в дело, по которому еще не закончено следствие».

Мать и дочь покачали головой и переглянулись.

— Так он сказал мне,— подтвердила Ретта.— «Потерпите немного, Ретта. Когда мое время придет, я тотчас же вызволю Вольфганга».

— Но его время, как видно, еще не пришло? — саркастически заметила фрау Беата.

Ретта налила им еще по чашке кофе и продолжала, пропустив мимо ушей замечание гостьи:

— А может, так оно и лучше, кто знает? На днях у меня был один еврей из Биркхольца; бедняга дрожал всем телом, ему было очень плохо. Я три дня кормила его, пока он немного пришел в себя. Он говорил мне, что лучше и не хлопотать. Иначе они загонят профессора на долгие недели в темный подвал. Там люди стоят по щиколотку в воде. Боже мой, чего только не рассказал мне этот бедный еврей!.. Его держали в Биркхольце больше года. Налить еще кофе?

— Нет, нет, благодарю вас! — Мать и дочь одновременно поднялись; они уже вдосталь наслушались страшных рассказов, которые Ретта преподносила им со странной бесчувственностью, свойственной старикам.

— Еще минутку,— попросила она,— загляните, пожалуйста, в мастерскую. Я там нарочно ни к чему не притрагиваюсь!

С этими словами она открыла дверь в мастерскую, и обе дамы оцепенели: страшная картина разрушения представилась их глазам.

Большая мастерская была вся засыпана пылью, белой, как мука. Слепки, сорванные со стен, валялись на полу. «Юноша, разрывающий цепи» был разбит, цоколь с надписью «Лучше смерть, чем рабство» расколот на сотни кусков. Шкафы и стулья были разрублены в щепы топором, пол устилали осколки бутылок и бокалов. От ковра остались одни лохмотья. Короче говоря, это было царство хаоса. На стене огромными синими буквами было выведено: «Так будет со всеми друзьями евреев».

— В помещении, где обжигальная печь, все выглядит точно так же,— проскрипела Ретта.

— Что ж это? Немцы стали людоедами?! — воскликнула фрау Беата вне себя от возмущения.

Криста беспомощно покачала головой.

— Дикари, настоящие дикари! — повторяла она с потемневшим лицом.

Фрау Беата указала на слепок руки, одиноко висевший на стене.

— Это твоя рука, Криста.

Слепок уцелел каким-то чудом. Вольфганг сделал его много лет назад.

— Я ни к чему не прикасаюсь! — сказала Ретта.— Пусть профессор все это увидит своими глазами.— Она указала на кучу черепков у разбитого шкафа.

— Вино профессора они, конечно, пили, пока не налакались, как свиньи.

Когда обе дамы прощались, фрау Беата сказала:

— Если будет возможность, Ретта, то передайте профессору, что старые друзья по-прежнему верны ему.

— Мы его не забыли,— прибавила Криста.

VI

— Он при тебе?

— Да, при мне, мамушка,— смеясь, ответила Марион. Она имела в виду испанский кинжал, который всегда носила с собой, когда шла «к тем», как она выражалась. Марион, ничего не скрывавшая от своей приемной матери, показала ей кинжал и объяснила, как она прячет его.

— Жаль, что он не отравлен,— прерывающимся голосом проговорила мамушка, поднося кинжал к своим близоруким глазам, чтобы получше рассмотреть его.— Острый, ничего не скажешь,— прошептала она, и глаза ее загорелись ненавистью.— Ты вонзишь его изо всей силы, если кто-нибудь из этих мерзавцев прикоснется к тебе. Слышишь, Марион? Поклянись мне.— И Марион поклялась.— Если они тебя убьют, что ж, значит, так судил господь, но лучше умереть, чем быть обесчещенной.— Старая еврейка ненавидела этих «мерзавцев» не только с той поры, как начались преследования евреев,— она с самого начала ненавидела их смертельной ненавистью, пылавшей в ее сердце, как раскаленный уголь. Стоило ей подумать о них, и огонь в сердце начинал сжигать ее. «Берегитесь, бог растопчет вас, как червей, негодяи!» Каждый раз, когда она встречала коричneвору башечника, лицо ее искажала

гримаса отвращения. Она поклялась своему богу убить всякого, кто причинит зло Марион, даже если бы ее за это разорвали на части. По сто, по тысяче раз в день мамушка мысленно убивала этих мерзавцев, хотя не могла свернуть шею и курице.

Марион твердо решила защищать свою честь до последнего дыхания, независимо от каких бы то ни было клятв. Она знала, что в случае опасности не будет колебаться ни мгновения. Но, бог даст, до этого не дойдет. Ведь она и мухи никогда не обидела.

Кинжал Марион прятала в юбке, у правого бедра. Она научилась с молниеносной быстротой выхватывать его. Мамушка присутствовала при этих упражнениях и лишь на третий раз осталась довольна. Марион с такой быстротой вытащила кинжал и с такой яростью всадила его в воздух, что в самом деле никто не мог бы к ней прикоснуться.

— Очень хорошо, этому негодяю уже не встать,— с фанатическим блеском в глазах похвалила ее мамушка, — только сумасшедший посмеет приблизиться к тебе, но помни, что среди этих мерзавцев немало сумасшедших, и будь начеку.

С того дня Марион всегда носила кинжал у правого бедра, отправляясь в Эйнштеттен и даже играя на бильярде с гаулейтером. Это придавало ей спокойствие и уверенность. Она была убеждена, что своей отчаянной решимости, скрываемой под маской веселья, она обязана тем, что даже наглые солдаты не решались приблизиться к ней.

Но однажды случилось то, чего она так опасалась: Румпф заметил кинжал.

— Что у вас такое на правом бедре, professora? — спросил он, когда она нагнулась над бильярдом.— Я уже не первый раз вижу. Похоже, что вы носите при себе нож?

Марион побледнела, как смерть, и только потому, что этот вопрос в сущности не был для нее неожиданностью, сохранила полное самообладание и, не отвечая, продолжала играть. Но Румпф уже приблизился к ней, чтобы получше разглядеть подозрительную складку у ее правого бедра.

— Я готов голову прозакладывать, что это нож,— засмеялся он.

Его смех ободрил Марион, и краска снова вернулась на ее лицо. Потом она вдруг вспыхнула, медленно отошла от бильярда и взглянула гаулейтеру прямо в глаза.

— Да, это нечто вроде ножа,— сказала она, все еще дрожа от затаенного страха.— Это испанский кинжал.

Гаулейтер расхохотался.

— Клянусь богом,— воскликнул он,— это смешно! Чего ради вы носите при себе кинжал, как средневековый испанский гранд?

Опасность миновала, и Марион громко, от всего сердца рассмеялась.

— Я ношу кинжал,— сказала она,— на случай, если кто-нибудь попробует зайти слишком далеко.

Румпф не мог опомниться от удивления.

— Да, но кто же станет к вам приближаться? — спросил он.

Марион засмеялась.

— Мало ли кто, бродяги, пьяные, сумасшедшие,— сказала она, и страх оставил ее, едва только она произнесла эти давно заготовленные слова.

— И что же вы сделаете,— допытывался Румпф,— если бродяга или сумасшедший нападет на вас?

— Я его заколю,— серьезно и решительно ответила Марион.

Румпф понял, что она не шутит.

— Черт возьми! — воскликнул он, смеясь.— Черт возьми! Вы опасная девица. Так, значит, всякого, кто к вам приблизится? Так вы сказали?

Марион кивнула.

— Да, всякого.

— И меня? Если б это случилось? — допытывался гаулейтер.

Марион потупилась. Никто бы не сказал, что она в эту минуту почти умирала от страха. Краска сбежала с ее лица. Она была необыкновенно хороша сейчас, когда ее черные, как вороново крыло, локоны упали на бледный лоб.

Марион хорошо знала изменчивый и необузданный нрав гаулейтера и знала, что жизнь ее зависит от того, что она ему ответит. Стоит гаулейтеру позвонить —и ее схватят. Она ставила на карту свою жизнь, но пусть гаулейтер знает, что есть еще люди, у которых довольно мужества, чтобы сказать ему правду. Она медленно подняла веки и посмотрела на гаулейтера долгим взглядом, более долгим, чем это было нужно.

— Если вы сойдете с ума, то и вас,— тихо сказала она и опустила глаза.

Румпф продолжал смотреть на нее. Она сказала правду, в этом нет сомнений. Да, она самая желанная из всех женщин, которых он знал. Чтобы скрыть свое смущение, он громко рассмеялся.

Затем подошел к Марион.

— В моем округе вы, несомненно, самая храбрая девушка,— сказал он и сердечно пожал ей руку.

Марион смутилась и покраснела. Она попыталась было засмеяться своим задушевным смехом, но из этой попытки ничего не вышло.

Затем ей пришлось показать Румпфу кинжал, который он и рассмотрел с видом знатока.

— Очень красивый, по-видимому толедской работы, — сказал он, возвращая ей кинжал. Затем шагнул к бильярду и взял свой кий. — Ну, теперь довольно глупостей, — объявил он, — давайте продолжать игру.

Казалось, гаулейтер никогда не был в лучшем настроении, чем в этот вечер. Марион пришлось выпить с ним вина, а на прощание он подарил ей кольцо с двумя большими брильянтами.

Время от времени он, добродушно посмеиваясь, возвращался к этой теме, что было пыткой для Марион.

Однажды, когда ротмистр Мен очутился возле нее, Румпф крикнул ему смеясь:

— Осторожно, у этой особы в платье спрятан кинжал!

Ротмистр Мен недоуменно посмотрел на Марион и пожал плечами. В другой раз Румпф не удержался от колких намеков в присутствии Фабиана.

О кольце с двумя брильянтами он никогда не спрашивал. И слава богу, так как правды Марион не могла бы ему сказать. Получив подарок, она немедленно показала его своей приемной матери, которая посмотрела на кольцо так, как смотрят разве что на ядовитое насекомое.

— Вымой руки содой, Марион,— распорядилась она.— Здесь в каждом камне по карату, посмотрим, хорошо ли они горят? — и старуха швырнула кольцо в топку плиты. Золото расплавилось, камни же, голубовато-черные, как сталь, почти не отличались от углей. Затем мамушка совком вынула угли и бросила их в ведро с водой.

— Чтобы они ни на кого ни накликали беды.

Гаулейтер по нескольку недель проводил в Польше, затем возвращался, утомленный и обессиленный попойками в тылу, и через несколько дней уезжал снова. Когда же он решил остаться там на более продолжительное время, то был срочно вызван телеграммой в Мюнхен. Он получил новое назначение, и его автомобили снова помчались на восток. К концу польского похода гаулейтер опять прибыл в Эйнштеттен. «На этот раз уже надолго»,— заявил он.

Он пригласил Марион к чаю и очень тепло ее принял. Приглашены были еще майорша Зильбершмидт, которую Марион уже несколько раз видела в Эйнштеттене, и адъютанты Румпфа, Фогельсбергер и Мен; капитан Фрей погиб на фронте. Марион от души радовалась, что она здесь не единственная гостья. Майорша Зильбершмидт всегда вела себя с ней изысканно вежливо. Она, как говорили, была помолвлена с Фогельсбергером, однако оставалась в большой дружбе с гаулейтером.

Как-то раз майорша сказала Марион:

— Гаулейтер очень высоко ставит вас. Он влюблен в ваш смех и сделает для вас все что угодно.

Марион отвечала, что это ее очень радует, но ей от него ничего не нужно.

— Тогда вы просто дурочка, дитя мое,— неодобрительно заметила майорша.— Я была бы счастлива,

если бы он хоть наполовину относился ко мне так, как относится к вам.

Гаулейтер, упоенный немецкими победами, пребывал в превосходнейшем расположении духа. Чаепитие началось с того, что он предложил гостям всевозможные сорта водок.

— Польский поход останется одной из самых блестящих кампаний в истории! — воскликнул он.— Мы смели их в кучу, как опавшие листья. Польша исчезнет с лица земли. Сила — это все, вот вечная истина. Великий народ должен воевать! Англия и Франция воевали и стали великими! А если великий народ устает воевать, он гибнет. Мы, слава богу, завоевали жизненное пространство. Мы — великий народ и не можем довольствоваться трехкомнатной квартиркой. Это недостойно нас.

И он стал рассказывать, что в Польше ему предложили имение в двадцать тысяч моргенов и замок во французском стиле. В замке посеребренная арматура, и шесть ванных комнат, сверху донизу выложенных великолепным кафелем.

Но вокруг этого замка болота, слякоть, грязь.

Немецкое прилежание и немецкая настойчивость превратят запущенную Польшу в рай.

Ротмистр Мен позволил себе заметить, что война еще не кончена. Англия и Франция попытаются затянуть ее.

Гаулейтер расхохотался.

— Попытаются, попытаются, дорогой Мен,— крикнул он смеясь,— мы им доставим это удовольствие, боюсь только, что оно им скоро надоест. Блестящая дипломатия фюрера, нейтрализовавшая Россию, вывела из мировой истории Англию и Францию, они теперь не играют никакой роли. Господа,— продолжал гаулейтер,— приглашаю вас отпраздновать нашу полную победу над Польшей. Сегодня в десять часов!

Все обещали прийти, только Марион сказала, что, к сожалению, не может быть: отец болен и ждет ее. Гаулейтер заботливо проводил ее до двери.

— Я очень сожалею, что вы уходите,— сказал он.

Ротмистр Мен, как всегда, проводил ее до дому.

VII

Марион была в большой тревоге. Нет, ей не следовало решаться на тот первый шаг, не следовало! Мамушка держалась того же мнения. «Подальше от этих мерзавцев,— говорила она.— Мы бросаем вызов богу, когда приближаемся к ним хотя бы на шаг».

Да, но она сделала этот шаг, и отступать теперь слишком поздно.

Не надо было обращаться к гаулейтеру по поводу школьного помещения, даже если бы они все задохлись в грязи и пыли. А она-то еще наряжалась и прихорашивалась. О, конечно, не затем, чтобы влюбить в себя Румпфа! Нет, нет! Это ей и в голову не приходило. Но она хотела произвести на него впечатление, чтобы он не ответил отказом. «Кроме того,— думалось ей,— пусть он убедится, что еврейки бывают красивы и умеют одеваться».

Она была жестоко наказана за свое тщеславие. Улыбка исчезала с ее лица, когда в школе ей сообщали, что господин ротмистр Мен желает заниматься с ней сегодня в пять вечера. Отступления не было. Она не могла отказаться, не подвергая опасности жизнь отца, мамушки и, быть может, свою собственную. Гаулейтер дважды доказал ей свое расположение: в первый раз, когда вернул отцу институт, и во второй — когда открыл перед ним ворота Биркхольца, где много сотен евреев и поныне ждали освобождения.

К величайшей своей радости, она встречалась с гаулейтером очень редко после того, как он вернулся из Польши. Пожалуй, не чаще, чем раз в месяц. Повидимому, он теперь действительно был «перегружен делами». «В последние недели урок с вами — мой единственный отдых»,— часто повторял он.

Марион стала свободнее и увереннее в своем обращении с Румпфом и ежедневно благословляла того, кто выдумал бильярд; эта игра была ее спасением в часы, которые она проводила в «замке». Но и эти немногие часы требовали от нее огромного напряжения сил; нельзя было ни на секунду забыться. Гаулейтер желал видеть ее естественной и веселой; хорошо, она была

естественна и весела. Он любил ее смех, и она часто смеялась, что ей было нетрудно. Надо было держаться с ним так, чтобы он не скучал с ней и, главное, чтобы он не находил ее менее привлекательной. В этом состояла самая большая трудность. Она вынуждена была всегда изысканно одеваться и порой даже слегка кокетничать с ним.

Марион уже давно перестала носить с собою кинжал, это была просто романтическая выходка, порожденная страхом.

Румпф тотчас же это заметил.

— Что я вижу? — сказал он.— Вы больше не носите при себе кинжала? А что же вы сделаете, если на вас нападет бродяга?

— Я пущу в ход голос, ногти и зубы,— ответила Марион, показывая зубы.

Румпф смеялся до упаду.

— Вот так-так! — восклицал он.— Да тут, пожалуй, сбежит и самый лихой разбойник!

Марион хорошо изучила гаулейтера. Он был человеком настроения. Когда он пил красное вино и курил сигару, все шло гладко. Его отличительными чертами были тщеславие и эгоизм.

Впрочем, в Румпфе было много противоречивого и загадочного: он бывал добродушен и жесток, вежлив и варварски груб, чувствителен и циничен.

Она часто думала, что он просто избалованный ребенок, которому дали возможность своевольничать.

Любил ли он ее, если он вообще был способен любить, она не знала, хотя он часто уверял ее в этом. Но она ему, бесспорно, нравилась.

То, что она еврейка, его нисколько не смущало.

— Это мне совершенно безразлично,— сказал он.— Я моряк, десять лет я прожил в чужих краях и хорошо знаю свет. Повсюду я видел евреев, мирно живущих с другими народами; антисемитом может быть только человек, никогда не выходивший за околицу своей деревни; я в этом убежден. Не скажу, чтобы я был другом евреев, нет, не так уж я их люблю, но в травле евреев я участвовать не намерен. Конечно, я должен подчиняться определенным указаниям, как всякий, кто не

совсем свободен. А ведь даже американский президент, и тот не совсем свободен; бесчисленные миллиарды долларов указывают ему путь, по которому он должен идти. Евреи со своим инициативным умом и деловитостью на протяжении сотен лет участвовали в созидании Германии, почему же теперь считать их людьми второго сорта? Это несправедливо. А если иной раз они слишком пробиваются вперед, надо просто наступить им на ногу и призвать их к скромности. Не так ли? Но кое-что я все-таки сделал бы, и знаете, что именно? Я отрезал бы одно ухо всем тем евреям, которые слишком далеко заходят в своей жажде наживы и обманывают людей; я сделал бы это хотя бы для того, чтобы предостеречь людей от обманщиков.

— Это было бы справедливо только тогда,— сказала Марион,— если бы вы отрезали ухо и всем прочим обманщикам, какой бы они ни были расы.

Румпф взглянул на Марион, прищурив один глаз.

— Да, правильно, надо быть справедливым,— ответил он.— Из любви к вам я отрежу уши обманщикам всех рас.

Вдруг он расхохотался. Ему пришло в голову что-то забавное.

— Нет, это не годится,— сказал он,— народы не одобрили бы такой закон. Что бы из этого получилось? В конце концов образовались бы одноухие нации! — И он снова захохотал.

Вскоре после «чая», на котором была Марион, гаулейтер сказал ей:

— Знаете ли вы, фрейлейн Марион, что я подыскал для вас в Польше очаровательный маленький замок?

— Для меня? Маленький замок? — рассмеялась Марион.

— Да, для вас,— продолжал Румпф,— но подробный разговор об этом мы отложим. Мне кажется, он создан для вас и находится всего в каких-нибудь двух часах езды от большого имения, которое предназначено мне. Я заказал в Польше снимки с этого замка, вы сами сможете судить о нем.

Новые таинственные планы Румпфа встревожили Марион, но вскоре она забыла о польском замке. И вот

однажды гаулейтер радостно сообщил ей, что из Польши, наконец, прибыли снимки. Он указал на бильярд, заваленный фотографиями.

— Подойдите поближе, фрейлейн Марион, и посмотрите сами,— сказал он весело, как ребенок, получивший желанный подарок.— Этот замок принадлежал польскому князю; ведь князей в Польше были сотни, его имя мне, к сожалению, не выговорить. Мне хотели его подарить, но я приобрел этот замок на законном основании, за килограмм польских бумажных денег — из нашей добычи, разумеется. Как он вам нравится?

Это был небольшой старинный замок в стиле пышного рококо, необычайно красивый.

Марион внимательно рассматривала фотографии, притворяясь заинтересованной. Она кивнула.

— Великолепно,— сказала она.— Я нахожу его просто очаровательным.

— А вот фонтан перед замком,—продолжал Румпф, указывая на другую фотографию.— Группа веселящихся наяд.

На бильярде лежало еще множество превосходных снимков: комнаты, порталы, лестницы, залы, будуары, аллеи, беседки, уголки парка.

— Вот это покои, салоны и будуары княгини,— объяснил Румпф и, смеясь, добавил: — Или, говоря точнее, той дамы, которая отныне будет жить в нем. Мне особенно нравятся снимки парка. Взгляните на эти кусты и заросшие беседки! Я все время думал о вас, когда жил там. Мне казалось, что все это придется по вкусу моей маленькой гордой еврейке,— закончил он.

Весь вечер он возвращался к разговору о замке, расположенном так близко от его имения.

— Я предоставлю этот замок в ваше распоряжение, Марион,— сказал он.— Вы будете жить среди крестьян, как княгиня. Разумеется, вы возьмете с собою вашу приемную мать и отца. Поймите меня правильно. Не исключено, что наступит время, когда евреям будет запрещено жить в Германии. Тогда я отдам этот замок вам и вашей семье, и вам, конечно, будет приятно иметь надежное убежище.— Увидев, что Ма-

рион побледнела, он успокоительно прикоснулся к ее руке.— Ведь этого еще нет, Марион, но все может случиться. Возьмите с собой фотографии, и если у вас будут какие-нибудь пожелания, то скажите мне. В ближайшие дни я надолго уеду в Польшу, где буду начальником одной из завоеванных провинций. Когда я вернусь, сообщите мне ваше решение. Идет?

— Великолепно,— сказала седовласая курчавая мамушка, когда Марион показала ей фотографии.— Великолепно, господин гаулейтер! Но нам ничего этого не нужно. Даже если вы выложите все лестницы брильянтами! Если уж дойдет до этого, то мы убежим в Швейцарию. В крайности пешком пойдем, хотя бы нам пришлось идти целый год!

VIII

Учитель Глейхен, заведовавший деревенской школой в Амзельвизе, был занят до пяти часов. В шесть он ежедневно отправлялся на прогулку, даже зимой, когда в эти часы было уже совсем темно. Он всегда шел по прямой тополевой аллее, которая вела в город, и неизменно встречал на своем пути худощавого седого человека в мягкой шляпе с двумя очаровательными золотисто-желтыми таксами. Оба останавливались и с четверть часа болтали друг с другом. Доктор, как называл старика Глейхен, передавал ему пачку газет и сверток с какими-то заметками. Глейхен же вынимал из кармана рукописи и вручал ему; потом оба расходились в разные стороны. Впрочем, случалось, что они вместе отправлялись в город и исчезали в одном из доходных домов Ткацкого квартала. Но это бывало редко, не чаще, чем раз в две недели. Обычно Глейхен тотчас же возвращался обратно в свой домик, где жил с больной женой, уже два года не встававшей с постели, и сыном — бойким четырнадцатилетним мальчиком.

Вечера он проводил за работой. Такую жизнь Глейхен вел уже много лет. Это было нелегко, но что поделаешь?

Полночи он сидел над книгами и картами, заметка-

ми и газетами, полученными от доктора. Затем часами торопливо писал, всецело погруженный в свою работу, исписывая страницу за страницей. Отсюда, из своей маленькой мансарды, Глейхен руководил всей подпольной работой в округе. Письма, подписанные «неизвестным солдатом», были только частью этой работы.

Случалось, что для сна ему оставался лишь какой-нибудь час. До утра он, как зверь в клетке, шагал по комнате. Мысли о страшном положении Германии, о злосчастной судьбе немецкого народа не давали ему ни мгновения покоя. На одной стороне — грозная Англия и могущественная Франция, пока еще не сказавшая своего слова Америка и загадочный сфинкс — Россия, на другой — пустобрех и авантюрист, невежественный и бессовестный, который вызывает на бой все силы мира! Катастрофа неминуема! Волосы у него на голове шевелились от ужаса.

Ночи напролет раздумывал он над судьбою Вольфганга, все еще узника в Биркхольце, и без устали ломал себе голову над тем, как завязать с ним сношения. До сих пор это не удавалось, хотя они и сумели наладить систематическую связь с лагерем в Биркхольце.

Но случай помог ему. Доктор, с которым он встречался на шоссе, обратил его внимание на снимок, появившийся в одной иностранной газете; снимок этот наводил на мысль о Вольфганге. В «Иллюстрированном приложении» появилась фотография с надписью: «Искусство в Биркхольце». Это звучало, как насмешка. «Жена коменданта позирует скульптору». По-видимому, печальная слава Биркхольца повсюду вызывала слишком бурное негодование, и власти пытались успокоить народ.

Искусство в Биркхольце! Глейхен громко рассмеялся, что редко случалось с ним. В сильнейшем волнении он разглядывал фотографию: полнотелая женщина с пышной, вызывающей прической, сидя в удобном кресле, позировала скульптору. Незаконченный бюст все же свидетельствовал о том, что его лепила рука большого мастера. Судя по фигуре скульптора, намеренно отодвинутой на задний план, так что изображение

вышло неясным, им мог быть только Вольфганг Фабиан.

Глейхен много лет писал в газетах и журналах по вопросам искусства. Он разыскал несколько своих наиболее удачных статей со множеством снимков и, внутренне смеясь, послал коменданту Биркхольца, сопроводив их потоком лестных уверений в преданности. Он, искусствовед Глейхен, покорнейше просил предоставить ему возможность ознакомиться с бюстом комендантши, который, несомненно, привлечет к себе внимание широких кругов. Расчет Глейхена на женское тщеславие «модели» и на стремление коменданта к шумихе оправдался, и через несколько дней ему было дано разрешение явиться в Биркхольц.

Он увидел пресловутый лагерь, страшный своей оторванностью от мира, но его быстро провели в роскошную, комфортабельную виллу коменданта, расположенную на опушке леса. Дежурный проводил его на верхний этаж, и глазам его представилась «модель» с ее вызывающей прической и Вольфганг в белой рабочей блузе. Здороваясь с дородной, полногрудой дамой, Глейхен высоко вскинул руку и громко произнес: «Хейль Гитлер!». Вольфганга он просто не заметил. Комендант, к счастью, был занят служебными делами.

Вольфганг тотчас узнал его и чуть-чуть улыбнулся, чтобы скрыть свое удивление. Глейхен же едва узнал Вольфганга. Его густые волосы были коротко острижены, лицо со впалыми щеками выглядело страшно, во рту у Вольфганга недоставало нескольких зубов, вдобавок он слегка прихрамывал. Руки его, так хорошо знакомые Глейхену, казались руками скелета.

Как искусствовед, Глейхен должен был, конечно, со всех сторон осмотреть бюст, так что позировавшей даме пришлось встать.

— Вы сотрудничаете в «Беобахтер»? — спросила дама с вызывающей прической.

— Нет, — ответил Глейхен,— я пишу для крупных художественных журналов и позволю себе прислать госпоже комендантше мои статьи.

Это была довольно красивая, добродушная женщи-

на; до замужества она служила в баре. Вскоре ее голос донесся из соседней комнаты: она обстоятельно разговаривала по телефону с портнихой. Почти десять минут друзья беседовали вполголоса. Услышав, как стукнула положенная на место трубка, они пожали друг другу руки, и Глейхен стал усердно записывать что-то в свою книжку. Через несколько минут он ушел.

На обратном пути он все время тихонько посмеивался, его глаза утратили мрачное выражение и весь день, казалось, излучали свет. Только теперь он понял, как дорог ему Вольфганг.

В тот же день он потратил два часа на то, чтобы добраться до Якобсбюля и передать Ретте поклон от Вольфганга, а также сообщить, что профессор надеется на скорое освобождение. Затем он позвонил дамам Лерхе-Шелльхаммер, которым сообщил, что дал слово Вольфгангу Фабиану лично передать им привет.

Его попросили прийти на следующий день под вечер.

Назавтра, после окончания занятий в школе, Глейхен отправился в путь.

— И вы в самом деле были в Биркхольце? — крикнула ему фрау Беата, едва только он переступил порог комнаты. — Как же вам, скажите на милость, удалось туда проникнуть? Нам это показалось невероятным.

— В каком состоянии вы нашли профессора? — перебила ее Криста.

Обе они были в страшном волнении.

— Вы должны нам все рассказать, господин Глейхен. Слышите?

— Все, все до мельчайших подробностей.

Глейхен подробно поведал им о своей рискованной затее и счастливой случайности, позволившей ему говорить с Вольфгангом наедине.

— Он был счастлив, что вы решились побывать у него в Якобсбюле,— сообщил Глейхен.— «Только мысль, что друзья меня не забывают, еще поддерживает во мне мужество»,— сказал профессор.

Дамы прежде всего хотели знать, скоро ли его выпустят.

— Да,— ответил он,— эта добродушная дама из бара сказала Вольфгангу: «Постарайтесь, чтобы бюст был похож, тогда я попрошу начальника освободить вас». Бюст, между прочим, был бы давно готов, если бы она не изобретала все новые и новые прически. Но последняя, кажется, удовлетворяет ее.

— Да благословит бог даму из бара! — смеясь, воскликнула Криста.

— А война, господин Глейхен? — спросил фрау Беата, когда они сели пить чай.— Что вы думаете об этой злополучной войне?

— Война? — Глейхен посмотрел на дверь мрачными серыми глазами.— Можно здесь говорить без опаски?

Фрау Беата рассмеялась.

— Да,— отвечала она,— здесь вы смело можете говорить. За подслушивание мои горничные получают пощечины, что не так-то приятно.

— Хорошо,— сказал он и продолжал своим выразительным голосом, будто читая стихи: — Война? Война проиграна.

— Что? — крикнула Криста.— Что вы говорите?

Фрау Беата тоже воскликнула:

— Что вы говорите? Вы сошли с ума!

Улыбка мелькнула на губах Глейхена. Покачав головой, он отвечал совершенно спокойно:

— Ничуть, война проиграна. Это так же верно, как то, что реки текут в моря. Война ведется с помощью нефти, стали, идей. Всего этого у наших противников больше, чем у нас!

Тут фрау Беата вскочила и, торжествуя, так стукнула ладонью по столу, что вся посуда зазвенела.

— Подождите минутку! — крикнула она.— Вот вы и попались в ловушку, господин Глейхен! Криста, где письмо «неизвестного солдата»? Это письмо рассылается многим в городе.

— Я получил его,— заверил Глейхен.— Оно мне знакомо.

Фрау Беата положила письмо на стол перед Глейхеном.

— Как странно,— воскликнула она,— в нем сказано то же самое, в тех же выражениях!

— Что же тут странного? — улыбнулся Глейхен.— Я цитирую слова «неизвестного солдата» потому, что считаю их правильными. А правда лучше всего выражается одними и теми же словами.

— Вы, значит, придерживаетесь того же мнения, что и «неизвестный солдат»? — спросила Криста.— А наши успехи в Польше? И в Норвегии? Это, по-вашему, дела не меняет?

Глейхен покачал головой.

— Нет, нисколько,— сказал он серьезно.— Война продлится еще годы. Англия и Франция — враги страшные и упорные. Совершенно бессмысленная оккупация Норвегии еще раз показала, что мы имеем дело с безмозглым дураком. Будь у генералов хоть капля разума, они должны были бы сегодня же заковать его в цепи. Но, к несчастью, разума им не дано, они, видимо, полагают, что авантюра в Норвегии — это «великая идея», осенившая гения, тогда как на деле это дилетантская затея фантазера, который не успокоится, прежде чем не прольет последнюю каплю немецкой крови. Польша стоила нам гораздо больше крови, чем полагает немецкий народ, а знаете ли вы, сколько десятков тысяч наших матросов погибло из-за норвежской авантюры? Знаете ли вы, сколько наших отважных юношей ежедневно задыхается, тонет, гибнет в подводной войне? Сколько их разорвало на куски гранатами? Сколько день за днем и ночь за ночью гибнет в воздушных боях? Мы истечем кровью, капля за каплей!

Криста с напряженным вниманием прислушивалась к мрачным выводам Глейхена, но фрау Беата рассердилась. Ей не понравился наставительный, непререкаемый тон Глейхена, но больше всего ее раздосадовала слепая доверчивость Кристы.

— Только не вздумай принимать за чистую монету все, что говорит Глейхен,— сердито сказала она Кристе. И задорно обернулась к Глейхену. — Меня удивляют ваши рассуждения! — воскликнула она, насмешливо улыбаясь.— Вы, кажется, не допускаете и мысли, что люди, сидящие в правительстве, тоже о чем-то думают?

— Нет! — решительно ответил Глейхен, хотя в его голосе слышалось легкое недоумение.— Они ни о чем не думают. Только одному человеку в правительстве дано право думать, но этот один на ложном пути.

— Чем же это кончится?

Она была очень взволнована и налила всем коньяку.

Глейхен немного подумал, его глаза стали суровыми и печальными.

— Никто не знает, чем это кончится. Ясно только одно: это кончится катастрофой! — сказал он спокойно и решительно.

Криста беспомощно покачала головой.

— Как же это? Неужели все они так безответственны?

— Да,— так же спокойно и уверенно проговорил Глейхен.— Сейчас власть захватили люди, которые никогда ничего не имели и которым нечего терять. Промышленники, давшие им эту власть, наживают миллионы и миллиарды, офицеры и генералы получают ордена, двойные и тройные оклады, поместья, никогда им не жилось лучше. Все они гребут деньги лопатой. О какой тут можно говорить ответственности? Какое им дело до того, погибает в день две тысячи или пять тысяч человек? А когда карточный домик, наконец, рухнет, азартные игроки пустят себе пулю в лоб. Это и будет финалом трагедии.

Глейхен ушел, оставив обеих дам Лерхе-Шелльхаммер в смятении и раздумье.

Поздним вечером того же дня раздался пронзительный вой сирен. На этот раз дело, по-видимому, было серьезное. Десятки прожекторов ощупывали темное небо, и зенитные орудия били без передышки. Из темноты доносился шум далеких моторов, и сен-бернар Неро выл, не переставая, так что Кристе пришлось забрать его в дом.

Подвал в доме старика Шелльхаммера был построен так надежно и крепко, что использовался как бомбоубежище обитателями всех соседних домов. Когда женщины, мужчины и дети, наконец, пробрались сквозь тьму и грязь к подвалу, был дан сигнал

отбоя, и все снова разошлись по домам. Слабое зарево пожара над погруженным в темноту городом скоро исчезло.

На следующее утро стало известно, что небольшое соединение английских разведчиков совершило налет на город и сбросило две бомбы, не причинившие сколько-нибудь значительного ущерба. Одна упала в сад, от другой загорелась пустая конюшня. Два самолета были сбиты зенитными орудиями. Люди собирались у сгоревшей конюшни и посмеивались: «Они прилетели из Англии, чтобы уничтожить эту злополучную конюшню. Большая удача, что и говорить!»

Глейхен тоже пришел в город посмотреть разрушения после налета. В толпе любопытных он увидел своего коллегу, пожилого учителя, который, как и все, находился в приподнятом, боевом настроении.

— Большого вреда они нам, откровенно говоря, не причинили, — заметил он, смеясь, — да и мыслимо ли тащить из Англии тяжелые бомбы и необходимое количество горючего?

На следующий день «неизвестный солдат» в своем письме корил население за зубоскальство и заносчивость, за близорукость и, главное, за ребяческий оптимизм. «Опасность сильнее, опасность ближе, чем вы думаете, будьте начеку! — писал «неизвестный солдат».— Настанет время, когда тысячи самолетов среди бела дня появятся над нашим городом и от него не останется ничего, кроме груды мусора и развалин!»

IX

Это были волнующие дни. Вчера все поезда шли на восток, сегодня они все идут на запад, состав за составом, днем и ночью. Войска, войска, войска, пехота, артиллерия, танковые части, летные части, бесконечный поток солдат; на вокзал нередко подают по три состава одновременно.

Как разъяренное море, захлестывала германская армия границы на западе: она шла по Голландии, Бельгии, Франции, сметая все, что попадалось ей на

пути. У Дюнкерка немцы сбросили в море англичан, и Фабиан торжествовал. «Не надо спать, когда сторожишь свои богатства!» — издевался он. Немецкие танковые части наступали на Париж, и сердце Фабиана билось еще сильнее. Он злорадствовал. Какое унижение терпит высокомерная Франция, которая в Версале так безжалостно втоптала в грязь Германию!

Когда немецкие авангарды перешли Марну и в сводках стали появляться названия мест, где он воевал в свое время, им овладело почти праздничное настроение; он еще хорошо помнил, где тогда были расположены его орудия! Чтоб отметить эти дни, он позвал на обед в «Звезду» сыновей и разрешил мальчикам заказать их любимые блюда.

Гарри и Робби тщательно принарядились; оба были в синих костюмах. Робби, впервые надевший длинные брюки, был убежден, что все посетители ресторана «Звезда» заметили это, и чувствовал себя не совсем уверенно; вдобавок мать так сильно напомадила ему волосы, что его все время преследовал запах помады.

Зато Гарри в этом отношении походил на отца — одетый с иголочки и подтянутый, он чувствовал себя превосходно. Он записался добровольцем в танковую часть и через три месяца ожидал зачисления в полк, но уже и теперь считал себя солдатом и при всяком удобном случае становился навытяжку.

Никто не мог бы осудить отцовскую гордость Фабиана, когда он привел своих сыновей в ресторан. В самом деле, у него были все основания считать себя счастливым отцом.

Как только подали суп, мальчики снова почувствовали себя непринужденно, и Фабиану часто приходилось напоминать им, чтоб они не говорили так громко и не перебивали друг друга. Оба они получили по бокалу вина и выпили за победу на западе.

Фабиан воспользовался случаем, чтобы рассказать сыновьям о роли битвы на Марне в мировой войне, когда одному-единственному военачальнику пришлось решать вопрос о наступлении или отступлении армии.

— Как это могло быть? — спросил Гарри.

— Да так вот, генералы растерялись, не зная, что лучше, прорваться вперед или же сосредоточиться в одном месте.

— Сегодня бы они не колебались! — воскликнул Гарри, сверкая глазами.

— Нет, сегодня бы они не колебались,— повторил Фабиан, посмеиваясь над пылом сына.

За обедом больше всех ораторствовал Гарри. Экзамены в школе — о них он вовсе не думает, этим экзаменам, слава богу, сейчас не придают значения, гораздо важнее, что ему удалось поступить в танковую часть,— и этим он прежде всего обязан полковнику фон Тюнену. Через три года он может стать офицером!

— И я стану им! — восторженно воскликнул Гарри.— А что ты скажешь о Вольфе фон Тюнене, папа? Он уже капитан! Вот ведь отчаянная голова.

Он вынул из кармана приложение к утренней газете и разложил его на столе. Там был помещен портрет «юного героя» Вольфа фон Тюнена, капитана, награжденного Рыцарским крестом. Рядом с ним — портрет баронессы, которая называла себя «самой гордой и счастливой матерью в городе».

— Когда-нибудь и я добьюсь этого! — заявил Гарри.— Это не пустяки,— подстегивал он сам себя,— первый офицер в полку, получивший Рыцарский крест! Первый офицер во всем городе! Говорят, что Вольф вывел генерала и весь штаб из окруженной деревни. Вот ведь молодчина, правда? — Он продолжал мечтать вслух и замолчал, только когда на стол были поданы три румяных жареных голубя, вид которых остановил течение его мыслей.

— Твои голубки, Робби! — сказал он, обращаясь к брату, заказавшему свое любимое блюдо.

— Целая поэма! — воскликнул восхищенный Робби.

— Нельзя же все-таки называть поэмой жареных голубей,— подтрунивал над ним Гарри.

— Почему же нет? — засмеялся Робби.— Их можно назвать даже собранием поэм.

— Ты хочешь сказать, что каждому дано право

быть безвкусным,— снова начал Гарри. Он положил себе на тарелку голубя и сразу принялся ловко разрезать его.

— А из моей летающей бомбы будет прок, папа,— сказал он самоуверенно. Гарри любил поговорить о себе.

— Ты, значит, еще не расстался с этой идеей? — спросил отец.

В ответ Гарри рассмеялся, как бы желая сказать, что не так-то легко расстается со своими идеями.

— Конечно, нет, папа. Мне удалось заинтересовать ею полковника фон Тюнена.

Гарри уже довольно давно был занят изобретением, которое он называл «летающей бомбой». Планер подымал бомбу и, находясь над целью, автоматически сбрасывал ее.

— Ты только нажимаешь кнопку, папа, и артиллерийский склад взлетает на воздух. Бум! — произнес Гарри и нажал на стол.

Малыш Робби, которому вино бросилось в голову, громко засмеялся, чем привлек к себе внимание сидевших за соседними столиками.

Гарри, грозно взглянув на брата, продолжал говорить о своем изобретении. Ему все еще не удавалось наладить управление бомбометанием на расстоянии, так как он мало что смыслил в радиотехнике.

Наконец, подали десерт. Щеки Робби пылали, он то и дело беспричинно смеялся, но почти ничего не говорил.

— А ты, Робби,— обратился к нему отец,— как поживают твои рассказы? Закончил ли ты «Рождество машиниста»?

Робби в ответ только кивнул, так как рот его был набит мороженым.

— Да, «Рождество машиниста» уже закончено,— сказал он.—Я многое изменил в этом рассказе. Раньше было так, что машинист видел со своего места все происходящее у стрелочника, а теперь он сходит с паровоза и отправляется в домик стрелочника.

— А разве машинист имеет право оставить паровоз? — заинтересовался Гарри.

— Коиечно. Ведь семафор все еще закрыт. Вот он и вошел в дом, и стрелочник с жеиой прнгласили его к обеду.

Робби рассказал, что было подано к столу.

— Затем дети спели рождественскне песии, а машнннст получил хорошую сигару.

— Но тут кочегар дал свисток,— закончил Роббн свой рассказ.— Машиннст в мгиовеине ока взобрался иа паровоз, а жеиа стрелочиика еще сунула ему рождественского ангела.

— А ведь в самом деле интересио! — похвалил Фабиан.— Ну, а как со сказкой «Спотыкалка»?

— Отставлена,— коротко ответил Робби.

— Вот это правильио, Робби, иад этой сказочкой только посмеялись бы,— сказал Гарри.

— Как н иад твоей «летающей бомбой»,— задорио отвечал Роббн.

— Моя «летающая бомба»? — Гарри выпрямился.— Но позволь, Роббн, ты еще слишком молод, чтобы поиять значенне «летающей бомбы».

— Еслн вы будете ссориться, дети,— вмешался Фабиаи,— я не закажу торта к кофе. А я как раз собирался это сделать.

— Мы не ссорнмся, папа! — в один голос воскликиулн мальчики.

В конце концов Фабиан предложил Робби, чтобы он дописал сказку «Спотыкалка» для него одного, и польщенный Робби дал свое согласне.

Весь город говорил о том, что юный Вольф фон Тюнен получил Рыцарскнй крест и чнн капитана, и гаулейтер Румпф счел нужным устроить празднество в честь первого в округе кавалера Рыцарского креста. В торжественно разукрашенном зале ратуши полковннк фои Тюнен представил прнглашенным гостям своего отважного сына Вольфа, которого прнветствовали аплодисментами и громкими кликамн «хейль». Вольф произнес короткую речь. Хотя он и выучил ее наизусть, но говорнл плохо, запинался и замолчал на полуслове. Но тут баронесса фон Тюиен ринулась к трибуне и стала бурно лобзать своего сына. Рукоплесканиям ие было конца.

Чествование закончилось кратким выступлением гаулейтера на тему: «Почему мы должны победить».

— Мы должны победить потому, что ни у одного народа нет такой отважной армии,— говорил он звучным голосом,— потому что народ охвачен новым революционным духом, а революционные армии всегда побеждали, потому что мы сражаемся за право, которого нас лишали до сих пор. И, наконец, потому, что мы сражаемся за свое существование.

Последние слова он уже прорычал в зал, неистово потрясая руками.

На следующий день газеты сообщили о том, что гаулейтер назначил мать Вольфа фон Тюнена, награжденного Рыцарским крестом, начальницей Красного Креста в городе.

Начальница Красного Креста! Баронесса фон Тюнен была в восторге. Наконец-то на нее возложена задача, соответствующая ее силам, ее пылкой любви к отечеству! С первого же дня она с великим рвением предалась своему делу и, правду говоря, работала не покладая рук с раннего утра до поздней ночи. «Надо работать,— говорила она,— поболтать мы всегда успеем».

Она предложила и Клотильде руководящую должность в Красном Кресте, но Клотильда, выразив сожаление, отказалась. Союз друзей отнимает у нее все время и силы, заявила она. На самом же деле Клотильда просто избегала всякой обременительной работы. Она любила поздно вставать и завтракать в постели, ненавидела уродливые больничные палаты и отвратительный запах карболки. Клотильда не выносила даже вида раненых и больных: ей становилось дурно.

— Нет, дорогая, благодарю вас, это не для меня.

Зато Клотильде удалось зазвать к себе юного кавалера Рыцарского креста, который должен был прочитать доклад в Союзе друзей на тему «Как я получил Рыцарский крест». Это было достойным освящением нового зала.

Затем, излив на гаулейтера поток красноречивых слов и лести, она упросила его присутствовать при

этом событии. Отказаться он, конечно, не смог и обещал быть.

— Надеюсь скоро встретиться с вами в вашей новой квартире, которую фрау Фабиан так замечательно перестроила, — сказал он Фабиану на следующий день.

Фабиан все еще не решался переехать в те две комнаты, которые Клотильда предназначала для него в новой десятикомнатной квартире. Но теперь это, по-видимому, было уже неизбежно.

Однако гаулейтер на доклад не пришел. По-видимому, он не очень-то интересовался тем, как зарабатывают Рыцарский крест.

X

Со стуком и топотом, как человек, решивший показать, что никаких церемоний он разводить не намерен, ваятель Вольфганг поднялся по лестнице в бюро Фабиана.

В приемной сидели клиенты, но он, ни слова не говоря, прохромал мимо них прямо в комнату личного секретаря Фабиана, фрейлейн Циммерман, которая испуганно вскочила из-за машинки.

— Брата еще нет? — резко спросил он, не снимая шляпы.

Фрейлейн Циммерман отшатнулась, ее худое, высохшее лицо побледнело.

— Господин профессор! Вы ли это? — воскликнула она.— Боже мой, как я испугалась! Господин правительственный советник сейчас придет, прошу вас, пройдите в его кабинет.

Она открыла дверь и пропустила Вольфганга в кабинет Фабиана. Вольфганг швырнул шляпу на диван и достал сигару из ящика, стоявшего на столе. Он остался в своем старом, поношенном пальто; и то, что его сапоги были облеплены грязью, по-видимому, нисколько его не смущало.

В комнате, обставленной с большим вкусом, было тепло. Свет проникал в нее через высокие окна со светлыми занавесями. Уединенный спокойный кабинет, располагающий к сосредоточенности! За дверью по-

прежнему усердно стучала на машинке фрейлейн Циммерман.

Вольфганг осмотрелся. Над диваном висела фотография брата. Он стоял в форме артиллерийского капитана возле полевого орудия с видом гордым и властным, как то и подобало офицеру, повелевающему пушками. Вольфганг иронически усмехнулся.

Заметив на письменном столе небольшой бюст Гитлера, он взял в руки эту дешевенькую статуэтку, с добродушной улыбкой оглядел ее и, не задумываясь, швырнул в корзину под столом.

Комендант Бирххольца, бывший полевой жандарм, а ныне властелин над жизнью и смертью, обещал Вольфгангу освободить его еще весной, ибо комендантша, красавица из бара, осталась очень довольна его работой и ходатайствовала перед мужем за скульптора.

— Ну, как? Теперь вы, надо полагать, подумаете, прежде чем подметать улицы за евреев? — спросил коренастый, круглоголовый и плешивый комендант.

Вольфганг ничего не ответил, только пробормотал в свою растрепанную бороду что-то невнятное. Ответ не понравился круглоголовому, и Вольфгангу пришлось пробыть в лагере еще полгода.

— Видеть больше не могу вашу чванную морду, убирайтесь! — крикнул комендант, решив, наконец, освободить его.

Когда Вольфганг углубился в изучение фотографии, на которой он узнал своих племянников Гарри и Робби, до него донеслись шаги брата.

Фабиан стремительно открыл дверь и пораженный воскликнул:

— Это ты, Вольфганг?!

Вольфганг перестал смотреть на фотографию.

— Да, я,— сказал он низким голосом; глаза его угрожающе сверкнули.

Фабиан бросился к нему и схватил брата за руку.

— Слава богу, что это страшное время уже позади, Вольфганг,— продолжал он, быстро снимая свое элегантное пальто и вешая его на крючок у двери.

— Ты и не представляешь себе, как я счастлив,— снова начал он, но ликующие нотки в его голосе зазву-

чали глуше, так как Вольфганг молчал, а глаза его грозно блестели. Фабиана обидело и то, что Вольфганг едва коснулся его руки. Вольфганг намеревался и вовсе оттолкнуть руку брата и лишь в последнее мгновение, глядя на фотографию мальчиков, настроился более миролюбиво. Только сейчас Фабиан внимательно рассмотрел его.

— Боже мой, как ты выглядишь! — воскликнул он.— Что у тебя с зубами?

Вольфганг рассмеялся грубо, резко, почти невежливо.

— С зубами? — переспросил он. — В Биркхольце мне выбили их в первый же вечер. Там так принято.

Он широко открыл рот; в верхней челюсти недоставало трех зубов, и зияющая черная дыра выглядела страшно. Да и вообще Вольфганг, в поношенном пальто и грязных сапогах, с коротко остриженными, поседевшими волосами и худым, голодным, серым лицом, являл собой плачевное зрелище.

Фабиан испугался, слова замерли у него на языке, и краска сбежала с румяных щек.

— Не удивляйся моему виду,— громко продолжал Вольфганг.— Биркхольц не санаторий. Ничего, это все образуется. Не удивляйся и тому, что я пришел в благоустроенный буржуазный дом в этом жалком пальто. Твои люди украли мою одежду.

— Мои люди? — раздраженно переспросил Фабиан. Было бы бесчеловечно не считаться с нервным состоянием Вольфганга, но в его тоне сквозила такая неприкрытая вражда, он держал себя так вызывающе, что Фабиану трудно было сохранять спокойствие.

— Не сердись, Франк! — засмеялся Вольфганг.— Этого еще только недоставало! Конечно, я знаю, что среди коричневых и черных ландскнехтов попадаются приличные парни. Но банда, производившая у меня обыск, сплошь состояла из наглых мерзавцев. Они вылакали мое вино, переломали мебель и под конец еще украли те несколько костюмов и пальто, которые у меня были.

— Преступные элементы встречаются повсюду,—

спокойно заметил Фабиан, пожимая плечами. Он старался умиротворить брата.

— Допустим,— отвечал Вольфганг и снова возвысил голос. — Однако с тех пор, как вы систематически обираете Чехию и Польшу, Голландию и Францию, грабеж в германской армии, а также среди коричневых и черных банд стал, по-видимому, заурядным явлением.

Фабиан побледнел.

— Я понимаю, что ты озлоблен, Вольфганг! — взволнованно воскликнул он, садясь за письменный стол. — Но это еще не дает тебе права оскорблять меня.

— Я пришел сюда не для того, чтобы тебя оскорблять,— побагровев от гнева, закричал Вольфганг,— я пришел сюда, чтобы сказать тебе правду! — Он выкрикнул это так громко, что машинка в соседней комнате смолкла.

— Хорошо, говори правду,— Фабиан указал головой на дверь.— Но не обязательно всем слышать, что ты мне говоришь.

— Прости,— спохватился Вольфганг, понизив голос.— Прости меня. Биркхольц не институт для благородных девиц. Но я должен говорить громко, для того чтобы ты правильно понял меня, Франк! Ведь вы, национал-социалисты, ничего не хотите понимать, ничего не хотите слышать! Когда вам говорят правду, вы утверждаете, что это ложь и пропаганда, когда же эта правда неоспорима, вы заявляете, что нет правила без исключения. Преступные элементы встречаются повсюду, говоришь ты. Прежде ты, бывало, уверял, что такое-то явление временное, а такая-то мера необходима лишь на данный момент, и что вскоре все изменится и вернется нормальная жизнь.

Вольфганг, обессиленный, опустился на диван и перевел дыхание. Он помолчал и снова заговорил, все еще дрожа от волнения:

— Почему вы не съездите в Биркхольц, спрашиваю я? Нет, туда вы не торопитесь! Ха-ха-ха! Посмотрите только, во что вы превратили молодежь в ваших гитлеровских школах, в лагерях принудительной трудовой

повинности, в учебных лагерях? В этих высших школах зверства, в этих университетах бесчеловечности! В диких зверей, в людоедов, в скотов превратили вы немецкую молодежь! Вам хорошо известно, по рассказам крестьян, что в деревнях слышны крики истязуемых и пытаемых. Почему вы не расследуете эти слухи? Почему? Я скажу тебе прямо: потому что вы любите ваши удобства и вашу хорошую жизнь, потому что у вас уж не осталось совести, не осталось даже намека на человеческие чувства! Вы недостаточно громко протестовали против наглости и бессовестности ваших фюреров, вот они и делались все бесстыднее и бессовестнее. И в этом ваша тягчайшая вина! — снова выкрикнул он.

— Я еще раз убедительно прошу тебя...— прервал его Фабиан и поднял голову.

— Это означает,— рассмеялся Вольфганг: — если хочешь, чтобы я выслушал правду, то будь любезен выбирать выражения, как это принято среди благовоспитанных людей, так, что ли? Вы избиваете людей до смерти в буквальном смысле слова, и вы же требуете вежливого обхождения! — Вольфганг громко расхохотался.— Побывай в Биркхольце, там тебя обучат вежливости, будь спокоен! Там эти черные скоты бросят тебя в нужник и будут гоготать при этом! — опять прокричал Вольфганг.

Фабиан встал. Он был очень бледен, лицо его осунулось.

— Я не в состоянии слушать тебя,— сказал он, с трудом переводя дыхание,— если ты намерен продолжать в том же тоне, Вольфганг.

Его измученное, усталое лицо испугало Вольфганга. Он решил взять себя в руки.

— Прости,— снова начал он, садясь на стул возле письменного стола.— Я еще очень взволнован, ты можешь себе это представить; я приложу все усилия, чтобы говорить спокойнее.— И он продолжал уже более сдержанно: — Ты, конечно, слышал о пресловутых каменоломнях в Биркхольце. Да хранит тебя бог от близкого знакомства с ними. Три месяца я работал в этом

аду, три месяца! Сегодня, и завтра, и послезавтра, и вот в эту самую минуту двадцать — тридцать иссушенных голодом людей, обливаясь потом, ворочают тяжелые камни, отбитые в каменоломне, и по крутому склону тащат их вверх, к баракам каменотесов. Камни, разумеется, можно было бы подать наверх машинами, но этого не делают. Арестантам для подъема камней предоставлено только несколько десятков ломов и железных брусьев. Худые, как скелеты, эти несчастные шатаются от слабости и непосильного напряжения. Стоит им замедлить шаг, чтобы, скажем, глотнуть воздуху,— и сейчас же на их истекающие потом тела сыплется град ударов, и кровь льется по их рваным рубахам. Каторжники и уголовники избивают их кнутами, а не то их самих изобьют, если они будут недостаточно жестоки с заключенными.

— Хочешь взглянуть на мои рубцы, Франк? Нет? Я еще и теперь хромаю от этих избиений. Вверху на откосе сидит мерзавец-надзиратель в черной рубашке и курит папиросы. От его взгляда не укроешься, нет! Ха-ха, вот какие там творятся дела! Если же тяжелая глыба сорвется, она увлекает за собой всех близстоящих, калечит и убивает их. Немало я видел почтенных евреев и других заключенных, погибших таким образом: врачей, адвокатов, профессоров. Глыбы поменьше заключенные волокут в одиночку. Если они слишком стары или слишком слабы, что же — они падают и лежат, пока кнут не заставит их подняться, если, конечно, в них еще теплится жизнь. Ты молчишь? Я говорю правду! — продолжал Вольфганг, помолчав немного; брат ответил ему только взглядом. — Эти глыбы доставляются в бараки каменотесов. Там я тоже проработал больше полугода. И работа, надо сказать, была много легче. В каменоломне люди умирают от изнеможения, в бараках — от голода. Мы изо дня в день по двенадцать часов, почти без перерыва, обтесывали камень, едва выбирая минуту, чтобы проглотить жидкую похлебку. Большинство заключенных умерло от голода. Нет-нет кто-нибудь и грохнется наземь. Это торговец коврами Левинсон! — говорили мы себе и даже ничего не испытывали при этом. Ха-ха-ха!

Вольфганг внезапно разразился грубым, бессмысленным смехом. Затем умолк, глядя в пространство невидящим взглядом.

— Да, много людей умнрало в лагере; н от чего только не умирали эти сотни, тысячи заключенных! Один вид смерти — от проволоки, по которой пропущен ток; его выбирали преимущественно новички. Другой — смерть при попытке к бегству; бежать почти никому не удавалось, по крайней мере за время моего пребывания в Биркхольце. Каждая такая попытка пробуждала в этих черных дьяволах все их адские инстинкты. Мне кажется, ничто их так не тешило, как травля человека собаками. О, милый мой, интеллигентные люди этим, конечно, не занимаются, нет! Они пьют шампанское, проводят вечера в клубах, и им наплевать на то, что тысячи других гибнут! На сторожевых башнях взвиваются красные вымпелы: кто-то бежал! Кто-то, у кого не хватило духу броситься на проволоку, по которой пропущен ток! Дурак! И вот все арестанты обязаны построиться, все, все, даже женщины и дети. Мы стоим в строю по три часа, по шесть часов. А однажды простояли и все двадцать четыре! Стояли на солнцепеке, стояли под дождем и под снегом, обезумев от голода. Однажды мы простояли двенадцать часов в метель, и снег толстым, как кулак, пластом, лежал на наших плечах. Холод и изнеможение для многих означали смерть. И вот наконец-то залаяли собаки. Их было в лагере шесть штук. Они схватили этого безумца, отважившегося на бегство! Кровавый призрак, шатаясь, бредет мимо проволоки, а вокруг беснуются псы, которых выпустила эта черная банда убийц. Они охотятся там за людьми с собаками! Ты слышишь?

— И вот кровавый призрак свалился и лежит неподвижно; даже псам это уже надоело. Безумца привязали к двум шестам, за руки к одному, за ноги к другому, и профессиональный истязатель, каторжник Вилли, начал свое кровавое дело. Его дубинка обмотана колючей проволокой, они называют ее «утренней звездой». Собаки слизывают кровь с истерзанной спины. Я вижу, с тебя хватит?

Фабиан сидел, скорчившись, за письменным столом,

глядя перед собою неподвижным взглядом. Он молча кивнул.

Вольфганг поднялся и взял шляпу.

— Вот она, правда! — снова заговорил он.— Ты знаешь, что я не лгу. Я мог бы часами продолжать свой рассказ. Одно только я скажу тебе: живым они меня в этот ад больше не заполучат. Теперь я дошел до того, что мне все безразлично.— Он стукнул по какому-то твердому предмету в кармане своего поношенного пальто и снова возвысил голос.— Теперь ты знаешь, как обстоят дела. Это не преходящие явления, которые со временем исчезнут, как ты уверял, это не те явления, которые всегда возможны в эпоху революций. Ты ведь и так говорил! Нет, это изощренная система террора и гнусного издевательства.

Он остановился перед братом, глаза его сверкали.

— Ты должен немедленно порвать с этими людьми, Франк. Это преступники, убийцы, и ничего больше! — выкрикнул он, дрожа от гнева.— Через неделю ты порвешь всякую связь с ними! Слышишь? Через неделю! Я даю тебе недельный срок, или между нами все кончено. Прощай!

В поношенном пальто, со старой шляпой на голове, Вольфганг выскочил из кабинета и быстро прошел через приемную, даже не взглянув на фрейлейн Циммерман.

Фабиан был недвижим, как мертвец. Он весь посерел и едва дышал. Немного спустя он позвонил фрейлейн Циммерман.

— Я сегодня никого не принимаю,— проговорил он чуть слышно.

XI

В обтрепанном пальто, в старой шляпе и худых сапогах, вымененных на каравай хлеба, Вольфганг зашагал по улицам города. Все еще взволнованный объяснением с братом, он испытывал глубокое удовлетворение, освежавшее и бодрившее его.

Странно, но ему уже не было холодно, даже руки согрелись. Коричневые мерзавцы забрали у него пер-

чатки. Чувствуя прилив новых сил, он заглядывал в глаза прохожим, готовясь каждого, кто в свою очередь пристально взглянет иа него, призвать к ответу. «Стойте,— думал он,— вот идет человек, только что вырвавшийся из Биркхольца!» Люди между тем почти не замечали его илн отводили глаза, встречаясь с его взглядом.

Возле ювелирного магазииа Николаи, где все еще царило опустошение, он заметил знакомого — Занфтлебена, директора художественной школы и отличного бильярдиста. Но он иа секуиду отвел от него глаза, и Занфтлебен как сквозь землю провалился. Директор узиал его издалека и поспешил свернуть в переулок. Вольфганг не знал, что люди, как и животные, инстинктивно уклоияются от встречи с человеком, исполненным решимости и прилива сил.

К своему удивлению, он обнаружил, что площадь Ратуши совершенно видоизменилась. Теперь она была вымощеиа большими красивыми плитами и обсажена молодыми, сейчас уже оголеиными деревцами, под которыми кое-где были расставлеиы зеленые скамейки. Фонтан его, Вольфгаига, работы стоял не в конце, а посредине площади. Но статуя Нарцисса, отражавшаяся в бассейне, бесследно исчезла.

Он приблизился, чтобы получше рассмотреть фоитаи. Бассейн был все тот же, его обрамляли те же камни, но Нарцисса не было. Вольфгаиг покачал головой и сдвинул шляпу на затылок.

Неподалеку, на мостовой, возле трамвайной стрелки, возился какой-то рабочий. Вольфганг окликиул его.

— Давно сияли с фонтана статую? — спросил он.

Рабочий, ие подиимаясь с колен, повериул голову.

— Да вот уж с полгода,— ответил он.

— А почему, не знаете?

— Говорят, ее пожертвовал городу какой-то еврей,— пробормотал ои.

— Еврей? — Вольфганг громко рассмеялся и, уходя, добавил: — А ведь эти шутки с евреями дорого обойдутся нам, как по-вашему? — И сиова громко и весело рассмеялся.

Рабочнй от удивления еще больше повернул голову вбок, так что стало казаться, будто его голова посажена на плечн задом наперед. Затем он огляделся кругом. Боже мой, да ведь это помешанный! Наверно, он ничего не слыхал о Бнркхольце!

Вольфганг вскочил в трамвай, ндущнй в Якобсбюль. На лнце его все еще оставался след веселой улыбки. «Когда-нибудь придет конец и этому наваждению!» — подумал он н засмеялся.

Приехав домой, он взял стул и, как был, в пальто и шляпе, сел у дверей своей мастерской, чтобы еще раз осмотреть всю картнну разгрома. Вольфганг сидел неподвижно и тнхо, куря одну сигару за другой. Так он просидел по возвращенни нз лагеря трое суток, прнведя этим в отчаяние Ретту, прежде чем решился отправнться к брату.

Но вдруг, не докурнв последней «внргннии», он бросил ее на пол, снял пальто и шляпу, скинул пиджак. Затем пошел в кухню н потребовал щеткн н совок.

— Прнготовь горячий крепкнй грог, Ретта, н затопи печь. Сейчас начнем!

У Ретты слезы теклн по нсхудалым щекам, когда она разводила огонь, но она отворачивалась, чтобы не рассерднть Вольфганга; значит, профессор все-такн образумился?

Вольфганг подмел пол и выбросил мусор через окно в сад. Несколько обломков он подобрал и заботливо сложил на подоконник: кусок ногн, кусок плеча, ухо. Обломкн разрушенной статун «Юноша, разрывающнй цепи» лежали в углу; он взял каркас и стал выгнбать и выправлять его с таким усердием, что даже вспотел. В два часа ночн он еще стоял на лестнице, протирая стены и потолок. Мастерская уже выглядела так, словно в ней поработал десяток маляров. Затем он допил остаткн грога. Таково было начало!

На следующее утро подметать н убнрать пришлось Ретте, а Вольфганг уехал в город. После обеда он снова взобрался на лестницу, чтобы побелить стены н потолок. Рабочие ему былн не нужны. Теперь он ежедневно проводил по нескольку часов в городе, откуда ему прнсылали пакеты с бельем, обувью, костюмами, ворот-

ничками. А однажды Ретта увидела, что и зубы у него в порядке. Новые зубы понравились ей даже больше, чем старые, но она не решилась ему это сказать.

С этого дня Вольфганг снова стал самим собой. Он насвистывал, пел и стучал в своей мастерской, как, бывало, прежде. Впервые Ретта после долгого времени услышала звонок телефона. К ужину приехал учитель Глейхен. Она зажарила кур, и друзья всю ночь напролет пили и спорили так громко, что голоса их были слышны даже на улице. Всю ночь доносился до нее глубокий гневный голос профессора; он, наверное, не успокоится, пока снова не попадет в Биркхольц. В шесть часов утра пошли трамваи, и Глейхен уехал. В восемь он приступил к занятиям в школе.

После обеда приехали дамы Лерхе-Шелльхаммер. Вольфганг встретил их радостными возгласами. Он долго жал руку фрау Беате, а Кристу даже заключил в объятия. Они привезли цветы. Ретте пришлось сварить кофе и даже съездить в город за пирожными.

— Господин Глейхен сообщил нам,— сказала фрау Беата,— что вы чувствуете себя лучше и собираетесь взяться за работу, профессор?

Вольфганг утвердительно кивнул.

— Завтра я приступаю к работе! — отвечал он.— О преподавании сейчас, конечно, говорить не приходится, и у меня будет, наконец, достаточно времени, чтобы вернуться к моей любимой идее — глазированной керамике. Наконец-то моя обжигальная печь будет в чести.

Фрау Беата поспешила высказать свои пожелания:

— Вы уже много лет обещаете вылепить мой бюст, дорогой друг, и все никак не соберетесь. Надеюсь, что теперь у вас найдется время и для меня?

Вольфганг, смеясь, кивнул.

— Конечно.

«Она хочет помочь мне снова встать на ноги,— подумал он.— Эта добрая душа не подозревает, что я нисколько не страшусь будущего, да и откуда ей знать?» Но дружеская забота фрау Беаты согрела его. Он внимательно осмотрел ее лицо и плечи.

— Я с удовольствием займусь этим,— снова начал он.— Задача, может быть, и нелегкая, но на редкость благодарная. Через неделю, когда я отдохну, мы снова вернемся к этому разговору, хорошо?

— Уж я-то не забуду.

За кофе дамам пришла в голову заманчивая идея. Вольфганг проведет вечер у них, они захватят его с собою в автомобиле. Вольфганг охотно принял приглашение.

— Спокойной ночи, Ретта,— сказал он и по обыкновению оставил все двери настежь, хотя в доме уже топили.

Все было, как прежде.

XII

— Ротмистр Мен ждет вас завтра на урок,— сообщили Марион в школе.— Он звонил десять минут назад.

Марион так испугалась, что кровь отхлынула от ее загорелых щек. Гаулейтер вернулся!

Она давно страшилась этого; теперь она должна будет сказать: да или нет. Общими фразами уже не отделаешься. Эти времена прошли. Он потребует от нее решения насчет того замка в Польше, в который его привела злая сила. Только страх помешал ей дать ясный ответ еще тогда, в ту самую минуту, когда он первый раз спрашивал ее.

Страх медленно, крадучись, заползал в душу Марион; она знала, что̀ поставлено на карту. Как быть?

Марион пошла за советом к Кристе Лерхе-Шелльхаммер, но Криста ничего не могла ей посоветовать.

— Тебе остается только одно: сказать ему правду,— заявила она. — Может быть, тогда он оставит тебя в покое. Конечно, ты рискуешь впасть в немилость, но что поделаешь? Оденься понаряднее, постарайся хорошо выглядеть, на красивую женщину нельзя сердиться, и не забудь, как чарует твой смех.

Марион не боялась впасть в немилость, она даже

хотела этого и вернулась от Кристы несколько успокоенной.

Она решила надеть светло-желтую шелковую блузку, которая оттеняла ее черные волосы и хорошо обрисовывала пополневшую грудь, в особенности, если сделать еще несколько вытачек на спине. Ничего плохого в этом нет, все женщины стараются подчеркнуть то, что в них есть красивого, хотя и не говорят об этом, а проповедовать добродетель они начинают, когда их красота уже блекнет.

Пока она прихорашивалась, страх снова закрался в ее сердце. Мучительный страх, не дававший ей покоя, что бы она ни делала, о чем бы ни думала. Правое веко Марион нервно подергивалось — обстоятельство, приводившее ее в отчаяние. Но еще ужаснее было то, что ей приходилось прикидываться веселой, иначе мамушка заметила бы ее тревогу и страх. Заканчивая свой туалет, Марион все время что-то напевала и болтала без умолку. Наконец, она была готова.

— Не забудь фотографии, Марион,— напомнила мамушка.

На первый взгляд ей показалось, что страхи ее были напрасны. Подойдя к «замку», она увидела у ворот три серебристо-серых автомобиля.

Шоферы сидели на своих местах, офицеры и адъютанты стояли возле машин. Тяжелый камень свалился с сердца Марион.

— Как хорошо, что вы так точны,— приветствовал ее ротмистр Мен. — Гаулейтер ждет вас, мы должны будем скоро уехать.

Гаулейтер встретил ее в одной из гостиных. Он был в прекрасном настроении. На стенах, вперемежку с изображениями лошадей, висели теперь замечательные иконы, по-видимому вывезенные из Польши. Благодаря этому маленькая гостиная стала походить на капеллу. У мадонны в малахитово-зеленых ризах было незабываемо прекрасное лицо.

— У нас достаточно времени, чтобы спокойно выпить чаю,— сказал Румпф,— два часа назад я получил телефонограмму с приказом выехать немедленно. Ну, да пусть подождут, нетерпение не пристало великим

мира сего. — Только сейчас он внимательно оглядел ее. — Я так радовался предстоящей встрече! — воскликнул он. — Какая вы сегодня нарядная, Марион!

Марион покраснела и рассмеялась. Чтобы скрыть свое замешательство, она стала разглядывать богоматерь в зеленых ризах.

— Восхитительная мадонна.

— Вы любите иконы? — спросил Румпф.

— Как когда,— отвечала Марион. — Большей частью они слишком суровы и мрачны, но эта прелестна.

Румпф покачал головой.

— Я до них не охотник,— сказал он,— для меня в них есть нечто чересчур католическое и мрачно-средневековое, а я это ненавижу. Иконы собрали для меня в Польше, и какой-то безумец прислал их мне... Отберите себе то, что вам нравится.

Марион поблагодарила и отказалась.

— Очень уж они мрачны,— пояснила она.

— Вот и я того же мнения,— засмеялся Румпф и взял руку Марион. — Мне больше нравится созерцать мою маленькую еврейскую мадонну, от которой, видит бог, не отдает средневековьем. Мне кажется, это та же самая желтая блузка, в какой я уже однажды видел вас весной, или я ошибаюсь? И вы как будто немножко пополнели?

— Как вы все запоминаете, господин гаулейтер,— удивилась Марион, садясь за стол.

Румпф кивнул.

— Да,— сказал он,— если уж я что-либо заметил, то забуду нескоро. — И вдруг он громко рассмеялся, как это с ним бывало, когда он вспоминал что-нибудь смешное. — А как наш маленький замок в Польше? — спросил он, продолжая смеяться. — Думали вы о нем, Марион?

У Марион остановилось сердце, она побледнела. «Вот оно! Вот,— подумалось ей. — А я-то понадеялась, что он уедет, не задав мне этого вопроса».

— Да,— сказала она тихо. — Я часто о нем думала.

Но Румпф прослушал страх и растерянность,

звучавшие в его голосе: он в это время закуривал сигарету.

— Возьмите сигарету, Марион,— сказал он. — Ведь вы любите курить за чаем. — Он взглянул на свет и прищурился. — Мне очень неприятно в этом признаваться, но я попросту осрамился с этим польским замком.

— Как это понять? — спросила Марион, снова вздохнувшая легко н свободно.

Румпф громко засмеялся.

— Да,— сказал он,— в самом деле осрамился, и вам остается только посмеяться надо мной. Знаете, Марион, что случилось с нашим прекрасным замком? Его съели мыши! Ха-ха-ха!

Марион тоже засмеялась.

— Мыши? — воскликнула она. — Мыши? — Ей стало так легко, что она готова была подпрыгнуть. Впервые этот человек с рыжими волосами показался ей снмпатичным. Чаша сия еще раз миновала ее.

Румпф продолжал весело смеяться.

— Да, в самом деле не плохая шутка! — восклнкнул он.— Мыши, конечно, не целиком сожрали мой очаровательный замок, он стоит, как стоял. Но когда я послал архитектора обследовать его, он вернулся с ответом, что в замке жить нельзя; мыши, самые настоящие польские мыши, разгрызли все балки, полы, потолки, чердак, лестницы, словом все. Замок может каждую минуту рухнуть. Уже десять лет, как никто не живет в нем.

Марион смеялась до упаду над этой историей.

— Я рад, что и вы легко отнеслись к этому. Придется мне подыскать что-нибудь другое, получше,— сказал он, вставая,— гораздо лучшее. Между прочим, эти польские крестьяне нагнали бы на вас смертную тоску. Вы бы все равно там не прижнлись. Но, как мне ни жаль, а я должен попрощаться с вами, прекрасная Марион.

Румпф быстро снял со стены богоматерь в зеленых ризах.

— Возьмите, Марион,— сказал он, вручая ей почтн невесомую деревянную дощечку.— Ведь она вам нравится. Очень прошу вас, я, к сожаленню, тороплюсь.

Он проводил Марион до передней и подождал, пока слуга помог ей надеть пальто.

— Прощайте,— сказал он, пожимая руку Марион.— Я буду искать, пока не найду то, что подойдет вам, Марион. Мы еще встретимся. Разрешите мне пройти вперед.

Гаулейтер исчез за дверью, и почти в ту же минуту Марион услышала шум отъезжавших машин.

XIII

После бурного разговора с Вольфгангом Фабиан прохворал целую неделю. Два дня он даже оставался в постели; он осунулся и пожелтел, точно больной желтухой. Обвинения Вольфганга подействовали на него, как удар обухом. Некоторые из них были несправедливы, но многие он, к сожалению, должен был признать правильными.

Конечно, не могло быть и речи о том, чтобы он порвал с национал-социалистской партией. Очень уж просто все это представляется Вольфгангу! Не мешало бы ему вспомнить, ну, хотя бы о враче Папенроте, который два года назад вопреки всем предостережениям вышел из национал-социалистской партии! Ему запретили практику и возбудили против него судебное преследование. Поговаривали, что в своей врачебной деятельности он прегрешил против новых законов. Доктор Папенрот был полностью разорен, нервы его сдали, и в конце концов он отравился.

Фабиан знал десятки таких случаев. Нет, нет, дорогой Вольфганг, порвать с национал-социалистской партией — это не так просто, как ты себе представляешь, о нет! Не только того, кто убежит из Биркхольца, затравят насмерть, но и каждого, кто выйдет из национал-социалистской партии. В большинстве случаев это равносильно самоубийству.

Разрыв с братом мучил Фабиана, чувствовать в нем врага было невыносимо. Неделями он боролся с искушением отправиться в Якобсбюль и сделать попытку примирения. Но он знал упрямство Вольфганга и был уверен, что тот не пожелает даже выслушать его.

Так или иначе, но его слепая вера в национал-социалистскую партию была надолго подорвана и ожила в нем, лишь когда немецкая армия после головокружительных побед вышла на побережье Северного моря и Ла-Манша.

Радостное возбуждение помогло Фабиану многое преодолеть. Вечера он просиживал с приятелями в «Звезде», где часто заставал Таубенхауза и Крига, беседовавших о политике. Армия, готовая перекинуться в Англию, стоит в Норвегии и на берегу Ла-Манша. Британская империя трещит по всем швам, в этом нет сомнения. Плохи, плохи дела Англии.

— Мы сотрем с лица земли Англию, как стерли Польшу, только еще быстрее! — предсказывал советник окружного суда Петтерсман.— И тогда, тогда...

Таубенхауз поднял бокал:

— За великую Германию!

«Немцы охвачены безумием»,— писал «неизвестный солдат» в своих анонимных письмах, которые он дерзко начинал словами: «Германия, проснись!»

— Этого дурака надо изловить и повесить,— кричал Фабиан вне себя от гнева,— он отравляет весь город, этот сумасшедший! По его мнению, на немецкий народ ложится ответственность за кровь тридцати тысяч граждан Роттердама, погибших от немецких бомб! Ну, можно ли так спутать все понятия? В современных войнах победитель всегда требовал капитуляции городов, стоявших на его пути, и если эти города отклоняли ультиматум, их разносили в щепы, и весь мир находил, что это в порядке вещей!

«Как дикие племена, врываясь в чужие владения, уводят скот, так немецкие солдаты за рубежом, попирая все законы нравственности, ведут себя как поджигатели, грабители и убийцы. И это называют войной»,— писал «неизвестный солдат». Фабиан негодующе высмеивал его бесстыдные преувеличения.

Разве этот путаник ничего не знает о «праве на добычу»? Ведь и сам Фабиан всегда стоял за рыцарское ведение войны и резко осуждал все нарушения международного военного права.

Вот когда «великая Германия» станет фактом, тогда

«неизвестный солдат» вернется пристыженный в свою контору, в свой служебный кабинет или мансарду, если, конечно, ему еще до того не снимут голову, на что он, Фабиан, очень надеется; тогда и Вольфганг помирится с братом! Тогда он, наконец, поймет, что все это было необходимо, продумано. Все, в том числе Биркхольц и прочие лагери. Ему станет ясно, что невозможно создавать «великую Германию», не сметая с пути все трудности и помехи. И, наконец, он поймет,— здесь Фабиан улыбнулся про себя,— что не все они — судьи, профессора, офицеры — были дураками и бессовестными эгоистами, когда верили в великую миссию Германии.

Работа в Бюро реконструкции прекратилась. В городе не было рабочей силы. Все мужчины, способные носить оружие, находились на фронте, в казармах или работали на военных заводах. Днем и ночью отправлялись на фронты поезда с новыми пополнениями, в казармы каждый день прибывали новые солдаты со своими чемоданчиками. Вся Германия превратилась в один гигантский военный лагерь.

В городе стали попадаться женщины в трауре, раненые, инвалиды — однорукие и одноногие. Колонны военнопленных разных национальностей шагали по улицам.

В эти дни Фабиан решил переехать на новую квартиру Клотильды, где для него давно уже были приготовлены две комфортабельные комнаты. Клотильда терпеливо ждала, она была уверена в победе. Хлопот с переездом у него не было, обо всем позаботились сыновья. Только в первые ночи ему не спалось.

Кончилась его одиссея. Или, может быть, блуждания? В его жизни была короткая пора счастья, когда он любил Кристу. Тогда он и вправду был другим человеком. Сердце его расцвело, было полно нежности и стремления к добру, он жил полной жизнью, творил. Не забыть ему Кристы, никогда не забыть.

Затем он наслаждался поцелуями прекрасной Шарлотты, но не был счастлив, а теперь он снова с Клотильдой, которую однажды покинул с ненавистью в сердце.

Она больше не тешилась тщеславной надеждой вос-

питать Фабиана по своему образу и подобию, хотя попрежнему была эгоистична, упряма и властна.

Вместе с тем он должен был признать, что во многих вопросах она стала сговорчивее. «Более мудрый всегда уступает»,— часто повторяла она и избегала споров, если у них возникали разногласия. Впрочем, теперь они и духовно стали ближе, поскольку оба мечтали о «великой Германии», за которую Клотильда готова была, говоря ее же словами, бороться до последней капли крови.

И оба сына — здоровые, прекрасно развивающиеся, любимые — были при нем. Что еще нужно человеку?

XIV

В последние недели налеты английских эскадрилий участились и стали более упорными и страшными. Много домов было разрушено, у Бишофсбрюкке выгорел целый квартал. Англичане сбрасывали теперь на город канистры с бензином и фосфорные бомбы.

Давно прошли времена, когда им удавалось разбомбить разве что какую-нибудь конюшню, и люди только смеялись над ними. Теперь, едва начинали выть сирены, все и вся мчалось в бомбоубежища, где уже было очень холодно. С детьми и пожитками, с малолетними и новорожденными, с детскими колясками, постелями и чемоданчиками, где были уложены необходимейшие вещи, целые семьи бежали в паническом ужасе по темным улицам и исчезали в неприметных дырах, которые могли разыскать только люди, знавшие о них. Нет, с англичанами шутки плохи: достаточно вспомнить о судьбе Кельна, Дюссельдорфа, Бремена и других городов. После того как в один час сгорел большой квартал у Бишофсбрюкке, даже смельчаков охватывал испуг при первых же звуках сирены.

Робби теперь был занят важными делами. Сначала к участию в противовоздушной обороне привлекалась только гитлеровская молодежь старших возрастов. По приказу полковника фон Тюнена, начальника противовоздушной обороны города, эта молодежь несла вспомогательную службу при зенитных орудиях. Пол-

ковник был того мнения, что молодых людей надо приучать к огню возможно раньше. Младшие же, в их числе Робби, все еще болтались без дела, и им приходилось торчать в бомбоубежищах, что было страшно скучно и глупо. Но вот полковник создал новую организацию под названием «Граждаиская оборона»; ои отобрал для иее только самых сильных юношей. Робби снова не попал в их число и выиужден был по-прежиему отсиживаться с «детьми и грудными младенцами» в скучном подвале. А юноши из «Гражданской обороны», захлебываясь, рассказывали о своих приключениях. Оии наблюдали за воздушными боями и полетом трассирующих пуль. Они тушили пожары, выбрасывали кровати из окон, когда над их головами уже горели крыши; чего только они не испытывали!

Это были приключения во вкусе Робби, и он умолял мать замолвить за него словечко перед фон Тюненом: ведь ои не слабее других. В коице концов его зачислили в организацию «Гражданская оборона № 3», разместившуюся в доме шельхаммеровской конторы, наиболее добротном из всех городских зданий.

Робби уже участвовал в противовоздушной обороне при шести налетах! Это, конечно, было поинтереснее, чем торчать в дурацком холодном подвале с плачущими ребятишками. Трижды он дежурил на улице, отводил запоздалых прохожих в ближайшее бомбоубежище, объяснял пожарным командам кратчайший путь к горящим домам, вызывал из убежища дежурного по противовоздушной обороне и выговаривал ему за то, что в четвертом этаже его дома виднеется свет. Он слышал, как грохотали в воздухе вражеские самолеты, и видел трассирующие пули в черном небе. А на самой «точке», как они называли свое помещение, было еще занимательнее. Каждый воздушный налет был новой сенсацией. Кроме того, Робби любил как можно дольше оставаться иочью иа улице.

Фабиан был очень доволен переменой, которая произошла с Робби. Гарри как будущий офицер обучался в одном из лагерей и по субботам, затяиутый в красивый мундир, приезжал к родителям. А теперь,

наконец, и Робби преодолел свое, казалось, неискоренимое, отвращение ко всему военному.

Едва раздавался звук сирены, как Робби радостно напяливал на себя коричневый мундир, прикреплял к ремню флягу с черным кофе и выбегал из дома. Он стремглав мчался сквозь темноту и в несколько мгновений добирался до «шелльхаммеровской точки». Это была веселая «точка», где сообщалось множество историй, новостей, слухов, где пили кофе и пиво, а случалось и коньяк. Все это было очень занятно. Приоткрыв дверь подвала, можно было видеть, как прожекторы прорезали небо над черными клетками дворов, стены озарялись призрачным светом от выстрелов зенитных орудий, на улице в это время рвались бомбы, а наверху, на крыше, коротко и резко трещали пулеметы, уже подбившие многих томми[1]. Был в подвале и телефон, так как «точка» постоянно сносилась со штабом противовоздушной обороны.

Часто дни проходили спокойно, но случалось, что телефон звонил не переставая и до рассвета никому не удавалось прилечь.

Сегодня штаб противовоздушной обороны неистовствовал: «Внимание, внимание! Соединение в сто двадцать четырехмоторных бомбардировщиков приближается к городу!»

— Сто двадцать четырехмоторных! Боже мой, откуда же у них берется столько машин?

— Помалкивай, Робби! — приказал комендант.

Зенитные орудия уже вели огонь вовсю, на крышах трещали пулеметы. Где-то близко ухнул упавший снаряд, дом задрожал, во дворе посыпались и зазвенели стекла. Мальчики — их здесь собралось около двадцати — ликовали, они были слишком молоды, чтобы испытывать страх.

В самый разгар тревоги с крыши спустился измазанный сажей солдат, чтобы захватить наверх несколько бутылок пива. Он уже по опыту знал — необходимо что-нибудь рассказать «юнкерам», как они называли

---

[1] Так в Германии называли англичан.

ребят, иначе пива не дадут, хотя у них целая скамья заставлена бутылками.

— Сегодня томми совсем спятили! — сказал солдат.— Видно, они что-то затевают.

— Вы уже сбили кого-нибудь?

Солдат рассмеялся:

— Один самолет как будто сбит. «Стреляйте, сколько стволы выдержат,— прокричал капитан,— последнюю бомбу он заготовил для нас! Эти черти сегодня метят в нашу «точку»! Скорее, скорее! Они опять возвращаются!»

Солдат получил три бутылки пива, а когда он хотел заплатить, мальчики подняли его на смех.

— У нас не пивная!

Солдат с тремя бутылками исчез.

Раздался телефонный звонок. Робби снял трубку. В этот вечер он дежурил у аппарата.

— Эскадрилья поворачивает к северу, скоро дадут отбой! — крикнул он в убежище.

Солдат с тремя бутылками пива в это время карабкался на крышу, но едва он просунул голову в люк, как над его ухом раздался такой страшный рев моторов, будто вражеская машина пролетела прямо над ним.

Три пулемета возле дымовой трубы работали не переставая, и снопы искр вылетали из их стволов. С темного неба упали три красных сигнальных ракеты, и вслед за ними посыпалось множество маленьких сверкающих звезд. Солдат в конце концов пролез через люк и в ту же секунду ощутил сильнейший порыв ветра, едва не сорвавший с него куртку; какая-то гигантская тень призраком скользнула над самой крышей. А труба наклонилась вперед.

Разрыва бомбы он уже не слышал. Крыша с шестью станковыми пулеметами, темной кучкой солдат и дымовой трубой рухнула, и пятиэтажное здание лавиной покатилось в бездну.

Языки пламени рванулись вверх, но яркий огонь мгновенно превратился в пышущий красный жар, столб дыма повалил из кучи развалин и, словно темное, мечущее искры облако, разостлался над городом.

Несколько минут спустя штаб противовоздушной обороны получил сообщение, что «шелльхаммеровская точка» разрушена воздушной миной, и полковник фон Тюнен, работавший не покладая рук, немедленно отдал необходимые распоряжения. Не успел отзвучать отбой, как солдаты при свете смоляных факелов уже вползли в эти облака дыма и искр. Пожарные машины мчались во весь опор, но всем было ясно, что спасать уже нечего.

Солдаты, пытавшиеся пробиться сквозь горы щебня, вскоре вынуждены были отказаться от своего намерения. Десятки, сотни тысяч кирпичей... Кто бы мог предположить, что такое возможно! Полковник фон Тюнен пробирался к разбомбленной «точке» по улицам, засыпанным осколками стекла, загроможденным рухнувшими домами, расщепленными деревьями. Страшный налет, что и говорить! Разрушены ткацкие фабрики Каспара, выполнявшие военные заказы, уничтожены три казармы, две старинные церкви, правительственное здание. Откуда у англичан такие точные сведения? Шпионы, шпионы!

Полковник фон Тюнен полчаса взбирался на эту дымящуюся гору щебня, пока весь не почернел от дыма и копоти. Десятки, сотни тысяч кирпичей, железные опоры, балки, осколки стекол, черепица... Черт бы побрал этих томми!

— Прежде всего необходимо очистить подвал,— распорядился полковник.— Здесь помещалась «Гражданская оборона номер три» — сплошь молодежь. Будем надеяться, что многие еще живы...

По пути он позвонил Фабиану. Он извинялся, что потревожил его ночью, но «шелльхаммеровская точка» разбомблена воздушной миной.

— Не дежурил ли сегодня ваш Робби, господин правительственный советник? Простите за беспокойство!

Через полчаса Фабиан был у развалин. Светало.

Солдаты, пожарники и добровольцы прорыли туннель к подвалу; они работали в облаках дыма и пыли, все еще не рассеявшихся, несмотря на то, что моросил дождь. Фабиан швырнул пальто на щебень и стал вме-

сте с ними лихорадочно отбрасывать в сторону камни и обуглившиеся балки. Перчатки его превратились в лохмотья, руки были в крови.

— Я ищу моего мальчика! — стонал он.

— Здесь и мыши-то не осталось живой,— сухо ответил солдат.

Только на рассвете они открыли и вышибли топором двери в убежище. Но за дверьми лежала другая гора обломков, десятки, сотни тысяч камней, балки, железные опоры.

Уже снова смеркалось, когда они вытащили из «Гражданской обороны № 3» первого погибшего, а к полуночи все двадцать мальчиков, бледные и недвижимые, лежали на панели под проливным дождем. Это были дети именитых граждан, почти все — гимназисты. Среди них был и Робби, его нашли в углу у телефона. Полковник фон Тюнен подъехал на своей машине, постоял с минуту возле погибших, отдал им честь, слегка коснувшись рукой фуражки. Затем он уехал — безотлагательные служебные дела.

«Он погиб не на фронте,— думал Фабиан,— он даже не достиг еще призывного возраста. Он умер в надежных, казалось бы, стенах города».

Пожарный отвел обессилевшего, убитого горем Фабиана домой.



I

Выла сирена. Сначала это был громкий стон, как бы идущий из недр земли; постепенно он превращался в неистовый рев осатанелого быка, рев, потрясающий воздух, разрывающий барабанные перепонки. Этот рев то грозно нарастал, то снова стихал, чтобы, наконец, замереть среди воплей и криков.

Фрау Беата накинула платок на плечи — ее знобило — и вышла на террасу. Из сада к ней тотчас же прибежал сенбернар Неро. Он прыгал, визжал и лаял, он клал ей на грудь свои тяжелые лапы и обдавал ее лицо влажным жарким дыханием. Он искал у нее защиты и помощи от надвигавшегося ужаса, так как знал, что она спокойнее всех в доме. Его глаза тревожно сверкали у самого ее лица.

— Где ты, мама? — взволнованно спросила стоявшая в дверях Криста.

— Тут, у самой стены, Криста,— сдержанно отвечала фрау Беата.— Возле меня Неро. Ты слышишь,

как ои дышнт? Спокойио, Неро! — Страх и ужас охватывали фрау Беату прн каждом налете, но она иастолько владела собой, что казалась совершеиио спокойной.

Прожекторы воизали острые световые стрелы во мрак темной весенией ночи: сначала две, три, потом целых десять и еще, и еще... Они подбнрались к отдельным большим созвездиям, осторожно прочесывалн тонкне облачные завесы, как мягчайшие жеиские волосы, инспадавшие то тут, то там между звездами, и виезапно исчезали, чтобы мгновенио где-то вспыхнуть виовь и призраками забродить по небосклоиу.

Неро громко лаял и внзжал. Ои раиьше своих хозяек уловнл звук моторов.

В западной части города уже палили зеиитные орудия, от вспышек выстрелов из мрака иа миг вдруг выступала стеиа дома, а разорвавшиеся снаряды врезались в серо-сииее иебо, как сверкающие иожи, как пучки коротких яркнх молиий. Вдруг Неро бешеио залаял.

— Оии приближаются, я слышу нх, мама! — прерывающнмся голосом воскликнула Криста, дрожа от холода, возбуждения и страха.— Пойдем в дом, мама. Я озябла.

— Мне кажется, что сегодня какой-то особеиный воздух,— ответила фрау Беата все с тем же спокойствием, но голос ее, к удивленню Крнсты, донесся нз другого места: — Накинь пальто, и ты ие будешь зябнуть!

Выстрел — и Криста увидела, что мать стоит посреди террасы.

Теперь уже явственно слышалось гудение моторов. Зенитные орудия палили во всех направлениях, и везде над затемиеным городом сверкали в небе блестящие кинжалы. Высоко в воздухе гудели моторы; казалось, этот гул катится от горизонта к горизонту.

— Как нх много сегодня! — сказала Крнста дрожащим голосом.

— Несколько сот, должно быть,— подтвердила фрау Беата, и Криста почувствовала, что мать повер-

нулась к ней лицом.— There are gentlemen in the air [1], Криста,— прибавила она, и ее голос резко прозвучал в ночной тишине. Она почему-то говорила по-английски, как это с ней часто бывало при воздушных налетах.— Разве не позор,— по-английски продолжала она, — что из-за какого-то помешанного эти молодые люди вынуждены рисковать жизнью, гибнуть за тысячи километров от родины? Разве не позор?

— Не говори так громко, мама, прошу тебя!

Фрау Беата внезапно рассмеялась, она стояла почти рядом с Кристой.

— I don't care [2],— продолжала она.— Тебе не кажется, что они охотно остались бы в Лондоне со своими девушками? Будем надеяться, что ни один из этих бедных парней не погибнет. Да накинь, наконец, пальто, у тебя зуб на зуб не попадает.— Она отогнала собаку.— Если ты не будешь слушаться, Неро, я посажу тебя на цепь.

— Ты только посмотри, мама,— сказала Криста, указывая на небо.

Несколько прожекторов, преследовавших крохотную светящуюся точку на севере, скрестились близ созвездия Большой Медведицы. Казалось, крохотная звездочка стремительно несется среди больших звезд. Прожекторы поймали и «вели» самолет, как это нередко случалось.

— Почему они летят со светом? — допытывалась Криста. Голос ее звучал тихо и как будто издалека.

Прошло довольно много времени, прежде чем в ответ раздался низкий голос матери. Она с бьющимся сердцем следила за крохотной огневой точкой в небе, отчаянно стремившейся вырваться из круга сверкающих ножей.

— Откуда мне знать, дитя мое? Наверно, им нужен свет в кабине, чтобы различать показания приборов.

Женщины долго молчали.

Летящая звездочка внезапно исчезла, на ее месте

---

[1] Джентльмены в воздухе *(англ.)*.
[2] Мне все равно *(англ.)*.

показалось туманное облако, прожекторы потеряли самолет и стали рыскать по небу.

— Удрал, удрал! — ликовала фрау Беата и схватилась рукой за сердце.

— Они скрылись в тумане! — радостно смеясь, воскликнула Криста.

В темном небе показались две красные и три зеленые ракеты, и тотчас же над мрачным городом повисло сверкающее сооружение из пестрых огней, похожее на зажженную елку.

— Осторожнее! — крикнула фрау Беата, отступая к стене. Она услышала какие-то подозрительно резкие звуки, затем раздался шум, зловещее шипение, что-то огромное просвистело в воздухе. Шум и шипение то усиливались, то ослабевали, иногда совсем умолкали и снова раздавались отчетливей и отчетливей. И, наконец, все разразилось грохотом, который сотряс землю.

Бомба!

Через минуту над городом занялось зарево пожара.

— Горит неподалеку от нашего завода! — взволнованно сказала фрау Беата.— Можно различить даже башню Михаэля.

Это была та самая бомба, что убила маленького Робби.

Гул моторов замер вдали. И подобно тому, как выпрямляются верхушки деревьев, когда буря пронесется мимо, из недр земли вновь хлынула зловещая тишина. Вот уже следующая эскадрилья самолетов грохотала в воздухе, зенитные орудия стреляли что было мочи. Прожекторы прорезали небо, и разрывы бомб сотрясали землю.

Вдалеке на серо-синем небе еще несколько секунд можно было видеть красноватую полоску, будто кто-то мазнул румянами по темному бархату. Это горящий самолет ринулся вниз — никто не знал, свой или вражеский.

В доме послышались громкие шаги, кто-то опрокинул стул. Из темноты донесся звонкий голос молодой девушки:

— Меня послал начальник местной противовоздушной обороны. Вам приказано тотчас же спуститься в подвал.

II

Фрау Беата на все лады кляла начальника местной противовоздушной обороны: «Сам черт навязал нам на шею этого несносного Кребса!»

Кребс был фанатичный нацист, служивший швейцаром в соседнем доме. Его жена ждала ребенка, и фрау Беата послала ей кучу старых детских вещей. Однако Кребс был неподкупен.

— Долг — это долг, прошу прощения!—говорил он.

Зимой фрау Беата всегда страдала бронхиальным катаром, и холодный подвал был невыносим для нее. Она представила справку от врача, и на некоторое время ее оставили в покое. Но как только кашель прошел, Кребс снова настоял на том, чтобы она при сигнале воздушной тревоги спускалась в убежище.

Фрау Беата больше всего на свете любила свежий воздух, вдобавок любопытство, смешанное с ужасом, непреодолимо влекло ее на террасу, откуда она наблюдала за налетами. Криста всегда находилась поблизости от нее, так как обе они сознавали, что каждая бомбежка угрожала им смертельной опасностью. Время от времени фрау Беата возвращалась в затемненный дом, чтобы подкрепиться рюмкой коньяку.

Иногда при налетах и наблюдать было нечего — несколько световых ракет и сверкающие ножи зенитных снарядов в небе, вот и все. Но иной раз в воздухе, на невероятной высоте, происходили бои ночных истребителей; невидимые, они стреляли трассирующими пулями, и светящиеся жемчужины выписывали светлые круги на темном небе. Однажды мать и дочь увидели горящий самолет, мчавшийся над городом, вернее остов самолета в пылающем, рассыпающемся искрами обруче; он с такой неистовой скоростью приближался к их дому, что фрау Беата вскрикнула и убежала с Кристой в комнаты.

Однако ее свободу все больше и больше ограничивали. Кребс грозил, что донесет на нее, и в конце кон-

цов фрау Беата получила строгое предупреждение от начальника городской противовоздушной обороны полковника фон Тюнена.

Старик Шелльхаммер знал толк в строительном деле. Недаром он в бытность свою слесарем работал на стройках. Он соорудил большой прочный подвал для картофеля, угля, вина со сводчатыми, как в крепости, потолками, и этот подвал служил теперь хорошую службу окрестному населению.

Как только раздавался пронзительный вой, соседи фрау Беаты устремлялись в подвал. Они бежали со всех сторон — в дождь, в снег, в ледяной холод. Часто там собиралось человек шестьдесят. Скорчившись, они сидели в мрачном, холодном подвале четыре — пять часов, а иногда и всю ночь. Многие приходили с детьми, закутанными в пальто, с грудными младенцами, завернутыми в одеяла. Они притаскивали чемоданы с необходимейшими вещами и едой, ибо никто не знал, уцелеет ли его квартира после налета. Немало наслышались они о подобных происшествиях! Со стесненным сердцем они усаживались на ящики, на самодельные скамьи или кучи угля. Некоторые приносили с собой раскладные стулья и даже кровати.

Подвал освещался тусклой электрической лампочкой, обернутой в синюю бумагу, чтобы ни один луч света не вырвался наружу, когда откроется дверь. Фрау Беата распорядилась поставить здесь на зиму небольшую железную печку. Но собиравшиеся в подвале старухи кашляли и так боялись угара, что ее перестали топить; да и топливо приходилось экономить с тех пор, как оно было рационировано.

На лестнице, ведущей в подвал, сидел, охраняя дверь, начальник местной противовоздушной обороны Кребс, которого так кляла фрау Беата. Время от времени он выходил на улицу.

— Неподходящая погода,— говорил он, вернувшись.— Они удирают. Две великолепные рождественские елки висят над городом! — Или же смеялся блеющим смехом: — Сегодня у томми дела плохи. Наши ночные истребители преследуют их по пятам.

Только что сбили один самолет, он перекувырнулся, как подстреленный заяц.

— Мы ждем от вас хороших вестей, Кребс,— поощряла его баронесса фон Тюнен, укрывавшаяся от налетов в том же подвале в дни, когда она не бывала на службе. — Это придаст бодрости маловерам, тем, что хотят выиграть войну в две недели!

— Над городом появилась новая эскадрилья, баронесса!

— Пусть! Наши ночные истребители сумеют расправиться с ней.— Баронесса фон Тюнен, одетая в изящный костюм сестры милосердия, снова закуталась в одеяло и попросила глоток воды.

Воды в убежище было сколько угодно, но кофе давали только тем, кто впадал в обморочное состояние, что случалось нередко. У фрау Беаты имелся при себе термос с кофе. Она сидела под лампой всегда на одном и том же ящике, прямо, со спокойной улыбкой, и, казалось, не испытывала ни малейшего страха.

Криста же усаживалась на скамье посреди кучи детей, которых она старалась успокоить в тревожные минуты. Она сидела, почти не шевелясь, со страхом в душе, но нежная улыбка все время играла на ее лице, даже когда она молчала.

Как это выразился Фабиан в приливе поэтического вдохновения? Улыбка витает на ее лице, как витает аромат вокруг розы. И ведь, пожалуй, он был прав.

Ни одна минута не проходила спокойно в этом темном подвале. Многие, заслышав грохот моторов, начинали молиться так, что казалось, в подвале под сурдинку играет контрабас. Когда где-то раздавался взрыв, они начинали вопить и причитать.

— Спокойствие! — приказывал Кребс со своей лестницы.

Дети плакали, грудные младенцы пищали, чувствуя, что вокруг творится что-то неладное.

Однажды бомба разорвалась совсем близко, возле Дворцового парка. Дом накренился; казалось, он вот-вот рухнет, лампочка погасла, зазвенели выбитые стекла, осколки усеяли землю возле лестницы. Нача-

лась паника. С криками ужаса все повскакали с мест, дети плакали и бросались к матерям.

— Спокойствие! Спокойствие! — гремел из темноты голос коменданта Кребса.

— Мы, немцы, должны научиться умирать за великую идею! — звонко и резко прозвучал сквозь шум голос баронессы фон Тюнен.

Не успел еще Кребс зажечь запасную лампу, как раздался второй взрыв. Людей бросило наземь, кое-кого протащило в противоположный угол; слышны были только крики и плач; наконец, кто-то зажег свечу. Люди вытирали слезы, очищали платье от грязи, известки и упавшей с потолка пыльной паутины. Баронесса фон Тюнен оказалась под кучей кричащих ребятишек, пытавшихся встать, чтобы броситься к своим матерям. Баронесса, действуя поврежденной рукой, силилась выбраться из этой кучи и просила Кребса отпустить ее домой; она опасалась, что у нее сломана рука.

— Долг есть долг, прошу прощения. Вам придется остаться на месте! — заупрямился Кребс. — Никому нельзя выходить на улицу. Самолеты прямо над нами.

Обе бомбы метили в убежище, находившееся в недостроенном здании Дома городской общины, где укрывалось свыше тысячи человек. Лишь после этого налета Фабиан понял, почему мюнхенские архитекторы и гаулейтер так упорно настаивали на устройстве подвалов в этом здании.

Откуда все это было известно англичанам? Все жители города пребывали в неистовом возбуждении с тех пор, как была разрушена «шелльхаммеровская точка» и в «Гражданской обороне» погибло двадцать юношей-учащихся. В подвале фрау Беаты на лице каждого был написан страх: а что, если бомба разорвется в убежище?

III

В спокойные часы женщины наперебой болтали всякий вздор о несчастных случаях, об арестах и очередях за все более скудными пайками. Мужчины, что-

бы убить время, толковали о политике. Мало было радости слушать эту болтовню.

— Как жаль, что мы не сразу вторглись в Англию,— говорил низенький кривобокий чиновник.— Как вы считаете, оккупируем мы ее еще в этом году?

— Какие могут быть сомнения? — отвечал толстый и довольно смышленый виноторговец.— Ведь фюрер сказал в рейхстаге: «Мы будем там!» А раз фюрер сказал, значит так тому и быть. Да, мы не вторглись в Англию, но вы не поняли глубокого смысла этой тактики. Мы хотели выждать, пока англичане вооружатся, чтобы забрать себе их вооружение. Вот в чем глубокий смысл этой медлительности. Понятно?

— Вы успокоили меня, англичан необходимо взгреть, хотя бы из-за буров. А скажите на милость: что, собственно, творится в Африке и на Крите? Стыдно признаться, но я ничего не понимаю. Ведь и в этом должен быть какой-то смысл?

— Смысл? — Толстый виноторговец весело рассмеялся.— Все, что делает фюрер, имеет смысл, милейший. Видите ли, то, что мы там готовим,— это своего рода клещи. Итальянцы продвигаются к Нилу, а мы идем с севера.

— Ах, атака с двух флангов! Понимаю!

— Да, атака с двух флангов! Поскольку Турция является для нас поставщиком металлов, мы пошли не через Турцию, а через Грецию и Крит. Оттуда мы двинемся на Палестину. Это северный фланг, итальянцы будут идти нам навстречу. Хлоп! Суэцкого канала у англичан как не бывало! А оттуда уж два шага до Абиссинии!

— Ах, как это, однако, просто! Но ведь остается еще Гибралтар, который англичане не так-то легко выпустят из рук?

— Гибралтар? — смеясь, воскликнул виноторговец, но запнулся.— Слышите шум? Наверно, где-то поблизости упал самолет. Слышите? И разбился в куски. Кребс уже выходит на улицу. Гибралтар, почтеннейший? Гибралтар последует за Суэцем, это так же верно, как то, что после молитвы следует «аминь». Правда, «неизвестный солдат» в своей писанине утверж-

дает, что «отнять Гибралтар у англичан будет так же трудно, как вырвать клыки у слона». Ха-ха-ха! И удивится же «неизвестный солдат»! Клыки будут вырваны, прежде чем мы успеем оглянуться! Как молочные зубы у четырехлетнего ребенка!

Баронесса фон Тюнен звонко рассмеялась.

— Слушая вас, набираешься сил, господин Борневоль. Побольше бы нам таких людей в Германии!

Мужчины часами предавались политическому фантазерству. Борневоль всегда задавал тон. Даже женщины переставали болтать и прислушивались к их разговорам. Конечно, были и молчаливые мужчины, которые лишь изредка вставляли слово — другое и, заметив, что Борневоль старается втянуть их в беседу, тотчас же умолкали.

Борневоль прежде торговал пивом «на вынос» в маленьком погребке, но в начале войны прибрал к рукам оптовую виноторговлю Саломона и нажил состояние, торгуя награбленным французским вином. Удовольствия ради он часто сочинял статейки для «Беобахтер»; в последнее время большим успехом пользовались его заметки «Люди и нравы в бомбоубежищах». Так как он был близким другом начальника гестапо Шиллинга, то многие старались его избегать.

В подвал фрау Беаты всякий раз во время налетов приходил маленький черный человечек, которого там прозвали «факельщиком». И правда, никто бы не мог пожелать себе лучшего факельщика. Он всегда являлся в парадном черном сюртуке, в черном галстуке и белоснежной манишке, точно на праздник. Маленький и хрупкий, как школьник, он был уже убелен сединой; его короткие волосы курчавились, как у негра. Он всегда приходил с женой, такой же седой, маленькой, тоненькой, только без локонов; волосы ее были расчесаны на пробор и уложены двумя белоснежными прядями. Она, как и муж, всегда была одета по-праздничному, в платье из старинного шелка, который уже рассыпался. По-видимому, это был ее подвенечный наряд. Она всегда сидела на одном и том же месте, углубившись в черный молитвенник с полинялым золотым обрезом, и ни разу не раскрыла рта.

«Факельщик» никогда никого не задевал, и его почти не замечали. Говорили, что в прошлом он был судебным исполнителем. Он часами молча расхаживал взад и вперед по помещению, если хватало места. Три шага вперед и три назад. При большой тесноте он топтался на месте, скрестив руки, и шевелил губами, точно творя молитву.

Когда неподалеку от убежища взорвалась бомба и с невероятным грохотом рухнул дом, он сказал, как только смолкли крики: «Настал день страшного суда!» И улыбнулся. По-видимому, он нисколько не испугался.

— Не смешите нас! — воскликнул виноторговец Борневоль.— Это бомба, и ничего больше.

— Это страшный суд! — повторил человечек с седыми кудрями.— По-другому я себе страшного суда не представляю. Так уже написано в евангелии: «И ввергнут их в пещь огненную; там будет плач и скрежет зубовный».

— Он не так уж неправ,— вмешалась фрау Беата.

— Не нагоняйте страха на своих сограждан,— сказала жена пуговичного фабриканта, заработавшего полмиллиона во время войны.

— Сударыня! — Седой человек слегка склонился перед женой пуговичного фабриканта.— Страшный суд продолжается уже много месяцев и может продлиться долгие годы, покуда всех нас не настигнет кара. В священном писании не сказано, что он свершится в один день.

— Ну, хватит! — сердито воскликнул виноторговец и поднялся.— Куда было бы приятнее, если бы вы каждый день не являлись сюда в черном сюртуке, чтобы портить нам настроение.

Черный человечек с седыми кудрями, обычно бледный, залился краской.

— Позвольте, сударь,— спокойно отвечал он.— Я и моя супруга воспитаны, как добрые христиане. Господь может в любой час призвать нас, и мы хотим быть к этому готовы. Чтобы предстать пред его лицом, мы и надеваем лучшее из того, что у нас есть.

Борневоль напечатал в «Беобахтер» ядовитую за-

метку об этом случае, которая, впрочем, не произвела особого впечатления. Зато всем понравился его фельетон «Новорожденный гитлеровец в бомбоубежище», опубликованный несколько недель спустя.

В подвале фрау Беаты действительно родился мальчик. Многие умирали в убежищах, почему бы и не родиться там новому человеку? У жены Кребса, начальника местной противовоздушной обороны, начались преждевременные роды. Фрау Кребс, толстая добродушная женщина, с нервами слишком слабыми для столь сурового времени, обычно всю ночь просиживала в уголке у лестницы, рядом с мужем, но в последние дни стала приносить с собой узкий матрац, так как чувствовала себя нехорошо,— она была уже на седьмом месяце. При каждом взрыве она громко вскрикивала — ее нервы не выдерживали,— и Кребсу то и дело приходилось призывать ее к спокойствию.

— Эльвира,— восклицал он,— спокойнее, спокойнее!

Так все узнали, что ее звали Эльвирой. Однажды, в воскресенье ночью, когда налет длился четыре часа, она была возбуждена сильнее обычного, металась по матрацу, стонала и жаловалась, что ей не хватает воздуха.

— Возьми себя в руки — прикрикнул на нее Кребс. Вежливость не была его добродетелью. Эльвира сделала над собой усилие и взяла себя в руки. Но когда по соседству зазвенели осколки, ее стоны стали выделяться из общего шума. Она судорожно вцепилась в матрац и побледнела как смерть.

— Немедленно везите фрау Кребс в больницу,— сказал старый врач, но было уже поздно.

— Полотенца, девушки, скорее! Простыни, подушки! — крикнула фрау Беата своим служанкам.— Да не стойте, как истуканы! Это же обыкновенное дело! Гёте и Шиллер явились на свет божий тем же путем! Горячей воды, Криста, беги за ватой! Нет, подожди, я пойду сама.

Она бросилась к лестнице и выбежала на улицу. Над темным городом повисли две зловещие красные лампы, вдали послышался глухой взрыв.

— Подождали бы по крайней мере, пока родится дитя! — крикнула она в небо, так что Криста невольно рассмеялась.

— Нечему смеяться! — сердито закричала фрау Беата.

Через час все кончилось. Самолеты улетели. Мать и ребенка перевезли в больницу Лерхе-Шелльхаммер, построенную во время войны фрау Беатой.

Спустя две недели фрау Беату арестовали.

IV

С наступлением сумерек к дому фрау Беаты подъехал автомобиль, и двое мужчин коротко потребовали, чтобы она поскорее оделась и отправилась с ними. Она едва успела сказать несколько слов растерявшимся служанкам.

В автомобиле фрау Беату всего больше мучила мысль о Кристе. Как она испугается, когда вернется домой! В остальном она была спокойна и хорошо владела собою. По-видимому, донос, думала она, какой-нибудь поклеп, все это быстро выяснится. Она была совершенно убеждена, что ее не в чем обвинять. Ну, что ж, предстоит пережить несколько неприятных дней! К ним надо приготовиться, ведь долго это продолжаться не может. Бедная Криста!

Кристы не было дома. Она уехала в Якобсбюль к Вольфгангу Фабиану, у которого уже несколько месяцев брала уроки. Криста не питала честолюбивого намерения сделаться скульптором, считая себя недостаточно талантливой, но лепка, керамика, обжигание и глазировка статуэток, посуды, ваз — все это увлекало ее, а Вольфганг достиг в этой области больших успехов. Занятия архитектурой пока что сами собой отпали, и Криста по средам и субботам проводила послеобеденные часы в мастерской Вольфганга или же у обжигательной печи, как подручный, подмастерье, ученица.

Машину вел горбатый шофер. Горбуны приносят счастье, и фрау Беата не теряла бодрости.

Ее привезли в женскую тюрьму, бывший женский монастырь, расположенный в Ткацком квартале, на-

званном так потому, что здесь находилось несколько ткацких фабрик.

Приняли ее два безусых чернорубашечника лет по двадцати, не больше, развлекавшие друг друга анекдотами. Они почти не обратили внимания на новоприбывшую и заставили ее прождать минут пятнадцать, пока не насмеялись вдоволь.

— Асессор Мюллер определил ее в семнадцатый номер! — с оскорбительным равнодушием бросил один из чернорубашечников и принялся рассказывать новый анекдот.

Тощая, мрачная надзирательница в солдатской куртке, слишком широкой для нее, по-видимому мужней, повела фрау Беату на третий этаж по узкой плохо освещенной винтовой лестнице, выложенной плитками светло-серого песчаника. Фрау Беата безучастно следовала за ней. Они прошли по широкому, тоже выложенному светло-серыми плитками коридору, в котором гулко отдавались шаги тощей надзирательницы, обутой в тяжелые, подбитые гвоздями башмаки. У двери номер семнадцать надзирательница загремела ключами, втолкнула фрау Беату в камеру и тотчас же заперла за нею дверь.

Фрау Беата была рада, что ее не изругали и не избили, чего она со страхом ждала. Но сердце ее громко билось, только сейчас до ее сознания дошло, что она в тюрьме.

На вошедшую устремились беспокойные взгляды, испытующие и боязливые, но страх быстро исчез, осталось только любопытство. Мрачная камера была, казалось, полна женщин, хотя на самом деле их было всего трое. Две из них сидели на полу, плотно прижавшись друг к другу. С единственной кровати на вошедшую с любопытством смотрела толстая краснощекая женщина в светлом балахоне с темными, почти черными глазами. Когда за фрау Беатой захлопнулась дверь, она быстро приподнялась, весело рассмеялась и подалась вперед.

— Добро пожаловать! — громко сказала она свежим, бодрым голосом.— Не падайте духом! Вы очутились в прекрасном обществе. Моя фамилия Лукач,

Фрида Лукач. Остальные тоже сейчас представятся вам, как положено. И вам у нас очень понравится. Мы все трое отданы под суд. Меня судят завтра. Наверно, я получу от трех до пяти лет каторжной тюрьмы. Теперь мне уж все равно! Привыкаешь ко всему. Только не робеть, сударыня! А нас вы не бойтесь, мы все хорошие люди. Садитесь! — Она спустила ноги и указала на угол кровати.

Фрау Беата беспомощно обвела глазами камеру, но не произнесла ни слова.

— Что привело вас сюда, сударыня? — с той же живостью продолжала толстая женщина, так как фрау Беата не отвечала. Приятный голос и дружеский тон расположили к ней фрау Беату.

— Антигосударственные убеждения, саботаж, нигилизм? Или вы слушали зарубежное радио и на вас донесла служанка? — Толстуха добродушно расхохоталась, весело глядя на фрау Беату.

Наконец, к фрау Беате вернулся дар речи.

— Не знаю, почему я здесь,— сказала она смущенно и неуверенно.

Женщина на кровати рассмеялась.

— Вы не знаете? Но гестапо-то знает, будьте уверены!

— Отрицайте все,— хриплым голосом прошептала одна из сидевших на полу. — Отрицайте все, даже если вас будут пытать. Отрицайте, отрицайте! Стоит в чем-либо сознаться — и человек погиб!

Только теперь фрау Беата оглядела камеру в два метра длиною и почти такой же ширины. У кровати оставался лишь узкий проход. В углу находилось маленькое зарешеченное окно с разбитыми стеклами, сквозь которое проникал холодный вечерний воздух. На низком табурете возле кровати сидела маленькая женщина, бедно, но очень опрятно одетая, с седой головой и большими лихорадочно блестевшими, печальными глазами, казалось, взывавшими о помощи. Возле нее на полу прикорнула женщина в желтом платке, тоненькая, как девочка, с бледным своеобразным лицом и странными, улыбающимися глазами. Она-то и посоветовала фрау Беате все отрицать. «Какие же у

нее лукавые, плутовские глаза»,— подумала фрау Беата.

Молодая женщина подозвала ее кивком головы и улыбнулась, когда фрау Беата наклонилась к ней.

— Вы хорошая женщина,— сказала она хриплым голосом.— Я всегда узнаю хорошего человека, а вы добрая женщина!

Только теперь фрау Беата заметила, что на молодой женщине было синее ситцевое платье в белую полоску, вроде тех, что носят кухарки; желтый головной платок никак не шел к нему.

Фрау Беата, растерянная и смущенная, спросила, для того чтобы хоть что-нибудь сказать:

— Я не понимаю, о чем вы говорите.

Но молодая женщина с лукавыми глазами перебила ее.

— Да, я знаю,— сказала она,— бог наделил меня даром с первого взгляда определять, хорош или плох человек! И все-таки я даже вам не назову его имени, так и знайте! — Она странно засмеялась.

— Чьего имени? — спросила фрау Беата.

— Того человека, который накликал на мою голову беду,— ответила женщина с лукавыми глазами и опять засмеялась.

Толстая женщина на кровати довольно грубо пнула ее ногой.

— Не мели глупостей, Кэтхен! — прикрикнула она на молодую женщину.— Ты думаешь, всем интересно слушать этот вздор? — Лукавые глаза мгновенно наполнились слезами.— Кэтхен — неплохой человек,— объяснила толстая женщина фрау Беате.— Это Кэтхен Аликс из трактира «Золотистый карп» в Эйнштеттене, где когда-то кормили такой вкусной рыбой. Она несколько лет была кухаркой в женском лагере в Вересдингене, где ее избивали до полусмерти. Теперь она здесь, и ее будут судить. Но присядьте же, наконец, дорогая. Я понимаю, что у вас голова кругом идет; вы, должно быть, привыкли к другой обстановке.

Фрау Беата присела на край кровати возле толстой женщины. Она и в самом деле была близка к обмороку.

— А это вот — фрау Рюдигер,— продолжала словоохотливая толстуха, указывая на женщину с седой головой,— вдова сборщика налогов, она страшно боится, что ей отрубят голову.

Бедно одетая, опрятная старушка, фрау Рюдигер, замахала на нее руками.

— Как это вы грубо сказали, фрау Лукач,— произнесла она надтреснутым, прерывающимся от страха голосом.— Как грубо, как бессердечно! Я боюсь, что больше не увижу моего единственного сына. Вы это хорошо знаете. Вы знаете, что я должна еще раз повидать его перед смертью. Должна, должна. Да, верно, я боюсь, что мне отрубят голову, прежде чем я его увижу,— добавила она, глядя печальными глазами на фрау Беату.— Как вы думаете, голубушка? Адвокат сказал мне: «Мы попытаемся спасти вашу голову, фрау Рюдигер, и вы свидитесь с сыном». А вы как думаете, голубушка?

— Адвокат! — засмеялась толстуха в светлом балахоне.— Разве вы не знаете, что все адвокаты заодно с судьями? Все ложь и обман, и я буду рада-радешенька, если отделаюсь тремя годами каторжной тюрьмы. Слушайте! — внезапно прервала она себя, подняв вверх мясистый палец.— Слушайте!

Над потолком раздались пронзительные крики, как ножом полоснувшие фрау Беату. Пронзительные долгие крики, переходившие в визг и шипение. Порой слышался истерический смех, от которого спирало дыхание и кровь застывала в жилах.

— Держись! Держись! — закричала толстушка.— Вам ничего не удастся выведать! Это наша постоянная ночная музыка, дорогая. Они опять взялись за малютку Эйбеншютц. Но малютка Эйбеншютц ничего им не скажет. Я ее знаю, я только сегодня говорила с ней. Раскрылась какая-то история на авиационном заводе «Примус». Саботаж, что ли? Семнадцать человек расстреляли сразу, у самого завода, и вот теперь хотят выколотить показания из маленькой Эйбеншютц. Но бейте ее до смерти — она никого не предаст. Она — порядочный человек, хотя у нее двое незаконных детей и четыре судимости.

V

Когда Криста вернулась из Якобсбюля, страшное известие в первую минуту ошеломило ее. Только надежда на то, что произошла какая-то роковая ошибка и все выяснится в ближайшее время, еще кое-как поддерживала ее.

«Ведь известно, что и у них бывают самые невероятные промахи, грубейшие оплошности,— пыталась она успокоить себя,— стоит только вспомнить о медицинском советнике Фале, которого даже уволокли в Биркхольц!»

В десять часов в ее сердце теплилась надежда, в одиннадцать погасла уже последняя ее искорка, и Криста впала в безысходное отчаяние. Все ее тело горело, как в огне, на лице и на шее выступили большие красные пятна, в ничего не видящих глазах стоял ужас. Она легла на кровать, не раздеваясь, и всю ночь пролежала без сна, мучимая страшными видениями. На рассвете призрачный луч надежды снова проник в ее сердце, но она тотчас же прогнала его. К чему себя обманывать?

«Надо действовать»,— сказала она себе и стала быстро одеваться, терзаемая тревогой и мукой. Каждый автомобиль, приближавшийся к дому, мог принести ей освобождение от этой муки, которого так жаждало ее сердце. Но все автомобили проезжали мимо. Было бы ребячеством предаваться глупым надеждам. Она долго еще говорила по телефону с Вольфгангом и затем уехала. В городе был только один человек — Вольфганг держался того же мнения,— только одинединственный человек, который мог помочь ей,— Фабиан.

В конторе ей сказали, что доктор Фабиан обычно не приходит раньше одиннадцати — двенадцати часов, и посоветовали поехать в его Бюро реконструкции. Она тотчас же отправилась туда и попросила секретаршу доложить о ней.

— По весьма срочному делу! — крикнула Криста ей вслед.

Фабиан как раз совещался с одним молодым архи-

тектором. Когда после долгих прений он уже окончательно решил отклонить сделанный архитектором проект, ему доложили о приходе некой фрейлейн Кристы Лерхе-Шелльхаммер.

— Фрейлейн Криста Лерхе-Шелльхаммер? — заикаясь и не веря своим ушам, переспросил Фабиан. Он как-то странно медленно и торжественно поднялся со стула. И вдруг так побледнел, что секретарша с удивлением взглянула на него. Но, впрочем, не придала этому особого значения, так как после гибели сына Фабиан часто неожиданно терялся.

— По весьма срочному делу, сказала эта дама,— быстро добавила секретарша.

Фабиан прислонился к столу, чтобы не пошатнуться, такая слабость вдруг одолела его.

— Через минуту я буду к ее услугам! — с живостью сказал он секретарше. Его голос, в последние недели такой усталый и безразличный, прозвучал радостно, бодро. Архитектор вдруг показался ему несноснейшей помехой. Объяснять, чем плох его проект, отнимет слишком много времени. Единственное средство быстро отделаться — утвердить проект.

— Хорошо,— сказал он, обращаясь к молодому архитектору,— ваши доводы меня убедили. Сделайте изменения, которые я предлагаю, и приходите через неделю.

Архитектор, уже совершенно потерявший надежду на благополучный исход, радостно поблагодарил и быстро распрощался.

Фабиану казалось, что ему надо торопиться, хотя он не знал, куда и зачем. Он быстро осмотрел письменный стол и подошел к зеркалу, чтобы взглянуть на себя. Но тут в коридоре послышались легкие шаги. Стука в дверь он не слышал — и вот уже Криста стояла на пороге. Он сразу одним взглядом охватил всю ее фигуру, и теплая волна захлестнула его сердце. Да, это была Криста, какой он еще иногда видел ее в мечтах! Он не успел сделать и нескольких шагов ей навстречу, как она со слезами на глазах подбежала к нему и положила обе руки ему на плечи.

— Вы должны помочь маме! — воскликнула она, пряча свое лицо у него на груди.

Все произошло так быстро, что он не успел собраться с мыслями; это было как во сне, и он чувствовал только прилив счастья. Почему-то он не видел ничего необычного в том, что она, положив ему руки на плечи, рыдает у него на груди. Все казалось ему естественным, будто они не разлучались ни на один день. «Криста, Криста со мною»,— думал он.

Но Криста, по-видимому, вообще не сознавала, что она делает.

Он не видел ее почти два года, хотя они жили в одном городе. Лишь изредка мимо него проносился ее маленький желтый автомобиль, и однажды он видел, как она, выйдя из магазина Николаи, быстрым шагом подошла к машине и как за дверцей мгновенно скрылась ее маленькая ножка. Это мгновение он помнил еще и сегодня, на ней были темносерые туфли. Все эти годы и месяцы исчезли, как по волшебству.

Он подвел ее к диванчику, прося успокоиться.

— Расскажите мне, что случилось, Криста,— сказал он мягко, как разговаривают с больным.— Я ничего не знаю, ничего не понимаю.

Криста подняла на него свои нежные карие глаза, затуманенные слезами.

— Вы ничего не знаете? — удивленно спросила она. Но тут же спохватилась и рассказала все, что могла рассказать.

Фабиан кивнул.

— Неприятная история,— сказал он.— Мне очень больно за вашу мать. Но прошу вас, успокойтесь! Как друг, я обещаю вам сделать все, что от меня зависит. Вы слышите, Криста?

Криста схватила его руку.

— Благодарю,— пробормотала она.

Итак, он снова держал в своей руке ее нежную, женственную, так хорошо знакомую ему руку.

— Дайте-ка сообразить, Криста,— сказал он задумчиво и подошел к письменному столу, на котором стоял телефон.

— Я знала, что вы хороший человек, Фабиан,— прошептала Криста, и ее похвала осчастливила его.

— Будь гаулейтер в городе,— с сожалением проговорил Фабиан,— ваша мать была бы свободна еще сегодня. Я немедленно поехал бы к нему.

— Его нет здесь? — воскликнула Криста, нервно сплетая пальцы. Она испуганно посмотрела на Фабиана и, казалось, только что заметила его. «Какой он худой, измученный,— подумала она,— и как он поседел!»

Фабиан огорченно покачал головой.

— К сожалению, он уехал,— отвечал он.— Но мне известно, что его возвращения ждут в ближайшие дни. Сейчас узнаем.— Он приказал соединить себя с секретариатом гаулейтера и долго разговаривал с ротмистром Меном, замещавшим Румпфа.— Дело касается одной дамы, моей близкой приятельницы,— услышала Криста слова Фабиана.

— Гаулейтер,— сообщил он Кристе,— был в Белграде, сегодня его ждут в Мюнхене, завтра или послезавтра он снова будет здесь. Это превосходно,— радостно добавил он.

Но Криста была совсем другого мнения.

— Завтра или послезавтра! — воскликнула она разочарованно.— А заместитель сам ничего не может сделать?

— Может, разумеется, но в особых случаях нужно согласие гаулейтера. Он позвонит мне, как только точнее узнает о дне его приезда. Но прежде всего успокойтесь, Криста! Будет сделано все, что в человеческих силах.

Ответом ему была та нежная улыбка, которая «витала на лице Кристы, как витает аромат вокруг розы». Но когда он попросил ее побыть с ним еще несколько минут, она нервно поднялась.

— Не могу! Я близка к сумасшествию! — воскликнула она и ушла.

Фабиан остался один. Он вынужден был сесть, так он устал от короткой беседы с Кристой. Эта улыбка! Только теперь ему стало ясно, что́ он потерял.

Криста не находила себе места и в поисках успокоения поехала в Якобсбюль. Она застала Вольфганга за работой над подсвечником-какаду. Вольфганг вполне согласился с Кристой, что его брат вел себя, как настоящий друг и человек, на которого можно положиться.

— Он всегда был неплохим малым и с готовностью помогал людям! — сказал он.— Жаль, очень жаль, что он подпал под влияние этих преступных типов.— Вольфганг тоже просил ее успокоиться и набраться терпения.

Терпение, терпение! Все требуют от нее терпения, а ведь более непосильного требования и выдумать нельзя.

Вольфганг, снова принявшийся за своего какаду, предложил ей пообедать с ним, но ей не сиделось на месте, и через десять минут она уехала обратно в город.

Криста долгие-долгие часы просидела возле телефона. Вечером, наконец, позвонил Фабиан. Ротмистр Мен только что говорил по телефону с Мюнхеном, гаулейтер приедет завтра.

— Благодарю, благодарю! — Криста смеялась, хотя слезы лились у нее из глаз. Усталая и разбитая, она, наконец, решилась прилечь на часок-другой. Горничной было поручено дежурить у телефона.

Гаулейтер прибыл на следующее утро в девять часов, и Фабиан просил доложить о себе утром того же дня. Но Румпф пригласил его к ужину. Он очень устал и хотел, распив с Фабианом бутылку вина за ужином, потом спокойно поиграть на бильярде.

Фабиан изложил ему свою просьбу.

— Шелльхаммер? — спросил гаулейтер. — Из тех известных Шелльхаммеров?

— Да, это сестра братьев Шелльхаммеров.

Румпф засмеялся.

— Видно, сболтнула лишнее. — Он иа мгновение иаморщил лоб, как бы раздумывая, затем поручил ротмистру Мену тотчас же уладить дело.

Больше он к этому разговору не возвращался.

Гаулейтер ел жаркое из косули и с торжеством

рассказывал о Белграде, добрая половина которого была превращена в щебень и пепел немецкими эскадрильями.

VI

Первую ночь, проведенную в камере, фрау Беата не сомкнула глаз. Закутавшись в пальто, она лежала на полу возле худенькой женщины, по имени Аликс; словоохотливая фрау Лукач делила кровать с унылой вдовой чиновника, мечтавшей еще раз повидать своего сына. Сквозь разбитое угловое окно в камеру проникал холодный ночной воздух.

В девять часов погасла тусклая лампа, и ночь, как черная глыба, навалилась на камеру. Лишь за окном мерцал слабый свет, смутно обрисовывавший решетку. Но женщины продолжали разговаривать до поздней ночи.

Ораторствовала толстая фрау Лукач. Завтра ей предстоял суд, и поэтому она сегодня пользовалась привилегиями: спала на кровати и могла болтать, сколько душе угодно.

Соседки уже месяцами выслушивали ее историю, которую давно знали наизусть во всех подробностях. Тем не менее, когда в камере появилась фрау Беата, им пришлось выслушать ее заново. Фрау Лукач решила, что полезно будет еще раз освежить все в памяти к завтрашнему дню.

— Я расскажу вам,— раздался впотьмах голос фрау Лукач,— как вела себя моя племянница Эмми, и вы, может быть, не поверите, что такое возможно. Она пришла в мой дом тощая и голодная, весу в ней было всего девяносто восемь фунтов, а через два года — что вы скажете! — уже сто тридцать! Она помогала мне по хозяйству, так как была слишком слаба для другой работы. Но когда она поправилась, я взяла ее в магазин. У Вальтера и у меня была тогда мясная лавка, торговля шла бойко. Вальтер — это мой помощник, он жил у меня. Эмми прекрасно работала в магазине, она была очень честная, ничего не скажешь. Селедочный паштет ее изготовления и разные салаты были известны во всем околотке. Ну, Эмми была мо-

лодая, свеженькая и любила стрелять глазками! На это ведь все девушки мастерицы. Конечно, у нее было много поклонников, да как же иначе девушке выбрать мужа?

Но вдруг она стала заглядываться на Вальтера! А меня не проведешь! Один взгляд, моя дорогая,— и мне все ясно. Я, конечно, насторожилась и в один прекрасный день накрыла их обоих. Эмми я вышвырнула, в чем она была, из квартиры. Она очутилась на лестнице в рубашке и панталонах, а люди как раз в это время возвращались домой и смеялись до упаду. Смеялся весь дом!

Фрау Лукач громко расхохоталась на своей невидимой кровати, а за ней засмеялись и все остальные, даже печальная вдова усмехнулась.

Тут фрау Лукач несколько отклонилась в сторону и стала рассказывать о матери своей племянницы Эмми, которая, собственно, была ей вовсе не племянница, а так, седьмая вода на киселе. Мать Эмми была до того худа, что подпоясывалась веревкой, боясь растерять юбки. И эту бедную женщину, портниху, она тоже так откормила, что юбки уже не сваливались с нее. Завтра эта портниха будет выступать на суде как свидетельница защиты. Этого потребовал адвокат.

— С Вальтером я снова помирилась, моя дорогая,— продолжала фрау Лукач,— он был из тех мужчин, в которых, хочешь не хочешь, влюбляешься после первой же рюмки. Ну, а после второй рюмки в него вселяется бес, и тогда он готов убить собственную мать. Да, и с Эмми я в конце концов помирилась, ведь не ее вина, что она влюбилась в Вальтера. У Эмми в ту пору был жених-студент, который собирался стать пастором. Звали его Эдуард. И такой он был щуплый, что жалость брала. И его я откормила в это трудное время так, что ему уже не стыдно было показаться на людях.

Фрау Лукач перевела дух.

— Да, вот тут оно и случилось,— вздохнула она и, помолчав, продолжала: — Пришли те плохие времена, что продолжаются еще и поныне, а Эмми, как

видно, только того и ждала. Мы каждый вечер втроем слушали радиопередачи из-за границы, и Вальтер всегда очень искусно включал радио. «Ведь нас враками кормят»,— говорил он, а Эмми все не могла наслушаться и включала аппарат, когда уже ничего и не было слышно. Так целый год мы ловили передачи по вечерам, в десять часов.

Но вот однажды вечером, в половине десятого, этот сопляк Эдуард вызвал куда-то по телефону Вальтера. Тот обещал в десять, ровно в десять, вернуться обратно. Но не пришел. Я включила радио и слушала передачу. Вдруг в коридоре раздались шаги, кто-то вошел в комнату, я думала, что это Вальтер. «Черчилль только что очень хорошо говорил,— сказала я,— жаль, что ты его не слышал, Вальтер».

«Жаль, жаль»,— произнес за моей спиной незнакомый голос, и кто-то крепко схватил меня за локоть. Это был Эдуард, тот студент, что готовился в пасторы. Он поступил на службу в гестапо. Эмми заказала второй ключ к двери, и они накрыли меня.

Фрау Лукач помолчала, затем снова заговорила о том, как она завтра скажет суду «всю правду». «Разве это правильно и справедливо, господа,— скажет она,— разве дозволено, чтобы человек, который весил всего девяносто восемь фунтов и которого откормили до ста тридцати, разве дозволено, чтобы этот человек учинил такую гадость своему благодетелю? Хорош мир, в котором мы живем, господа судьи!»

Фрау Лукач еще долго говорила о том, как она завтра собирается выступать перед судом. Да, судьям будет не до смеха. Наконец, она замолчала и, видимо, заснула.

В камере стояла мертвая тишина. Лишь время от времени доносились сюда приглушенные гудки автомобилей и откуда-то издалека, словно из другого города, бой башенных часов.

Внезапно тишину нарушил тихий, надломленный, робкий голос, слышавшийся, казалось, откуда-то сверху. Это фрау Рюдигер, унылая вдова, говорила тихо и умоляюще: «Карл, Карл, ты единственный остался у меня. Я больше не увижу тебя, Карл!» По-видимому,

вдова села на кровати, потому что ее голос шел как бы с потолка.

Но кровать тотчас же заскрипела. Фрау Рюдигер говорила едва слышно и робко, а в ответ ей раздался громкий и грубый голос фрау Лукач — такой резкий и строгий, что робкий голос мгновенно затих на всю ночь.

— Оставьте нас, наконец, в покое с вашим Карлом! — безжалостно крикнула фрау Лукач.— Французы взяли его в плен, и он в Африке, где все девушки черные. Вы его увидите, но теперь прекратите ваши причитания. Завтра в девять утра у меня суд, и мне надо выспаться!

Снова все стихло, только слышалось дыхание одной из спящих женщин, время от времени что-то бормотавшей. Фрау Лукач стала похрапывать.

Фрау Беата лежала неподвижно с открытыми глазами. Несмотря на всю усталость, она не могла уснуть. «Криста, верно, не смыкает глаз, как и я,— думала она,— завтра она будет весь день носиться в машине по городу, а во второй половине дня сюда явится адвокат, которого пришлет Криста. Может быть, он принесет и письмецо от нее, записку, несколько слов». Ни о чем другом фрау Беата не думала. Всю ночь она ворочалась на жестком дощатом полу, пока не посветлела серая полоска, проникавшая через зарешеченное окно.

Вдруг она услышала возле себя тихое хихиканье.

— Вы тоже не спите? — прошептала тоненькая фрау Аликс с лукавыми глазами.— Я просыпаюсь, как только начинает светать. В Вересдингене мне уже в пять утра надо было отправляться на кухню.

И она забормотала, зашептала что-то невнятное, путаное, обо всем вперемежку, и о каком-то человеке, которого называла убийцей. От нее требовали, чтобы она назвала его имя, обещали за это выпустить ее на свободу. Но она не верит ни одному их слову. Назови она его имя — и ей тут же отрубят голову.

— Человек, о котором я говорю, — шептала фрау Аликс, придвинувшись ближе к фрау Беате,— был видный такой мужчина, в нарядном мундире, у него мно-

жество автомобилей. Сначала он отобрал у меня трактир и сад, а моего мужа бросил в тюрьму. Он, надо вам знать, влюбился в буковые деревья, стоявшие перед моим домом. И непременно хотел купить их, так как он нигде не видел таких прекрасных буков, хотя объездил весь мир. Там был длинноперый петух, ведьма с помелом, кабан с длинными клыками, ах, чего только там не было!—Фрау Аликс долго хихикала и снова возбужденно зашептала: — Была и зеленая лошадь с великолепным усатым всадником, и толстый солдат с кривой саблей, верблюд высотой в четыре метра, два слона со слонятами, такие высокие, что детишек сажали на них верхом, когда родители заходили в трактир полакомиться карпами. За домом жили три лохматые собаки, больше, как медведи; у одной собаки был хвост вроде лисьего, мы ее звали Изегрим.— Фрау Аликс продолжала что-то шипеть и шептать, возбужденно хихикая.

Фрау Беата заткнула уши, ее вдруг стало знобить. Где она? В сумасшедшем доме? Или все эти люди от горя потеряли рассудок?

Она вздрогнула, и крупные слезы потекли по ее широким щекам, хотя она была храбрая женщина.

Наконец, из коридора донеслись приглушенные голоса и громкие шаги. Слышно было, как звенела ключами надзирательница, отпирая камеры.

VII

Для фрау Беаты настали тяжелые дни.

Утром маленькая фрау Аликс принесла ей из тюремной кухни оловянный котелок с похлебкой и кусок хлеба. Бурая похлебка была так противна, что фрау Беата лишь прополоскала ею рот, хлеб она коекак проглотила. В уборной ее вырвало от вони и нечистот.

Днем ее отправили в швейную мастерскую, где она чувствовала себя лучше, чем в камере, так как громкие разговоры были там запрещены. К обеду она принесла себе в жестяном котелке жидкого горохового супа и съела его, чтобы утолить голод. Адвокат не явился,

с внешним миром у нее не было никакой связи, она была безнадежно отрезана от жизни. Что делает Криста? Ее дорогая девочка, должно быть, мечется в отчаянии, бегает от Понтия к Пилату, но на все ведь нужно время. Куда девались все ее знакомые и друзья? Одни — евреи — сами нуждались в помощи, другие побывали в Биркхольце и тоже были на подозрении. С большинством старых знакомых они порвали, так как те уже вступили или собирались вступить в национал-социалистскую партию, и надежда на них была плоха. Она с ужасом признавалась себе, что осталась в полном одиночестве.

В швейной мастерской ей сделали несколько грубых замечаний; когда она закончила починку рваного фартука, мастерская закрылась, и она вернулась в свою камеру. Фрау Лукач сидела на кровати и болтала ногами, чулки у нее неряшливо спустились до самых щиколоток.

— Мое дело отложено на два дня,— угрюмо проворчала она.— Аликс и Рюдигер в прачечной.

Фрау Беата отнюдь не тосковала по ним; она так устала, что, как обессилевшее животное, повалилась на пол и уснула.

Она прожила в каком-то оцепенении следующий день и еще один день, терзаемая все теми же мыслями. Ни о чем другом она не думала и не хотела думать. В одно прекрасное утро фрау Лукач, неумолчно болтая, распрощалась с соседками по камере и отправилась на суд. Фрау Беата провела этот день в швейной мастерской, безучастная ко всему, и очнулась только, когда фрау Лукач снова с шумом ворвалась в камеру.

Фрау Лукач была сильно возбуждена. После долгого перерыва она снова увидела людей, что-то похожее на жизнь; кроме того, она рассмешила судей, что было для нее сущей отрадой. Когда фрау Лукач рассказывала, как она накрыла Вальтера и Эмми в своей квартире, как она вышвырнула Эмми на лестницу, как Эмми стояла там в одном белье, судьи смеялись, а публика просто ржала от удовольствия. Это ли не успех!

А Эмми сидела на свидетельской скамье красная как рак... Ведь каждый представлял себе ее на лестнице в одном белье, а сюда она явилась разодетая, и на голове у нее красовалась высокая шляпа с пером чайки!

Фрау Лукач наслаждалась своим успехом. И это был не единственный ее успех. В числе свидетелей находилась мать Эмми, выступавшая, по требованию адвоката, как свидетельница защиты. Эта иссохшая швея-пальтовщица, которой приходилось подпоясываться веревкой, чтобы не потерять свои юбки, рассказала, как ее кормила фрау Лукач. Она помнила обо всем — о каждом кусочке колбасы, каждой котлете, каждой тарелке жирного супа, каждом куске сала. Фрау Лукач и сама была изумлена, а судья даже вынужден был прервать старуху, так как ее излияниям не предвиделось конца. Публика была довольна, все одобрительно перешептывались.

Это было вторым успехом фрау Лукач. Но когда допрашивали свидетеля Вальтера, она допустила крупный промах, крикнув:

— Почему вы не арестуете этого человека? Ведь он в десять раз виновнее меня, господа судьи! Ведь он целый год слушал радио вместе со мной!

Вальтер громко засмеялся и сказал:

— Что тут скажешь! Только посмеешься! Эта женщина спятила.

А судья рассердился и сказал подсудимой:

— Предоставьте уж нам судить о том, кого нам арестовывать!

Да, он рассердился! Но в общем фрау Лукач была вполне довольна сегодняшним днем; она пригласила обитательниц камеры и новую даму, которая прибыла только вчера, к себе на торжественный обед; да, да, она даст им обед, как только они выйдут на волю. Они смогут есть все, что только душе угодно — телячье жаркое, свинину, бифштекс. И будут есть до отвала, пока не лопнут. Это было очень радушное приглашение, все заранее радовались обеду.

Унылая вдова, однако, спросила:

— Вас, значит, окончательно оправдали, фрау Лукач?

Фрау Лукач весело рассмеялась. В камере уже стало темно.

— Оправдали? Как это вы себе представляете? Разве суд оправдал хоть кого-нибудь, кто попался в его когти? Но я отделалась тремя годами каторжной тюрьмы, а ведь могла получить целых пять! И все потому, что я рассмешила судей!

Некоторое время все молчали. Три года каторжной тюрьмы не шутка! Фрау Лукач и сама почувствовала, что ей надо успокоить своих слушателей.

— Три года! Э! Что такое три года? Пройдут — и оглянуться не успеешь.

Снова наступила темная ночь, а фрау Лукач все еще говорила и говорила... Она готова была часами рассказывать о сегодняшнем суде. Она уже рисовала себе вплоть до мельчайших подробностей свою жизнь после этих трех лет! Все до мельчайших подробностей. С Вальтером и Эмми она снова помирится, для виду только, понятно! Она скажет им: такое уж было время, все были сами не свои! Она позовет их обедать и угостит хорошим вином. А в соседней комнате тем временем накалит щипцы для завивки, подкрадется и ткнет раскаленные щипцы в нос Эмми, а Вальтеру — в глаза. «Это тебе за то, что я спятила!» И не успеют они очухаться, как у нее уже будет наготове кухонный нож,— она попросту перережет им обоим глотку — чик, чик, чик! И дело в шляпе! На это много времени не потребуется.

В это мгновение загремели ключи, дверь открылась, все испуганно выпрямились — обе женщины на кровати, маленькая фрау Аликс и фрау Беата на полу.

Надзирательница блеснула электрическим фонарем.

— Фрау Беата Лерхе-Шелльхаммер! — крикнула она.— Приготовиться к допросу!

— Так скоро? — прошептала тоненькая фрау Аликс.— Ведь на допрос вызывают не раньше, чем через две недели.

— Ни пуха ни пера! — развязно крикнула фрау Лукач вслед фрау Беате.

VIII

Под поблескивавшим лаком портретом фюрера, за большим письменным столом, неподвижно сидел, склонившись над папкой с делами, молчаливый молодой человек в светло-сером костюме модного покроя. Голова его была наголо выбрита; на белом, молочного цвета, лице, с тонкими, едва заметными бровями, не было даже намека на бороду.

На его узком носу сидело пенсне без оправы — одни стекла. Фрау Беате показалось, что и молодой человек весь из прозрачного стекла.

Мрачная тюрьма была наполнена тревогой и скорбью, он же казался олицетворением спокойствия и беззаботности; здание поражало своим беспорядком и грязью, он же являл собой образец вылощенности. Это был асессор Мюллер II. Дощечка с его фамилией висела на двери.

Наконец он чуть-чуть заметно двинул своим пенсне и взглянул на фрау Беату, остановившуюся у двери. Таким же едва уловимым движением пальца он подозвал ее поближе к столу.

— По-видимому, национал-социалистская партия не пользуется вашими особыми симпатиями? — начал он тонким голосом.

— Должна откровенно признаться,— хрипло отвечала фрау Беата,— что я никогда особенно не интересовалась ею.

Из разговоров в камере она знала, что асессор Мюллер был фанатичным приверженцем национал-социалистской партии.

— Тем хуже для вас,— возразил холеный асессор, неодобрительно шевельнув бровями.— В любую минуту вы можете очутиться в положении, когда придется наверстывать упущенное. Во всяком случае, вы открыто выказали враждебное отношение к нашей партии уже тем, что позволили лепить себя скульптору Вольфгангу Фабиану, известному врагу национал-социалистов и другу евреев.

— Этот бюст был заказан еще два года назад,— возразила фрау Беата, радуясь, что голос ее звучит

уже совершенно чисто. Пусть этот холеный асессор не думает, что ему удалось запугать ее.

Асессор спокойно посмотрел на нее сквозь шлифованные стекла.

— При таких обстоятельствах не приходится удивляться тому, что вы проявляете столь явную симпатию к неприятелю. Вы не понимаете меня? Разве допустимо, чтобы вы, немецкая женщина, титуловали словом «джентльмен» английских разбойников и поджигателей, превращающих в груды пепла наши церкви и больницы?

Фрау Беата не могла вспомнить, чтобы она говорила что-либо подобное.

Молодой следователь злорадно улыбнулся и заглянул в дело.

— Такого-то числа вы сказали своей дочери: «There are gentlemen in the air». Вы говорили по-английски.

— Не помню,— пожимая плечами, ответила фрау Беата,— это возможно, я иногда говорю по-английски с дочерью, я воспитывалась в Англии. Однако я не понимаю, с какой стороны вас интересует такое незначительное замечание?

Асессор снова злорадно улыбнулся.

— В жизни нет ничего «незначительного». Мы осведомлены обо всем и знаем, кто имеет обыкновение говорить на иностранном языке. Немецкий народ настолько образован, что каждый второй человек уже говорит по-английски. Пора бы вам, наконец, усвоить это. Почему нас интересует такое незначительное замечание, как вы изволили выразиться? Не вам решать, что для нас значительно и что незначительно, и я, конечно, отказываюсь отвечать на ваш неуместный вопрос. Понятно? — резко закончил он.

Краска бросилась в лицо фрау Беаты, и с ее языка уже готовы были сорваться слова протеста против тона асессора, но в это время раздался телефонный звонок. Молодой асессор взял трубку и повел довольно длинный доверительный разговор, не обращая ни малейшего внимания на фрау Беату.

— Через час я буду в ресторане «Глобус», доро-

гой друг,— сказал он.— Да, меня вызвали... Неотложное дело... не мог прийти раньше. Вы понимаете? Да, вы правы, из сил выбиваешься, чтобы подтянуть этот распустившийся народ, а тут тебе еще на каждом шагу вставляют палки в колеса. Что вы говорите? Да, другие инстанции беспрестанно вмешиваются в нашу неблагодарную работу и портят нам все дело. Но вы понимаете, надо повиноваться, хотя иной раз это и тяжело! Хорошо! Примерно через час я приеду.

Улыбаясь, он положил телефонную трубку и углубился в документы, казалось, вовсе позабыв о фрау Беате. Просунув кончик бледно-красного языка между розовых губ, он подчеркнул карандашом какие-то слова.

Наконец он снова поднял глаза.

Фрау Беата знала, что своими первыми вопросами он только прощупывал ее и что теперь он доберется до более тяжких обвинений. Его лицо стало важным и серьезным.

— Фрау Беата Лерхе-Шелльхаммер,— начал он, стараясь произносить слова как можно отчетливее.— Вы сказали одной свидетельнице, в достоверности ее показаний у нас нет сомнений: «Это верх бессовестности, только безумец может спустя двадцать лет после мировой войны затеять новую войну при тех же,— нет, при гораздо худших условиях». Так ли это? Вот за что вы арестованы. Вы, конечно, будете отрицать это замечание? — Молодой следователь коварно улыбнулся.

Эта улыбка оскорбила фрау Беату. Кровь бросилась ей в голову, она выпрямилась и ответила громче, чем хотела:

— Я ничего не отрицаю, господин асессор! Я никогда не лгу, слышите! Я не лгу ни при каких обстоятельствах, хоть голову с меня снимайте!

Она с облегчением вздохнула, довольная тем, что резко отчитала этого зарвавшегося молодчика. Только сейчас в ней проснулась решимость защищаться против всех, даже самых незначительных, оскорблений, чем бы это ей ни угрожало.

Асессор удивленно посмотрел на нее и кивнул. Он даже чуть-чуть улыбнулся.

— До этого, надо надеяться, дело не дойдет. Итак, вы признаете, что сделали такое замечание?

— Да! — сказала фрау Беата.— Я признаю, что в той или иной форме высказала эту мысль, хотя и не припомню, кому именно. Эти слова выражают мое мнение.

Молодой следователь снова кивнул. От неожиданности он даже раскрыл рот, обнажив ряд мелких, как у ребенка, зубов.

— Вы отдаете себе полный отчет в том, что вы только что сказали? — не без удивления спросил он.

— Вполне,— отвечала фрау Беата.

Асессор стал подробно записывать в дело ответы фрау Беаты. В эту минуту опять зазвонил телефон, и асессор снял трубку, недовольный тем, что его оторвали в такой момент. Он даже наморщил лоб, называя по телефону свою фамилию. Но в тот же миг сердитое выражение сбежало с его лица, он весь преобразился, выпрямился и даже отвесил в сторону аппарата легкий поклон.

— Так точно, господин ротмистр,— сказал он предупредительно.— Да, конечно, остается лишь выполнить кое-какие формальности — и все. Еще сегодня вечером? Не позже десяти? Ну, разумеется, достаточно каких-нибудь десяти минут. Как, извините? Да, ручаюсь! Асессор Мюллер II! Не позже, чем через десять минут, господин ротмистр!

Он осторожно положил трубку. Этот короткий разговор, по-видимому, произвел на него большое впечатление. Он встал и зашагал по комнате, не обращая внимания на фрау Беату. Затем опять сел за письменный стол, злобно захлопнул папку, откинулся на стуле и сквозь толстые стекла пенсне уставился на фрау Беату.

— Запомните: ваше признание у нас записано,— насмешливо сказал он.— В следующий раз ваши друзья уже не помогут вам.— Он указал на дверь и прибавил с издевательской улыбочкой: — А теперь можете идти!

Фрау Беата тотчас же покинула комнату, не понимая, почему асессор так внезапно выпроводил ее. В ка-

мере ее буквальио засыпали вопросами. Но оиа ие могла удовлетворить всеобщее любопытство, так как сама не поимала, что произошло.

— Асессор Мюллер? — громко вскричала фрау Лукач.— Такой маленький, злющий... Дьявол! Я его хорошо знаю. Ои вылетел из суда, так как слишком интересовался красивыми мальчиками. Поимаете? Ха-ха-ха!

Загремели ключи, и тощая иадзирательница осветила камеру электрическим фоиариком.

— Вы еще ие собрались? — иабросилась оиа иа фрау Беату.— Асессор Мюллер в ярости от того, что вы еще здесь. Ведь ои же сказал вам: уходите!

Фрау Беата едва поспевала за иадзирательницей, так быстро та сбегала по крутой виитовой лестиице. Вахтер уже поджидал их, чтобы отпереть двери.

— Торопитесь! — крикнул ои.— Воздушная тревога!

Фрау Беата скользнула в темиоту.

IX

Как только дверь за иею захлопнулась, фрау Беата остановилась. Кругом царила какая-то небывалая тьма. Улица была черна, и иебо иад иею — сплошиой мрак. Фрау Беата не двигалась, долго и глубоко вдыхая холодный ночной воздух.

Свободна! Счастье опьяняло ее. «Вот я и возвращаюсь, Криста! — ликовала оиа и лишь в это мгновение подумала: — Как же добраться до дому?» Оиа вспомнила, что сюда оии ехали в автомобиле вдоль реки и медлеино, ощупью пошла по улочке, которая вела к реке. Кругом стояла такая глубокая иочь, что фрау Беата лишь изредка различала очертания домов или крыш. Даже побелениые углы и ступеньки крылечек можно было заметить, лишь вплотиую подойдя к иим. Кое-где из щелей в ставнях проникал слабый свет. Там жили люди.

Меловые полоски иа краях узкого тротуара тоже были едва различимы. Там, где оии кончались, улица сворачивала к Речной аллее. Фрау Беата ощутила под

ногами твердый булыжник проезжей дороги и, шаркая ногами, пошла к группе деревьев, слившихся в одно темное облако. Вдруг под ее ногами захрустел гравий, которым была усыпана аллея. Ей помнилось, что спуск к реке был перегорожен массивной железной решеткой. Но лишь с большим трудом, ощупью она добралась до нее и ухватилась за один из ее прутьев. Фрау Беата с облегчением вздохнула. Только держаться этих прутьев, и она доберется до Бишофсбрюкке, а там уже нетрудно будет дойти до дома.

У реки стало холодно, и она плотнее закуталась в пальто. Водной поверхности она, однако, не могла разглядеть. Изредка только слышался всплеск и журчание рассыпавшейся пеной волны. Река чернела, как и земля, но чернота ее не была такой глухой и мертвой.

«Через два часа я буду дома. Криста не поверит своим глазам»,— радовалась фрау Беата. Медленно, шаг за шагом брела она сквозь темноту, пугливо прижимаясь к ограде. Теперь она твердо знала, что доберется до дома. Нужно только запастись терпением.

Кругом стояла глубокая тишина: ни шагов, ни стука колес.

«А ведь я все-таки двигаюсь вперед. Подумать только!» — радостно отметила фрау Беата, убедившись после тягостного блуждания, что железная ограда свернула наконец в сторону. Над рекой простиралась широкая черная масса, это был мост — Бишофсбрюкке. Здесь кончалась платановая аллея. От моста до самой ратуши шли трамвайные пути. Но фрау Беата побоялась отдалиться от надежных железных прутьев и пересечь дорогу, чтобы дальше идти уже вдоль рельсов. «Я лучше поползу»,— подумала она.

В это мгновение раздался вой сирены: воздушная тревога! Звуки сирены казалнсь здесь резче и громче, чем в районе Дворцового парка.

Одновременно завыла вторая сирена — подальше, на другом берегу. И вот уже прожекторы прорезали темное небо. Фрау Беата, к величайшей своей радости, разглядела темные облака в вышине, сплетенные верхушки деревьев, очертания высоких домов и остроко-

нечных крыш. Конец этому страшному мраку. Различив искрящуюся голубую полоску, стлавшуюся по земле,- это было закругление трамвайного пути,— она побежала в ту сторону и скоро почувствовала под ногами рельсы.

«Иду, иду, Криста. Радуйся, девочка. Через час я буду с тобою!»

Мимо нее пронесся военный автомобиль с прнтушенными фарами, н на мгновение она явственно увидела большой кусок трамвайного пути. Теперь она стала продвигаться быстрее.

Высоко в небе грохотали моторы. Внезапно сверкнула красная ракета, и зениткн вокруг города открыли огонь. В воздухе свистели осколки снарядов. Фрау Беата укрылась в подворотне.

«Господь не оставнл меня,— думала она,— а те-то, в камере семнадцать, сидят под запором, беззащитные». Когда в Ткацком квартале, откуда она только что выбралась, раздался оглушительный взрыв, перед взором фрау Беаты мгновенно возникли печальные глаза несчастной вдовы, у которой осталось только одно желание: еще раз увидеть сына. Эта несчастная писала ему на фронт: «Прострели себе руку, тогда тебя отпустят из армии, переведут в лазарет, н я буду прнходить к тебе каждый день».

В швейной мастерской считали, что такое письмо означает для старушкн смерть, неминуемую смерть. Они бы уже и гроша ломаного не дали за жизнь печальной вдовы.

Вдруг с резким, пронзительным, дьявольским свистом, таким резким, пронзительным, дьявольским, какого фрау Беата еще никогда не слышала, пронеслась по воздуху бомба; она угодила в какой-то дом так близко, что фрау Беата громко вскрикнула. Через минуту языки яркого племени, растворив мрак, осветили крыши и фронтоны. Черная ночь мало-помалу перешла в мутный рассвет. Фрау Беата выбежала нз подворотни и быстро, насколько позволяла ее тучность, зашагала к площади Ратуши. Мимо нее с грохотом и звоном промчались пожарные машины. Фрау Беата была счастлнва, услышав снова шум и человеческие голоса.

Как раз в этот момент совсем близко упали две тяжелые бомбы. Треснули и зазвенели стекла, на землю со стуком посыпался кирпич. Фрау Беата вбежала в широкий подъезд, совершенно обессиленная продолжительной и быстрой ходьбой.

Там она оставалась долго.

Часы стали бить полночь. Первой подала голос церковь св. Иоанна — она отбивала резкие, быстрые удары. Затем торжественно зазвучал собор, за ним — св. Зебалдус и церкви св. Франциска, св. Варфоломея и св. Михаила, и, наконец, все часы стали бить вперемежку. Когда они кончили, звук курантов все еще дрожал в воздухе — св. Магдалина начала спокойно и терпеливо отсчитывать удары; казалось, она проспала свое время и только сейчас очнулась. Зенитки все еще стреляли.

Огонь тем временем ослабел, шум моторов затих, и фрау Беата решилась снова выйти на улицу. Она шла уже два часа. На Вильгельмштрассе опять была полная темнота, и ей пришлось ощупью пробираться вдоль стен. Мимо, не заметив ее, хотя она едва не столкнулась с ними, прошли два солдата в тяжелых сапогах. Они спокойно обсуждали военные события, будто прогуливались среди бела дня.

— На Крите,— говорил один из них,— они выбросили целое отделение десантников прямо под огонь англичан.

— Что поделаешь,— низким басом отвечал другой,— без муштры нет войны.

Топот тяжелых сапог затих.

Через площадь у епископского дворца фрау Беата уже протащилась с трудом. В это время был дан отбой.

«И откуда этот мерзкий асессор проведал, что я говорила с Кристой по-английски? — вспомнила она.— There are gentlemen in the air».

Она рассмеялась. Конечно, многие знают английский язык. И у гестапо есть повсюду уши, надо быть осторожней. И кому же это она сказала, что только сумасшедший мог начать войну через двадцать лет после мировой войны? Она долго думала, ощупью, шаг

за шагом пробираясь вперед. Наконец, вспомнила, что как-то обронила такое замечание в разговоре с баронессой фон Тюнен. Баронесса фон Тюнен, образованная дама старинного дворянского рода! Придет же в голову подобная мысль! Дойти до такого фанатизма, чтобы забыть свое хорошее воспитание? Так или иначе, она решила впредь быть осторожнее в присутствии баронессы.

Наконец, фрау Беата добралась до высоких лип; она узнала их даже в эту темную ночь. Под ними ей часто случалось оставлять автомобиль.

Она свернула на свою улицу. Но и здесь, где ей был знаком каждый дом, каждая ограда, каждый подъезд, все выглядело чужим, неузнаваемым. Она двигалась вперед, держась за решетку, и свистом позвала собаку. Почти в ту же минуту Неро залаял; он выл от радости, пока она отпирала дверь.

Весь дом, погруженный в мрак и тишину, сразу наполнился шумом, голосами, мерцающим светом.

— Вот и я! — крикнула фрау Беата Кристе, которая с плачем бросилась к ней.— Ни о чем не спрашивай, дитя мое, я сама тебе все расскажу. Дайте мне крепкого грога и сигару.

Фрау Беата лежала в кресле, курила свою черную сигару и прихлебывала горячий грог. Ей было немного стыдно перед Кристой и перед самой собой: ведь она вела себя не так храбро, как следовало бы. Так она во всяком случае считала. Дважды Криста приносила матери горячий грог, но он все казался ей недостаточно крепким.

X

— Через шесть недель!

— Как вы сказали, господин полковник?

— Через шесть недель! — с торжествующей улыбкой повторил полковник фон Тюнен.

— Я так удивлен, что не нахожу слов! — воскликнул Фабиан, вскакивая с места. — Как раз поход против России я считал невероятно трудным и сложным.

Полковинк фои Тюиен иронически рассмеялся. Он стиснул зубы, и лицо его выразило крайнюю решнмость.

— Трудиым? — сказал ои, смеясь.— Это будет молниеиосная войиа, как с Польшей и с Францней, беспрнмерная в историн. Наши таиковые корпуса иеудержнмо движутся вперед и уже оставили позадн Смоленск. В иаших руках миллиоиы растерявшнхся плеииых. Миллноиы!

— Смолеиск?

— Да, Смолеиск!

И полковник сообщил, что гигаитские армии — от Финляидни на севере и до Румыиин иа юге — наводнили Россию, чтобы уничтожить ее в ближайшие недели.

— Пятнадцатого августа иаши войска войдут в Москву, трндцатого — в Петербург! — добавнл ои восторжеино, н его светлые глаза засверкали.— Час тому назад мие об этом сообщил гаулейтер.

— Да, иа этот раз мы ндем напролом! — в полиом упоенни воскликнул Фабиаи, готовый броситься в объятня Тюнеиа.

Полковннк фои Тюиеи поднялся и, поправляя портупею, торжествующе сказал:

— Тогда обманутая Россия рухиет, как карточный домик,— н войие коиец.

— До сих пор все ваши предсказания сбывались, господнн полковиик,— произиес Фабнан н иаполннл рюмкн ликером.

— Еще рюмочку за победу!

— Ну, для одиой рюмкн время, пожалуй, найдется,— ответнл полковинк.— Мие надо организовать иовый комаидиый пуикт. Сегодня иочью томмн до осиоваиня уничтожилн прежиий.

Ои щелкиул каблуками и вскииул вверх правую руку.

— За величайшего полководца всех времеи! — Потом опять щелкиул каблукамн, откланялся и вышел нз кабииета Фабиана.

Фабнан остался в прнподнятом, радостиом иастроенни. Ои упрекал себя в нетерпеинн н малодушин. Ои

не одобрял африканской и критской авантюр — слишком много крови стоили они, а военный союз с Италией с самого начала был ему не по душе. Но от солдата требуется терпение и покорность, говорил он себе. Теперь он понимал, что был неправ. Еще несколько месяцев, и война кончится!

Да, без него, к сожалению, без него создадут великую Германию, думал он, шагая взад и вперед по своему кабинету. Он хотел присоединиться к стремительно наступающей армии, но судьба отказала ему в исполнении этого заветного желания. Много дней он спорил с судьбою, хлопотал, ходил от Понтия к Пилату. Отчего не ему суждена эта радость? Разве он не в состоянии, например, обслуживать орудие? Разве он не отличился в мировую войну, командуя батареей? Право же, есть от чего прийти в отчаяние! В конце концов этот Таубенхауз разбил все его планы. Еще в дни, когда шли бои за Смоленск, он явился в «Звезду» в новой с иголочки военной форме и представился как комендант города Смоленска. Ясно, этим выдвижением он был обязан своему приятелю Румпфу.

«В мое отсутствие, дорогой правительственный советник, вы возьмите в свои руки управление городом!» И он еще считал, что делает Фабиану великое одолжение.

Как ни тяжело это было, а Фабиану пришлось подчиниться. С болью в сердце перебрался он в роскошный кабинет бургомистра с огромным письменным столом, за которым, по рассказам, однажды писал письмо Наполеон. Развеялись, как дым, его мечты о военной славе и почестях.

Все, кто еще мог носить офицерский мундир, ушли на фронт: потери в командном составе наступающей армии были огромны. Сотни офицеров запаса отправились на поле битвы, только он был забыт! Эгоистическое желание отличиться, руководившее Таубенхаузом, обрекло его, Фабиана, на прозябание в этом городе, где Таубенхаузу не приходилось рассчитывать на отличия. Утешения Клотильды, уверявшей, что его пост не менее важен, чем пост артиллерийского офицера, мало помогали ему примириться с судьбой.

Откровенио говоря, он скучал в своем велнколепиом кабннете. Большую часть рабочего дня он проводнл над картой Россин, иаиося на иее пометки красным и синим караидашом. Дел по управлеиию городом становилось все меньше н меиьше, любой старик — городской советиик мог бы с успехом справиться с ними. Бюро рекоиструкцин тоже почти прекратило свою работу. Даже городской архитектор Криг сумел устроиться так, чтобы пожинать лавры иа востоке. Ему поручили строительство гостиииц в польских городах, а также в Смолеиске и в Киеве, еще не занятом иемецкими войсками. И он иа днях уехал туда со штатом из двадцати человек чертежников и архитекторов.

В городе осталось мало мужчин. Все, кто мог иосить оружие, ушли на фронт нли в казармы для обучеиия. Школьные учителя были мобилизоваиы, чииовиики мобилизоваиы, продавцы, камеищики, плотиики, ремеслеиники, шоферы — все исчезли. Их места заняли жеищииы.

Наступил деиь, когда и Глейхен пришел прощаться к Вольфгангу. Даже его, седого старика, не забыли.

— Меня призвали,— сообщнл ои с полным спокойствием, но его суровые глаза сверкали исподлобья, как всегда, когда он был снльио взволиоваи.— Жаль, очеиь жаль! Как раз теперь мы задыхаемся от множества неотложной пропагандистской работы! Завтра вечером отходнт мой поезд. Я обученный пехотинец, быть может, это вам известио. Я лично давно позабыл об этом.

— А ваша больиая жеиа? — спросил Вольфгаиг.

Глейхеи усмехиулся.

— Слава богу, она отнеслась к этому очеиь спокойно. Она зиает, что поставлено на карту. Ухаживать за ней приехала племяиница, да и мальчик останется при ней.

— Не тревожьтесь, Глейхен,— сказал Вольфганг,— я тоже буду иаведываться к вашей жене. Ведь я часто бываю у Фале в Амзельвизе. А вас, дорогой друг, прошу завтра прийти ко мие отобедать. По крайией мере мы достойиым образом отметим иаше прощаиие. Вечером я вас провожу иа вокзал.

Глейхеи поблагодарил и пожал Вольфгангу руку.

— Может быть, война кончится раньше, чем мы все ожидаем, — произнес он. — Ваш брат, наш новый бургомистр, сказал одному коллеге, тоже призванному, что война к осени будет закончена и Россия рухнет, как карточный домик. Но мы знаем, чего стóит эта пропаганда!

Вольфганг рассмеялся:

— Мой брат принадлежит к числу дураков, которые верят в то, о чем мечтают. А вы, Глейхен, что вы сами думаете на этот счет?

Глейхен помолчал, улыбнулся и, покачав головой, заметил:

— Ваш брат — офицер запаса. А офицеры запаса еще почище кадровых. И мы ведь с вами часто говорили о том, что германский народ безнадежно отравлен хмелем войны. Как же мог ваш брат устоять против массового психоза? Вы спрашиваете, что думаю я? Теперь у меня снова появилась надежда. Я, больше чем когда бы то ни было, убежден, что поход в Россию — это конец «тысячелетней империи». Русские армии в последние дни перестали отступать и начинают показывать свои когти! — Он уверенно улыбнулся.

Уже стояла глубокая зима, когда Гарри приехал на три дня в отпуск, перед тем как отправиться на фронт. Гарри стал стройным молодым человеком, и офицерская форма сидела на нем так, словно он в ней родился. Ему едва минуло восемнадцать лет, и Клотильда любила ходить с ним по магазинам на Вильгельмштрассе.

Фабиан вынужден был удовлетворить ее просьбу и надеть свой капитанский мундир, так как она хотела сфотографировать отца и сына в военной форме. Фотография получилась отличная, и Клотильда была очень горда. Снимок даже появился в последнем приложении к «Беобахтер» с подписью: «Гаранты победы».

Однажды ветреным вечером Фабиан проводил Гарри на вокзал; поезд был переполнен офицерами и солдатами.

— Прощай, папа! — крикнул ему Гарри из окна, когда поезд тронулся.— Теперь я совершенно счастлив!

XI

Задушевный смех и былая жизнерадостность снова вернулись к Марион. Она ходила по городу в беззаботном, веселом настроении. Аресты и высылки евреев продолжались, и Марион знала об этом, но когда-нибудь должна же кончиться эта ужасная война, и тогда все снова войдет в колею. Она ежедневно по нескольку часов работала в школе, в послеобеденное время давала уроки иностранных языков еврейским детям и читала, читала. Чего только не довелось ей прочитать за эти годы! Так шло время, Марион не отчаивалась. Постепенно к ней вернулось хладнокровие, душившие ее вражда и презрение притупились, она стала снисходительнее, благоразумнее.

Вначале она приходила в неистовство и проливала горькие слезы, когда ее вчерашние знакомые и друзья отворачивались от нее, когда ее поклонники, воспитанные, образованные молодые люди, готовые все отдать за ее благосклонный взгляд, вдруг начали уклоняться от встреч с нею. Она краснела от стыда! Какие безвольные, жалкие людишки! Бывали недели, когда она изнемогала от горя. Разве не ужасно, что судьба вдруг лишила ее друзей, товарищей?

Она изверилась бы в немецком народе, если бы не оставалось еще много людей, — да, да, их было совсем не мало! — которые нисколько не изменились. Например, фрау Беата Лерхе-Шелльхаммер и Криста, как и прежде, навещали ее в Амзельвизе.

Каждую неделю Криста заезжала за ней в школу, и девушки на долгие часы отправлялись за город, «чтобы Марион подышала свежим воздухом и не хандрила». Профессор Вольфганг Фабиан тоже продолжал бывать в Амзельвизе. Позднее стал часто заглядывать к ним и учитель Глейхен, «чтобы сыграть с медицинским советником партию в шахматы». Глейхен и Марион обучил шахматной игре, и она была счастлива, когда этот суровый на вид, молчаливый человек в беседе с нею постепенно преображался и в конце концов стал относиться к ней с полным доверием. Ах, он рассказал ей тысячу вещей, о которых она, если бы не он,

так никогда бы и не узнала! Откуда ей было знать о разложении национал-социалистов, об их продажности и бесстыдной лживости? Откуда ей было знать, какие гигантские силы мобилизованы против Германии? Об огромных флотах, воздушных эскадрах, армиях? Глейхен был осведомлен обо всем и во все посвящал ее. Его больная жена лежала в кровати и дни и ночи слушала передачи по радио из-за границы. Марион была поражена, узнав, что миллионы немцев ненавидят национал-социалистов, как чуму. Сам Глейхен презирал этот коричневый сброд и в своем фанатизме был еще неистовей, чем Марион.

— Мужество и терпение, терпение и мужество, фрейлейн Марион! — говорил он.— Вот увидите, весь мир восстанет против этой банды.

Есть, значит, и такие немцы! Эта мысль была отрадой для Марион. Теперь ее глубоко волновало то, что седоголового Глейхена отправляют на фронт.

Каждую неделю Марион навещала больную фрау Глейхен и очень подружилась с ней.

Нет, не так уж все безнадежно! Амзельвизские садоводы и крестьяне были так же приветливы и услужливы, как прежде. Марион все отчетливее сознавала, что только некоторые слои народа, и прежде всего развращенная молодежь, выказывают ненависть к евреям; «чернь и юношество, натасканное травить людей»,— как говорил Глейхен, и это сознание вселяло в нее бодрость и надежду.

Время от времени случалось и что-нибудь неожиданно приятное. Так, ее прежний поклонник, юный Вольф фон Тюнен, награжденный Рыцарским крестом, на глазах у всех радостно приветствовал ее на Вильгельмштрассе и проводил через весь город. Конечно, капитан с Рыцарским крестом мог вести себя как ему угодно. Но все-таки это было нечто, и Марион в тот день чувствовала себя счастливой.

Бодрое настроение Марион объяснялось еще и другой причиной, о которой никто не подозревал. Большая тяжесть спала с ее души: гаулейтер забыл о ней. По-видимому, он больше ею не интересовался, и Марион вздохнула с облегчением. Ей было известно, что сна-

чала ои был в России, потом ездил по политическим делам в Бухарест и, наконец, много месяцев провел в Риме. В город ои наведывался очень редко и оставался в ием несколько дней, ие более. Одиажды ои передал ей привет через ротмистра Меиа, в другой раз прислал букет великолепных красных роз, которые мамушка тут же выкинула на помойку, как будто они были отравлеиы. Больше оиа о ием ничего не слышала и благодарила за это судьбу.

В Зальцбурге состоялся съезд всех гаулейтеров рейха, о чем, по словам фрау Глейхен, передавало даже английское радио. С тех пор в городе стали упорио говорить, что Румпф сиова впал в немилость, и Марион больше всех радовалась этим слухам. Поговаривали даже о том, что гаулейтер не вернется в город, в заместители ему прочили гаулейтера Тюрингии.

Но одиажды, уже в коице зимы, в школу вдруг позвонили: господии ротмистр Мен иамеревается возобиовить уроки итальянского языка, просит, однако, Марион предварительно поговорить с ним по телефоиу. У Марион замерло сердце от страха. Значит, все это были пустые слухи, и гаулейтер снова в городе! Из разговора по телефону Марион узнала, что Румпф приехал надолго, он нуждается в отдыхе и просит Марион завтра отужинать у иего. Других гостей он не ждет. Зиачит, Марион предстояло удовольствие пробыть с ним несколько часов наедине. Нельзя сказать, чтоб это ее обрадовало; впрочем, ротмистр намекиул, что гаулейтер чувствует себя ие совсем хорошо. «Что ж,— сказала она себе,— и эти несколько часов скоро останутся позади. Только бы он не иабрел на какой-нибудь новый замок в Польше!»

Она решила держать себя с ним, как обычно: любезно, с виду совершенио естественно, но вместе с тем все время быть иачеку; мамушка отпустила ее с тысячью предостережений. Марион смеялась. Около восьми она вышла из дому; тускло светила луна, дул сильиый ветер.

Ее, как всегда, встретил ротмистр Мен, но в прихожей ей помог раздеться не лакей, а старый камердинер Румпфа, служивший прежде у какого-то короля. Гау-

лейтер, одетый в штатское, уже спускался по лестнице к ней навстречу.

— Как я рад, что, наконец, снова вижу вас! — по-итальянски крикнул он еще с лестницы и крепко пожал ей руку.— Надеюсь, у вас все благополучно?

— Благодарю вас, господин гаулейтер! — весело отвечала Марион и рассмеялась своим обычным задушевным смехом.

— Милости прошу,— сказал Румпф.— Сегодня вам придется довольствоваться моим обществом.

Только в столовой Марион заметила, как изменился гаулейтер. Он осунулся, лицо его поблекло и пожелтело. Волосы он теперь носил чуть подлиннее, но так же тщательно причесывал их на пробор. Рыжеватые бакенбарды выглядели менее холеными, можно даже сказать, запущенными. Особенно же бросалось в глаза, что он держался не так прямо, как прежде. Куда девалась его выправка! А может быть, это ей только казалось оттого, что на нем был просторный и светлый штатский костюм?

— Вы не совсем хорошо себя чувствуете? — спросила Марион.

— Этого я не сказал бы,— ответил Румпф хриповатым голосом, из которого, казалось, выпала присущая ему металлическая нота.— Но, видимо, я очень переутомился. Прошу вас, Марион, садитесь и будьте как дома. Надеюсь, вы довольны моими успехами в итальянском? Это все римская поездка...

— По правде говоря, я не только довольна, я просто поражена,— сказала Марион. Ее в самом деле удивило хорошее произношение Румпфа.

Старый, седой как лунь лакей прислуживал за столом, задерживаясь в комнате не дольше, чем того требовали его обязанности.

XII

— Откровенно говоря,— начал Румпф по-немецки, когда они остались одни,— я болен душевно. Русский фронт надломил меня!

— Но ведь победные донесения следуют одно за другим? — сказала Марион.

— Да! — Румпф, смеясь, кивнул и наполнил бокалы.— Да, слава богу, это так, по крайней мере на сегодняшний день. По моему мнению, мы слишком много взяли на себя. Я всегда был против войны с Россией и стою на том и поныне, и я напрямик сказал об этом высокому начальству. Но высокое начальство знает все лучше всех и не желает считаться с мнением простых смертных! — Румпф язвительно рассмеялся, его темно-голубые глаза сверкнули. Он тряхнул головой и чокнулся с Марион.— Оставим этот разговор!

Гаулейтер стал рассказывать обо всех местах, где он побывал за долгие месяцы своего отсутствия.

Он говорил о Бухаресте, Будапеште, Стамбуле и всего подробнее о Риме.

— А теперь ваша очередь — расскажите мне что-нибудь, Марион,— внезапно прервал он себя.— И прежде всего расскажите, как это вам удается всегда быть такой веселой! Я хочу брать у вас уроки смеха!

— Уроки смеха! — Марион это показалось необычайно забавным, и она рассмеялась тем заразительным смехом, перед которым никто не мог устоять.

— Я охотно научу вас смеяться, господин гаулейтер,— с готовностью отозвалась она.

— Да, это бесценное искусство! Я завидую вам! — прибавил Румпф, накладывая ей на тарелку ломтики жаркого.— Вам никогда не бывает скучно? Как вы этого достигаете?

— Скучно? — удивленно переспросила Марион.— Нет, я не скучаю.

— Вы должны научить и меня этому великому искусству,— взмолился Румпф.— Вы же знаете, скука — мой заклятый враг.

— Да, вы часто мне это говорили,— сказала Марион.— Я занята в школе да еще работаю дома. У меня не остается времени скучать.

Румпф весело рассмеялся.

— И все это вам не наскучило?— Он осушил свой бокал и вновь наполнил его вином из графина.

Марион заметила, что сегодня он пил больше и жаднее, чем всегда. Казалось, он был охвачен какой-то странной тревогой.

— У меня тоже есть моя работа,— снова начал Румпф,— но я даже вам сказать не могу, как она мне надоела! Невыносимо! — Марион отказывалась его понять.— Но ведь школа и ваши уроки не отнимают у вас всего дня. А что вы делаете потом?

— Потом? — удивленно переспросила Марион.— Пишу письма, например.

Румпф снова рассмеялся. Он покачал головой.

— Нет,— сказал он,— вы для меня загадка. Вот мне, скажем, вовсе не хочется писать письма. И кому бы я стал их писать? Ну, а потом? Когда вы написали письма? — допытывался он.

— Если еще остается время, я читаю,— отвечала Марион.— За последние годы я перечитала бесчисленное множество книг.

Гаулейтер усмехнулся, и Марион снова бросились в глаза желтые пятна на его щеках.

— Знаете, сколько книг я прочел за всю мою жизнь? — спросил он.— И когда я вообще в последний раз держал книгу в руках? Так, чтобы читать ее по-настоящему? Откровенно говоря, мне и от книг бесконечно скучно.

— Без книг я не могла бы жить,— сказала удивленная Марион.

Румпф испытующе посмотрел на нее. Ее серьезный взгляд понравился ему.

— Хотел бы я прочесть какую-нибудь книгу вместе с вами! — воскликнул он.— Мне кажется, я мог бы долго, долго слушать вас, если бы вы читали мне вслух.

Марион улыбнулась, но почувствовала, что краснеет. Взгляд гаулейтера привел ее в смятение. Румпф никогда так откровенно не говорил с ней, да и тон его сегодня был иной. Но особенно поразило ее, что сегодня он почти не шутил. Он ведь так любил юмористические обороты, плохие и хорошие шутки. Она еще никогда не видела его столь серьезным. Румпф замолчал и стал доедать компот. Он выпил еще бокал красного ви-

на, затем позвоиил слуге и приказал принести шампанского.

— Вы знаете, какую марку я теперь предпочитаю?

— Фрейлейн Марион,— снова обратился он к ней,— вы в самом деле прекрасный, редкостный учитель, с вами ие скучно! Такого-то мне и надо. А главное, вы мастерски владеете искусством жизни, а я в этом отношении полнейшая бездарность. Научите меня искусству жизни,— закончил он смеясь и в то же время совершенно серьезно.

Его доверительиый, почти дружеский тон встревожил Марион. Оиа смеялась, но, не зная, что ответить, сказала смущенно:

— Но ведь вы-то заняты больше, чем мы все?

Гаулейтер кивнул, явно не удовлетворенный ее ответом.

— Может быть, и так,— сказал он, мрачно взглянув на нее.— Но должен признаться, Мариои, что меня очень мало интересуют эти дела, как я уже сказал вам. Сначала я думал, что политика целиком захватила меня, но я ошибся. Это ошибка, одна из многих в моей жизни. Раз я сам ничего не вправе решать, политика не может удовлетворить меия. И у меня ни к чему иет иитереса. Видите ли, у меия нет настоящих друзей. Все это собутыльники или партнеры, они хороши для попойки, для игры. У меня нет никого, кого бы я любил. Ни родителей, ни братьев, ни сестер. У меня нет идеалов, которые бы меия захватили, нет веры, нет бога, у меия ничего нет. Видите, как я беден!

Марион была потрясена этим откровенным признанием; равнодушный голос Румпфа лишь усиливал это впечатление. Она покачала головой и сказала:

— В таком случае, господин гаулейтер,— позвольте мне сказать это,— вам нельзя позавидовать, а между тем вам завидуют все.

Румпф улыбнулся.

— Говорите все, что хотите,— ответил он.— Я прошу вас говорить мне правду, даже если эта правда будет мне иеприятна. Вы не представляете себе, как редко мне приходится слышать правду. Видите ли,— при-

бавил он с коротким смешком и встал,— ни одна живая душа не говорит мне правды.

Он направился к небольшому круглому столику в углу, на который слуга поставил бокалы для шампанского, и предложил Марисн подсесть к нему. Закурив сигару, он продолжал:

— Вас, наверно, удивляет, что я сегодня так торжественно настроен. Признаюсь, в последние месяцы я о многом размышлял и пришел к выводу, что жизнь, которой я живу, бессмысленна и безрассудна. Она складывается далеко не так продуманно и осмысленно, как ваша, о нет! Короче говоря, я решил в корне изменить ее. Слышите? Изменить в корне!

— Слышу,— сдавленным голосом ответила Марион. Зачем он все это говорит ей? Она хотела закурить папиросу, но воздержалась, чувствуя, как сильно дрожит ее рука.

Румпф ничего не замечал. Он выпил бокал шампанского и откинулся на спинку кресла.

— Я хочу вам кое-что сказать,— продолжал он, слегка понизив голос,— чего еще никто не знает и знать не должен. Понимаете, Марион? Я очень серьезно ношусь с мыслью совсем уйти от политики.

Марион не в состоянии была произнести ни слова. Она сидела, открыв рот.

Румпф холодно засмеялся.

— Вы удивлены? Конечно, у меня для этого имеются веские основания. Человек, который в какой-то мере еще уважает себя, не может больше видеть эту комедию, ибо все это не что иное, как комедия. Может быть, я в один прекрасный день расскажу вам обо всем подробнее, сообщу сотни тысяч потрясающих подробностей! — прибавил он. Лицо его медленно заливалось краской. Затем он продолжал с довольной улыбкой: — Вы еще больше удивитесь тому, что я вам сейчас скажу. Я ношусь с мыслью покинуть эту страну! И знаете, куда я поеду? В Турцию! Турция обворожила меня! Несколько недель я провел в Стамбуле и много разъезжал по другим местам. Какой там табак! Какие превосходные вина! И скромные, простые люди, с ними легко ужиться. Там я и решил обосноваться в будущем.

Он чокнулся с Марион.

— Я вне себя от удивления! — воскликнула Марион, охваченная каким-то непонятным страхом.— И это ваше серьезное намерение?

— Да, серьезное,—отвечал гаулейтер, наслаждаясь удивлением Марион.— Я приобрел там клочок земли и хочу его обрабатывать. Вы что-нибудь смыслите в садоводстве и в сельском хозяйстве?

Марион покачала головой, ее кольнуло злое предчувствие.

— Почти ничего,— едва слышно проговорила она.

Румпф рассмеялся.

— Значит, больше, чем я. Но не надо смущаться. Всему можно научиться. Там я собираюсь поселиться, чтобы вести простую жизнь среди простых людей. Тогда у меня найдется время и спокойствие, чтобы заняться чтением. Я знаю, что книги бесконечно обогащают жизнь и что без книг многим людям жизнь казалась бы, как вы выразились, невозможной. Мне достаточно взглянуть на вас! Я приобрету самую прекрасную библиотеку в мире. По счастливой случайности я нашел великолепный уголок у самого Мраморного моря. Оливковые рощи, виноградники, прекрасные сады, террасами сбегающие к сказочно синему морю. В этом поместье могли бы поселиться целых три семьи, оно принадлежало бывшему английскому министру, умершему год назад. Его три дочери еще живут там, но они намерены вернуться в Лондон. Что бы там ни говорили об англичанах, а они умеют жить комфортабельно. Все это очень удачно складывается. Вид на море там просто упоительный. До Стамбула рукой подать. А в Стамбуле — театры, концерты, кино, гостиницы, значит, не чувствуешь себя оторванным от жизни. Разве я не обещал вам, Марион, отыскать что-нибудь получше, чем тот крохотный, источенный мышами польский замок? И туда бы мне хотелось уехать с человеком умным, образованным, во всяком случае более образованным, чем я. И знаете, с кем?

Марион стало дурно, она побледнела и беспомощно взглянула на Румпфа.

— С вами, Марион! — сказал он и потянулся к ее руке.

У нее не было сил отнять ее.

— Со мною? — прошептала Марион, силясь скрыть свое замешательство.

— С вами! — повторил Румпф и встал. Он задорно, как мальчишка, расхохотался и, вытащив из кармана брюк табачный кисет, самодовольным жестом бросил его на стул.

— Знайте же, что вы не с каким-нибудь бродягой отправитесь в Турцию. Смотрите! — Он снова задорно рассмеялся и развязал шнурки кисета.

На стол высыпалась кучка камешков величиной с горошину и более крупных. Гаулейтер взял в руки несколько этих неприглядных камешков.

— У меня их пропасть,— сказал он с небрежным и хвастливым жестом.— Наши антверпенские трофеи. Вы ведь знаете, еще никогда не было победоносных войн без трофеев. Это алмазы из амстердамских шлифовален. Смотрите, некоторые уже отшлифованы! Мне их подарили. Кроме того, у меня есть кольца, цепи, золотые монеты — целый сундук драгоценностей. Вы видите, Марион, нужды мы во всяком случае испытывать не будем!

Марион покачала головой, устремив свои блестящие, как вишни, глаза на гаулейтера, растерянная улыбка блуждала на ее губах.

Она была так ошеломлена, что не могла произнести ни слова. Лишь с трудом овладела она собой. «Возьми себя в руки! — приказала она себе.— Не оплошай в последнюю минуту!» С отвращением, но притворяясь заинтересованной, рассматривала она маленькие камешки, пересыпая их между пальцами.

— Возьмите, сколько хотите! — смеясь, сказал гаулейтер.

Он впервые показался ей сегодня подвыпившим.

— Почему такой маленький?

Марион выбрала небольшой, наполовину отшлифованный камень величиной с чечевицу.

— Потому что он уже отшлифован,— сказала она.

Румпф засмеялся. Ее скромность понравилась ему.

— В Турции много евреев,— начал он снова.— Никто там не будет коситься на вас. Это простые, искренние, сердечные люди. Вам будет хорошо среди них. А здесь с евреями скоро расправятся окончательно. Но больше всего вам придется по душе море, оно божественно.

Ну, на сегодня хватит разговоров о Мраморном море,— сказал он совсем другим тоном.— Я откровенно изложил вам свои планы и намерения и просил бы вас сообщить мне через три-четыре дня ваше решение. Я знаю, что для вас это будет не просто, очень не просто! Но полагаю, что за несколько дней вы все же обдумаете мое предложение. Может быть, вы тогда навестите меня во дворце. Это было бы мне всего приятнее.

XIII

Растерянная и ошеломленная, Марион покинула «замок». Первобытно-грубый и наивный подход Румпфа к миру и жизни поверг ее в оцепенение.

Широкая аллея, которая вела от «замка» к воротам, была расчищена. Бушевала метель. Ротмистр Мен ждал ее в автомобиле у ворот.

Ветер все еще дул с такой силой, что они с трудом пробирались вперед; один раз они наткнулись на сугроб, зато в других местах с дороги, казалось, соскребли весь снег.

— Западный ветер! — с удовлетворением отметил Мен.— Наконец-то кончатся эти ужасные морозы.

— Какая тяжелая зима! — сказала Марион.

— Ужасная! Трудно себе даже представить, что претерпевают наши войска в России.

Перед домом они снова увязли в сугробе. Марион несколько раз проваливалась в снег, прежде чем добралась до дверей. Мен освещал ей дорогу карманным электрическим фонариком.

— Я уже дома, благодарю,— сказала Марион; голос ее прозвучал весело, радостно, но силы тут же оставили ее.

Она не спала всю ночь и впервые не пошла утром в школу.

Ее бил озноб.

— Это расплата! — воскликнула мамушка.— Надо было тебе бежать от этих негодяев! — Больше она ничего не сказала.

Марион сама это знала. Велика была ее вина. Утром она собралась с силами и отправилась к Кристе, посоветоваться с ней. Криста тоже была потрясена первобытной наивностью Румпфа, но не могла ничего посоветовать Марион. Никто не мог дать ей совета, ибо никто не знал, как велика ее вина.

Была только одна возможность спасти себя, но эта возможность по тысяче причин была ей недоступна.

Она могла бы пойти к гаулейтеру, признаться в своей вине и просить у него прощения. В первый раз, когда она пришла к нему, она старалась произвести на него впечатление: ей нужны были комнаты для школы. Она успела в этом, произвела на него впечатление. Тут и начинается ее вина. Когда он предложил ей заниматься с ним по-итальянски, она должна была наотрез отказаться. Она этого не сделала. О, вовсе не потому, что она стремилась разжечь чувства, которые гаулейтер питал к ней, нет, конечно, нет. Но она также ничего не сделала для того, чтобы его симпатия к ней превратилась в антипатию или равнодушие. Она старалась быть веселой и жизнерадостной, потому что ему это нравилось; она смеялась, потому что ему это было приятно; она прихорашивалась, чтобы пленить его. Она даже научилась играть на бильярде, потому что он любил эту игру, и надо прямо сказать — нравилась себе в красивых позах, которые позволяет принимать эта игра. Она пила его вина и ликеры, она обедала у него, прибегала к его защите. Эти мелочи нагромождались одна на другую, а из них складывалась ее вина, ее большая вина! Она годами обманывала гаулейтера.

Но разве можно явиться к нему и сказать, что она годами его обманывала? Нет, это невозможно. А почему? Ни один человек бы этого не понял.

На третий день она написала гаулейтеру письмо, на четвертый отнесла его в «замок».

С этого дня она была наготове. Она знала, что настал час расплаты.

Спустя два дня в сумерки к их дому подъехал автомобиль. Марион и ее приемная мать были арестованы.

Одним из двух чиновников, присутствовавших при аресте, был начальник местного отделения гестапо, долговязый Шиллинг. Он держал себя сурово и официально.

Марион попросила разрешения попрощаться с отцом, но он резко отказал ей. Обе они были доставлены на Хейлигенгейстгассе, где уже собралось много их товарищей по несчастью. Здесь были старые женщины и мужчины, совершенно разбитые и ко всему равнодушные; была пожилая дама с белоснежными локонами, ниспадавшими на шею, и с нею две прелестные девочки лет по восьми, необыкновенно красивые и развитые. Марион знала их. Это были дочери врача, заключенного в Биркхольце, и его экономка Ревекка, которую дети называли тетей; мать их давно умерла.

Темнокудрые девочки, Метта и Роза, встретили Марион радостными возгласами:

— Как хорошо, что ты тоже с нами, Марион! Теперь мы уже не так одиноки.

До самых сумерек Марион была занята детьми и минутами забывала о собственном трагическом положении. Когда наступила ночь, она стала рассказывать девочкам сказки, пока они не уснули на коленях у нее и у Ревекки.

«Капля за каплей, пока не переполнится чаша! — глубоким басом причитал старый еврей.— Сжалься над нами, господь!» Этого еврея звали Симоном, его знал весь город. Прежде он был владельцем большого фруктового магазина на Вильгельмштрассе и считался богатым человеком. Когда у него отняли магазин, отдав его нацисту, он стал заниматься торговлей вразнос; мамушка часто покупала у него фрукты. Его жена не могла примириться с потерей магазина и покончила с собой. Для одного человека этого было уж слишком много. Симон стал заговариваться. У него было красное лицо, толстые красные руки и окладистая седая борода. На голове у него красовался старый, порыжевший от времени котелок, надвинутый по самые уши.

— Скоро, скоро чаша переполнится, господи боже мой! — говорил он в тишину.

— Бог послал нам тяжкое испытание, и мы должны терпеливо нести его, Симон! — раздался из темноты голос мамушки.

Она была очень религиозна. Марион чувствовала глубочайшую благодарность за то, что она ни в чем не упрекала ее. Только один-единственный раз мамушка сказала: «Вот видишь, что случается, когда поддерживаешь отношения с этими мерзавцами, Марион! Ты наказана, и я вместе с тобой, за то, что не удержала тебя».

В нетопленной камере ночью стоял невыносимый холод. Суровая зима упорно не хотела сдаваться. На следующий день им сунули в камеру ведро жидкой похлебки и одну деревянную ложку на всех. Вечером арестованных привезли на вокзал и втиснули в поезд, доставивший их ночью на станцию, неподалеку от какого-то большого города, по-видимому Дрездена.

Там их загнали в маленький битком набитый зал ожидания, где воздух был пропитан дымом и зловонием. Женщины и дети, юноши и старики валялись среди чемоданов, мешков, коробок и узлов. В помещении стоял невообразимый шум. Когда шум еще усилился, молодчик в черной рубашке громко крикнул: «Тише!» На несколько минут все смолкло. Чернорубашечник, в шинели и высоких сапогах, стоял в углу до отказа набитого помещения. Людей трясло от холода, изо рта у них шел пар. Это были евреи из Франкфурта и других городов, которых согнали сюда, чтобы куда-то переправить.

Марион в элегантном меховом пальто привлекала всеобщее внимание своей молодостью и южной красотой; но еще больше восхищения вызывали две прелестные чернокудрые девочки — Метта и Роза; каждый старался приласкать их.

В толпе были женщины на сносях; они кутались в пальто, с трудом сходившиеся на животе. Были кормящие матери. Одни переодевались, другие расчесывали волосы или чистили платье. На скамьях, на стульях и на полу спали мужчины.

У Мариои сперло дыхаиие.

По полу каталась полиая жеищина; она била, как одержимая, руками и ногами и пронзительио кричала:

— Не хочу жить! Неужелн нет никого, кто бы прикончил меня? Все — трусливый, бессердечный сброд!

— Тише! — крикнул солдат, стоявший в углу.

— Ее мужа вчера застрелилн,— прошептал на ухо Мариои какой-то курчавый молодой человек в голубом галстуке, по виду продавец из салона мод. Ои ие отходил от Марион.— Говорят, за попытку к бегству,— продолжал он.— Кто этому поверит, фрейлейн? Он отошел от поезда всего шагов на десять, я видел, как он упал...

Внезапно произошло какое-то движение, раздались крики. Прибыл поезд. Толпа с узлами и чемодаиами бросилась к дверям, но молодчнк в черной рубашке всех отогнал и пропустнл на перрон только часть людей.

— Первый вагон,— приказал ои.

Поезд состоял из одиого пассажирского вагона и пятн вагонов для перевозки скота. Пассажнрский, прицеплениый к паровозу, предназиачался для охраны — чериорубашечииков. Это былн желторотые юицы, они курили н смеялись, стоя на перроне, и отпускали шуточки по адресу бегущей толпы, с криками штурмовавшей первый «скотскнй» вагон.

— Не торопитесь, господа! — кричал конвоир.—Все попадете. Места у окон уже заняты! Ну-ка, потеснитесь! Еще штук десять влезет!

Наконец первый вагои так набили людьми, что больше уже никого нельзя было втиснуть, как ни орудовал солдат прикладом. Дверь задвииули и заложили железиым засовом.

Прошло больше часа, пока в поезд погрузили всех иаходившихся в зале людей с их пожиткамн. Марион попала в последний вагон, так как не умела пробиваться вперед. Мамушка, Ревекка и две красавицы-девочки ие хотели расставаться с нею. Словоохотливый молодой продавец с голубым галстуком помог им подняться. Симои, старик с багровым лицом, в низко на-

хлобученном котелке, попал в вагон последним: солдат загнал его прикладом.

После того как дверь заперли, в вагоне стало почти темно. Все притихли, но дети стали кричать от страха; впрочем, их удалось быстро успокоить. У Марион была полная сумка шоколаду. Поезд тронулся.

— Боже милостивый, куда нас везут? — хриплым голосом кричала старая женщина.

— На восток. Нас всех поместят в гетто.

— Боже, боже! Было ли на свете что-либо подобное?

Вдруг у дверей раздался глубокий бас Симона. Симон кричал так громко и грозно, что все замолчали:

— Да обрушит господь на ваши дома серу и пламень, да сгорят они!

В вагоне можно было задохнуться. Из угла, где мужчины устроили примитивную уборную, несло невообразимой вонью. Чтобы добраться до этого угла, приходилось перелезать через сундуки, мешки, протискиваться между сгрудившихся людей. Поезд шел на восток. Сквозь дверные щели виден был лежавший на полях снег. Изредка мелькали покрытые снегом леса и крестьянские дворы; в воздухе кружились белые хлопья. В вагоне, когда поезд двинулся, было уже очень холодно, но с наступлением вечера холод стал еще мучительней, ноги в тонких чулках коченели.

К Марион приблизилась узкая тень: это был молодой человек с каштановыми кудрями. Несмотря на темноту, она увидела, что он снял шляпу.

— Кажется, вы плохо себя чувствуете, фрейлейн,— учтиво осведомился он.— Чем я могу быть вам полезен?

Марион смертельно устала и окоченела. Она попыталась улыбнуться ледяными губами.

— Благодарю,— ответила она,— ведь мы все страдаем.

— Не сядете ли вы на мой чемодан? Он удобнее вашего. Я буду счастлив услужить вам.

— В какое гетто нас везут? — спросила хриплым голосом женщина, задавшая тот же вопрос при отходе поезда.

— В Краков или в Варшаву, они теперь всюду устроили гетто.

Женщина с хриплым голосом рассмеялась.

— Мы все подохнем до тех пор! Разве мыслимо на свете что-либо подобное?

Стоя у двери, Симон сказал своим низким басом:

— В чреве ваших женщин плод обратится в камень, дети ваши будут бродить по улицам слепые, опираясь на посох.— Эти слова прозвучали грозным проклятием.

Надвигались сумерки, полоса в дверной щели почернела. Кто-то зажег свечу. «Я нашел еще маленький огарок!»

В тусклом мерцании свечи стали видны бледные, окоченевшие лица, слезящиеся, красные от мороза, робкие и полные ужаса глаза. Все снова заговорили, обратив взор на бледный луч света, который казался здесь чудом, обещал спасение, внушал слабую надежду. Свеча медленно догорела, разговоры снова замерли.

В вагоне стало тихо; люди спали на ящиках и на тюках, на человеческих телах, на полу; время от времени раздавался храп. Но ледяной холод проникал через дверную щель.

— Хоть бы уж добраться до гетто,— прошептала седовласая экономка, державшая на коленях Розу.

Марион закутала в свое пальто маленькую Метту и прижала ее к груди.

Из первого, пассажирского, вагона доносились громкое пение и смех.

XIV

На следующее утро повалил снег; белые хлопья забивались в вагон, медленно тая на посиневших от стужи лицах и красных руках. Хлопья ложились на пальто, чемоданы, ящики и тюки, весь вагон казался заснеженным. Котелок Симона, сидевшего у самой щели, покрылся слоем снега, а его широкая обледеневшая борода стала твердой, как доска. Капля под его носом превратилась в льдинку.

Забыли, что ли, об этом поезде? Ни куска хлеба, ни ложки супу, ни глотка воды. Одна из женщин, тучная, полногрудая, задыхаясь, лежала на полу. Она вытянула толстые ноги и прислонилась спиной к стене вагона. У нее уже не было сил держаться на ногах.

Когда поезд остановился на станции, молодой продавец с каштановыми кудрями окликнул солдата, который на каждой остановке проходил вдоль поезда, следя за порядком.

— У нас в вагоне больная, солдат! — крикнул он сквозь щель.

— Не беспокойтесь, скоро поправится,— загоготал солдат.— Ехать еще долго.

Голод, жажда, холод... Чаша действительно переполнилась. Люди рылись в чемоданах и мешках, но не находили ничего, ничего, ничего... Последние запасы были давно съедены. Спасения не было. Поезд снова остановился, и двух маленьких темнокудрых девочек, Метту и Розу, придвинули к щели. Они закричали в снежную бурю своими тоненькими голосами:

— Воды, солдат, воды! Дайте воды!

Седовласая Ревекка изо всех сил кричала, перегнувшись через котелок Симона:

— Хлеба, кусок хлеба, солдат!

В товарном вагоне начался настоящий бунт. У женщин, у мужчин вырывались ругательства и проклятия:

— Что же, околеть нам? Стыдитесь, негодяи! Вы обрекаете на голодную смерть женщин и детей! Позор и стыд! Мерзость!

Солдат прошел мимо, не обращая ни малейшего внимания на эти возгласы. Из всех пяти вагонов неслись крики и проклятия. На какой-то большой станции, где поезд простоял долго, Марион решилась попытать счастья, и все глаза с надеждой устремились на нее. Увидев молодую красивую сестру Красного Креста, которая стояла на перроне, куря папиросу, она крикнула:

— Пожалейте нас, сестра! Дайте нам кувшин воды. Кран тут, возле вас.

Красавица-сестра, вынув изо рта папиросу, взглянула на нее с презрением, плюнула и быстро удали-

лась. Ужас охватил запертых в вагоне людей. Они кричали и звали, они стучали ногами и палками в стены вагона. На каждой станции из всех вагонов неслись неистовые крики и стук в двери.

Наконец, как раз в ту минуту, когда крики и стоны разрослись в целую бурю, к вагону вместе с солдатом подошел офицер в черном мундире. Это был светловолосый юноша лет двадцати, не больше. Он приблизил лицо к щели и, наморщив свой мальчишеский лоб, звонким голосом крикнул:

— Если шум тотчас же не прекратится, я расстреляю весь вагон! Понятно?

В вагоне стало совсем тихо. Расстрела все боялись. Казалось, что это еще хуже, чем смерть от голода или холода.

Полногрудая женщина умерла. Тихо откатилась к стене и лежала неподвижно. Никто не решался прикоснуться к ней. Дети плакали и кричали. Наконец, двое мужчин собрались с духом, отнесли ее в сторону и накрыли мешком.

— У нас в вагоне мертвая женщина! — крикнул на ближайшей станции патрульному приказчик с каштановыми кудрями.

— Пусть лежит. Мертвые не убегут! — ответили из темноты.

В Герлице поезд простоял целый час. Почти одновремеино туда прибыл поезд из Берлина с плачущими и кричащими пассажирами, которыми были набиты восемь товарных вагонов. Оба эшелона соединили в один. Двери все время оставались закрытыми, и мертвая женщина по-прежнему лежала, покрытая мешком.

Когда совсем стемнело, длинный состав двинулся — в ночь, в холод, в снег. Большинство арестованных в вагоне, где находилась Марион, были так истощены от голода и холода, что уснули. Некоторые спали стоя, прислонясь к стене, и только немногие еще переминались с ноги на ногу и стонали. Даже старик с глубоким басом, Симон, затих. Дети давно перестали кричать и плакать. Когда поезд вдруг остановился на станции возле Бреславля,— это было ночью,— лишь немногие открыли опухшие, воспаленные глаза, по которым

ударил резкий свет фонарей, пробившийся сквозь щель.

На этой станции, наполовину погребенной в снегу, Марион удалось раздобыть у пожилой сестры милосердия большой ломоть хлеба. Сестра, пораженная красотой молодой девушки, украдкой сунула ей этот хлеб.

— Берите скорее,— сказала она.— Нам это строжайшим образом запрещено.

Молодой продавец, который все время держался поблизости от Марион, поздравил ее с успехом.

— Я молю бога,— сказал он,— чтоб я попал в то же гетто, что и вы, фрейлейн.

На рассвете сменилась сопровождавшая транспорт охрана. В первый раз открыли дверь, и солдат с тусклым фонарем проверил людей по какому-то списку. Почти никто не поднял головы.

— Эти евреи зачумляют всю окрестность! — кашляя, прокричал он другому солдату, стоявшему рядом с ним.— Тут хуже, чем в свином хлеву! Выгрести надо их всех!

Стоявший рядом солдат поднял ведро воды, которое он нес в руке, облил им спящих и громко рассмеялся.

— В Польше у них найдется время поспать,— заготал он.

Дверь снова закрыли, и поезд двинулся дальше.

Последнее, что в полусне видела Марион, было зарево доменной печи. В вагоне стало совсем тихо. Не слышно было ни разговоров, ни стонов, ни плача, ни кашля, ни единого звука.

В мертвой тишине двигался поезд по заснеженной равнине. В эту ночь мороз достиг пятнадцати градусов. На польской границе поезд задержался. Вагоны без конца простукивали молотками, паровоз маневрировал, железнодорожники что-то кричали. Вагон, в котором была Марион, отцепили и отвели на запасный путь, где он и остался. Его буксы оказались в неисправности. Когда в полдень железнодорожные рабочие открыли раздвижную дверь, они отпрянули в смертельном испуге. На них упали два замерзших трупа старых

евреев с длинными обледенелыми бородами. У одного из них с лысой головы скатился котелок. И следом за ними обрушился призрак с остекленелыми глазами и седыми локонами. Рабочие в ужасе отшатнулись. Призрак окоченевшими руками прижимал к себе двух завернутых в одеяла темнокудрых девочек, тоже мертвых, со стеклянными глазами. Ужас охватил рабочих, но время было военное, они уже привыкли к страшным зрелищам. Смелее! Они очистили вагон от замерзших людей. Казалось, их было не счесть. Их рядами укладывали на снег, по мере того как извлекали из вагона. Сосчитать решили уже потом. Многие, в особенности женщины, были так закутаны в пальто и платки, что походили скорей на свертки, чем на людей. Один из рабочих, человек набожный, закрыл им глаза.

Вытаскивая из угла вагона пожилую женщину с сереброкудрой головой, они обнаружили рядом с ней красивую молодую девушку в дорогом меховом пальто, которое тотчас же бросилось им в глаза.

— Какая красавица! Как попала сюда эта итальянка? — спрашивали друг друга рабочие. Они уже собирались положить девушку на снег рядом с другими, но в это мгновение Марион вздохнула и медленно открыла свои черные глаза.

— Она еще жива! — с удивлением воскликнули рабочие и отнесли Марион в ближайшую сторожку. Ее может забрать следующий транспорт.

Здесь, в теплой сторожке, Марион мало-помалу пришла в себя. Старая, полная женщина дала ей молока с размоченным хлебом.

— В чем вы провинились, милая фрейлейн? — плача, спросила старуха.

— Не знаю,— прошептала Марион, едва шевеля губами.

К вечеру она настолько оправилась, что могла уже обдумать свое положение. По ее просьбе, старуха дала ей кусок бумаги и конверт; она медленно, с трудом написала несколько слов отцу. «Не беспокойся, мы обе чувствуем себя хорошо,— писала она,— скоро мы напишем тебе подробно».

У старухи был сын солдат, который на следующий день отправлялся в казарму в Бреславль.

— Он опустит письмо в Бреславле,— шепнула она на ухо Марион.— Никто этого не узнает.

Марион поблагодарила ее, но когда она протянула старухе сто марок для солдата, та отвела ее руку.

— От несчастных мы денег не берем, фрейлейн,— сказала она.— Да поможет вам бог!

Доставая деньги, Марион, к своему удивлению, обнаружила в сумочке плоский отшлифованный алмаз величиной с чечевицу. Она не могла припомнить, как к ней попал этот камень. Кольцо, что ли, она собиралась сделать из него?

— Возьмите этот брильянт на память,— сказала она старухе,— подарите его кому-нибудь, впрочем, может быть, это просто стекло.

На следующее утро из Берлина прибыл новый транспорт в пятнадцать товарных вагонов, и два солдата увели Марион.



КНИГА ШЕСТАЯ

I

Фабиан часами ходил из угла в угол по своему роскошному кабинету. Приемная пустовала. Время от времени он останавливался перед большой картой, покрывавшей почти весь его огромный письменный стол, и углублялся в изучение синих и красных линий, тянувшихся от Белого до Черного моря, через всю необъятную Россию. Лицо его при этом становилось задумчивым, даже озабоченным.

Зимой армия несла невероятные потери. Да и как могло быть иначе? У войск ни крыши над головой, ни теплой одежды, ни крепких сапог, ни достаточного питания. Ведь война была рассчитана на шесть недель.

«Шесть недель, господин полковник фон Тюнен! Москва? Петербург? — У Фабиана дрогнули углы губ.— Что ж, полковник может ошибиться, и даже генерал»,— попробовал он внушить себе.

Накануне Фабиан разговорился в «Глобусе» с пожилым штабным врачом, находившимся в отпуску

вследствие полного истощения нервной системы. Человек исполинского сложения, он теперь едва держал в руках бокал с вином. Они ампутировали там дни и ночи — неделями, месяцами, пока не сваливались от переутомления. Целые роты, целые полки! Армии одноногих призраков бродили по Германии, но мертвые — те молчали.

К счастью, Клотильда снабдила юного Гарри толстыми вязаными перчатками, теплыми чулками и шерстяными вещами; о нем можно не беспокоиться. Во всех письмах он клянчил вещи для друзей и солдат, которые боялись холода больше, чем смерти.

Пора бы опять раздаться голосу верховного главнокомандующего — он подхлестнет ослабевший дух народа. Ведь фюрер без обиняков заявил, что русская армия уничтожена, уничтожена раз и навсегда! И никогда ей больше не подняться. Не осталось ни людей, ни коней. Неужели и этого недостаточно?

Через несколько дней о том же возвестил начальник имперского бюро печати. Русская армия уничтожена, уничтожена, уничтожена.

Глаза Фабиана вновь засветились верой. Стоит ли обращать внимание на сообщение «неизвестного солдата», утверждавшего, что немецкие войска потерпели под Москвой тяжелое поражение, заставившее их отступить? Ложь и обман, ничего больше! Полковник фон Тюнен специально позвонил Фабиану по телефону сообщить, что зимнее затишье кончилось и армии снова наступают. «Через месяц мы будем в Москве, даю голову на отсечение!» — кричал он в трубку.

Радио торжественно возвещало о крупных победах на Украине. В ушах у Фабиана стояли грохот боев и победные крики. Бывали дни, когда он с трудом переносил свою скучную, кабинетную службу. Он видел себя скачущим верхом по полям рядом со своей батареей, он слышал грохот орудий, видел, как взлетали ввысь глыбы черной земли. Как раз в таком настроении он узнал новость, опять пробудившую в нем надежду. Ему сообщили, что Таубенхауз в городе.

Таубенхауз! Быть может, он приехал, чтобы снова

занять пост бургомистра, и тогда, Фабиан, ты свободен и знаешь, куда тебе идти!

Таубенхауз посетил ратушу. Фабиану сразу бросилось в глаза, что он уже майор. Лицо его посмуглело, обветрилось. Ни намека на прежнюю бледность. Волосы, прежде стоявшие торчком, были коротко острижены, он отпустил красивую бороду, придававшую ему солидный фронтовой вид.

Таубенхауз уже не просто говорил громким голосом: он кричал, командовал, все с ног сбивались, чтобы ему угодить. Этот тон он вывез оттуда, с фронта!

Он любезно пригласил Фабиана к девяти часам вечера в «Звезду» распить бутылку вина. Будет и гаулейтер. Майору Таубенхаузу было, разумеется, о чем порассказать, как, впрочем, и всем прибывавшим с фронта. Ведь он не кто-нибудь, а комендант города Смоленска, не больше, не меньше! Город? Нет, не город, а куча развалин. Немецкая артиллерия и немецкие танки хорошо поработали. Он приказал выстроить здание для административного аппарата, а теперь они строят казино — роскошнейшее заведение на полпути между Берлином и Москвой. Строит Криг, здешний городской архитектор. Таубенхауз вытребовал его в Смоленск. Там ему нет надобности скаредничать, как здесь, где из-за какой-нибудь лестницы, которой вся-то цена тридцать тысяч марок, начинали кричать «караул». Ну и потеха была, когда Криг снова свиделся со своей дочерью Герминой, одной из двух близнецов! Таубенхауз захватил малютку в Смоленск, она вела у него хозяйство и была начальником секретариата. А какой у них повар! Первокласснейший! Он прежде служил в Берлине, в отеле «Эден». Не повар, а просто чудо! Да, на питание не приходится жаловаться. С непривычки кажется, что здесь, в тылу, настоящий голод. А там захотят быка — и бык тут как тут! Полсотни зайцев? На следующий день они уже лежат на кухне! А вина, какие вина! Какие водки, ликеры! Не успеешь пожелать шампанского, виски, токайского, малаги, как бутылки уже на столе.

К сожалению, Таубенхауз пробыл в городе только три дня. Он приехал сделать кое-какие закупки и наку-

пил пропасть всяких вещей, которые в громадных ящиках и тюках были отправлены на его квартиру в Смоленск: лампы, электрические печи, занавеси, дорожки, ковры, пылесосы, парфюмерия, дамские бюстгальтеры. Целый вагон вещей.

Таубенхауз уехал, и в городе воцарилась прежняя скука, пока опять кто-то не заявился с фронта со свежими новостями.

Даже «Звезда» по вечерам часто пустовала, в городе становилось все меньше и меньше мужчин. В гости друг к другу местные жители больше не ходили. У всех жизнь была отравлена печалью, заботами, немного оставалось семей, в которых не оплакивали бы покойника. Доклады в салоне Клотильды теперь устраивались реже и, по правде говоря, изрядно докучали Фабиану.

Вначале ему казалось, что его отношения с дамами Лерхе-Шелльхаммер возобновятся, но эта радостная надежда вскоре развеялась.

Фрау Беата несколько раз приглашала Фабиана к ужину, в благодарность за его заступничество. За одним из таких ужинов она преподнесла ему папку с ценными гравюрами, которые достались ей от отца.

Они вкусно поели, выпили вина, оживленно побеседовали часок — другой, но, увы, задушевный тон былых встреч не возвращался. Разговор часто замирал и еще чаще выливался в условную светскую болтовню, что было мучительно для всех троих.

Одна лишь фрау Беата была неизменно весела и по-прежнему курила свои крепкие сигары.

— Я не лишена пророческой жилки,— шутила она. — Разве я не предсказывала, что в случае войны обе мои невестки с детьми засядут в своем швейцарском поместье? Вы помните, доктор? — Она в самом деле не раз говорила об этом; Фабиану показалось, что в последнее время она стала пить больше коньяку, чем прежде.

Криста усвоила себе невежливую манеру во время разговора чертить что-то на клочке бумаги — какие-нибудь профили, завитушки; по-видимому, она была больше занята своими мыслями, чем разговором. Часто

она подолгу молчала, казалась рассеянной и отсутствующей. Как и прежде, на ее губах витала улыбка. Иной раз ему начинало казаться, что в ней пробуждается прежнее влечение к нему, но в ту же минуту он убеждался, что она избегает какого бы то ни было дружеского слова. Она уже не краснела, когда он обращался к ней. Раньше нежная улыбка играла на ее лице даже тогда, когда она наливала ему чашку кофе. Теперь она улыбалась из вежливости, и только.

— Мне кажется, что вы обе стали гораздо молчаливее,— вырвалось однажды у Фабиана.

— Молчаливее? — переспросила фрау Беата. Она покачала головой и, посмеиваясь, ответила: — Возможно, что и так. Чем больше мыслей, тем меньше слов!

— Прекрасно сказано,— подхватил Фабиан,— но ведь это должно значить, что у вас есть многое, что сказать. Почему же вы в моем присутствии не говорите обо всем, что вас занимает, как, бывало, прежде?

Фрау Беата рассмеялась.

— «Прежде»? — воскликнула она. — Ах, как бы это было хорошо! Но «прежде» кануло в вечность. Мир вокруг нас изменился, и мы изменились вместе с ним. Никто теперь не говорит, как «прежде»; это невозможно. Изменились понятия, слова приобрели другое значение. Слишком много мы наслышались лжи и правды, всего вперемежку, и теперь уже разучились отличать ложь от правды. Все мы отравлены злобой, изъедены недоверием, все мы опасаемся, что и у стен есть уши. Мы слишком часто слышим слово «доносчик», прежде нам неведомое. Нам всем не хватает непринужденности и естественности, мы уже не способны говорить просто, ясно, правдиво.

— Если бы в ваших словах все было верно,— задумчиво отвечал Фабиан,— как это было бы печально.

Фрау Беата взяла новую сигару.

— К сожалению, это сущая правда! — сказала она. — И то, что мы очутились в таком положении, не только печально, но и трагично.

Смущенный и глубоко подавленный, возвращался Фабиан в этот вечер домой по тихому Дворцовому парку. Неужели фрау Беата права?

II

Узнав об аресте Марион и ее приемной матери, Фабиан тотчас же отправился к медицинскому советнику Фале, хотя поддерживать связь с евреями было, конечно, небезопасио. Впрочем, после этого посещения ои больше не интересовался медициискимь советником и был очеиь удивлен, когда Фале однажды явился к иему в ратушу на прием.

Секретарша робко спросила, примет ли ои старика с «еврейской звездой» иа рукаве. С тех пор как Фабиаи занял место Таубенхауза, к нему впервые пришел иа прием еврей.

— Разумеется,— ие задумываясь, отвечал ои. Фабиан любил подчеркивать свое иезависимое поведение в еврейском вопросе. — Как бургомистр я обязаи приинимать любого жителя иашего города, фрейлейн.

Но когда в кабииет вошел медициискнй советник, Фабиаи иевольио отпрянул. В дверях стоял скелет. На прозрачно-бледном лице Фале под седыми кустистыми бровями сверкали большие черные глаза. Белоснежиая борода стала так жидка, что, казалось, можно было сосчитать редкие тоикие волосы; такие бороды Фабиаи видел иа китайских масках. Но не только внешность Фале испугала Фабиаиа, еще больше потрясла его желтая «еврейская звезда», нашитая иа рукав слишком широкого пальто медицинского советника.

Боже мой, ученый с мировым именем, член миогих иностранных академий иосит этот уиизительный знак! Фабиан попытался скрыть чувство стыда под маской необычайной предупредительности, с которой ои встретил Фале, и усадил его в кресло.

— Не могу видеть на вас эту звезду, господии медицинский советник! — невольио вырвалось у него, когда он здоровался с Фале.— Я тотчас же позвоню гаулейтеру и добьюсь, чтобы вам разрешили ее снять.

Но медицинский советник Фале очень вежливо отклонил предложеиие Фабиана.

— В настоящее время я вынуждеи буду отказаться от всяких льгот,— сказал он с полным спокойствием, и редкие волосы в его бороде зашевелились. — Эта

звезда, которой для издевки придали форму ордена, дана нам национал-социалистской партией. Откровенно говоря, я нисколько не стыжусь, что ношу этот знак, по крайней мере каждому видно, что я не принадлежу к нации, устраивающей погромы. — Он говорил прямо, без обиняков, и Фабиан был поражен уверенным тоном и стойкостью старика.

— Вы знаете мою точку зрения на эти вопросы, господин медицинский советник,— сказал он, стараясь отмежеваться от своих сотоварищей.

Фале кивнул головой и иронически улыбнулся. Тонкие посиневшие губы его раздвинулись, обнажая мелкие зубы.

— Да, я знаю,— сказал он. — Эту точку зрения разделяют многие, насколько мне известно, и тем удивительнее, что никто из вас даже пальцем не пошевельнул, если не считать вашего брата Вольфганга! Вы не станете этого отрицать! Простите мне мою откровенность, но это единственное, что осталось нам, евреям.

Фабиан покраснел от горьких упреков Фале и, чтобы перевести разговор на другую тему, спросил старика, получил ли он какие-нибудь вести от Марион.

Бледное лицо Фале преобразилось, темные глаза запылали, на крыльях серо-белого носа появились ярко-красные полосы.

— От Марион? — спросил он. — Да, я получил записочку, которую ей удалось отправить с польской границы. Она отправлена из Бреславля и написана наспех, в большом волнении. И все же эта весть меня осчастливила. Хочу надеяться, что я снова увижу мою дочь здоровой. Марион — единственная отрада моего старого сердца!

Медицинский советник пришел к Фабиану, как он объяснил, по весьма спешному и важному делу: он предлагает ему купить его имение в Амзельвизе.

— Вы хотите продать Амзель? — спросил пораженный Фабиан и засмеялся. — Но вы ведь знаете, что я не миллионер,— прибавил он.

Фале оставался серьезным.

— Меня к этому принуждают, дорогой друг,— очень спокойно сказал он.

Фабиан снова поднялся его хладнокровию.

И нельзя было не дивиться старику, который в свои семьдесят лет с таким спокойствием и чувством собственного достоинства переносил преследования, угрозы, издевательства, конфискацию капитала и имущества. Конечно, нервы его сдали, но на первый взгляд никто бы этого не заметил. С ним случались приступы истерического плача, вызываемые не удручающими обстоятельствами и тяжкими жизненными ударами, а пустяками, которые раньше едва ли могли задеть его.

Если он узнавал, что солдат, приехавший в отпуск, не находил больше своего дома, он начинал плакать и не сразу успокаивался, даже когда выяснялось, что его жена и ребенок оказались у соседей в полном здравии. Прочитав, что тысячи гессенцев были некогда проданы своим правителем в солдаты, он расстроился до слез, хотя факт этот был ему известен уже много лет; он плакал даже от того, что какая-то собака потеряла хозяина. Такая чувствительность была следствием болезни нервов. Фале знал это очень хорошо, но, несмотря на все старания, его здоровье не восстанавливалось.

В вечер, когда увезли Марион и мамушку и он нашел дом пустым, с ним случился обморок. Хорошо еще, что сыскалась смелая женщина, жена огородника, которая стала ухаживать за Фале и вести его хозяйство.

Полная ясность мысли быстро вернулась к нему; он знал, что жизнь его идет к концу, и подчинился судьбе. Он жил только одной надеждой — снова свидеться с Марион, все остальное не имело для него значения и оставляло его равнодушным.

Вполне хладнокровно, лишь изредка сопровождая свои слова тихим, презрительным смехом, Фале рассказал Фабиану о преследовании со стороны начальника местного отделения гестапо, некоего Шиллинга, который угрозами уже неоднократно вымогал у него то десять, то двадцать тысяч марок. В итоге он передал ему уже около восьмидесяти тысяч.

— А две недели назад этот господин Шиллинг снова пришел ко мне,— продолжал Фале. — «Я так почитаю вас, господин медицинский советник,— сказал он,— что даже не в состоянии этого выразить. Если вы

не пожалеете тридцать тысяч марок, то я поставлю вас в известность, когда вам необходимо будет скрыться». Но поскольку у меня уже ничего не осталось, я смог дать ему только двое ценных часов.— Медицинский советник улыбнулся и продолжал: — А вчера господин Шиллинг явился опять и сказал: «Пора, собирайте ваши вещи, больше трех дней вам здесь нельзя оставаться, я уже не могу откладывать ваш арест. Я дам вам адрес в Берлине, это секретный отдел С. А., там вы получите паспорт от организации «Тодт» [1] и дальнейшие указания. Паспорт обойдется вам в три тысячи марок, продовольственные карточки стоят ежемесячно триста марок. Ваш счет закрыт, денег у вас больше нет, но для того, чтобы вы не нуждались, я хочу купить у вас Амзель, хотя и не знаю, на что мне эта обуза. Я предлагаю вам за него сто пятьдесят тысяч наличными. Но, конечно, я бы предпочел, чтобы вы нашли другого покупателя. У вас, наверно, есть друзья в городе. И учтите, что решать надо быстро, через три дня для вас все будет кончено».

Фабиан поднялся возмущенный, красный от гнева.

— Скажите, все это правда? — спросил он, подходя к Фале.

Фале рассмеялся, в первый раз за все время. Меж синих губ мелькнули два ряда мелких зубов.

— Конечно, это правда,— сказал он презрительно. — Может быть, вы теперь поверите, что в нашей третьей империи даже обман строго организован.

— Подождите минутку,— попросил Фабиан и стал в раздумье ходить по своему кабинету.

«Единственно правильным было бы,— думал он,— поехать к гаулейтеру и раскрыть ему все махинации Шиллинга. Такие элементы, как Шиллинг, подрывают репутацию национал-социалистской партии, таких надо расстреливать. Но... — Тут он остановился. — Все это не так просто. Шиллинг, конечно, приказал следить за Фале, он знает, что медицинский советник у меня. Мой телефон, очевидно, тоже под наблюдением. Он прикажет арестовать нас обоих, меня и Фале, как только мы покинем ратушу. Тем самым я окажу плохую

[1] Фашистская военно-строительная организация.

услугу Фале, а ведь сейчас самое главное выручить его. Терпение, выход найдется. Сто пятьдесят тысяч марок за Амзель — цена смехотворная, одна мебель и ковры стоят много дороже. Терпение, еще немного терпения!»

Фале не сводил глаз с шагавшего взад и вперед Фабиана.

— Мне, конечно, очень бы хотелось,— заговорил он тихо и спокойно, стараясь не нарушать ход мыслей Фабиана,— чтобы Амзель попал в хорошие руки и чтобы кто-нибудь поручился за мою библиотеку. Сто пятьдесят тысяч, в конце концов, очень скромная цена за Амзель, а Марион найдет меня всюду, где бы я ни был.

Фабиан покачал головой. «Амзель, купленный за полмиллиона,— это тоже почти подарок»,— думал он. Поручительство за библиотеку он, конечно, легко может взять на себя, а набрать сто пятьдесят тысяч марок для него и подавно не представит труда.

Тут же он нашел выход, как помочь Фале, не совершив бесчестного поступка, то есть не использовав его тяжелого положения.

— Уважаемый господин медицинский советник,— сказал Фабиан, улыбаясь,— будьте совершенно спокойны, ваши друзья не оставят вас в беде. Я куплю Амзель и сегодня же вечером составлю купчую вместе с советником юстиции Швабáхом. Завтра в одиннадцать утра вы можете получить деньги и во второй половине дня выехать из города. Я ставлю только одно условие: в любой момент вы можете выкупить Амзель за ту же цену.

Через несколько минут они вышли из кабинета. Фабиан проводил Фале через приемную до прихожей. Секретарша, стоявшая в приемной, раскрыла рот от удивления, увидя, что Фабиан провожает человека с «еврейской звездой».

III

Вольфганг только что погасил свет в спальне, как до его слуха донесся легкий, трижды повторенный стук в окно. Он сел на кровати и прислушался. Снова стук,

вернее царапанье, тихое, словно кто-то водит ногтем по стеклу. Вольфганг соскочил с кровати и подошел к окну.

— Кто там? — громко спросил он.

— Это я, Глейхен,— прошептал голос снаружи. — Откройте окно, профессор.

— Как? — удивленно воскликнул Вольфганг и засмеялся. — Идите же к дверям, Глейхен.

— Слишком светло от луны, откройте окно и не зажигайте света. У меня на то есть свои причины,— ответил голос Глейхена.

Вольфганг открыл окно, и на подоконнике тотчас же очутился пыльный ранец, затем солдат в обтрепанной фуражке на голове с трудом влез через окно в комнату.

— Слава богу, что вы дома, профессор,— с трудом переводя дыхание, сказал Глейхен. Он прислушался, не донесутся ли какие-нибудь звуки из сада, и задвинул занавеси.— Теперь можете зажечь свет.

Глейхен снял фуражку и вытер со лба пот, его лицо было густо покрыто пылью. Он сильно поседел, волосы его стали серыми, такими же, как глаза, в которых по-прежнему пылал мрачный огонь. Виски у него побелели, лицо было худое и обветренное, запыленный мундир весь в дырах и в грязи.

— К чему эта таинственность, Глейхен? — спросил Вольфганг, оправившись от изумления. — Вы приехали в отпуск?

Глейхен засмеялся и откинул голову.

— В бессрочный отпуск, да будет вам известно, профессор,— спокойно ответил он и в изнеможении опустился на стул. — Я дезертировал.

— Дезертировали?

Глейхен кивнул. Он хотел уже приступить к рассказу, но Вольфганг перебил его.

— Потом, Глейхен! — сказал он. — Сначала надо поесть и промочить горло. У вас губы совсем посерели. Пройдите в мастерскую, ставни закрыты, и никто туда заглянуть не сможет. Я разбужу Ретту, она приготовит вам поесть. Рассказывать будете после.

Вольфганг сразу понял, что произошло. Раз Глейхен

дезертировал, значит, случилось что-то из ряда вон выходящее. Он разбудил Ретту и отдал полусонной старухе какие-то хозяйственные распоряжения.

— Глейхен неожиданно приехал в отпуск,— добавил он, понизив голос. — Временно он останется у нас, но об этом никто не должен знать. Слышите, Ретта? Ни единая душа.

Заспанная, кое-как одетая, с растрепанными седыми волосами, Ретта была до смешного уродлива.

— От меня никто ничего не узнает,— ворчливо сказала она, почесывая голову. — Ничего нет удивительного, что господин Глейхен вернулся. Военщина ему не по нраву.

Глейхен жадно глотал пищу, как человек, не евший много дней, а вино пил точно воду. Вольфганг, закутанный в старый халат, молча курил свою «виргинию». Наконец, Глейхен утолил голод и жажду; он поднялся, проковылял по комнате и упал в кресло.

— Вы хромаете, Глейхен? — спросил Вольфганг.

Глейхен сделал пренебрежительный жест рукой.

— Пустяки,— ответил он,— я упал во время бегства. Несколько дней покоя — и колено заживет.

Он помолчал, пристально глядя перед собой, затем медленно начал свой рассказ, несколько минут назад прерванный Вольфгангом.

— Я больше не мог этого выносить,— начал он. — Конечно, я знал, что война — не игрушка, но то, что происходит на фронте,— это не война, это бойня и разбой.

Части, в которой находился Глейхен, было дано задание очистить от партизан район под Петербургом. Главные операции были возложены на войска СС.

— Профессор,— воскликнул он,— что они сделали с молодежью в своих трудовых лагерях и военных школах! Будь они прокляты! Прокляты! Превратили наших юношей в диких зверей, в осатанелых бестий!

Нет, нет, он больше не мог этого выдержать ни единого дня. Охваченные пламенем деревни, пылающие амбары, женщины и дети в огне, повешенные, расстрелянные, забитые насмерть, пытаемые, голодные, толпы евреев, толпы партизан, расстрелянных и брошенных в

могилы, ими же самими вырытые! Нет, нет, нет, ни одного дня он не мог больше оставаться там. А теперь даже говорить об этом он не хочет. Ни говорить, ни вспоминать.

— Профессор,— вскричал он,— лучше жить в норе, под землей, как живут звери, чем видеть эти подлости! Пусть лучше меня повесят, отрубят мне голову или разорвут на куски!

Обессиленный Глейхен замолк.

— Мерзавцы! — вырвалось у Вольфганга.

Оба долго молчали. Глейхен сидел неподвижно и смотрел в пространство. Перед его взором проносились мрачные видения.

Наконец, Вольфганг поднялся, чтобы взять новую сигару.

— Что вы сейчас собираетесь предпринять, Глейхен? — спросил он. — Какие у вас планы?

— Какие планы? — Глейхен медленно выпрямился. — Прежде всего я хочу отправиться в Амзельвиз, обнять жену и сына,— ответил он. — Затем разыскать своих единомышленников в городе, и тогда...

— Что тогда?

— Тогда,— начал Глейхен, постепенно обретая бодрость и уверенность,— тогда я поеду в Берлин, где работает крепкая и решительная боевая группа. Они дали мне знать на фронт, что нуждаются во мне. У них есть даже подпольная радиостанция. Война, дорогой друг,— продолжал он спокойно,— война будет длиться не вечно, русские двинули на нас огромные армии, оснащенные куда лучше нашего. У них тьма превосходных танков, с которыми не в состоянии состязаться сам ад. Партизаны сражаются в тылу, это тоже целые армии. Они пускают под откос поезда, выводят из строя паровозы и железнодорожные пути.

— Взгляните-ка на «неизвестного солдата»,— прервал его Вольфганг,— он многому научился у вас! — Вытащив листовку из кучи бумаг, он передал ее Глейхену.

Глейхен жадно и радостно накинулся на нее.

— Завтра я увижу его! — воскликнул он.— Это

старик с двумя таксами: надеюсь, что он хорошо делает свое дело.

«МЕНЕ — ТЕКЕЛ — ФАРЕС»[1] — было озаглавлено анонимное письмо. «Поворотный пункт в войне уже наступил. В России, в Африке, на море и в воздухе — повсюду немецкая армия вынуждена перейти к обороне. А высадка англичан и американцев в Алжире — это гвоздь, вколоченный в гроб немецкой армии.

Тысячи немецких солдат отдают ежедневно свои жизни, в дни боев погибает по пяти тысяч, по двадцати тысяч солдат! Германия истекает кровью, как человек, которому вскрыли вены. Рвите цепи!»

Глейхен удовлетворенно кивнул и засмеялся:

— Неужели у народа и теперь не откроются глаза?

— Ваши планы, Глейхен,— снова начал Вольфганг,— кажутся мне вполне разумными, но пока что я вас не отпущу, так и знайте! Вы истощены. Чтобы собраться с силами, вам надо отдохнуть несколько недель. Не забудьте, что в Берлине вам понадобятся крепкие нервы, да и колено необходимо залечить. Ведь вы недалеко уйдете, если будете вот этак ковылять.

Глейхен сам это понимал. Он кивнул.

— Да, прежде всего надо подлечить колено! — воскликнул он.— Вы, конечно, правы. А что в Берлине мне понадобятся силы, тоже спорить не приходится.

Тем не менее Глейхен счел необходимым обратить внимание Вольфганга на опасность, которой он себя подвергнет, укрывая дезертира.

— Можете быть уверены, профессор,— сказал он,— что в один прекрасный день — раньше или позже — гестапо придет сюда, и тогда нас обоих повесят.

Вольфганг нетерпеливо болтал ногами, как он это делал всегда, когда в его воображении возникала какая-нибудь мрачная картина.

— Это было бы, конечно, крайне неприятно,— ответил он,— кстати, я ничего так не боюсь, как виселицы. Скажу откровенно, я слишком труслив, чтобы самому

[1] Сосчитано, взвешено, разделено (по-арамейски). Согласно легенде, слова, будто бы начертанные огненной рукой на стене во время пира вавилонского царя Валтасара, предрекавшие ему гибель.

активно включиться в борьбу. Я боюсь не столько смерти, сколько тюрьмы и побоев. Но что поделаешь, в такие времена надо, в конце концов, на что-то отважиться. Отдохнув у меня несколько недель, вы дадите мне возможность сделать хоть какой-нибудь пустяк для нашего дела.

В эту ночь Глейхен спал в мастерской как убитый и на следующий день проснулся бодрым и свежим. Прежде всего он закопал в землю, на метр глубины, свой мундир, фуражку и ранец, причем сделал это так искусно, что даже Ретта не смогла бы обнаружить место, где были спрятаны вещи. Затем он стал принимать и другие меры в интересах их общей безопасности. Глейхен был искусным техником, он провел электрический звонок от садовой калитки к дому, и другой — к входным дверям; к кухонному окну он прикрепил небольшое зеркальце, так что теперь уже никто не мог бы застать их врасплох.

Сам он расположился в маленькой столовой; из окна этой комнаты можно было мгновенно выскочить в сад. И целую неделю таинственно мастерил что-то в саду. Оказалось, что он вырыл у самого дома, в кустах сирени, яму, достаточно глубокую и широкую, чтобы в ней мог свободно сидеть человек. По ночам Глейхен, с мешком за плечами, ковылял по полям и рассыпал вырытую землю. Он считал, что необходимо иметь наготове убежище, где он мог бы просидеть несколько часов, если возникнет необходимость. Узкий вход в эту подземную нору был скрыт с помощью старой рамы, заставленной полуразбитыми цветочными горшками.

Предсказание Глейхена, что гестаповцы раньше или позже нагрянут к Вольфгангу, сбылось, но врасплох они никого не застали.

Гестаповцы обыскали весь дом, погреб, чердак и ничего не нашли. Они перерыли все шкафы и кровати, обошли запущенный небольшой сад, обыскали помещение, где стояла обжигальная печь, переворошили лопатами запасы кокса. Глейхен слышал их шаги у самого входа в подземное убежище. Затем они смолкли вдали.

Глейхен просидел еще четыре часа в своей норе и

вышел оттуда, только когда незваных гостей уже и след простыл.

— Виселица еще раз миновала нас, профессор,— сказал он, смеясь, но все еще бледный от волнения.

Ретта слегла, так она была напугана происшедшим.

Глейхен пробыл у Вольфганга целых два месяца. Об этом никто не подозревал, даже Криста, которая два раза в неделю проводила в Якобсбюле послеобеденные часы. Глейхен окреп, разбитое колено зажило, и теперь уже никакие силы в мире не могли удержать его здесь.

Несколько вечеров он провел у своих единомышленников в городе и, наконец, приняв все меры предосторожности, рискнул повидаться в Амзельвизе с семьей.

Так как он не мог воспользоваться трамваем и автобусом, ему пришлось целых три часа потратить на дорогу, чтобы какой-нибудь час пробыть с женой и сыном.

К его большой радости, он нашел жену в хорошем состоянии. Как всегда, она была спокойна, сдержанна и заплакала, только когда он уходил.

— Что это за страна,— воскликнула фрау Глейхен,— где человек вынужден скрываться, как преступник, только потому, что не хочет делать мерзостей!

— Ты знаешь, что мы боремся за свободу и лучшее будущее! — ободрял он ее. Сыну он разрешил проводить его ночью до Якобсбюля.

На следующий день крестьянин довез Глейхена на возу с сеном до ближайшего большого города, где Глейхен скрылся на время. Путь его лежал в Берлин.

IV

О гаулейтере Румпфе совсем перестали говорить. По-видимому, слухи о том, что он впал в немилость, оказались достоверными; о нем постепенно забыли. Прекратились телефонные звонки из Мюнхена, курьеры больше не приезжали в город, на аэродроме не приземлялись специальные самолеты. Румпф был человек конченый.

После того как «прекрасная еврейка» перестала бывать в «замке», туда стала приезжать, на собственном

автомобиле, актриса городского театра, но вскоре и эти посещения прекратились. Затем в одной из маленьких вилл, прилегавших к «замку», несколько недель гостила остроумная майорша Зильбершмидт. В «замке» шли приемы и пиршества, как всегда, когда гаулейтер скучал. Полночи он играл на бильярде с Фабианом, опорожняя за игрой две, а то и три бутылки красного вина.

Осенью он стал особенно неспокоен и говорил ротмистру Мену, что собирается переехать в Турцию, но в начале зимы внезапно отбыл в Киев. Там он охотился и предавался бесконечным попойкам и только ранней весной вернулся обратно. У него был прекрасный, здоровый вид и торжествующее выражение лица; ротмистр Мен, встретив его, решил, что гаулейтер привез хорошие вести с русского театра военных действий. В последние месяцы с востока поступали крайне неутешительные сообщения.

— Я был прав,— сказал он, как только вышел из автомобиля,— в России дело дрянь. Лучше не спрашивайте, во что обошлись нам Севастополь и Крым. У меня не хватит духа назвать вам цифры. А теперь наши измотанные армии уже без всякого энтузиазма наступают на Дон. Ну что ж, я много лет подряд предрекал ему такой исход. Но этот баловень судьбы не терпит советов, он знает все лучше всех!

Ротмистр Мен склонил голову в знак согласия и улыбнулся довольно бледной улыбкой.

— Да,— сказал он,— вы всегда были против русского похода.

Три дня Румпф чувствовал себя в городе неплохо. Он рассказывал об охоте, встречался со знакомыми, устраивал официальные приемы в «Звезде», но потом снова заскучал.

И вдруг случилось чудо. Ночью позвонили из главной ставки и вызвали его для доклада. Через два часа он уже сидел в самолете.

Спустя четыре дня он вернулся, осиянный новой милостью. Он тотчас же принялся за работу, запершись в своем кабинете в «замке».

— Не пускайте ко мне никого три дня! — приказал он.— Ротмистр Мен будет меня замещать.

Гаулейтер работал несколько дней без перерыва: когда ему хотелось, он умел проявлять железную выдержку. За работой он ежедневно выпивал три бутылки красного вина и выкуривал десятки крепких сигар. Фогельсбергер день и ночь стучал на машинке: материалы были такие секретные, что даже засекреченная секретарша не допускалась к ним. Каждую ночь Румпф вел долгие телефонные разговоры с главной ставкой. Наконец, он закончил работу и вызвал к себе ротмистра Мена.

— Послушайте, Мен,— сказал он,— бумаги эти столь секретны, что никто не должен их видеть. Я поручаю лично вам передать этот доклад штатгальтеру в Вене. Отправляйтесь в путь немедля! — Румпф выглядел очень усталым. Он не спал тридцать шесть часов подряд.

Ротмистр Мен звякнул шпорами:

— Слушаюсь!

— Подождите, Мен,— окликнул его Румпф,— мне пришла в голову одна мысль. В Вене вы легко разыщете «мадам Австрию». Помните ее? Правда, мы в последний раз обошлись с ней не слишком деликатно, но вряд ли она в обиде на нас; эта особа не из чувствительных. Хорошо, если бы вы захватили с собой прекрасную Шарлотту! Скажите, что я приглашаю ее к себе на три месяца. Да, еще может статься, что она займет место хозяйки дома в моем замке на Мраморном море. Турки любят красивых женщин. Расскажите ей об этом.

Ротмистр Мен был очень доволен, что гаулейтер так хорошо настроен. После тридцати шести часов без сна это было тем более удивительно.

— Шарлотта, в конце концов, довольно забавна, хотя в свое время она и действовала мне на нервы,— смеясь, продолжал Румпф.— В сущности, она не глупее других женщин. Ха-ха-ха! Как мы тогда смеялись над «Цветущей жизнью»!

Мен тоже засмеялся.

— Конечно, она не только красива, но и забавна,— согласился он.

В тот же вечер ротмистр Мен уехал в Вену. У него

было отдельное купе в курьерском поезде, и он воспользовался случаем, чтобы хорошенько выспаться.

В Вене все знали прекрасную Шарлотту. Она была теперь известна как содержательница кабаре «Мадам Австрия». Ротмистр Мен без труда узнал от швейцара гостиницы множество интересных подробностей о Шарлотте. Когда она вернулась на самолете из Германии, ее считали очень богатой. У нее было много денег и драгоценностей. Беда в том, что она очень зазналась и сгорала от тщеславного желания сделаться солисткой балета в Оперном театре, но у нее не хватило таланта. Глубоко уязвленная, она ушла из Оперного театра и попала в руки каких-то театральных аферистов и сомнительной репутации актеров, которые убедили ее, что она сама является достаточно притягательной силой и в состоянии заполнить своим искусством целый вечер; в сущности, ей наплевать на всех режиссеров и директоров.

На ее деньги и ее кредит они основали кабаре «Мадам Австрия», где главным аттракционом была прекрасная Шарлотта, сразу ставшая первой актрисой, первой танцовщицей и первой певицей, что для одного человека было, пожалуй, многовато. В первый месяц дела в кабаре шли блестяще, затем число посетителей пошло на убыль, им было скучно видеть на подмостках всегда одну и ту же красивую куклу то в красном, то в желтом, то в зеленом платье.

Как актриса и певица она никуда не годилась; тут ее не спасала и красота. Кабаре «Мадам Австрия» погрязло в долгах; к приезду ротмистра Мена оно находилось при последнем издыхании. «Одним словом, Шарлотта обанкротилась»,— сообщил Мену швейцар.

Вечером ротмистр Мен ужинал в гостинице с прекрасной Шарлоттой и восхищался ее красотой. Она была вне себя от радости, что опять встретилась с ним.

— Как поживает ваша прелестная невеста? — спросила она.— Помните, как она в тот вечер была мила под хмельком? Ее, кажется, звали Кларой?

— Да, ее звали Кларой,— сказал, смеясь, Мен.— Малютка сбежала от меня с каким-то киноактером.

— О! — Шарлотта тоже не могла удержаться от

смеха.— Как можно было изменить такому человеку, как вы? Это просто безвкусно! — воскликнула она, все еще смеясь.

Она осведомилась о Фабиане, которого считала слегка надменным и скучным, расспрашивала о всех знакомых, но больше всего интересовалась гаулейтером.

— Это самый великодушный и самый замечательный человек из всех, кого я встречала в жизни! — мечтательно воскликнула она, по-видимому, совершенно забыв о том, как грубо и бесцеремонно Румпф выставил ее за дверь.— Я никогда его не забуду,— добавила Шарлотта.— Я всегда вспоминаю о том, как это было любезно с его стороны — предоставить мне самолет для возвращения в Вену.— Что-что, а злопамятной она не была.

Затем она стала рассказывать о своих победах и сказочных успехах: ее окружали бароны, графы, среди ее почитателей был даже один князь, не говоря уже о майорах, полковниках, генералах. Она так и сыпала громкими именами, пока у Мена голова не пошла кругом. Да, какие это были чудесные времена! Вся сцена в театре была заставлена цветами; приходилось нанимать экипаж, чтобы увезти их домой. Да, райская была жизнь!

В половине десятого начиналось выступление Шарлотты; конечно, она предоставила в распоряжение ротмистра свою ложу.

Это был маленький театрик, едва вмещавший двести человек. По обе стороны зала были устроены небольшие боксы, которые Шарлотта именовала ложами.

Ротмистр Мен прослушал выступление венского комика, шутки которого он плохо понимал, и довольно хорошую певицу. Гвоздем программы было выступление «мадам Австрии» в роли «Невесты солнца». Затянутая в тонкое трико, почти голая, прекрасная Шарлотта размахивала длинными покрывалами, окутывавшими ее словно прозрачным облаком. Эти покрывала в свете софитов казались то белыми, то розовыми, то темно-красными, как то и подобало «Невесте солнца». К концу номера Шарлотта, оставшись одна на сцене,

жонглировала золотыми шарами, которые она, смеясь, бросала в публнку. Ротмистру Мену достались трн такнх шара, и все ее поклоны, казалось, были адресованы только ему.

Сняв грнм, Шарлотта провела Мена в какой-то особый бар, где все знали ее н где кельнеры склонялись перед ней, как перед королевой.

Лншь теперь, когда Мен пригляделся к прекрасной Шарлотте, он счел своевременным передать ей прнглашенне гаулейтера.

Шарлотта вскрикнула от восторга. Конечно, она принимает это приглашенне с восторгом. Она готова ехать хоть завтра! Когда угодно!

— О, этот очаровательный гаулейтер! — восторженно щебетала она.—Я все еще безумно влюблена в него!

— Он будет счастлнв, когда вы выступнте перед ннм в «Невесте солнца», Шарлотта,— сказал ротмнстр Мен.

— В «Невесте солнца»? Охотно! — Она крепко держала в своих руках руку Мена и, казалось, не намеревалась ее выпустнть.— Как вы сказалн? Гаулейтер зовет меня на три месяца? Вот будет чудно! — восторгалась Шарлотта, устремив на Мена свои прекрасные глаза.— Когда же мы едем, друг мой?

— Завтра у меня еще есть дела в Вене. Послезавтра, если это вас устраивает,— отвечал Мен.

— Отлнчно! Пусть будет послезавтра. Я так счастлнва, что оставляю их всех... Это все жулнки! Сулнлн мне золотые горы — и облапошили меня... А самн жнвут как князья! Ну и пусть их, пусть сами выпутываются нз долгов.— Прекрасная Шарлотта весело рассмеялась н поклоннлась кавалеру, который прнслал ей через кельнера букет роз.

— Но ведь в «замке» нет сцены? — вдруг нспуганно спросила она.

— Ну, мы уж как-нибудь смастерим маленькую сцену.

— А освещение для «Невесты солнца»? — продолжала допытываться Шарлотта.

— А что, если мы возьмем осветнтельный аппарат из кабаре? — предложил Мен.

— Идея! — торжествующе воскликнула Шарлотта.— Мы заберем все провода и лампы! Пусть они увидят, каково им без «мадам Австрии»!

Шарлотта и ротмистр Мен уехали на следующий день вечером. Они провели день в Мюнхене, где у Мена еще были дела, и на следующее утро прибыли в Эйнштеттен.

— Прекрасная Шарлотта в Эйнштеттене! — доложил ротмистр Мен гаулейтеру.

— Превосходно! Вы отлично выполнили поручение, Мен.

Ротмистр приказал сколотить небольшую сцену и устроить необходимое освещение. И вечером того же дня Шарлотта танцевала «Невесту солнца».

Когда ротмистр Мен ввел гаулейтера в зал, Шарлотта стояла, залитая светом, покрывала ее играли всеми цветами радуги, а под конец она предстала во всей своей обольстительной красоте и начала жонглировать золотыми мячами.

Гаулейтер был в восхищении, гости рукоплескали.

— Вот и вы, прекрасная Шарлотта! — воскликнул гаулейтер. Он помог ей сойти со сцены и прижал к своей груди.— За эти три месяца мы не соскучимся. Надеюсь, вы все та же «Цветущая жизнь»?

— А вы сомневались в этом? — смеясь, спросила Шарлотта, и ее прекрасные глаза засияли.

V

В то время как десятки больших городов уже были превращены в развалины, этот город отделывался сравнительно благополучно. Конечно, многие дома, так же как общественные здания, больницы, церкви и фабрики, были разрушены прямым попаданием. Несколько переулков и улиц выгорело почти сплошь, но в основном город уцелел.

Полковник фон Тюнен, который вел учет каждой бомбе, считал эти повреждения незначительными. Однажды он явился к Фабиану и попросил дать ему точные сведения, какой, по мнению специалистов, нужен срок для восстановления разрушенных зданий.

Этот вопрос интересовал его больше всего. Специалисты образовали комиссию, члены которой все лето сновали по городу, что-то высчитывали, спорили и в конце концов порешили: повреждения могут быть исправлены за два года. Несколько большего времени потребует только восстановление церквей. Впрочем, нашлась группа архитекторов, сплошь состоявшая из членов нацистской партии, которая утверждала, что все, до последнего желоба, может быть восстановлено в течение одного года.

Полковник фон Тюнен разъезжал в своем элегантном автомобиле по городу с таким довольным и торжествующим видом, словно он собственными руками задержал бомбы.

«Через какой-нибудь год город снова примет такой вид, будто войны не было»,— писал он в докладе, предназначенном для Берлина.

Этот доклад был бы менее оптимистичен, если бы он писал его несколькими неделями позже.

В летнее время самолеты противника редко появлялись над городом, но осенью налеты небольших эскадрилий участились. Сначала обыватели утверждали, что летчики предпочитают лунные ночи из-за лучшей видимости, затем стали говорить, что они любят темноту, так как в темноте их самолеты невидимы, и, наконец, пришли к убеждению, что летчики появляются, когда им вздумается, и при лунном свете и в полном мраке.

В первую неделю октября было два ночных налета подряд, не причинивших особого ущерба; на третью ночь над городом появилась такая большая эскадрилья, что у фрау Беаты от грохота машин замерло сердце. Небо в ту ночь было обложено низкими, дождевыми тучами. Фрау Беата и Криста сидели и читали, когда их вспугнула сирена. Это было после одиннадцати.

— Опять! Уж третью ночь подряд, мама! — сказала Криста и отложила книгу.— У меня нет никакой охоты спускаться в подвал. Наверно, они опять только посмеются над нами, как вчера!

Мать и дочь теперь часто оставались дома во время налетов. Правила противовоздушной обороны соблюдались уже не так строго. Вначале полковник фон Тюнен категорически настаивал на том, чтобы все уходили в бомбоубежище. Но после нескольких случаев, когда вода, хлынув из лопнувших труб, затопляла подвалы или огонь уничтожал квартиры, покуда их обитатели отсиживались в убежищах, он предоставил каждому самостоятельно решать вопрос, где рисковать жизнью, дома или в бомбоубежище.

Началась пальба зенитных орудий. Фрау Беата и Криста едва успели надеть пальто, как над ними уже загрохотали самолеты. Казалось, они заполнили все небо от края до края. На террасе выл сен-бернар Неро.

Бледные, призрачные лучи прожекторов не скользили, как обычно, по темному небу. Сегодня они, как растрепанные кисти для бритья, мазали низко свисавшие дождевые тучи, тщетно силясь прорваться сквозь их взлохмаченную толщу. Очертания погруженного в темноту, притихшего города были почти стерты.

Внезапно над вымершим городом появились четыре яркие лампы; минут десять они неподвижно висели в воздухе и затем начали медленно, едва заметно спускаться вниз. И тут же на город посыпались бомбы. Они пронзительно выли, а разрывы их сотрясали террасу так, что звенели стекла.

— Ну, и налет же! — воскликнула фрау Беата, огромная тень которой обрисовалась на краю террасы. Возле нее шевелились какие-то беспокойные светлые пятна: то был Неро, которого фрау Беата держала за ошейник. Пес лаял и визжал от страха.

— Да, сегодня нам туго придется, мама,— сказала Криста. Она не решалась выйти на террасу и так дрожала, что у нее зуб на зуб не попадал. Вокруг царила жуткая тишина.

Ночной мрак вдруг стало пронизывать какое-то красноватое мерцание. Уж не обман ли это зрения? Нет, красноватое пятно не исчезало; наоборот, оно становилось пурпурно-алым. Это не обман зрения! Пур-

пурно-алое пятно по-прежнему выделялось в темноте, оно медленно ширилось, делаясь все ярче и ярче. Как красный злой глаз, выглядывало оно из ночной темноты. Вдруг внутри его вспыхнул яркий огонь.

— Там, внизу, горит,— сказала стоявшая на лестнице служанка.

Вот еще грознее запылал красный глаз, но вдруг он стал расплываться и обратился в пылающую толстую гусеницу, которая медленно ползла сквозь мрак. Пылающая красная гусеница распухала, делалась все шире и шире, вилась зигзагами и неудержимо ползла вперед, не останавливаясь ни на одно мгновение. Там, где прежде сверкал злой красный глаз, теперь взвивался пурпурный дым, уходя ввысь, к дождевым облакам, а вот уж и края облаков окрасились зловещим пламенем.

И снова зарокотали самолеты над темным городом, и снова зашумели, засвистели, завизжали бомбы.

Из города доносился беспорядочный гул множества голосов, крики, вопли, вой сирены, пронзительные звонки пожарных машин. Кое-где, точно из кратера вулкана, стали пробиваться темно-красные облака дыма, в одном месте, в другом, в третьем...

— Смотри, смотри, мама,— растерянно шептала Криста.

— Я вижу, дитя мое,— отвечала фрау Беата, с трудом удерживавшая собаку.

В западной части города вдруг метнулись в ночь яркие огни.

— Это в Ткацком квартале! — в один голос крикнули служанки на лестнице.

А гусеница из густого красного дыма неудержимо продвигалась вперед, прожорливая и страшная; она съеживалась и опять разворачивалась, охватила уже весь Ткацкий квартал и вдруг повернула, словно собираясь ползти обратно. То тут, то там мелькала лента реки, в которой отражалось огненно-красное, блестящее зарево.

Какой ужас! Бедные люди!

Очаги пожаров распространялись все дальше и

дальше, кое-где сливаясь в одно общее пожарище. В иных местах уже можно было различить церковные башни, трубы, остроконечные фронтоны. Вдруг раздался глухой взрыв. Дом задрожал.

Что это? Служанки испуганно вскрикнули. Неподалеку от центра города в темном воздухе блеснуло облако светящегося песка. На крышах домов вспыхивали и исчезали огоньки.

— Горят шелльхаммеровские заводы! — крикнула фрау Беата.— Я ясно вижу обе церковные башни, между которыми они расположены.

— Я сейчас принесу бинокль, мама!

— Не надо никакого бинокля.— Фрау Беата вместе с Неро подошла ближе к дому и стала кричать в темноту: — Вот вам и ответ на ваши танки! Видите? Вы умели только заноситься, проклятые хвастуны! Вам всего было мало! Одержимые! Если бы отец дожил до этого! Хоть бы бомба убила вас всех вместе с вашими чадами и домочадцами! — Она громко всхлипнула и пошла к затемненному дому.

— Не ходи, мама, умоляю тебя! — закричала Криста. Она была ошеломлена, так как никогда не видела мать плачущей.

Фрау Беату уже невозможно было успокоить.

— Мне все равно,— кричала она,— но, прежде чем они снимут мне голову, пусть эти сумасшедшие выслушают правду.

Из облака светящегося, пылающего песка над центром темного города вырвалось яркое пламя. Послышались глухие взрывы, быстро следовавшие один за другим.

За высокими липами Дворцового парка вдруг посветлело. Можно было отчетливо различить стволы и голые вершины деревьев. За липами вставала стена огня, она ослепляла и, казалось, придвигалась все ближе и ближе.

— Крыша собора! Горит собор! — закричали девушки и побежали в дом.

Над городом зарокотали моторы новых эскадрилий; бомбы то выли, то визжали.

VI

На следующий день город был грудой дымящихся развалин. До самых облаков поднимался слой смрадной пыли и золы, сквозь который с трудом пробивался даже солнечный луч. За какой-нибудь час большая часть города была уничтожена, целые кварталы разрушены или сожжены, дома превращены в мусор. В одном только испепеленном дотла Ткацком квартале, по слухам, погибло десять тысяч человек.

Гордость города — собор, который строили и перестраивали на протяжении трех столетий,— превратился в руины. Вокзал был уничтожен, так же как ратуша, дворец правосудия, десятки церквей и школ, прекрасный епископский дворец со знаменитыми фресками,— все сожрал огонь. Около ста военных заводов, среди них и заводы Шелльхаммеров, выпускавшие знаменитый танк «Леопард», были стерты с лица земли. На этих заводах в последнее время работало двадцать тысяч человек.

О Ткацком квартале рассказывали страшные вещи. Окруженные кольцом огня, люди бежали, как бегут от степного пожара дикие звери; тысячами метались они с малыми детьми и грудными младенцами по улицам и переулкам, вдыхая знойный, лишенный кислорода воздух, падали на землю и умирали. Тысячи других в горящих одеждах бросались в реку и погибали ужасной смертью. Спаслись лишь очень немногие, и то благодаря счастливой случайности.

Пятьдесят тысяч человек в течение часа остались без крова. Даже на следующее утро еще не было возможности пройти по улице, так накалены были мостовые и дома. Нельзя было дышать этим знойным, пропитанным гарью воздухом, который стоял между домами коричневым облаком пыли и пепла. Еще много дней пожарные вели борьбу со старыми и вновь вспыхивавшими очагами пожаров.

Фабиан работал дни и ночи в одной из уцелевших комнат своего полуразрушенного Бюро реконструкции. Надо было разместить бездомных и сделать еще множество других неотложных дел. Полковник фон Тюнен

лежал с тяжелыми ожогами в одной из переполненных больниц, а баронесса фон Тюнен неутомимо, почти без пищи и сна, выполняла свои тяжелые обязанности. То здесь, то там мелькала нарядная форма с красным крестом. Сестры боялись ее суровости и непреклонности. Баронесса не раздевалась трое суток.

Она была одной из первых, нашедших в себе мужество проникнуть в разрушенный, испепеленный Ткацкий квартал, куда не решались заглянуть даже самые отважные из мужчин,— такой ужас он внушал.

Через несколько недель она рассказывала об этом Клотильде, которая заболела после той ночи и была вынуждена три дня оставаться в постели.

— Ну и нервы нужны были, дорогая,— говорила баронесса,— нервы из стали! Подумать только о детях, которые там погибли!

На перекрестках улиц и поблизости от них мертвецы лежали в одиночку, но чем дальше, тем их становилось больше, это уже были целые горы трупов. Они лежали в том положении, в каком их настигла смерть: лицом вниз, с вытянутыми руками, один на другом, многие были так изуродованы, что их нельзя было опознать. В переулках находили сотни сваленных в кучи людей, задохшихся, полуобуглившихся, сгоревших, настолько иссушенных жаром, что взрослые казались детьми. Женщины часто подбирали юбки, чтобы было легче бежать. И так, с подобранными юбками, они и остались здесь, прижав к сердцу детей с искаженными открытыми ротиками, грудных младенцев, сгоревших вместе с одеялами, в которые они были завернуты. Женщины лежали, вытянув толстые ноги в дырявых чулках и полуистлевших башмаках. Кое-где они сидели обугленные на ступеньках лестниц, крепко сжимая в объятиях мертвых малышей.

В женскую тюрьму, ту, где сидела в свое время фрау Беата, попала бомба и превратила ее в кучу щебня. Четыреста заключенных, числившихся на тот день в тюрьме, страдали недолго. Погиб также вылощенный и накрахмаленный асессор Мюллер II. Об этом фрау Беата узнала из газет. И, по правде говоря, очень обрадовалась. Вот кому поделом! «Наконец-то кара на-

стигла мерзавца! — воскликнула она.— Всем бы шпионам и палачам, всем бы бесстыдным мерзавцам такой конец!»

Горожане упрекали Румпфа в том, что он при первом же сигнале воздушной тревоги со страху сбежал из епископского дворца в Эйнштеттен, в свои подземные хоромы, как делал это всякий раз при воздушных налетах. Однако нелепо было обвинять его в трусости. Гаулейтеру было незнакомо чувство страха; напротив, он был храбр до безумия. Известно, что во время шествия к Фельдхеррнхалле, под пулеметным огнем, он бросился на землю лишь тогда, когда увидел, что оба его соседа убиты.

Нет, не из страха за свою жизнь он при воздушных налетах неизменно возвращался в Эйнштеттен, а потому, что не хотел допустить и мысли, что англичане могут нарушить течение его частной жизни. Он настолько же презирал англичан, эту «деградирующую нацию», насколько преклонялся перед американцами.

В тот злополучный вечер гаулейтер пировал в «замке» со своими друзьями и из епископского дворца уехал около девяти часов. В гостях у него были штурмфюреры, оберштурмфюреры, штандартенфюреры, крейслейтеры и коменданты лагерей. Среди них были испытанные кутилы, чемпионы и мировые мастера пьянства, которым уступал даже сам Румпф. Полбутылки коньяку они выпивали залпом, даже глазом не моргнув. Прекрасная Шарлотта, которая маленькими глотками пригубливала вино из своего бокала, побледнела от усталости; она восхищалась Румпфом, еще сохранившим ясную голову, хотя знаменитые чемпионы пьянства уже несли какую-то околесицу, икая и запинаясь.

Весь вечер они безобразничали, засовывали под мундиры подушки, изображая из себя горбунов и толстяков, и хохотали до упаду.

Когда в городе завыли сирены, гости гаулейтера разразились громкими торжествующими криками; они не обращали внимания на налет, и только когда гаулейтеру доложили, что город горит со всех сторон, отправились вместе с ним на одну из башен «замка», откуда с ужасающей ясностью виднелось пламя пожара

под пурпурными облаками. Гаулейтер по телефону отчитал майора, командовавшего наземной противовоздушной обороной, за то, что тому не удалось сбить этих воздушных пиратов, убивавших женщин и детей, и посоветовал ему лучше подыскать себе место в тире.

Спустя несколько минут — налет еще не кончился — гаулейтер уже мчался в сопровождении шести автомобилей в город; на охваченной огнем Вильгельмштрассе им преградил дорогу рухнувший дом. Черные от копоти и дыма пожарные закричали «хейль», увидев его в этом аду; но присутствие в его автомобиле «сказочной красавицы» крайне удивило их.

Утром Румпф убедился, что «английские поджигатели и убийцы» не постеснялись уничтожить и его кабинет. Впрочем, гибель бессмертных фресок не произвела на него особого впечатления, он оплакивал лишь пропажу двух тысяч гаванских сигар, запертых в старинном шкафу.

Гаулейтер приказал вырыть братскую могилу для «доблестно павших» и установить над ней шестиметровый крест со знаком свастики.

Изувеченные жертвы ужасного налета — от них остались только зола и кости, отдельные конечности или скрюченные, наполовину обгорелые тела — были сложены в общую могилу и торжественно похоронены. Гаулейтер первым поднялся на ораторскую трибуну.

— Нам нужна стойкость и стойкость! — кричал он.— Поклянемся, что мы будем драться до последней капли крови. Пусть мир увидит, с каким геройством восьмидесятимиллионный народ борется за права, в которых ему до сих пор отказывали. Победа уже близка, вот она, перед нашими глазами, еще несколько месяцев — и она будет в наших руках!

Речь Фабиана, который в качестве заместителя бургомистра выступил после гаулейтера, была проникнута сдержанным оптимизмом. Все нашли, что это достойная и тактичная речь.

Хотя после смерти Робби прошло уже немало времени, Фабиан все еще не пришел в себя. Разрушение города, в котором он родился, гибель тысяч жителей,

горе людей, потерявших кров, изнурительная работа последних дней — все это тяжелым бременем ложилось на его душу. Он был погружен в глубокую печаль, которую несколько развеяло лишь неожиданное возвращение Гарри из России.

Гарри отличился в боях и в награду получил Железный крест и недельный отпуск.

И вот он вернулся, Клотильдин «генерал». Вернулся на родину героем!

Клотильда была преисполнена материнской гордости. Она водила сына по знакомым и друзьям: пусть все восхищаются им, пусть все видят Железный крест. Конечно, надо было использовать приезд Гарри и для Союза друзей. Гарри, ее сын, ее герой, должен пожинать лавры и как оратор! И он сделал большой доклад «О танковых боях». Бог ты мой! Ведь здесь и понятия не имеют о том, что происходит в России. «Вот мчатся шесть русских танков... но мы не знаем страха и сами наступаем на них».

Одно время Гарри находился в Ростове-на-Дону, теперь его армейская группировка наступала в районе Волги, другая группировка намеревалась захватить Кавказ. Гарри в девятнадцать лет рассуждал как опытный офицер генерального штаба и своей смелой уверенностью вдохнул в Фабиана новое мужество.

— Дело, конечно, будет нелегкое, папа,— сказал он отцу,— но мы справимся, ручаюсь головой.— Мы перейдем Волгу и займем Урал с его рудными богатствами, а через несколько месяцев в наших руках будет и Баку с его нефтью. Клянусь тебе, папа! Мой генерал, а он гениальный стратег, полагает, что мы из Баку прорвемся в Иран, чтобы из Индии проткнуть кинжалом сердце Англии.

Недельный отпуск Гарри пролетел как один день, и он снова уехал на фронт.

Только через несколько недель родители снова получили от него короткую весточку. Полк Гарри внезапно перебросили в район Сталинграда.

«Вот уже в воздухе грохочет машина, через десять минут я улетаю»,— писал он.

VII

— Мы все реже и реже слышим по радио экстренные сообщения, победные фанфары,— сказал Фабиан.— Разве это не странно?

Бодрость и уверенность Гарри на некоторое время придали ему новые силы, вернули горячую веру в победу. Как это было прекрасно! Но вот прошло несколько недель. И что же? Вновь обретенная надежда увяла, его одолевают прежние сомнения, вера в победу подорвана. Что бы там ни говорили, а непредвиденный отпор тормозил победное продвижение армии. Ведь Фабиан-то умел читать карты, как бы победно ни звучали официальные донесения.

В последнее время у него появилась потребность вечерами, после изнурительной работы, гулять по разрушенному городу. Он избирал такие маршруты, при которых ему не приходилось перебираться через груды развалин и горы мусора. Расчищенные улицы едва освещались, прохожих на них почти не было видно, лишь изредка встречалась какая-нибудь телега, тщетно пытавшаяся проехать среди куч щебня. Кругом руины, зияющие глазницы выгоревших окон, черные от копоти здания, призрачные фронтоны. Здесь, в глубокой тишине, он любил предаваться своим мыслям.

Как одинок он был, как страшно одинок! Он чувствовал это ежечасно! Люди, к которым его тянуло, теперь его избегали. Сердце Фабиана сжималось от боли, когда он думал о Кристе, а он часто думал о ней. Да, когда он видел ее в последний раз, она была мила и любезна с ним, но он понимал, каких усилий ей стоило быть милой и любезной. Как бы она ни вела себя, он чувствовал, что между ними выросла стена. слишком ясно это чувствовал. Ему было известно, что она снова сблизилась с Вольфгангом, хотя прежде ей была не по душе его резкость. Брат Вольфганг, которого он все еще любил, раз навсегда захлопнул перед ним двери своего дома. Робби трагически погиб, а Гарри воюет где-то под Сталинградом в своем танке, безрассудно храбрый и, конечно, опьяненный верой в победу, свойственной юности. Одному богу известно,

свидятся ли они. Гарри заявил ему иа прощание, что вернется не иначе как с Рыцарским крестом.

С Клотильдой он окончательно порвал и, оставшись без пристанища, жил теперь в маленькой комиатке в своем Бюро реконструкции.

Через несколько дней после того как Фабиан купил Амзель, Клотильда вступила во владение домом, великодушно предоставив свою обширную городскую квартиру Союзу друзей. Она с большим вкусом — в этом ей нельзя было отказать — расставила в Амзеле великолепную старинную мебель. Большую часть огромной библиотеки медицинского советника она велела снести в подвал. В доме осталось только несколько тысяч томов — те, которые были в особенно нарядных переплетах. Это придавало дому ученый вид, против чего она не возражала. А что это за книги, ей было безразлично; Клотильда уже много лет ничего не читала.

Фабиан не вмешивался в ее распоряжения, он позаботился лишь о том, чтобы редкие книги были аккуратно сложены в подвале; но он еще раз напомнил Клотильде, что по договору Фале может снова приобрести Амзель, как только настаиут другие времена.

И тут опять обнаружилось, какая глубокая, непроходимая пропасть разделяет их.

Клотильда, оглядев его сверху донизу, злобно сверкнула светло-голубыми глазами.

— Ты настоящий идиот! — закричала она вне себя от иегодования.— Я скорее дам себя разорвать на куски, чем выпущу Амзельвиз из рук! Ты как думаешь, еврей вернул бы тебе купленное? Что? Только ты можешь быть таким идиотом! Я забочусь о сыне, который борется за нашу страну, а ты — о каком-то ничтожном еврее!

В этот вечер он навсегда покинул дом.

Фабиан остановился. Он хотел избежать встречи с тремя одноногими инвалидами, которые, смеясь и болтая, шли по улице. Теперь на каждом шагу попадались эти одноногие жертвы злополучной суровой зимы — зимы первого года войны с русскими.

На сегодня хватит. Фабиан устал от скитаний по

улицам, от раздумий. Он отправился поужинать, как всегда по вечерам, в винный погребок при «Звезде». Погребок еще был открыт для посетителей, но остальные помещения гостиницы гаулейтер занял для служебных надобностей.

Отужинав, Фабиан сидел за бутылкой легкого мозеля и курил сигару, погруженный в свои мысли, преследовавшие его, как рой назойливых насекомых. Теперь ему часто случалось быть здесь единственным гостем. В городе стало очень неуютно. Кому была охота идти в ресторан, чтобы на много часов застрять там в случае воздушной тревоги!

Но сегодня ему повезло. Дверь открылась — и кто же вошел? Архитектор Криг! Да, он!

От радости Фабиан вскочил. Вот это приятно! Наконец-то можно перекинуться словом с разумным человеком! Он сразу заметил два новых ордена на груди у Крига.

Криг привез ему привет от Таубенхауза. О, этому в Смоленске жилось великолепно! Настоящий паша, магараджа, великий могол! А какое казино он выстроил в Смоленске! Мечта! Такое здание было бы уместно и в Париже! Деньги? Деньги никогда не играли роли для Таубенхауза.

Криг явился прямо с вокзала; он решил, что Фабиан сидит в «Звезде», и оказался прав! Криг подпрыгнул и захлопал в ладоши.

— Как я живу? Спасибо, хорошо! Очень хорошо! Впереди у меня месячный отпуск. Что-то там не ладится на Кавказе; скажу вам по секрету: высокопоставленные господа, видно, просчитались,— шепнул он на ухо Фабиану.— Мне было поручено,— продолжал он, повысив голос,— построить вместе с одним мюнхенским архитектором гостиницу в Тифлисе.

— В Тифлисе? — удивился Фабиан.

— Да, в Тифлисе,— засмеялся Криг.— Три недели назад наши войска должны были войти в Тифлис, сегодня — в Баку. Мебель и ковры для роскошной гостиницы в Тифлисе уже лежали наготове в Киеве. Ну-с, вот я и получил месячный отпуск. Уж сегодня-то Росмейер попотчует нас каким-нибудь особенным вином.

В смоленском казино меня избаловали. Но сегодня вы мой гость, Фабиан. Ни слова, я купаюсь в деньгах! — добавил он.

Тифлис? С ума они сошли, что ли? Или они всегда были сумасшедшими? «Неизвестный солдат», которого Фабиан прежде ненавидел, писал на днях: «Эти безумцы дойдут до Волги, до подножия Кавказа, но дальше они не ступят ни шагу!» Фабиан мало-помалу стал верить «неизвестному солдату» больше, чем официальным сводкам.

Когда кельнер принес драгоценное старое вино, Криг стал играть роль хозяина, изливая на Фабиана целый поток любезностей.

— Разрешите, уважаемый благодетель! — с воодушевлением сказал он, торжественно поднимая бокал, чтобы чокнуться с Фабианом. Видя, что Фабиан смеется, он продолжал с сияющей физиономией: — Благодетель! Да, таким я считаю вас, уважаемый друг, и на это у меня есть все основания. Вы в свое время рекомендовали меня Таубенхаузу, когда я носился с мечтой застроить новую Рыночную площадь. А ведь я тогда сидел на мели. Из чисто дружеских, бескорыстных побуждений вы привлекли меня к участию во многих проектах! Под вашим влиянием я вступил в национал-социалистскую партию! Я только последовал вашему примеру, высоко ценя ваш ум, проницательность, мудрость. Я говорил себе: если такой человек, как Фабиан, вступает в национал-социалистскую партию, то уж тебе это и подавно пристало. Сам бы я воздержался от этого из-за всяких сомнений и опасений, глупых, детских опасений. И если я сегодня так счастлив, кому же я этим обязан?

VIII

На следующий вечер Фабиан опять остался один. Криг уехал с дочерью и внуком на отдых в деревню. Вокруг снова не было ничего, кроме руин, пожарищ и почерневших призрачных фронтонов. Как часто он в своих одиноких прогулках доходил до самого вокзала! От вокзала остались жалкие развалины; сквозь глазницы окон и провалившиеся своды виден был дым паро-

возов. Все вокруг было разрушено и сожжено, чудом уцелела только новая гостиница «Европа» — она отделалась лишь несколькими разбитыми стеклами. В свое время владелец «Звезды» Росмейер, арендовавший и «Европу», устроил на крыше гостиницы сад, откуда открывался чудесный вид на город.

Фабиан вспомнил об этом, когда посмотрел ввысь, поверх шестиэтажного здания.

«Немного гостей увидишь ты теперь в своем саду, Росмейер,— горько улыбаясь, подумал Фабиан.— Вид открывается широкий, но города-то нет».

Недели, месяцы жил Фабиан такой жизнью. Мысль его была прикована к разрушенному городу. Впрочем, Кригу все эти опустошения показались не такими уж страшными.

— Город сильно пострадал,— сказал он,— но если вы хотите знать, что такое разрушенные города, поезжайте в Россию! Вот где вы можете полюбоваться первоклассной немецкой работой!

От Гарри все эти месяцы не было ни строчки. Из Сталинграда доходили скудные и далеко не отрадные вести. Все настойчивей становились слухи, будто крупная армейская группировка попала в окружение под Сталинградом. Для Фабиана это было новым страшным ударом.

Однажды вечером он встретил в «Звезде» врача, который рассказал ему, что в госпиталь доставили капитана, раненного под Сталинградом.

— Говорят, что наши войска под Сталинградом окружены?

— Да, говорят, но многих офицеров вывезли на самолетах.

На следующий день Фабиан отправился в госпиталь к капитану.

Это был преждевременно поседевший человек с всклокоченной бородой, походивший скорее на дровосека, чем на офицера. Лицо у него было багрово-красным от жара.

— Сталинград? — прохрипел капитан со своей койки. Он потерял голос и с трудом говорил.— Вы про Сталинград? Наши там сожрали всех лошадей и ра-

ды-радехоньки, когда находят обглоданную кость в мусорной яме.

Но отделаться от Фабиана было не так-то легко. У него, сказал он, в Сталинграде сын, лейтенант-танкист.

Но капитан не обратил внимания на его слова.

— Нас обещали вызволить,— бормотал он басом, казалось, выходившим из его всклокоченной бороды.— Сотни раз обещали! Ну, да что там говорить! Сплошная брехня, надувательство! Обман! Клятвопреступление! И слышать не хочу о Сталинграде.

Фабиан попытался было задать еще несколько вопросов, но капитан со стоном повернулся на другой бок.

— Слышать не хочу о Сталинграде! — яростно прохрипел он.— Бред и преступление! С ума сошли! Спятили! Обезумели!

— Еще минуту внимания, господин капитан!

Капитан повернул к Фабиану багрово-красное лицо и приподнялся, опираясь на волосатые руки.

— Все натворили эти подлецы! — хрипло прошипел он.— И вы из той же шайки, сударь! Иначе не ходили бы в бургомистрах!..

Фабиан поспешил ретироваться.

Все чаще стали случаться разные прискорбные происшествия. Советник юстиции Швабах был найден мертвым в постели; он отравился. Люди полагали, что его, как и многих других, вогнала в могилу потеря дома и имущества. Но Фабиан знал, что гестапо давно уже ведет опасное для Швабаха расследование. В небольшом местечке близ Бадена, откуда он был родом, жили две семьи, его однофамильцы: одна — еврейского происхождения, по фамилии Швабахар, а другая — давно вымерший дворянский род фон Швабах. Советник юстиции будто бы вел свою родословную от последнего. Но по сведениям, поступившим в гестапо, он не имел на то никакого права. Так или иначе, но похоронен он был как дворянин фон Швабах, и Фабиан один из немногих сопровождал его к месту вечного успокоения.

Когда он возвращался с кладбища, пошел снег и

с того часа шел не переставая. Он падал и падал с серого неба, и город напоминал усеянное развалинами заснеженное поле, страшное своей пустынностью.

Фабиану было приятно, что гаулейтер часто приглашал его этой зимой поиграть на бильярде, иначе его совсем доконали бы мрачные мысли и толки. Румпф, как всегда, был беззаботен и хорошо настроен. Все знали, что он отправил к Мраморному морю для убранства своей виллы шесть до отказа набитых товарных вагонов с мебелью, картинами, статуями и всевозможными произведениями искусства; он часто говорил о своем доме в Турции. Шарлотта никогда не сталкивалась с Фабианом, несмотря на то, что продолжала жить в «замке»; по-видимому, Румпф прятал ее от него. Может быть, она тоже собиралась переселиться в Турцию? Баронесса фон Тюнен во всяком случае рассказывала, что Шарлотта искала во всех еще уцелевших магазинах «легкие ткани для жаркой страны». Однако Фабиану все это было в высшей степени безразлично, его голова была занята другими мыслями.

Однажды вечером Румпф, опоздавший на два часа, с серьезным видом сообщил ему, что армия под Сталинградом капитулировала; разумеется, после геройской защиты,— она сражалась до последнего патрона. В этот вечер Фабиан плохо играл на бильярде и рано ушел.

— Пора! Теперь пора! — произнес он вслух, уходя из «замка».

IX

Ретта неслышно вошла в мастерскую и подала Вольфгангу помятое и грязное письмо.

— С меня взяли слово, что я передам это письмо вам в собственные руки, господин профессор,— сказала она с таинственным видом.

Вольфганг был поглощен работой, руки у него были измазаны глиной. Он кивнул ей.

— Положите письмо на стол, Ретта. Кто его принес? — спросил он, заподозрив что-то недоброе.

Ретта помедлила с ответом.

— Худой старик с седыми волосами,— ответила она хриплым голосом,— с ним были две маленькие желтые таксы.— Ретта вышла.

Вольфганг хорошо знал худого старика с двумя таксами. «Весточка от Глейхена!» Сердце его на мгновение замерло от радости. Хотя руки у Вольфганга были в глине, он тотчас же распечатал письмо. Это была записка без подписи, содержавшая всего несколько строк.

«Уважаемый друг! — читал он.— Благодаря глупой случайности мы попались в руки гестапо; нас было сорок восемь, один скончался во время пыток, но никто не произнес ни слова. Завтра поутру нас повесят.

Нелегко жить в Германии, нелегко умереть в этой стране. Нас поддерживает вера в то, что мы отдаем жизнь за свободу и возрождение Германии. Прощайте, дорогой друг!»

X

«Пора! Теперь пора!» — как оглушенный, повторял Фабиан, и эта мысль вытеснила все остальное.

С этой минуты он принял твердое и бесповоротное решение.

На следующий день рано утром он отправился в Амзель, уложил в свой потертый офицерский чемодан, который сопровождал его повсюду еще в мировую войну, капитанский мундир, шинель и все, что было нужно для поездки на фронт. Клотильда еще спала, он не стал ее будить.

Затем Фабиан позвонил в свой полк. По счастью, у телефона оказался старый полковник, которого он знал лично. Фабиан прямо заявил, что больше не может оставаться дома, он должен отправиться на фронт тотчас же, возможно скорее. «Время еще не ушло, я могу еще включиться в борьбу, господин полковник!» — кричал он в трубку.

Полковник похвалил его патриотический пыл, обещал сегодня же оформить все документы и возможно скорее переслать их Фабиану. Полк стоит южнее Воронежа. Там будут рады такому опытному командиру

батареи. Теперь, в критический момент, когда предстоят самые тяжелые бои...

Фабиан дрожал от радостного возбуждения. Самые тяжелые бои! К этому-то он и стремился.

Нельзя было больше сомневаться, что русские армии, заставившие немцев капитулировать под Сталинградом,— сила очень значительная. Опьяненные победой на Волге, они уже, конечно, движутся к Дону, и кавказская группировка немцев поспешно отступает, чтобы не оказаться отрезанной. А русская армия идет на Ростов и Харьков, к Днепру, без остановки, никем не задерживаемая.

Он прибудет как раз в нужную минуту и упросит командира послать его на передовую, в самое пекло, где идут страшные бои. Честь офицера и военная присяга предписывают ему бороться до последней капли крови. Он еще успеет спасти сотни тысяч несчастных от сдачи в плен.

«Капитан Кизеветер! Помни о капитане Кизеветере!» — говорил он себе. Капитан Кизеветер из третьей батареи целый день не выходил у него из головы. Когда-то во Франции враг разнес в щепы три орудия из батареи этого Кизеветера. И когда французы штурмовали последние остатки батареи, он со шпагой в руке встал перед ними. И пал! Разве это не завидная смерть?

Вечером Фабиан был в прекрасном настроении, он пил вино в «Звезде» и утешал Росмейера, который все еще не получил денег с Румпфа. «Скажите гаулейтеру, чтобы он последовал за мной в Воронеж, там для него найдется дело!»

Он был настроен радостно, почти торжественно, ибо принял решение, подобавшее, как ему казалось, мужчине.

На утро следующего дня он появился уже в капитанской форме, со всеми орденами на груди. Он вызвал второго бургомистра, степенного, честного человека, и передал ему городские дела. Как отнесется к этому Таубенхауз, ему было безразлично, он повиновался только своему внутреннему голосу.

— Да что вы это! Зачем вам на фронт? — спросил

крайне удивленный второй бургомистр, уже пожилой человек.— Ведь вы незаменимы как обербургомистр.

— Незаменим? — переспросил Фабиан, презрительно рассмеявшись.— Разве вы не знаете, что нет незаменимых, когда родина в опасности? Фронт зовет меня! Вы понимаете, что это значит? Фронт зовет меня!— повторил он.

С этой минуты Фабиан почувствовал себя свободным человеком. У него осталась только одна задача— соблюсти приличия и сообщить гаулейтеру о своей отставке. А как офицер он хотел оставаться корректным до последней минуты.

Когда он вошел в служебный кабинет гаулейтера, помещавшийся теперь в небольшом зале ресторана «Звезда», он, к своему удивлению, нашел там только ротмистра Мена, которому и сообщил о цели своего прихода.

Лихой ротмистр Мен как-то странно посмотрел на него.

— Меня удивляет, что вы так внезапно решили отправиться на фронт,— сказал он.— Конечно, служение родине превыше всего, и я без лишних слов даю вам все разрешения, которые вам нужны. Господин гаулейтер в отъезде, как вы, вероятно, знаете.

— В отъезде? — спросил Фабиан.— Я только позавчера играл с ним в бильярд, и он ни словом не обмолвился о предстоящем отъезде.

Ротмистр улыбнулся.

— Надо думать, он хотел избегнуть лишних разговоров,— ответил он.— Его поездка была решена уже довольно давно. Он выхлопотал трехнедельный внеочередной отпуск и сегодня в десять утра отправился в Турцию. Вы ведь знаете, у него теперь новая причуда — поместье на берегу Мраморного моря.

Фабиан кивнул.

— Да, гаулейтер с увлечением рассказывал мне об этом поместье. И вы считаете, что он вернется через три недели?

Ротмистр Мен рассмеялся.

— А как же иначе? Ясно, что вернется. Куда ж он денется?

Фабиан был достаточно тактичен и осторожен, чтобы не высказать вслух своих сомнений; он распростился с Меном и ушел.

«Дождетесь вы возвращения гаулейтера, как бы не так! — с презрительной усмешкой думал он, спускаясь по лестнице «Звезды».— Румпф знает, что мы летим в тартарары, знает это не хуже меня. Только дураки еще могут этого не видеть. Неудержимо, как море, хлынут через Украину и Польшу русские армии, а тогда и войска союзников волной покатятся к границам Германии из Франции, из Италии, с Балкан. Конец, конец, разверзлась преисподняя. Нет, Румпф не вернется!»

Он пошел быстрее, чтобы успеть сделать еще кое-какие покупки. Редкие хлопья снега падали с неба, тусклое солнце пряталось за облака.

XI

Вечером Фабиан отправился в Якобсбюль, попрощаться с Вольфгангом. На полях лежал темный снег, но в свежем воздухе уже чувствовалось дыхание весны.

На улице перед домом Вольфганга стоял автомобиль. Должно быть, у него гости? Тут, снаружи, как будто произошли какие-то изменения. Старый деревянный забор восстановлен, от садовой калитки проведен электрический звонок; на входной двери, которая освещается яркой лампой, второй звонок, с особенно резким звуком.

Но открыла ему все та же скрюченная, похожая на ведьму Ретта, и голос ее, как всегда, звучал хрипло.

— Ах, господин Франк! Да еще в военной форме! — приветливо воскликнула она.— Давненько вы у нас не были! — Она хотела помочь Фабиану снять шинель, но он отказался.

— Мне надо поговорить с братом,— сказал он серьезно.— Передайте ему, Ретта, что я отниму у него не больше двух минут.

Удивленная странным тоном, каким были произнесены эти слова, Ретта подняла глаза, взглянула на похудевшее, серое лицо Фабиана и попросила его пройти в мастерскую.

Фабиан в раздумье остановился под лампой посредине комнаты. Как всегда, в ней пахло глиной и застоявшимся сигарным дымом; это был запах работы, так хорошо знакомый Фабиану и сегодня, когда он вдыхал его в последний раз, показавшийся ему особенно приятным.

Ему сразу бросилась в глаза статуя в рост человека — «Юноша, разрывающий цепи». Она резко выделялась на фоне стены. Букет ландышей стоял на рабочем столе рядом с небольшой группой гогочущих гусей, вылепленных из красного воска. Рядом еще лежали шпатели. На вращающейся табуретке стоял завернутый в тряпки бюст полногрудой женщины. Это было все, что Фабиан охватил взглядом. Да разве еще новый ковер на полу, вместо старого, потертого, за который так легко было зацепиться ногой. Из соседней комнаты доносилось веселое жужжание голосов.

Вот уже и Вольфганг пришел из столовой. Он быстро направился к брату, но внезапно остановился, пораженный его видом. Военная форма совершенно изменила внешность Фабиана; он выглядел выше и намного старше. На его худом, сером лице появилось новое жесткое, решительное выражение, незнакомое Вольфгангу. Это было лицо, преображенное душевной борьбой и тяжелыми потрясениями. Фабиан стоял почти неподвижно и едва шевельнулся, приветствуя брата.

— Ты хотел поговорить со мной, Франк? — начал Вольфганг примирительным тоном.

Фабиан кивнул. Он не сдвинулся с места и, медленно снимая перчатки, оставался все в той же безжизненной позе.

— Я очень тебе благодарен, Вольфганг, мне надо сказать тебе несколько слов,— проговорил он негромким голосом, который ему самому показался чужим.— Я не задержу тебя больше чем на минуту.— Он с напряженным вниманием вглядывался в брата, как бы изучая черты его лица.

Волосы Вольфганга поседели, а у висков стали совсем белыми; он выглядел похудевшим, как и все после долгих лет войны. На нем был темный костюм.

Фабиану бросилось в глаза, что брат одет очень тщательно.

— Может быть, ты присядешь? — спросил Вольфганг и снова взглянул в серое, решительное, лишенное выражения лицо Фабиана.

Фабиан покачал головой.

— Нет, благодарю,— ответил он сдержанно.— Я не собираюсь отнимать у тебя время. В последний раз, когда мы виделись с тобой, ты резко упрекал меня, Вольфганг,— продолжал он, немного оживившись.— Я пришел сюда сказать тебе, что все твои упреки были справедливы.— Он глубоко вздохнул.

— Не забудь, что я тогда был сильно взволнован,— перебил его Вольфганг, со стыдом вспоминая резкий разговор с братом в его рабочем кабинете.

— Пожалуйста, не перебивай меня,— снова начал Фабиан.— Ты говорил тогда, что мы, национал-социалисты, своекорыстны и думаем только о хорошей, удобной жизни. Как все это было верно! Сегодня я хочу тебе откровенно признаться, что я и в самом деле больше всего любил свою удобную, огражденную от всяких забот и неприятностей жизнь. Да, я предпочел ее борьбе за истину, за справедливость. Ты был прав. Я признаю свою вину, Вольфганг.

— Не будем вспоминать старое,— сказал Вольфганг.

— Нет,— сурово прервал его Фабиан.— Еще одну минуту. Ты говорил тогда, что мы не хотим слушать правды, что мы отрицаем ее, увиливаем от нее. Это верно! Мы не хотели прислушаться к правде и замкнулись от нее, хотя давно уже знали, какова эта правда. Ты говорил, что мы недостаточно энергично боролись против произвола наших фюреров, которые поэтому позволяли себе еще больший произвол, действовали еще бессовестнее. Все это верно! И в этом наша вина, тягчайшая наша вина, сказал ты.

Вольфганг хотел что-то возразить, но Фабиан шагнул к нему и громко сказал, в волнении подняв руку:

— И это действительно была наша тяжкая, наша тягчайшая вина, Вольфганг!

Он был очень бледен и тяжело дышал. В заключе-

ние он добавил прежним спокойным, несколько хриплым голосом:

— Вот что я хотел тебе сказать, Вольфганг! Поэтому я и пришел к тебе, прежде чем покинуть город.

Вольфганг был взволнован. С братом произошел тот перелом, которого он давно ждал. Вся душа его всколыхнулась до самых глубин. Вольфганг улыбнулся и подал ему руку.

— Не будем больше говорить о старом, Франк! — весело сказал он, стараясь быть прежним.— Ты хочешь уехать, не так ли? Что означает этот мундир?

— Я отправляюсь на фронт,— ответил Фабиан и вздохнул. Впервые чуть заметная улыбка облегчения скользнула по его измученному суровому лицу.

Вольфганг пытался объяснить себе смысл этой улыбки и некоторое время молчал.

— Ты собираешься на фронт? — спросил он удивленно.— К чему это, скажи ради бога! Теперь, когда Германия после долгих мрачных лет идет наконец навстречу свободе, навстречу лучшему будущему... теперь ты хочешь покинуть нас?

Фабиан опустил глаза и не ответил.

Вольфганг положил руку ему на плечо и покачал головой.

— Обдумай это еще раз, слышишь? Неужели ты веришь, что романтическим жестом можно искупить все зло, которое вы принесли в мир?

Фабиан вздрогнул, бросив на Вольфганга быстрый взгляд.

— Ты называешь это романтическим жестом? — спросил он тихо, медленно выговаривая слова, и застегнул свою шинель.— Через час уходит мой поезд,— добавил он.— Я пришел только для того, чтобы еще раз повидать тебя, Вольфганг.— Он подал Вольфгангу руку и вдруг заторопился.— Прощай,— сказал он, крепко сжимая руку брата и пристально глядя на него.— Вряд ли нам еще придется свидеться в этой жизни.

Вольфганг, расстроенный его странным поведением, смущенно засмеялся.

— Ну, что ты? — воскликнул он, провожая брата

до двери.— Я знаю, не в моих силах сегодня удержать тебя,— сказал он неуверенно.— Но скажи, не хочешь ли ты попрощаться с Кристой?

Фабиан остановился, словно по мановению волшебного жезла.

— Криста? — переспросил он, как во сне.— Разве Криста здесь?

Через мгновение Криста была в мастерской. Вольфганг вышел.

Фабиан медленно приблизился к ней, и его застывшие черты смягчились. Да, это она, Криста. Ее чистое, ясное лицо, ее нежные карие глаза. Он протянул ей руку, и в его лице что-то дрогнуло.

— Я очень благодарен случаю, позволившему мне еще раз повидать вас, Криста,— сказал он едва слышно.— Благодарю вас за все.

Криста смущенно смотрела на него, не находя слов, таким изменившимся показалось ей его серое лицо.

— Возвращайтесь к нам здоровым,— сказала она и улыбнулась.

Фабиан покачал головой. Он подошел к Кристе.

— Будьте счастливы,— сказал он тихо и еще раз пожал ей руку.— Прощайте, Криста. Мы больше не увидимся.

И быстро направился к двери.

XII

Фабиан торопливо подошел к автомобилю. Что-то, словно радость, трепетало в нем. Он помирился с Вольфгангом, он пережил чудесную минуту свидания с Кристой.

Но когда машина стала приближаться к городу, его охватила тревога. Он навсегда расстался с людьми, которых любил настоящей любовью, он никогда больше не встретится с ними. Боль сжала ему сердце. Те оба жили в особом мире, навеки для него закрытом, в мире, куда он мог бы проникнуть только как вор. Горе пригибало его к земле.

Он велел шоферу остановиться и, вконец истерзан-

ный, вышел из автомобиля. Остаться в нем еще хотя бы минуту он был не в состоянии.

Вокруг него возвышались белые, как известь, развалины, громоздились засыпанные снегом обломки. Среди призрачных фронтонов висел блестящий осколок луны. Кругом не было ни души, не слышно было человеческих голосов.

Случай привел его в заснеженное ущелье — на бывшую Капуцинергассе. «Капуцинергассе! Вот! — испуганно подумал он.— Ты же сам приказал снести ее и оставил без крова сотни людей. Зачем? Для какой цели? Что за безумие овладело тобою? Бессмысленное, непостижимое безумие!»

Город-сад Эшлоэ, где должны были найти убежище капуцины! Помнишь ты это! Безумие! Безумие! Безумие!

Разве не говорил ему Вольфганг о потемкинских деревнях? Развалины, одни только развалины оставили они на своем пути.

Фабиан хотел было горько рассмеяться, но его испугала леденящая тишина вокруг. Он торопливо зашагал к своему Бюро реконструкции, где ютился в последнее время.

Слева, там, где сиял осколок луны, лежали под снегом остатки сотен тысяч кирпичей, убившие его младшего сына Робби. Гарри в плену, в Сталинграде, где-то там, в далеком мире, если он вообще жив; а может быть, он побирается, посиневший от холода, и клянчит корку хлеба где-нибудь в трущобе, и собаки кидаются на него, рвут лохмотья на его теле. Как жестоко караешь ты, о господи!

Вдруг Фабиан застыл в ужасе. Люди? Ведь это люди! По улице пробирались двое пьяных, на костылях, одноногие, бывшие солдаты прославленной армии. Они с шумом пытались подняться на кучу щебня, и оба с бранью и проклятиями упали среди обломков. «К черту! К черту! — зарычал один из них и с трудом поднялся.— К черту, говорю я». И он снова, смеясь, повалился на землю.

Гарри? Быть может, в эту минуту и он бродит по кучам щебня, такой же несчастный, жалкий калека.

Обливаясь потом, Фабиан, как завороженный, стоял среди обледенелых развалин.

После бесконечного шатания по городу, смертельно усталый, он, наконец, добрался до дому. В комнате было холодно. В пальто с высоко поднятым воротником он присел на маленький диванчик, стоявший в конторе. По лицу его все еще струился пот, казалось, заиндевевший на лбу. Взглянув мимоходом в зеркало, Фабиан провел рукой по лицу. Оно было бледное, серое, ему самому неприятное.

Он так и остался сидеть в пальто, закурил окурок сигары, который нашел в пепельнице, и уставился в одну точку пустыми глазами, глазами призрака. Печаль, мука, позор, стыд, отвращение — вот все, что осталось в его душе. Его поезд давно ушел и мчится на восток. Все дальше, дальше на восток.

Ну, а он не поехал. Теперь это уже бессмысленно. К чему? К чему?

Какое счастье, что Вольфганг произнес это решающее слово — «романтический жест»! Вероятно, он не придал ему большого значения. Не скажи он этого слова — Фабиан хорошо знал себя,— он снова поддался бы лжи. Кто знает? «И ты думаешь, что все то зло, которое вы принесли в мир, может быть искуплено «романтическим жестом»?»

Разве он не сказал этого?

«Твои слова выжжены в моей груди, Вольфганг, любимый брат. Ты заглянул в мое сердце. Давай же поговорим откровенно. Погрязнуть во лжи ужасно, я больше не в состоянии этого выносить, я не хочу больше обманывать себя!

Ты знаешь мое сердце, Вольфганг. Да, я люблю щеголять в мундире капитана, с орденами на груди. Да, ты прав. Я люблю командовать батареей и выкрикивать приказы. Люблю страх и трепет, который охватывает людей, когда смерть, тысяча смертей носится в воздухе. Люблю, как ни безумно это звучит. Можешь ли ты это понять? Разве не прекрасно, когда командир избирает тебя среди целого полка и прикрепляет к твоей груди орден? Я любил это. Суди меня, но мне была

дорога мысль о великой Германии, я любил этот мираж, не сердись.

Ты называешь это «романтическим жестом». Да, ты прав, как всегда. Теперь, когда я потерял все, чем обладал в этой жизни, когда судьба вконец растоптала меня, теперь я тебя понимаю.

Я не уехал, видишь, я еще здесь. И знаешь, почему? Я не хочу больше лжи. Ни лжи, ни крови!

Ты говорил также об искуплении, Вольфганг? Об искуплении? Да, Вольфганг, давай поговорим об искуплении».

...В восемь утра, когда женщина, приготовлявшая ему завтрак, вошла в дом, она, к своему ужасу, услыхала, как из конторы раздался глухой звук выстрела. Фабиан сидел в углу дивана, в расстегнутом пальто, с запрокинутой головой. Казалось, он внезапно уснул от глубокой усталости. Револьвер, выпавший из его восковой руки, лежал рядом с ним на диване.

1948.

СОДЕРЖАНИЕ

Бернгард Келлерман

ПЛЯСКА СМЕРТИ

Редактор Н. Крюков.
Художннк Г. Кудрявцев.
Технический редактор Л. Новикова.

Подписано к печати 4/X 1957.
Тнраж 150 000 экз. Заказ 1525.
Формат бум. 84×108 1/32. Бум. л. 7,25.
Печатн. л. 23,78. Учетно-изд. л. 23,60.

Ордена Ленина типографня газеты «Правда» имени И. В. Сталнна. Москва, улнца «Правды», 24.

7 р. 25 к.